

А.Ф.Лосев

ЗНАК  
СИМВОЛ  
МИФ

Труды  
по  
языкознанию

Издательство  
Московского университета  
1982

Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского совета  
Московского университета

Рецензент:  
доктор филологических наук  
О. С. Широков

Лосев А. Ф.

ЗНАК. СИМВОЛ. МИФ.

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. 480 с.

В книге критически рассматриваются теории знака и символа, в доступной и систематичной форме представлены аксиоматика языкового знака, учение о его бесконечной смысловой валентности, динамический переход от знака к символу и мифу, от нерасчлененности простейших языковых единиц к многозначным структурам и насыщенной поэтической образности.

Издание рассчитано на специалистов в области общего языкознания, теории языковых стилей, философии языка.

Л 460200000—014 88—82  
077(02)—82

© Издательство Московского университета, 1982 г.

Предлагаемые в настоящем издании статьи и доклады, написанные автором в течение 40—70-х годов в связи с его работой на кафедрах сначала классической филологии, а потом общего языкознания Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина и читавшиеся также во многих других научных и учебных заведениях Москвы, представляют собой историю нашего отечественного языкознания в двух его специфических тенденциях.

Одно из более заметных направлений отечественного языкознания за последние десятилетия ставило своей целью разработку учения о языковом знаке. Этим объясняется то, что значительная часть языковедческих работ автора посвящена именно теории знака. Здесь, однако, автору пришлось разойтись с некоторыми крайними тенденциями этого направления, доходившими иной раз до прямого номинализма и субъективизма. У нас очень часто говорилось о знаках и очень редко сознавалось, что всякий знак предполагает еще и означаемое, т. е. ту предметность, которая вовсе еще не есть знак. В своих докладах и статьях за последние десятилетия автору много раз приходилось доказывать эту простейшую мысль, без которой всякий знак вообще переставал быть знаком. Неудивительно поэтому, что категория знака постепенно становилась у автора все сложнее и сложнее, превращаясь в целую систему отношений, для которой потребовалось и длительное время, и немалые усилия языковедческого исследования. Кроме того, тут же стали бросаться в глаза разные существенные и несущественные признаки категории знака, а это потребовало от автора сначала формулировки аксиоматики теории знака, а потом и дальнейшей логической эволюции самой этой категории. Пришлось установить весьма существенный разнобой и противоречивость во многих наших современных знаковых теориях, без всяких оснований претендовавших на непогрешимость и окончательность.

Ближайшей ступенью логической эволюции знака явилось то, что иной раз носило тоже весьма неясное и достаточно запутанное обозначение этого типа знака как символа. Пришлось считаться также и с противоречивостью данного термина в нашей литературе. Тут, однако, надо заметить, что

более полное разъяснение всей противоречивой значимости этого термина автор дает в своей специальной работе «Проблема символа и реалистическое искусство» (М., 1976). В связи с учением о знаке, а в значительной мере и вне этого учения у нас имела и имеет место еще и сейчас теория языковых структур. Против таких односторонних теорий автору тоже приходилось выступать не раз в защиту объективно-исторических структур языка и против всякого субъективистски-психологического их толкования у многих авторов. Свое более систематическое учение о языковой структуре автор тоже излагает в специальной работе «Введение в общую теорию языковых моделей» (М., 1968).

В области учения о языковом символе автор тоже ставит своей задачей прежде всего разобраться в существующем разном и противоречивости этой категории, а затем и в систематической форме показать разную степень смысловой насыщенности категорий, каковую степень смысловой насыщенности знака и символа он обозначает термином «вариативность». На путях этой семасиологической вариативности автор наталкивается, с одной стороны, на учение о языковой валентности, уже получившее для себя право гражданства в современном языкознании, а с другой стороны, на категорию мифа, которая тоже используется у нас часто весьма некритично и противоречиво.

Таким образом, по крайней мере три степени смысловой насыщенности языка, а именно знак вообще, символ и миф, сами собой явились вполне естественным результатом понимания языка не в виде застывших грамматик и словарей, но в виде живой стихии человеческого, т. е. осмысленно-жизненного, общения. Нечего и говорить о том, что с точки зрения автора, несмотря на колоссальные усилия современного языкознания в настоящее время, все эти языковые категории все еще остаются на первоначальной ступени своего развития и все еще нуждаются в капитальной работе будущих исследователей. В этом отношении автор несколько не преувеличивает своих заслуг, а, наоборот, считает их пока еще только первичными и достаточно элементарными.

В настоящее издание автор включил свои ранее напечатанные статьи почти без изменения. Внесены только немногие исправления, большей частью технического характера. Без изменения автор оставил прежние свои работы для того, чтобы они были отражением реальной картины нашего языкознания или одной из ее тенденций за последние десятилетия.



# Язык как орудие общения в свете ленинской теории отражения<sup>1</sup>

## Вступительные замечания

Те два предмета, на которые указывает тема данной статьи, настолько ясны и просты сами по себе, что, казалось бы, нечего тратить и время на их разъяснение. Тем не менее различного рода бесчисленные абстрактно-метафизические предрассудки и неумение к простому предмету отнестись тоже просто заставляют здесь очень много думать и рассуждать.

Казалось бы, что может быть понятнее того, что язык есть орудие общения. Кому, зачем и для чего нужно разъяснять ту простую истину, что мы общаемся между собой при помощи языка и что язык, который не является орудием такого общения, вовсе не есть язык? Но вот, оказывается, в буржуазном языкознании, а иной раз даже и у нас вдруг ни с того ни с сего язык начинают рассматривать не как орудие людского общения, но как ту или иную совокупность математических обозначений. Само собой разумеется, что и те, кто признает язык орудием общения, придумывают какие-нибудь знаки, обозначающие такое общение, равно как и математики своими математическими обозначениями тоже способствуют человеческому общению и вовсе не хотят аннулировать подобного рода общение. Рассуждая принципиально, лингвисты и математики должны здесь только подать друг другу руки и, размежевавшись в смысле типов человеческого общения, само-то общение оставить нетронутым и признавать его с начала до конца. И все же у многих лингвистов и математиков наблюдается какая-то несокрушимая потребность отождествить обе эти области в буквальном смысле слова и, в частности, стереть язык как орудие человеческого

---

<sup>1</sup> Статья была опубликована в кн.: «Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 1970, № 372, с. 208—224.

разумно-жизненного общения и превратить в систему знаков, которая запрещает понимать язык в качестве орудия общения. Поэтому первая часть нашей темы, а именно язык как орудие общения сразу превращается из разъяснения в тяжелое и с большим трудом доказуемое понятие. Приходится ворошить тончайшие логические аргументы, хотя предмет, казалось бы, не требует никаких аргументов.

С другой стороны, что может быть проще того, что вокруг нас существует объективный мир, что он воздействует на наше сознание и что наше представление о нем есть просто результат отражения его в нашем сознании? Что тут доказывать и что тут неясно? Но и здесь, оказывается, находятся философы, которые опровергают эту, казалось бы, простейшую истину и которые запрещают даже и заниматься этого рода проблемами отражения. За последнее столетие появлялось необозримое множество философов, которые само понятие мира или бытия запрещали вводить в философию. Э. Гуссерль и неопозитивисты считают ненаучной такую философию, которая занимается проблемами объективного бытия или хотя бы мировоззрения. Оказывается, настоящая научная философия только с того момента и начинается, когда мы начисто исключим из нее все проблемы мировоззрения. Значит, приходится в этом случае пускаться в ход разного рода философскую аргументацию, о которой, казалось бы, неуместно было даже и заговаривать. Напор противников отражения реального мира в нашем сознании настолько велик, что Ленину пришлось затрачивать огромное количество времени на опровержение этих, как мы теперь сказали бы, психопатических бредней. И эту психопатию вовсе не так легко опровергнуть. В древности говорили, что один дурак может так далеко забросить маленький камешек в море, что его не сможет найти целая тысяча умных и ученых людей. Подобным образом и нам приходится ориентироваться в проблеме отражения. Простейший и яснейший предмет, оказывается, требует огромной и тончайшей аргументации.

Таким образом, обе половины предложенной нами темы вовсе не такая простая вещь. На них требуется затрата огромных умственных усилий. Эти усилия настолько велики, что их совершенно невозможно осуще-

ствить в одной небольшой статье. Однако пусть не очень обширная и пусть только предварительная проблематика этих вопросов все же может и должна быть затрагиваема в небольшой статье.

Разумеется, более или менее полное и четкое решение поставленной задачи возможно только в результате такого же полного и четкого анализа ленинской теории отражения. Однако поскольку сделать это значило бы написать не одну, а несколько больших книг, мы ограничимся здесь только указанием на учение Ленина *о переходе от живого созерцания к абстрактному мышлению и от этого последнего к практике*, применяя это учение к пониманию сущности языковой деятельности.

«От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания... объективной реальности»<sup>2</sup>. Чтобы понять эту теорию Ленина правильно, надо правильно понимать его теорию абстракции и теорию практики, так как без этого язык как орудие общения останется у нас совершенно неразъясненным.

Ленин пишет: «Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно *правильное*... — от истины, а подходит к ней. Абстракция *материалов*, *закона* природы, абстракция *стоимости* и т. д., одним словом, *все* научные (правильные, серьезные, не вздорные) абстракции отражают природу глубже, вернее, *полнее*»<sup>3</sup>. Точно так же и практику Ленин вовсе не понимает элементарно или упрощенно, не понимает ее бытовым образом или обывательски. «Истина, — пишет Ленин, — есть процесс. От субъективной идеи человек идет к объективной истине *через* «практику» (и технику)»<sup>4</sup>. «**Практика выше (теоретического) познания**, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности»<sup>5</sup>. «Необходимо *соединение познания и практики*»<sup>6</sup>. «Деятельность человека, составившего себе объективную картину мира, *изменяет* внешнюю действительность, уничтожает ее определенность (=меняет те

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 152—153.

<sup>3</sup> Там же, с. 152.

<sup>4</sup> Там же, с. 183.

<sup>5</sup> Там же, с. 195.

<sup>6</sup> Там же, с. 198.

или иные ее стороны, качества) и таким образом отнимает у нее черты кажимости, внешности и ничтожности, делает ее само-в-себе и само-для-себя сущей (=объективно истинной)»<sup>7</sup>.

Известно, что слово нечто обозначает и, следовательно, является знаком. Тем не менее многочисленные уродливые учения в области лингвистики или начисто забывают этот простой факт, или понимают его чересчур обывательски. С точки зрения Ленина, всякое слово, являясь орудием разумно-жизненного общения, основывается на живом созерцании, но вовсе не сводится только на одни физико-физиологически-психологические факты. Живое человеческое слово, с точки зрения Ленина, обязательно есть, кроме того, еще и абстракция, именно та живая и жизненная абстракция, о которой мы сейчас говорили. Это видно из того, что, по Ленину, «всякое слово (речь) уже *обобщает*» и что, если «чувства показывают реальность», то «мысль и слово — общее»<sup>8</sup>.

Итак, согласно учению Ленина, в языке мы прежде всего идем от живого созерцания к абстракции, от ощущения чувственных реальностей к абстрактному мышлению. Но и абстрактное мышление Ленин признает не как само по себе существующее. Живая мысль, по Ленину, воплощается в действительности, проверяется ею и становится ее подлинным фактором. А это значит, что и слово для того, чтобы быть живым, а не мертвым, должно вернуться из своей родовой общности к самой обыкновенной конкретной единичности, но вернуться так, чтобы уже не быть слепым и случайным моментом жизни, а стать живым, сознательным и целесообразным орудием ее реального строительства.

С позиций ленинского учения об отражении, всякая попытка свести язык на математическое мышление и уже тем более на систему бессмысловых математических обозначений является бессильным стремлением опровергнуть ленинскую теорию отражения. В дальнейшем нам и хотелось бы характеризовать язык не как систему математических обозначений, но как *то живое созерцание, которое при помощи абстрагирующего мыш-*

---

<sup>7</sup> Там же, с. 199.

<sup>8</sup> Там же, с. 246.

ления превращается в созидательную практику общающихся между собой человеческих индивидуумов. В языкознании часто употребляются такие слова, как *коммуникация, система, интонация и экспрессия*. Термины эти хороши для применения ленинской теории отражения в области языкознания. Однако их необходимо очистить от всякого формализма и рассматривать в свете ленинской тройной характеристики мышления и познания — живое созерцание, абстрактное мышление и практика.

Другими словами, ленинская теория отражения не есть теория мертвого и механического отражения вещей в сознании, подобно такому же отражению этих вещей, например, в зеркале. Если учесть всю ленинскую теорию отражения, а также то развитое учение о слове, которое он дал в своих многочисленных рассуждениях об агитации и пропаганде, то необходимо сказать, что ленинская теория отражения не только не кончается теоретическими абстракциями вещей, но, наоборот, есть фактор активного взаимодействия и взаимопонимания людей в процессе фактического строительства ими жизни. Поскольку попытки трактовать язык в качестве вычислительной машины являются активным наступлением на марксистско-ленинское учение о языке, нам поневоле приходится прежде всего бороться с отвлеченным математизмом в языкознании и, только отдав себе полный отчет в негодности такого отвлеченного математизма, говорить об языке как о живом факторе строительства человеческой жизни.

## Проблема коммуникации

Из предыдущего необходимо заключить, что для характеристики языка важнее всего термин «коммуникация». Однако его формулировка составляет большие трудности потому, что слишком глубоко засел в сознании языковедов принцип одноплановости и, так сказать, нерельефности языка, при наличии чего язык оказывается мертвой схемой, не имеющей никакого отношения к активному строительству жизни. Этот отвлеченный схематизм в первую же очередь требует изъятия при решении вопроса о сущности языка.

1. **Знак.** В статье «О нецелесообразности математических обозначений в лингвистике для лингвистов» мы уже коснулись специфики языкового знака, когда говорили о его *качественном характере, его неоднородности и многоплановости*. Однако чисто знаковая специфика языка, если эту знаковость понимать коммуникативно и строительно-жизненно, этим только подготавливалась, но отнюдь не формулировалась. Языковая специфика возникает только на почве учения о разумно-жизненном знаке. Самое существенное здесь то, что язык не просто обладает двуплановым характером, но то, что один план является здесь *знаком* другого плана, служит для его обозначения, так что в языке есть и означающие и означаемые и то значение, благодаря которому существуют эти два значащих плана. С этой точки зрения нам и предстоит формулировать специфику языкового знака в ее отличии от специфики математического знака.

2. **Математическое обозначение механически следует за обозначаемым количеством и от себя ровно ничего не привносит в значение и в обозначаемое.** Обозначаемым здесь является количество или количественные отношения. Те операции, которые мы производим над количествами, механически записываются при помощи определенного рода знаков, и их роль в конструировании количественных отношений — нулевая. Если мы складываем 2 и 3 и получаем число 5, то совершаемая нами умственная операция ни в какой степени не зависит от тех знаков, которыми мы ее обозначаем. Сейчас мы употребили арабские цифры. Но с таким же успехом можно было бы употребить и римские цифры. С таким же успехом можно было бы употребить и буквенные обозначения, как это делали, например, древние греки, условно обозначая числа теми или другими буквами своего алфавита. Наша алгебра вообще основана на буквенных обозначениях. Вместо букв можно было бы придумать какие-нибудь иероглифы или любое начертание. Устное произношение и название этих количественных операций тоже не имеют никакого значения для самих операций. В разных языках числа и операции над ними называются по-разному, что для самих количественных отношений и для операций над ними не имеет ровно никакого значения. Как бы мы ни на-

зывают числа 2, 3 и 5 и как бы мы ни обозначали операцию сложения чисел, все равно везде и всегда 2, сложенное с 3, даст именно 5 и больше ничего другого.

В сравнении с этим языковое обозначение только в самых редких случаях никак не влияет на обозначаемое. Может быть, только тончайшая математическая или вообще научная терминология действительно механически следует за обозначаемым; и в ней нет ровно ничего такого, чего не было бы уже в самом обозначаемом предмете. Но математический и точный научный язык является слишком узкой областью в сравнении с безбрежным морем языковых обозначений и ни в коей мере не может претендовать на абсолютизацию и на исключение всех прочих бесчисленных способов языкового обозначения.

3. Языковое обозначение является активным фактором в процессе формирования или, лучше сказать, перестройки того, что им обозначается, а следовательно, и самого значения. Когда язык что-нибудь обозначает, его не интересует обозначаемый предмет во всей бесконечности свойств, действий и проявлений. Прежде всего слово может обозначать такой предмет, который вовсе не существует. Поэтическая, мифологическая, научная и всякая другая фантастика наполнена именно такими обозначениями, которым объективно ровно ничего не соответствует, или уже не соответствует, или пока еще не соответствует. [Словесно можно обозначить любую глупость, и это будет самым настоящим словесным обозначением. Мы можем сказать *круглый квадрат* или *деревянное железо*. Этим мы, несомненно, нечто обозначаем, хотя обозначаемое в данном случае не существует. Здесь языковое обозначение проявило большую и активную силу, дошедшую до того, что создан какой-то несуществующий предмет. Отрицать активность языкового знака в данном случае было бы нелепо.

Самое же главное здесь — это то, что и при условии реального существования обозначаемого предмета язык все равно проявляет огромную активность и языковое обозначение часто приносит с собой нечто небывалое. Пусть обозначаемый предмет действительно существует сам по себе, независимо от наших языковых обозначений, и даже вообще от нашего сознания или

мышления. Все равно, назвав такой предмет и оперируя таким названием в общении с другими людьми, мы обязательно выбираем какой-нибудь один элемент или свойство этого предмета, или пусть даже несколько таких свойств с отстранением на второй план прочих бесчисленных свойств данного предмета. В ином случае, возможно, мы своим обозначением захватим и что-нибудь другое из этих других свойств, но во всяком отдельном случае языковое обозначение всегда выбирает что-нибудь одно и определенное или несколько свойств и тоже вполне определенных. Это особенно видно на тех словах, где еще не затемнился исходный корень слова и где этимология открыто указывает на специфический подход языка к данному предмету. То, что немецкое слово *Mensch* этимологически связано, например, с латинским *mens*, английским *man* или русским *па-мять* (где *па* — непродуктивная частица, указывающая на сниженную интенсивность предмета, обозначенного корнем слова; ср. *па-водок* или *па-сынок*; а звук *я* из старого носового *а*, обозначаемого в старославянском при помощи юса малого), это обстоятельство не может не подчеркивать в данном слове интеллектуального значения, так что общее понятие человека в указанных выше словах, несомненно, сужено до выдвигания на первый план человека как интеллектуального существа. Словесное обозначение в данном случае проявило огромную семантическую активность, перестроило в известном направлении данное родовое понятие и заставило подойти к объективно существующему предмету только с одной, но вполне определенной и остро дифференцированной стороны. Подобная активная семантическая направленность языкового знака совершенно исключена в математическом обозначении, которое лишь пассивно следует за процессами мысли, не зависящими ни от каких обозначений. Что же в таком случае мы получаем из обозначения «человека» при помощи каких-нибудь цифр или каких-нибудь количественных операций? Ничего. В то время как математик употребляет свои цифры или буквы для механического обозначения и механической записи того, что происходит в его мысли или в объективной действительности, получившей свое адекватное отражение в его мыслях, языковое обозначение, и устное и письменное, основано



на определенного рода подходах к обозначаемой действительности, на извлечении из нее всегда чего-то частичного, заведомо неадекватного, на том или ином понимании или на той или иной интерпретации обозначаемой действительности.

Как мы увидим ниже, языковое обозначение исходит не просто из отражения действительности в человеческом сознании или мышлении (этим занимается математика, логика и вообще всякая наука в меру своего развития в данный момент истории), но из чего-то гораздо более сложного и важного, чем отражение, а именно из активного вмешательства в действительность, из активного выбора из нее того, что нужно человеку для общения с другим человеком на том или ином отрезке времени, большом или малом, т. е., иначе говоря, из *коммуникативного использования* действительности и, следовательно, из того или иного ее *переделывания* или *преподнесения*. Математическое обозначение в данном случае имеет, попросту говоря, нулевое значение и в языковых выражениях мы пользуемся им минимально.

Не нужно доводить до абсурда наше учение о физико-математической коммуникации, которую мы приравнивали нулю только в сравнении с общезыковой коммуникацией. Взятая же сама по себе она тоже является коммуникацией определенного типа, а именно количественного. Но специально развивать учение о математической коммуникации мы не будем, так как для необходимой здесь логической точности потребовалось бы слишком много времени и отвлекло бы нас от непосредственной задачи, т. е. от характеристики языка.

**4. Учение Гумбольдта — Сепира — Уорфа.** Прежде чем говорить о коммуникации в существенном смысле слова, мы хотели бы обратить внимание читателя на те три имени, которые мы сейчас назвали. Каждый из этих лингвистов является не меньше философом, чем лингвистом, что затрудняет и критику и использование учения этих философов языка для рядового лингвиста. Приходится считаться с глубоко идеалистическими основами этой философии языка; но идеализм данного типа часто скользит на едва уловимой границе между идеализмом и материализмом, понимание чего требует от лингвиста такой школы ума, которой он вовсе не обязан владеть

в высокой мере. Уорф, например, рассуждает так, как будто бы никакой реальной действительности вообще не существовало и как будто не существовало даже и человеческого сознания и мышления. Этих авторов легко понять так, что единственным абсолютом у них является только человеческий язык, а все остальное лишь относительно и не заслуживает никакого признания. Изучение их трудов говорит совсем о другом. Но мы не будем входить в анализ данной философии языка, а выдвинем только один тезис, который, с нашей точки зрения, должен быть безусловно принят.

Тезис этот заключается в том, что объективная действительность, существующая вне и независимо от человеческого сознания, не может быть охвачена этим последним сразу и раз навсегда, что она охватывается только постепенно и что показателем этого охвата является именно язык. Точно так же и человеческое сознание и мышление, в пределе должны охватить всю бесконечность действительности целиком, на самом деле охватывают ее только строго, постепенно и в самой серьезной зависимости от исторических условий. Причем показателем степени охвата реальной действительности человеческим мышлением опять-таки является язык. Следовательно, как бы и что бы мы ни говорили о действенности мышления и языка, язык всегда есть посредник между действительностью и мышлением; он, конечно, не может не налагать свой отпечаток на то и другое, хотя фактически вовсе не он их порождает, а они его. Эта текучая двуплановость языка может быть нами изучена очень глубоко в условиях использования теорий Гумбольдта — Сепира — Уорфа, на что мы бего и обращаем внимание читателя. Самостоятельный же анализ этих теорий не входит в нашу задачу<sup>9</sup>.

5. Коммуникативный акт. У нас очень много говорят об означающем, означаемом и значении. В отношении языка это разделение совершенно правильно, и

---

<sup>9</sup> С теорией Б. Уорфа можно познакомиться по его трудам, переведенным на русский язык: «Отношение норм поведения и мышления к языку», «Наука и языкознание», «Лингвистика и логика» (Новое в лингвистике, № 1. М., 1960, с. 135—182), а также по статьям В. А. Звегинцева и М. Бэка (Новое в лингвистике, № 1, с. 111—135, 199—214).

без него невозможно обойтись. Тем не менее специфика языка и языкового обозначения все же не исчерпывается этим до конца. Ведь, рассуждая теоретически, и всякий другой предмет неодушевленной природы тоже нечто значит, т. е. он, во-первых, нечто есть и, во-вторых, он есть именно он сам, т. е. он нечто означает, а значит, тем самым он имеет определенное значение. Но язык вовсе не есть неодушевленная вещь, да не есть он и просто одушевленная деятельность. И физиологически и психологически существуют сотни разных актов, которые не имеют никакого отношения к языку. Для языка специфично то, что он прежде всего нечто воспроизводит в сознании и мышлении, т. е. что он есть совокупность тех или иных репрезентативных актов. Однако и простая репрезентация все еще не создает языка. Она есть и у любого животного с более или менее развитой психикой, а такое животное все-таки еще лишено языка. Дальнейшим усложнением акта репрезентации является *семантический* акт, который не просто воспроизводит предметы, но еще и конструирует то или иное их *понимание*. А для понимания предмета, если говорить не о животных, но специально о человеке, необходимо еще очень многое другое. Человек в той или иной мере должен отделять себя от природы, т. е. сознавать свою собственную личность, и в своем личном отношении к предметам он должен стоять на какой-нибудь определенной точке зрения, как-то специально подходить к ним, с каких-то особенных сторон ими интересоваться. Только тогда можно будет говорить о специфическом понимании человеком тех или других предметов. Только тогда они и будут для него значить нечто реальное, только тогда живое жизненное отношение к предметам прибавится к объективному, равнодушному и холодному воспроизведению предметов в научном мышлении, независимо ни от каких специальных к ним подходов. В результате такого семантического акта возникает и специальный аналог понимаемого предмета, а именно *семема*, которая окажется и не просто чувственным образом в результате безразличного воспроизведения и не просто понятием в результате предельно мыслительного и всестороннего обобщения воспроизведенного и понятого предмета.

Тот продукт сознания и мышления, который мы на-

звали семемой, не имеет никакого отношения к любому математическому обозначению. *Математическое обозначение имеет своей единственной целью воспроизводить только предельно обобщенный и только предельно мыслимый предмет независимо ни от какого субъективного его понимания и независимо ни от какой семемы, возникающей на путях мысленного его обобщения.* То, что математика и наука мыслят на данном этапе своего развития, они мыслят вполне объективно, вполне равнодушно, вполне точно и не хотят привносить ничего субъективного, временного, одностороннего в свое понимание мыслимого предмета. В дальнейшем, может быть, и окажется, что математик данного времени находится во власти каких-нибудь предрассудков или каких-то односторонних подходов. Однако в данный момент, когда решено какое-нибудь уравнение или выведен какой-нибудь закон природы, в этом ни для научного работника, ни для тех, кто пользуется его изысканиями, нет ничего семантического, а есть только предельно обобщенное, для всех обязательно, предельно объективное, о чем не может быть никакого спора.

Правда, и здесь не нужно искажать нашу мысль до того, чтобы сводить математическое обозначение только на репрезентацию предельно объективного мышления и отказывать математическому мышлению решительно во всяком семантическом акте. Этот последний, конечно, присутствует здесь во всей полноте, так как иначе не состоялось бы и никакого математического мышления, и никакого математического понимания. Однако напомним, что всякое математическое обозначение имеет своим предметом только однородные и одноплановые количественные отношения. В смысле репрезентации такого рода количественных отношений, само собой разумеется, математика полна и актов понимания, т. е. семантических актов, и актов чистого мышления, т. е. предельных обобщений. Но все дело в том и заключается, что язык как раз не есть только количественное понимание и не есть понимание только количественных отношений. То и другое составляет такую незначительную область языка или такую абстрактную его сферу, что об этом почти нечего говорить в языкознании. Даже имя числительное не есть математическое обозначение, так что и оно полно не столько предельно мыс-

ленных, сколько семантических актов, если оно уже действительно входит в сферу языкознания. Что же говорить о других частях речи?

## Семема

1. **Специфика семемы.** Однако, углубляясь в специфику семемы, мы начинаем замечать в ней такие стороны, которые, действительно, незаметны ни в чувственном образе, ни в мыслительно-обобщенном понятии. Это совершенно особая область, ни к чему не сводимая. На эту удивительную специфику семемы очень мало обращают внимания. Ни в минимальной морфеме, ни в слове как совокупности морфем, ни в предложении как совокупности слов семема ни в какой мере не сводима ни на чувственный образ, ни на обобщенное понятие. Произнеся фразу *белеет парус одинокий*, имеем ли мы дело только с чувственными образами или только с обобщенными понятиями? Если бы это были только чувственные образы, то это было бы фотографическим снимком и не входило бы не только ни в какую поэзию, но даже и ни в какое грамматическое предложение. В поэзию это не входит уже по одному тому, что тут имеется эпитет *одинокий*, который никак нельзя назвать образным. Но — и отвлеченно-грамматически всякое предложение хотя и есть система отношений, только уже ни в каком случае не система отношений между чувственными образами, потому что грамматическое предложение может быть системой также и отвлеченно-понятийных отношений. Но сказать, что предложение *белеет парус одинокий* является системой мыслительно-обобщенных понятий, тоже невозможно, поскольку всякое понятие предполагает определение с точным перечислением составляющих его признаков; а определить, что такое парус, что такое белееть и что такое одиночество, мы, если, вообще говоря, и можем, то в данной фразе никакими такими определениями мы не занимаемся, никакого точного определения признаков наличных здесь понятий не даем, а понимаем эту фразу без всяких понятий и уж тем более без всякого определения этих понятий. Что же такое в этом случае мы понимаем, когда читаем или произно-

сим фразу *белеет парус одинокий*? Вот это-то и есть семема, т. е. не слепой, безымянный, чувственный образ, а некое отдаленное использование этого образа, отнюдь не буквальное и не предельно-обобщенное и не точное понятие, а разве только, может быть, какое-то приближение к нему, и тоже достаточно отдаленное. Итак, семантическая область весьма оригинальна; и пытаться сводить ее на какие-нибудь другие области человеческого сознания и мышления — это пустая и неразрешимая задача.

И можно ли после этого хоть в какой-нибудь мере осмысленно сравнивать математическую формулу с тем, что мы назвали языковой семемой. Произнося фразу  $3+2=5$ , мы пользуемся точнейшим мыслительным понятием решительно всех, входящих в это предложение членов. 3 есть только 3 и ничто другое. Если мы полетим на Луну или на Марс, то и там эта тройка все равно останется в точнейшем смысле слова ею же самой. Никакого особого понимания этой тройки не потребуются, да оно и невозможно. И ни о какой семеме этих чисел не может и не должно возникнуть речи. Точнее же говоря, семема 3 будет не чем другим, как самым обыкновенным понятием 3, как равно это понятие 3 будет не чем иным, как числом 3 или количеством 3. Применять это 3 можно, конечно, к чему угодно: и к пуговицам, и к ножам или вилкам, и к столам или стульям. Это все равно. 3 есть 3 — это суждение применяли в течение тысячелетий даже к самому богу. Но попробуйте фразу *белеет парус одинокий* понять математически. Суждение 3 есть 3, может быть, тут что-нибудь и даст, поскольку фраза состоит именно из трех слов. Но, если мы семеме каждого из этих слов отождествим с тем понятием или числом, которые в нем содержатся, мы либо получим пустую болтовню, либо фразу  $1+1+1=3$ . Ну и поэзия же у нас получится! Да, собственно говоря, и логического суждения-то не получится, потому что переход по линии натуральных чисел или комбинация с ними еще не есть логическое суждение, а всего только счет, в котором нет ничего логического, а есть только количественное. Грамматическое предложение есть, несомненно, система каких-то отношений, но уж во всяком случае не логических (тогда всякое предложение содержало бы только чистые

понятия), не количественных (тогда всякое предложение было бы счетом единиц), да, пожалуй, и не грамматических. Подлежащее есть именно подлежащее, но не понятие подлежащего; и сказуемое есть именно сказуемое, а не понятие сказуемого. Словом, как бы математика ни понимала свои знаки, все равно она к языку не имеет никакого существенного отношения.

**2. Жизненный смысл коммуникативной системы.** Разыскивая специфику семемы и противопоставляя ее результатам как логических, так и математических отношений, мы наталкиваемся на один принцип, без которого, кажется, невозможна никакая семема как специфическая структура. Этот принцип есть *коммуникация*. О коммуникации в нашей литературе говорится достаточно. Но как раз у тех, кто пропагандирует математические обозначения в лингвистике, почему-то слабеет память о языке как о сфере коммуникации. Под *коммуникацией* мы понимаем *структуру разумно-жизненного человеческого общения*. Попросту говоря, мы выставляем здесь банальную, но совершенно неопровержимую истину о том, что язык есть орудие общения. И семема тоже есть не что иное, как орудие человеческого общения.

Это общение можно понимать весьма различно.

Оно есть, во-первых, деятельность того, кто говорит или пишет или кто является, вообще говоря, источником общения. Общение есть необходимым образом также и известное разумно-жизненное состояние того, кто воспринимает направленное к нему сообщение, кто является его объектом, кто является понимающим направленное к нему сообщение. Наконец, общением можно называть и само содержание того, что сообщается. Оно и не субъективно и не объективно. Оно и совершенно особый и оригинальный род бытия. Назовем его *экспликативной* стороной общения. Но дело, конечно, не в названии. Называть его можно как угодно. Тут важно усвоить, что кроме сообщающего субъекта и воспринимающего этот субъект объекта есть еще нечто другое, нечто среднее между тем и другим. Это—арена встречи мыслящего и чувствующего субъекта с мыслящим и чувствующим объектом. Пугаться нам этого выхода за пределы субъекта и объекта нечего. Диалектический метод давно научил нас понимать единство

противоположностей так, что это единство оказывается чем-то новым и целым, совершенно не сравнимым ни с одной, ни с другой противоположностью. Пусть наша семема будет в этой общей области коммуникации единством сообщающего субъекта и понимающего это сообщение объекта. Сейчас дело для нас заключается вовсе не в диалектике, поскольку мы занимаемся языкознанием как одной из частных наук, а не диалектикой как максимально обобщенной философской областью. Важно то, что семема есть порождение коммуникативного акта и имеет своим единственным назначением только коммуникацию.

Теперь спросим себя: что мы можем сказать о математическом обозначении как о коммуникативном акте? Прежде всего обозначительный акт тоже вполне оригинален и тоже не есть ни логический, ни семантический, ни коммуникативный акт. Обозначение количества, взятое само по себе, не есть даже и количество. Но даже если и признать, что математическое обозначение имеет какую-то связь с понятийным семантическим или коммуникативным актом, то обозначаемое им понятие, обозначаемая им семема и содержащаяся в нем коммуникация строго ограничены только одной количественной областью. Если мы и согласимся, что это есть количественная коммуникация, то язык во всяком случае не является количественной коммуникацией, играющей в нем лишь незначительную роль, но коммуникацией в самом широком и содержательном, а именно в разумно-жизненном, общении людей между собой. В этом смысле никакое математическое обозначение не является языковым обозначением, и потому употребление его в лингвистике совершенно целесообразно. Свести человеческое общение на математические обозначения — это значит превратить его из разумно-жизненного общения в вычислительную машину.

## Интонация и экспрессия

В поисках основных элементов того, что можно было бы назвать языком как орудием общения, а также в поисках того, какую роль играет здесь ленинская тео-



рия отражения, мы должны были бы кроме понятий коммуникации и семемы анализировать в языке еще многое такое, на что обычно обращают гораздо меньше внимания, чем надо. Однако имеется два таких элемента речи, без которых уже во всяком случае не получится ни языка как орудия общения, ни использования лингвистических теорий. Это — понятия интонации и экспрессии. Они еще больше удаляют язык от возможности его математической фиксации и превращают эту последнюю в смехотворное, антинаучное, хотя в то же самое время на вид вполне наукообразное предприятие.

Обычно эти две особенности языка, интонация и экспрессия, рассматриваются на последнем месте или совсем не рассматриваются. Это совершенно неправильно, потому что никакой речи и никакого звука речи не существует ни без интонации, ни без экспрессии. Правда, эти особенности языковой специфики изучены меньше всего, поскольку на первом плане у каждого исследователя рассматривается то, что мы выше назвали экспликативной стороной языковой специфики. Но это игнорирование моментов интонации или экспрессии является жалким, хотя и очень упорным остатком прежнего рационалистического подхода к языку, прежней рационалистической метафизики, сводившей язык на мертвые понятия.

1. **Интонация.** Что касается языковой интонации, то она не только воспринимается вместе с теми словами, которые имеют место в коммуникативном процессе, но, пожалуй, воспринимается даже и раньше отдельных слов. Вслушайтесь в речь говорящего. Вы еще не поняли как следует то, что он говорит, и даже еще не поняли значения употребляемых им слов, как его интонация уже сразу воспринимается вами в самом отчетливом виде.

Интонация речи — сложнейшее явление, виды которого не поддаются перечислению. Особой интонацией отличается каждый реально произносимый звук и слог, каждое реально произносимое слово и уж тем более сочетание слов. Сразу видно, говорит ли с вами человек спокойно или возбужденно, с деловитой монотонностью или с живой общительностью, рассказывает ли он что-нибудь или о чем-то вас спрашивает, равнодушен ли он к вам и к разговору с вами или в чем-нибудь

заинтересован. Интонация бывает безразлично-прозаическая, эмоциональная или эффективная, спокойно-уравновешенная или беспокойно-ищущая, холодная или интимная, лекционно-разъясняющая или возбужденно-агитирующая. Одно и то же слово или группа слов может быть повествованием, вопросом, побуждением, удивлением, пожеланием, мольбой, приказанием. Разные интонации одной и той же фразы могут сделать одно и то же слово и подлежащим, и сказуемым, и дополнением. Одно и то же слово, в результате той или иной интонации может быть элементом предикативным, атрибутивным, оппозитивным, одним и только одним словом, но также и целой фразой. Интонация есть понятие и фонологическое, и морфологическое, и синтаксическое, и риторическое, и стилистическое.

На вопрос «пойду ли я гулять?» я могу ответить не словами, но совершенно бессловесными и притом кратчайшими интонациями, из которых мой собеседник сразу поймет, пойду ли я гулять или не пойду. И в этом звуке *м...*, то протяжном, то отрывистом, то мелодически-разнородном, то прерывистом, то в соединении с другими, малоотчленимыми от него звуками, вы сразу услышите: «Да, я пойду», или «Нет, я не пойду», или «Я еще подумаю», или «Это зависит не от меня», или «Мне хочется пойти, но я не пойду», или «Я не пойду, но мне хочется пойти», или «Мне некогда», или «Я пойду завтра», или «Я вообще с вами не хочу ходить», или «Я с удовольствием пошел бы, но мешают дела», или «Как же мы пойдем, если идет дождь», или «Какой бы дождь ни шел, я все равно с вами пойду гулять», или «Дело не в прогулке, но в нашей дружбе», или «Уйдите, вы мне надоели!» и т. д. и т. д. Простыми, ничего не говорящими звуками, или каким-то незаметным подвыванием, или каким-нибудь повышением или понижением незначашего звука, или темпом произносимого звука, или какой-нибудь безусловной ритмикой можно выражать целые фразы, в которых тот, кто вас слушает, сразу найдет и подлежащее, и сказуемое, и придаточное предложение, и вообще любую грамматическую, любую языковую категорию. И все это без слов, без морфологии, без синтаксиса, без всякой грамматической науки и вообще без всякой науки о языке. Что же после этого скажут нам такие фразы, как  $3+2=5$ , или

у есть функция  $x$ , или  $a$  с одним или с двумя штрихами, или хотя бы целое уравнение и целый геометрический многогранник?

2. **Экспрессия.** По своим коммуникативным функциям *экспрессия* мало чем отличается от интонации. Правда, экспрессия наполняет те или другие слова эмоциями, насыщенными образами и разного рода жизненной выразительностью, в то время как интонация не нуждается даже и в словах. Однако как бы мы ни определяли интонацию и экспрессию, ясно, что *элементарной единицей языка* *вовсе не является ни слово, ни даже его минимальная значащая часть или морфема.* В основе своей язык *вовсе не состоит из слов.* Разные слова только оформляют коммуникативную сущность языка, да и то оформление это не всегда обязательно, не всегда совершенно, не всегда надлежащим образом оформлено. При самой низкой смысловой оценке интонации и экспрессии, при самом оголтелом рационализме, рассудочном и абстрактно-метафизическом понимании языка, решительно при всех подходах к языку каждый должен согласиться, что интонация и экспрессия как приемы коммуникации оформляются пусть не раньше слов или фраз, но уж во всяком случае одновременно с ними. Без интонации и экспрессии никакое слово просто *немыслимо.* Даже если я протяну какой-нибудь звук на одной ноте в течение известного времени, не вкладывая в него никакого смыслового содержания, все равно этот звук, как бы он ни был бессодержателен в смысловом отношении, все-таки для меня и для других не есть просто акустическое явление. Уже одно то, что протянутый кем-нибудь звук на одной ноте в течение известного времени бессодержателен и бессмыслен, уже одно это заставляет нас определенным образом расценивать этот звук и в смысле интонации, и в смысле экспрессии. *Вовсе не обязательно, чтобы интонация и экспрессия были всегда глубоки, осмысленны, выразительны, эстетически значащи и логически расчленены.* Иной лектор читает так, что его слушатели засыпают; а иной певец поет так, что его слушатели мечтают уйти из зала, где происходит пение. Можно воспринимать чужую интонацию и экспрессию, употребляя школьную пятибалльную систему, оценивать ее и баллом 5, и баллом 4, и баллом 2, и баллами 1 или 0.

Все это несколько не снижает языка как прежде всего интонационной и экспрессивной структуры.

Из всего этого вытекает одно: математическое обозначение ничего существенного, в языке не обозначает. Но мы бы сказали, что и математическая логика не выражает в языке ничего такого, что было бы для языка существенно или хотя бы характерно. Она не обозначает в языке ни интонации, ни экспрессии, а сводит язык только на рассудочные функции, да и те понимает бескачественно, беспредметно, чисто количественно, что имеет значение для таких наук, которые не дорожат качеством изучаемых в них предметов (если таковые науки вообще существуют), но уж совсем не имеют никакого значения и являются пустыми и бессодержательными для языка, этой максимально смысловой сгущенности человеческого общения.

## Конструктивно-технический акт

После всего, что было высказано в предыдущих рассуждениях, должна стать ясной невозможность чисто абстрактного, чисто головного и рассудочного, отвлеченно-математического понимания языка. Мы учили и то «живое созерцание», с которого начинается, по Ленину, всякое подлинное знание, и «абстрактное мышление», без которого язык невозможен в качестве разумно-человеческого общения, и, наконец, ту «практику», без которой язык тоже не является орудием человеческого общения, т. е. вообще не является языком. Теперь пора формулировать и то окончательное назначение языка, которое заложено в его семантически-коммуникативном акте. Из глубин и высот абстрактного мышления мы вернулись к живой человеческой жизни; но при этом мы почувствовали, что весь этот анализ языка совершенно по-новому заставил нас относиться к языку, а именно понять его как *орудие жизненного строительства*. Сочинения Ленина дают в этом отношении богатейший материал, который еще недостаточно подробно и систематически изучен. Этот последний и завершительный пункт ленинской теории отражения, когда речь

идет не просто о механическом отражении, но о жизненном значении такого отражения, Ленин весьма часто рассматривает в виде *агитации и пропаганды*. Тут с максимальной ясностью выступает и ленинское учение о языке и его анализ в свете теории отражения.

В настоящей статье нет возможности исследовать данный вопрос полностью, но для начала этого изучения достаточно будет отдать себе отчет хотя бы в тех рассуждениях Ленина, которые собраны в сборнике «Ленин о пропаганде и агитации» (М., 1956).

Ленин понимает агитацию весьма широко, включая в нее, например, деятельность народных учителей, литературную работу и газеты<sup>10</sup>. Ленин выступает против «узколобого практицизма»<sup>11</sup> в вопросах агитации и пропаганды. Здесь, по его мнению, первое место занимает общественно-политическое содержание, т. е. нераздельность государственного и общественного дела с агитатором<sup>12</sup>. Агитатор должен быть живой индивидуальностью, являясь в то же время носителем общих идей социализма и преследуя общие цели, а не местные и мелкие<sup>13</sup>. Объектом агитации являются разные слои общества, для которых нужна разная агитация<sup>14</sup>. Специфична, по Ленину, и структура самой агитации — от конкретного примера к общей идее, например, от безработицы к «бессмысленности противоречия между ростом богатства и ростом нищеты»<sup>15</sup>. Переделывающий характер агитации и пропаганды должен сказываться во всей деятельности агитатора, и прежде всего в самой его личности. «Личное воздействие и выступление на собраниях в политике страшно много значит. Без них нет политической деятельности»<sup>16</sup>. Ленин пишет о ясной и продуманной агитации, противопоставляя ее пустому фразерству<sup>17</sup>, когда агитатор должен выступать «без фраз, без восклицаний, с фактами и цифрами в ру-

<sup>10</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 9—10.

<sup>11</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 73—74.

<sup>12</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 407.

<sup>13</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 271, 315—316.

<sup>14</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 20—21.

<sup>15</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 6, с. 66.

<sup>16</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 54.

<sup>17</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 47, с. 73—74; т. 54, с. 237.

ках»<sup>18</sup>, он должен «разъяснять», а не «громить»<sup>19</sup>, борясь против «политической трескотни»<sup>20</sup> и против многоречивости, против «популярничания» вместо популярности<sup>21</sup> и против засорения русского языка иностранными словами<sup>22</sup>. «Каждый агитатор должен быть государственным руководителем»<sup>23</sup>. «Самое худое у нас — чрезмерное обилие общих рассуждений в прессе и политической трескотни при крайнем недостатке *изучения* местного опыта. И на местах и вверху могучие тенденции борются против его правдивого оглашения и правдивой оценки. Боятся выносить сор из избы, боятся голой правды, отмахиваются от нее «взглядом и нечто», попросту верхоглядством»<sup>24</sup>.

Строительство жизни при помощи целенаправленного языка (а направленность эта есть результат правильного и обобщенного отражения в нем действительности) относится, конечно, не только к агитации и пропаганде в узком смысле слова, но и ко всякому словесному воздействию одного человека на другого. Мы употребляем здесь один термин, который, в сущности говоря, фиксирует собой семантически-коммуникативные акты языка, но в то же самое время как раз подчеркивает их жизненное, строительное и переделывательное значение. Мало будет сказать, что язык есть орудие общения, так как само-то общение мы понимаем как растущее строительство жизни. Поэтому мы едва ли ошибемся, если назовем этот акт *конструктивно-техническим*, понимая под ним вообще всякое строительство жизни при помощи языка, правильно отразившего эту жизнь и ведущего ее к правильным целям.

Таким образом, как это видно из ленинской теории отражения, поскольку само это отражение должно быть таким же творческим, как и вся действительность, постольку в языкознании всякий абстрактный, мертвенный, чисто рассудочный и головной, а уже тем более

---

<sup>18</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 14, с. 92.

<sup>19</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 177.

<sup>20</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 37, с. 89, 91; т. 39, с. 13.

<sup>21</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 206—207.

<sup>22</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 40, с. 49.

<sup>23</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 407.

<sup>24</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 237.

абстрактно-математический анализ в крайнем случае может занимать десятое, но отнюдь не первое место. А что сущностная сторона мышления у Ленина рассматривается по преимуществу со стороны ее творческих функций, это видно из знаменитого учения Ленина о том, что сущность является, явление же существенно, и о том, что явление есть не что иное, как проявление сущности. По Ленину, происходит «передвижка мира в себе все дальше и дальше от мира явлений»<sup>25</sup>. «Человеческие понятия субъективны в своей абстрактности, оторванности, но объективны в целом, в процессе, в итоге, в тенденции, в источнике»<sup>26</sup>. Среди основных источников диалектики Ленин указывает на «бесконечный процесс раскрытия *новых* сторон, отношений etc.», а также «бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубокой сущности» и на борьбу «содержания с формой и обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания»<sup>27</sup>. Общеизвестно учение Ленина о подвижном характере сущностей и о том, что родовое понятие есть закон для получения соответствующего единичного. В результате всего понятия человека «должны быть также обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир»<sup>28</sup>; и поскольку всякое слово, как мы знаем, является, по Ленину, уже обобщением, то в этом смысле всякое слово есть тем самым понятие, и род, и подвижная или текучая сущность. Но понятия эти, как мы видим, не абстрактны, но гибки, релятивны, а это значит, что они являются орудием строительства жизни.

Вот чему должны учиться языковеды, для которых язык есть орудие людского общения, в философских теориях Ленина, связанных с теорией отражения<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 138.

<sup>26</sup> Там же, с. 190.

<sup>27</sup> Там же, с. 203.

<sup>28</sup> Там же, с. 131.

<sup>29</sup> Ср.: Мальцев В. И. В. И. Ленин о диалектике отражения внешнего мира. М., 1960; Вартанян Г. М. Развитие В. И. Лениным марксистской теории отражения. Ереван, 1960; Ронзенталь М. М. Ленин и диалектика. М., 1963; Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968.

## Аксиоматика знаковой теории языка<sup>1</sup>

Доказывать необходимость и актуальность разработки знаковой теории языка в настоящее время не приходится. Можно сказать, что все лучшие работы советских языковедов в значительной мере заполнены рассуждениями о языковых знаках, и это безусловно нужно приветствовать. Изучение языковых знаков является не только своевременной, но, пожалуй, даже одной из самых постоянных проблем науки о языке вообще. С другой стороны, современное развитие языкознания, логики, учения о структурах дошло до такой сложности и глубины, что изучение знаковой теории в такой атмосфере является делом чрезвычайно трудным. Знаковое понимание языка требует в настоящее время огромных усилий теоретической мысли, а разнообразие решений этой проблемы приводит к тому, что языковеды постепенно теряют ясное представление о том, что же такое знак. Само понятие «знак» окружено десятками других, очень близких, но отнюдь не совпадающих с ним понятий. В головах и языковедов и неязыковедов царит путаница по поводу семиотической и близкой к семиотике терминологии. В настоящее время только не искушенный в лингвистике может считать вопрос о знаках простым и ясным, специалисты же давно утратили точное и единообразное понятие о знаке. Это обстоятельство и побуждает поставить вопрос о том, что в этой важной для языковеда области знаний является более или менее ясным и что представляется неясным и требующим дополнительных исследований.

В математике, да и не только в ней, уже давно установилась традиция различать, с одной стороны, исходные положения (аксиомы) и, с другой стороны, такие, которые могут быть выведены из них как следствия. И в геометрии и в алгебре уже давно выработаны такие исходные положения. Выяснилось, что с применением одних аксиом и исключением других возникает

<sup>1</sup> Статья была опубликована в кн.: Вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1973, с. 22—55.



также и другая наука. Например, геометрия Евклида основана на соблюдении определенного рода исходных аксиом, а геометрия Лобачевского или Римана основана уже совсем на другом наборе аксиом и на исключении других, которые фигурируют в геометрии Евклида. К сожалению, такого рода аксиоматическое построение совершенно невозможно в настоящее время для гуманитарных наук. Аксиоматика дается математикам легче, чем гуманитариям потому, что они оперируют понятиями, раз навсегда обладающими определенным и бесспорным содержанием. Таблица умножения, пользуемся ли мы ею в простейших расчетах или космических полетах, все равно остается одной и той же, единообразной и не допускающей никаких сомнений или споров. Но возьмем любое понятие исторических дисциплин — и мы встретимся здесь с множеством разных подходов, разных оттенков мысли, разных субъективных тенденций, вообще с такими трудностями, разрешить которые весьма нелегко, а тем не менее без их разрешения невозможно никакая историография как точная дисциплина. Поэтому при современном состоянии гуманитарных наук, а в том числе и языкознания, приходится совершенно отказываться от аксиоматики этих дисциплин в точном смысле слова.

Конечно, в языкознании есть нечто более понятное и нечто менее понятное, нечто, не вызывающее никаких сомнений, и нечто сомнительное, трудное для формулирования и упорно не поддающееся никакой классификации. И в языкознании и в литературоведении накопилось достаточное количество фактов, спорить о которых бесполезно ввиду их ясности, точности и очевидности. Пусть сводка такого рода фактов пока далека от полноты, пусть значительная часть языкознания и литературоведения останется неохваченной, однако зачем же нам пренебрегать подобными фактами? Филологам предстоит еще много работать над собственной аксиоматикой, которая хотя бы отдаленно приближалась к математической; однако совершенно необходимо предпринимать посильные шаги в этом направлении.

Обзор литературы по теории знака до начала 60-х годов дан нами в работе «Критические замечания по поводу современных знаковых теорий языка»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> «Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 1970, № 403, с. 26—40.

Перечислим главнейшие работы на русском языке за последние два десятилетия, когда знаковая теория языка стала развиваться особенно бурно. В значительной мере наше исследование будет основываться на этой литературе, хотя по многим вопросам придется произвести логическую работу заново, учитывая исключительную сложность предмета.

Ахманова О. С. и др. О точных методах исследования языка. М., 1961.

Геллнер Э. Слова и вещи. М., 1962.

Шафф А. Введение в семантику. Перев. с польск. под ред. А. А. Якушева. М., 1963.

Бенвенист Э. О природе языкового знака.— В кн.: История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. I. М., 1964.

Научная конференция «Проблемы формализации семантики языка». Тезисы докладов. М., 1964.

Труды по знаковым системам, II. Тарту, 1965 (для нашей темы особенно важны статьи Ю. М. Лотмана, Б. Л. Огибенина, В. В. Иванова и В. Н. Топорова, В. Цивьяна).

Иванов В. В. и Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.

Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М., 1965.

Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.—Л., 1965.

Волков А. Г. Язык как система знаков. М., 1966.

Язык и мышление. М., 1967 (в этом сборнике особенно важны статьи В. И. Кодухова, Н. З. Коталовой, В. С. Юрченко, Д. П. Горского, Н. Г. Комлева, Г. В. Колшанского, Э. В. Кузнецова, К. Г. Кушельницкой, А. Н. Савченко, В. А. Колушкина, Н. А. Слюсаревой, Ю. С. Маслова).

Уваров Л. В. Образ, символ, знак (анализ современного гносеологического символизма). Минск, 1967.

Труды по знаковым системам, III. Тарту, 1967 (особенно важны для нашей темы статьи А. М. Пятигорского и Б. А. Успенского, Х. Удам).

Варина В. Г. К проблеме семантики слова (автореф. канд. дисс.). М., 1967.

Симпозиум «Методы исследования семантики лингвистических единиц» (тезисы докладов). М., 1967 (важны тезисы Ю. С. Степанова, Е. С. Кароляка, С. И. Сятковского, А. Г. Волкова, З. Д. Поповой, Ю. Н. Караулова).

Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода». М., 1967.

Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968.

Аветян Э. Г. Природа лингвистического знака. Ереван, 1968.

Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968.

Научный симпозиум «Место терминологии в системе современных наук» (тезисы докладов). М., 1969.

Труды по знаковым системам, IV. Тарту, 1969.

Комлев Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969.

Проблемы знака и значения. Под ред. И. С. Нарского. М., 1969.

Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам, 17—24 августа 1970 г. Тарту, 1970.

Лосев А. Ф. О нецелесообразности математических обозначений в лингвистике для лингвистов.— «Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 1970, № 403, с. 5—25.

Полторацкий А., Швырев В. Знак и деятельность. М., 1970.

Лосев А. Ф. О пределах применимости математических методов в языкознании (О сравнительной характеристике языкового и математического знаков).— В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.

Уваров Л. В. Символизация в познании. Минск, 1971.

Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. Под ред. А. А. Лесотьева. М., 1971.

Коршунов А. М. Теория отражения и творчество. М., 1971.

Вопросы семантики. Тезисы докладов. М., 1971.

Научный симпозиум «Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики». М., 1971.

Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971.

Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971.

Нам кажется, что обилие работ по знаковой теории языка вполне дает право поставить вопрос о том, что же такое сам языковой знак в той мере, в какой это представляется ясным и бесспорным специалистам. Думается, что при всех трудностях и неизбежных недостатках такого рода работы она все же окажется небесполезной, поскольку отмечает то, что пока еще не очевидно, сомнительно и спорно.

Аксиома есть исходное суждение, лежащее в основе сложных суждений из определенной области знания. Сводка такого рода аксиом есть аксиоматика. Возможна ли аксиоматика в языкознании вообще и, в частности, в области знаковой теории языка? Нам думается, что при условии осознания предварительности такой аксиоматики она не только возможна, но и необходима. Более или менее совершенная аксиоматика и в языкознании, и в знаковой теории языка и литературы возникнет еще очень нескоро. Вообще решать какие-либо

вопросы в этой области, выдавая решение за единственно возможное и окончательное, было бы весьма легкомысленным и совершенно дилетантским занятием.

## I

### Аксиомы общей информации

1. **Вступительные замечания.** К сожалению, единственный имеющийся на русском языке словарь по информатике<sup>3</sup> не только не ставит никаких аксиоматических целей, но и значительную часть понятий информатики определяет, допуская логическую ошибку *idem per idem*. Документальная информация в словаре основана «на использовании документов»; устная информация выражена «при помощи устной речи»; письменная информация выражена «в письменном виде»; цифровая информация выражена «при помощи цифр». Таковы же определения в этом словаре семантической, входящей, выходящей, экономической, политической, библиографической информации и т. д. Везде здесь только *idem per idem*.

Это обстоятельство, естественно, отсылает нас к основному определению информации в данном словаре: информация — это «содержание какого-либо сообщения; сведения о чем-либо, рассматриваемые в аспекте их передачи в пространстве и времени». «В более общем смысле информация — это содержание связи между материальными объектами, проявляющееся в изменении состояний этих объектов»<sup>4</sup>. И здесь не вполне понятно, почему речь идет только о пространстве и времени, почему имеются в виду только материальные объекты, а не какие-нибудь другие (например, умственные), что такое «содержание» и что такое «сообщение».

Однако составители этого словаря, вероятно, не преследовали логических целей, а стремились к обще-

<sup>3</sup> Словарь терминов по информатике на русском и английском языках. Под ред. А. И. Михайлова. М., 1971.

<sup>4</sup> Там же, с. 29.

доступности изложения — задача не менее важная и поэтому не снижает ценности словаря. Ясно только то, что знаковая аксиоматика должна начинаться с чего-то хотя бы и банального, но зато в логическом смысле первичного и не имеющего никаких доказательств.

Из всего предыдущего мы сделаем только один вывод, который и ляжет в основу нашей аксиоматики знаковой теории языка. А именно уже с самого начала мы будем относить язык к знаковой сфере, а эту последнюю — к информации, информацию же — к сфере сообщения или содержания сообщения. Все эти исходные понятия аксиоматики останутся у нас вначале без всякого определения. Информация — «сведения, содержащиеся в данном речевом сообщении и рассматриваемые как объект передачи, хранения и переработки»<sup>5</sup>. Насколько трудно обойтись без логической ошибки *idem per idem* в определении слова *знак* показывает также словарь О. С. Ахмановой, у которой *знак* есть «показатель, выразитель данного языкового значения»<sup>6</sup>, где *знак* определяется через «значение», в то время как логически нужно было бы идти в обратном порядке. Это просто означает то, что такие слова, как *знак* или *значение*, в своих логических истоках просто неопределимы. Мы не определяем, что такое язык, считая, что такое определение будет излишним и слишком уж очевидным. Точно так же мы не будем определять и того, что такое сообщение или содержание сообщения, а тем самым и того, что такое вообще информация.

Однако вернее будет сказать, что эти исходные, первичные и далее уже не определяемые понятия не то, чтобы остались у нас решительно без всякого определения, а что неопределимыми останутся только исходные пункты всех этих категорий. Это необходимо для избежания ухода в «бесконечность» в поисках окончательных определений. Но вместе с развитием аксиоматики знаковой теории все эти категории будут все больше и больше наполняться определенным смысловым содержанием и потому в конце концов получают необходимую для них логическую определенность. Одно толь-

---

<sup>5</sup> Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 184.

<sup>6</sup> Там же, с. 158.

ко необходимо сказать: не нужно стремиться к окончательным и немедленным определениям.

2. **Первичные аксиомы знаковой теории языка.** Кажалось бы, такие термины, как «первичность» или «аксиома», не должны были бы вызывать никакого сомнения у читателей. К сожалению, однако, дело обстоит совсем иначе. То, что мы считаем первичным, может показаться слишком банальным. Так как нам хотелось бы все же распутать клубок первичных установок знаковой теории, мы все же попробуем выставить на первый план эти «банальные» утверждения, хотя читатель тут же увидит, что банальность эта здесь только внешняя, а на самом деле она определяет собой целое направление в знаковой теории, и поэтому даже не всякий исследователь согласится с некоторыми «из наших банальных» утверждений.

3. **Аксиомы общей информации в собственном смысле.** Здесь мы имеем в виду прежде всего те три первичные аксиомы, без которых, как нам кажется, совершенно невозможна не только материалистическая, но вообще реалистическая знаковая аксиоматика.

*Аксиома I. Всякий знак предполагает, что существует нечто внезнаковое обозначаемое и уж тем более нечто означаемое или значащее.* Кажалось бы, тут и думать не о чем. Раз есть знак, значит, есть и тот предмет, который он обозначает. Однако философы и логики умудрились даже и это самоочевиднейшее утверждение подвергнуть таким интерпретациям, после которых сама эта аксиома теряет всякий смысл. Те, кто вращается в области только чистого мышления, конечно, затрудняются в понимании выражения «означаемое». Тем более, мы прибавим, что под «означаемым» мы понимаем внезнаковое означаемое. Дело заключается в том, что всякое А существует только тогда, когда есть какое-нибудь и не-А, от которого оно чем-нибудь отличается. Если для знака не существует никакого объекта, который бы он обозначал, это значит, что знак вовсе не функционирует как именно знак, т. е. никакого знака вообще не существует. Но могут сказать, что существует и вообще много всяких предметов, отличных от знака, и все-таки эти предметы вовсе пока еще не есть означаемое. Разумеется, кроме знаков существует вообще много всего другого. Противопологать знак всем этим вне-

знаковым предметам, конечно, можно сколько угодно, но при таком условии мы совсем выйдем из знаковой области, и наш знак вовсе не получит или не станет получать своего, именно знакового существа.

*Аксиома II. Всякое обозначаемое и тем более означаемое предполагает, что есть знак, которым оно обозначено.* Данная аксиома, как это само собой разумеется, является обратной в отношении аксиомы I. Тут, казалось бы, разговаривать не о чем. Однако нежелание размышлять на эту тему может возникнуть лишь вследствие вполне определенных философских взглядов. Под невинным, на первый взгляд, отрицанием первичности нашей аксиомы II кроется, попросту говоря, самый настоящий агностицизм, т. е. учение о непознаваемости вещей в себе, либо субъективизм, для которого знаки есть только интрасигнификационная или интрасигнифическая игра понятий, не имеющих никакой объективной направленности, либо учение Канта об идеях, которые хотя и необходимы для полноты знания, но не доказуемы и противоречивы ввиду отсутствия для них такого же объективно-реального предмета. Таким образом, отрицание аксиомы II является не таким уж невинным. Под этим последним кроется определенного рода абстрактная метафизика, которая вовсе не для всех обязательна, а особенно для автора настоящей статьи.

*Аксиома III. Всякий знак функционирует как акт обозначения для чего-нибудь обозначаемого и уж тем более для всякого означаемого.* Казалось бы, какая простая вещь то, что знак нечто обозначает и что для знака необходим тот внезнаковый предмет, который им обозначается. И все же идут бесконечные споры о том, что это за внезнаковый предмет, каковы его свойства, да и существует ли он вообще. Может быть, для понятия знака достаточно только мысленного предмета и более никаких других внемысленных объектов даже и не требуется? Именно для отмежевания от подобной субъективной метафизики, которая стремится свести язык к субъективному кружению понятий, а логику — только к языку, для избежания именно такого рода метафизики мы и ввели первые аксиомы I, II, III. Ясно также и то, что без этих трех первичных аксиом не может обойтись даже самая оголтелая абстрактная

метафизика, потому что ведь и она тоже нечто приносит, нечто означает или обозначает и всегда имеет какой-то предмет обозначения, пусть хотя бы самый извращенный.

Однако кроме этих трех первичных аксиом общей информации необходимо сформулировать еще по крайней мере три аксиомы в системе общей информации.

*Аксиома IV. Всякий знак предполагает для себя того или иного внезакового, но вполне специфического носителя.* Не будем удивляться кажущейся очевидности и этой аксиомы. В действительности же здесь кроется вполне определенный и притом необходимый предмет для размышления.

Прежде всего знаки могут создаваться не только одним нашим артикуляционным аппаратом. Когда раздается звук торжественного салюта, ведь это тоже нечто значит. Но где же тут человеческая артикуляция?

Однако аксиома о внезаковом носителе языка имеет гораздо более широкое, более глубокое и специфическое значение. Может ли знак языка быть знаком, если его носитель, его, так сказать, субстанция только и сводится к нему же самому? Представим себе, что на свете существует только один белый цвет, что все предметы и вещи, все существа и люди, все растения и животные, все человеческие изделия, наконец, вся земля, все реки и все небо обладают только одним цветом — белым; представим себе, что нет серого, который близок к белому цвету, и нет серого, который близок к черному цвету, и уж тем более нет никаких хроматических цветов. В обстановке такой всеобщей и постоянной белизны могли бы мы иметь представление о белом цвете или других цветах, да и вообще о цвете? Если что-нибудь существует, то оно чем-нибудь отличается от другого, а если оно ничем не отличается ни от чего другого, то оно не имеет и никаких свойств или качеств, и можно ли будет в таком случае говорить о его существовании вообще? Ведь придется говорить о том, что не имеет никаких свойств и, следовательно, о том, о чем мы ничего не знаем. Человеческая речь должна быть прежде всего сама собой. А для этого она должна чем-нибудь отличаться от всего другого, так как иначе она не будет иметь никаких свойств или качеств, т. е. не будет сама собой.



Речевой знак получает свою специфику лишь в том случае, если при нем имеется тот или иной, но уже внезаковый носитель. Артикуляционный аппарат человеческой речи как раз и является этим внезаковым носителем человеческих речевых знаков. Шлепанье губами, движение языком и т. п., взятые сами по себе, вовсе не человеческая речь. Ведь все это есть и у животных, вовсе не обладающих способностью к человеческому речевому общению.

Другими словами, отсутствие в знаке его внезакового носителя лишило бы язык возможности вообще быть человеческим языком. Внезаковый носитель языка, отличный от знака как такового, лишил бы его возможности быть носителем разной степени его знаковости, как и существование всего мира в условиях однородной и лишенной всяких различий абсолютной близости лишило бы этот мир не только обладания разными цветами и красками, но и цветом вообще. Следовательно, справедлива аксиома, требующая для всякого знака обязательно также и носителя этого знака, вполне определенного, вполне специфического, но обязательно внеязыкового.

*Аксиома V. Всякое обозначение требует для себя своего собственного и специфического, а главное, своего собственного внезакового носителя.* Эта аксиома едва ли требует особых разъяснений. Всякий физик знает, что не только человеческая речь, но и всякий вообще звук приводит в движение воздушную среду. Взятые сами по себе эти воздушные волны вовсе ничего не обозначают, кроме самих себя. Ни к человеку, ни тем более к человеческому языку это явление может не иметь никакого отношения. Это — физика или в крайнем случае физиология. Но ведь произносятся слова, общаясь с другими людьми, мы не только не думаем о воздушных волнах, вызываемых нашей речью, но можем ничего не знать об их существовании. Человек, не изучавший физики, акустики или физиологии, ничего и не знает о существовании этих воздушных волн, тем не менее он говорит по-человечески. Значит, существует внезвуковой, внеязычный, внезаковый носитель знака. Знаки не могут существовать без этой внезаковой материальной стихии.

*Аксиома VI. Всякий обозначаемый и уже тем са-*

*мым всякий означаемый предмет необходимо требует для себя своего собственного и специфического, а главное, своего собственного внезакового носителя. Мы нечто обозначаем. Существует ли это нечто? Во всяком случае и при любых предположениях оно обязательно существует. Иначе, что же именно мы тогда обозначаем? Существуют предметы, пока нами не обозначенные и даже не опознанные. Но можно ли сказать, что их существование проявляется только в связи с нашим обозначением и находится в какой-то зависимости от него? Пусть пока мы не знаем средней температуры Марса, значит ли это, что на Марсе нет вовсе никакой температуры? Что-нибудь утверждать вовсе не значит создавать объект утверждения. Факты не возникают в зависимости от наших исследований, предметы существуют не по причине того, что мы их сознаем. До недавнего времени мы, например, не знали, какова обратная поверхность Луны. А теперь многое об этом знаем. Так значит ли, что до последних исследований Луны никакой обратной стороны у Луны совсем не существовало?*

Но в таком случае можно ли обозначенное нами признавать без всякой, пока еще не обозначенной нами стороны обозначенного? Если что-нибудь обозначено, значит, оно существует. Иначе что же мы в таком случае обозначали? Допустим, что обозначенное нами вовсе не то, что мы обозначали, т. е. допустим, что мы обозначали свой предмет неправильно. И в этом случае обозначить что-нибудь можно только тогда, когда это что-нибудь существует. Даже любую глупость, любой субъективный вымысел, любую деформацию нашей психики мы можем обозначать только в том случае, если все это действительно существует. Психиатр обозначает психическую болезнь какого-нибудь умственно-расстроенного больного как подлинный объективный предмет; вы считаете это шизофренией или паранойей, и это для вас вовсе не объект, а только искаженное субъективное существование данного больного. Однако для психиатра это вовсе не капризный и распушено себя ведущий субъект, а самый настоящий объективный предмет, в который он объективно вмещивается и который он может в известных случаях даже привести в нормальное состояние.

Итак, обозначенное может иметь самые разные ви-

ды и способы своего обозначения, правильные и неправильные, глубокие и поверхностные, цельные или частичные. Все это возможно только потому, что за всем этим разнообразием бесконечных обозначений существует какой-то определенный носитель этих обозначений. И если бы не было этого общего носителя разнообразных обозначений, если бы не было этого предмета, который с разных сторон правильно или неправильно обозначается, если бы не было внезнакового носителя всех этих бесконечных обозначений, возникающих в результате знакового функционирования, то не существовало бы никакого и обозначения. Ведь всякое обозначение в этих условиях было бы субстанциально оторвано от другого обозначения; и тогда получилось бы, что у нас вовсе не один определенный предмет обозначения, пусть разнообразного, пусть правильного или неправильного, а было бы столько же разных предметов обозначения, не имеющих ничего общего между собой, сколько и самих обозначений.

Другими словами, нарушение этой аксиомы разрушило бы самый предмет обозначения и рассекло бы его на бесконечное множество разных предметов, пусть много или мало имеющих общего между собой, но уж во всяком случае дискретных. Наш единый и общий предмет обозначения просто исчез бы.

**4. Аксиомы отражения.** До сих пор мы касались значения или обозначения, собственно говоря, только с их фактической стороны и со стороны их фактического взаимоотношения, но мы еще не вникали в содержание знака, а брали его лишь как таковой, между тем далеко не всякое тело и вещество и далеко не всякая материя или субстрат могут считаться знаками. Может быть, они что-нибудь и значат, но это их значение относится совсем к другим сферам и не вскрывает знака в его содержательном отношении и в его специфическом отношении. Кроме фактической стороны всей области обозначения она еще имеет и свою специфику, а именно свою смысловую специфику. Чертежник определенным образом и вполне специфически относится к своему чертежу. А то, что чертежник тоже относится или соотносится с вычислителем, маляром, каменщиком и т. д., это нас здесь не может интересовать, поскольку такого рода соотношения, хотя они и фактичны, тем не менее

имеют совсем другой смысл, другую логику и вовсе не относятся к сфере нашего рассмотрения.

Для характеристики понятия знака необходимо вскрыть именно знаковое содержание. Чтобы знак был знаком и именно специфическим знаком для того, что он обозначает, необходимо, чтобы он имел свое собственное, свое внутреннее, присущее только ему специфическое содержание. Это последнее может быть и более общим и менее общим. Отсюда вытекают следующие аксиомы, по-нашему, тоже не нуждающиеся ни в каких доказательствах, но вполне самоочевидные.

*Аксиома VII. Всякий знак предмета есть отражение предмета.*

*Аксиома VIII. Все обозначаемое есть то, на чем отразился определенный знак.*

*Аксиома IX. Соотношение между знаком и обозначаемым, кроме их фактического соотношения, находится еще в состоянии взаимного самоотражения.*

Ясно, что с понятием отражения мы впервые начинаем входить в область знака по его смыслу. О каких бы соотношениях знака и обозначаемого (числовых, психологических, физических, физиологических и вообще фактических) мы ни говорили, пока знак не несет с собой какого-нибудь определенного смысла и пока обозначаемое не получило того нового смысла, которого оно не имело бы до акта обозначения, а это касается и самого акта обозначения, до тех пор наш знак вовсе не есть знак, и в свой предмет, как бы близко он к нему ни относился фактически, он ничего нового не привносит. Только обозначив данный предмет в том или ином смысле, мы действительно воспользовались и знаком, именно как знаком, или, другими словами, пока знак, обозначаемое и акт обозначения не наполнились определенным смыслом, до тех пор мы находимся вне сферы обозначения.

Отражение того или иного предмета в его знаке, т. е. отражение по самому его смыслу, пока знак не стал именно смысловым знаком, не есть знаковое отношение, и мы вообще до тех пор находимся вне сферы обозначения или даже вне сферы значения или значимости. Бочка с водой и ведро являются предметами, которые прежде всего совершенно самостоятельны и не имеют друг к другу никакого отношения. Например, ведро с

красильным веществом не имеет ничего общего с бочкой, которая наполнена водой. Мы это можем заменить и более близким соотношением. Мы можем, например, сказать, что ведро меньше бочки, а бочка больше ведра или что оба они имеют назначение наполняться каким-нибудь то более жидким, то менее жидким, то более густым, то менее густым веществом. Это обстоятельство уже гораздо больше вскрывает соотношение между бочкой и ведром. Но если мы скажем, что бочка наполнена именно только водой, а наше ведро имеет своей единственной целью только черпать эту воду из бочки, то тем самым мы коснулись уже самого смысла существования этих двух предметов, самого их назначения. Бочка будет уже по своему содержанию и смыслу указывать на то, что она существует для сохранения воды и для вычерпывания этой воды ведром; а ведро будет иметь только тот смысл, что его содержимым является только вода, почерпнутая из более обширного водоема, например из бочки. Поэтому весьма недостаточно говорить только о каком-то необходимом соотношении знака и обозначаемого. Нужно говорить о каком-нибудь определенном соотношении этих предметов, причем содержание это должно быть однородным по своему смыслу для обоих предметов, о соотношении которых мы говорим. Отсюда еще три очевиднейших утверждения, которые являются только повторением предыдущих трех, но с подчеркиванием именно их смысловой стороны.

*Аксиома X. Всякий знак есть смысловое отражение предмета.*

*Аксиома XI. Все обозначаемое есть то, на чем смысловым образом отразился определенный знак.*

*Аксиома XII. Соотношение между знаком и обозначаемым, кроме их фактического соотношения, находится еще в состоянии смыслового взаимного самоотражения.* Уже понятие отражения значительно обогатило наше представление о знаке или обозначаемом в их фактическом соотношении. В самом деле, если в знаке никак не отражается обозначаемое, а обозначение ничего нового не получает от наименования его тем или другим знаком, то тут, конечно, нет ни какого-нибудь знака, ни какого-нибудь обозначенного предмета. Только в том единственном случае, когда по своему смыслу

знак выделяет в предмете обозначающую им область в виде определенного содержания, и только в том случае, если эта последняя тоже по самому своему смыслу свидетельствует о знаке как о том, что в нем отразилось, ни знак, ни обозначаемое не будут относиться к сфере обозначения. Всякий знак есть смысл или носитель смысла, и всякое обозначаемое есть тот предмет, который при помощи того или иного осмысленного знака также и сам получил осмысленное содержание. Шлепать губами или издавание тех или других бессмысленных звуков тоже не имеет никакого языкового содержания. Однако движение губами, языком или звучание какого-либо голоса, когда они имеют какой-нибудь определенный смысл или какой-нибудь вполне специфический или даже не только специфический, но именно словесный, т. е. только в случае своей определенной осмысленности все эти движения человеческого артикуляционного аппарата могут стать человеческим языком или, по крайней мере, его существенным компонентом. Все что-нибудь значит, но далеко не всякое тело или вещество значит именно то, что мы хотели бы, и только в том единственном случае, когда тело отражает на себе смысл какого-нибудь другого тела, оно является (или может явиться) знаком этого тела. Не вводя понятия отражения в аксиоматику смысловой теории языка, мы теряем из виду и сам язык и уж тем более ничего не говорим о теории языка.

Язык — это прежде всего смысловая сфера; и знаки языка неизбежно наделены смыслом, а свой смысл они получают от тех предметов, которые они обозначают.

## II

### Аксиомы специальной информации

1. **Общая и специальная информатика.** То, что мы выше рассматривали в разделе общей информации, было чрезвычайно важно для понятия знака, поскольку языковой знак, как и знак вообще, как раз и относится к сфере информации. Это рассмотрение знака в рамках

общей информации имеет и свои положительные и свои отрицательные стороны. Безусловно, положительным является здесь, что язык анализируется как нечто осмысленное. Кроме того, языковой знак предмета мы находили в том, что в этом знаке отражается сам предмет и что благодаря выраженности той или другой предметности в языке последний и является смысловой сферой или относится к смысловой сфере. Противоположение знака предмета самому предмету было безусловно необходимо для определения того, что такое знак. Без такого содержательного наполнения знака он не был бы сообщением о предмете, указанием на содержание предмета, выражением этого последнего и, следовательно, вообще не был бы знаком. Ведь каждый знак всегда есть знак чего-нибудь; а знак, который не является знаком чего-нибудь, вовсе не есть знак. Эту простейшую истину как раз и должны были формулировать наши аксиомы общей информации.

Вместе с тем, однако, отнесение языкового знака к сфере смысла все еще далеко от определения того, что такое языковой знак. Ведь смысл имеют вообще все вещи, окружающие нас. Дерево есть дерево, а не собака, которая сидит под этим деревом. И собака есть именно собака, а не кошка, с которой она дерется. Ясно, что ни общесмысловая сфера языкового знака, ни тем более внеязыковой носитель этого знака вовсе не являются окончательным определением языкового знака, а скорее, только его началом, только его необходимыми предпосылками. Поэтому помимо общей необходима специальная аксиоматика, где будут рассматриваться аксиомы, более специфичные для языка, да и более специфичные для знака вообще. Среди нагромождения философских, логических и языковедческих понятий в этой области нам необходимо проложить какой-нибудь определенный путь, чтобы не уклоняться в сторону и не смешивать близких друг к другу, но тем не менее совершенно разных категорий. Смысл знака в общей информатике признавался нами скорее в виде некоторого факта без всякого внутреннего значения и без всякой его специально знаковой структуры. Проблемы, не вошедшие в область общей информатики, и должны определить собой путь аксиом специальной информатики, сначала достаточно абстрактной, но потом

уже непосредственно близкой к специфике знаковой теории языка, наконец, как мы надеемся, и идентичной с нею.

**2. Знак и смысл знака.** Итак, знак мы могли понимать именно как знак при помощи противопоставления его внезнаковой сфере. Тем самым мы вторглись в смысловую область знака, без которой он не может быть определен даже как просто знаковый факт. Но раз мы уже вторглись в область знаковой теории, она требует от нас логического анализа. Мы сказали, что всякий знак нечто обозначает (аксиома I). Но такого рода формулировка, если сосредоточиться на смысловой стороне знака, не есть в подлинном смысле первичное, а только указывает на известное противопоставление знака в области самого же первичного. Если же сосредоточиться на самом знаке как на некоторого рода смысле действительно в первичном значении слова, т. е. без противопоставления другим моментам в области смысла, то нужно сосредоточиться просто на знаковой природе знака как таковой. Точно так же и обозначаемое рассматривалось нами раньше как нечто противоположное знаку, поскольку иначе вообще нельзя было отделить знак от обозначаемого и рассматривать их в условной раздельности. Отсюда возникают три аксиомы, которые относятся к значимости как к таковой и говорят только о знаке как о знаке.

**Аксиома чистой знаковости I (XIII).**  
*Всякий знак нечто значит.*

**Аксиома чистой обозначенности II (XIV).**  
*Все, что является осмысленно обозначенным, есть результат функций смыслового знака.*

**Аксиома чистого акта обозначения III (XV).**  
*Всякий акт обозначения есть акт смыслового обозначения.*

Эти три аксиомы обеспечивают для нас существование знака в его чисто знаковой, т. е. чисто смысловой, природе. К этому необходимо прибавить еще следующее.

Мы отделили знак от его носителя и знаковость от ее телесной оболочки. Это дало нам возможность, отделив знак от всего внезнакового, сосредоточиться на нем самом. И хотя никакой знак невозможен без носителя знака, без его материи, без его субстанции или



без его субстрата (тут возможны самые разнообразные термины, обозначающие внезапное окружение знака), тем не менее — и об этом мы тоже достаточно говорили — ни носитель знака не есть сам знак, ни его субстанция не есть сам знак и т. д. Для того чтобы зафиксировать эту нематериальность знака (возможную, как мы уже говорили, только в условиях материального носительства знака), приходится и относящиеся сюда принципы тоже выдвинуть как необходимые и очевидные.

К сожалению, существует очень прочная и почти непреодолимая тенденция все смысловое и все идеальное толковать только как материальное и только как физическое. Думают, что если физические вещи являются материальными, то и все на свете обязательно материально и физично. Все смысловое и, следовательно, все идеальное, с марксистской точки зрения, вовсе не отсутствует и вовсе не есть ничто. Идеальное, с точки зрения марксизма, есть отражение материального. Но марксизм никогда не утверждал, что ничего идеального не существует. Если оно есть отражение материального, то это значит, что оно тоже есть, тоже существует и тоже действует, но только при одном условии: при условии своей отраженности из сферы материального. Отражение предмета вовсе не есть отсутствие предмета, а, наоборот, предполагает существование этого предмета, так как иначе отражением чего же именно является само-то отражение?

Здесь имеется в виду только специфическое бытие отражения, а вовсе не полное отсутствие того бытия, которое именно отражается, и вовсе не утверждается отсутствие самого отражения. Ведь иначе пришлось бы отменить таблицу умножения, которая ведь не есть ни карандаш, ни перья, ни ручки, ни яблоки, ни вишни и вообще не есть что-нибудь материальное. Тем не менее таблица умножения отражает собой именно материальное, но только не просто поверхностно материальное, не просто карандаши и ручки, но и нечто такое, что лежит в глубине самого материального. Поэтому и знак вовсе не связан обязательно с тем физическим предметом, который он обозначает, и хотя фактически знак и эта вещь друг от друга неотделимы, мы все же о знаке можем говорить отдельно, подобно тому, как мы

говорим в математике о числах или величинах и даже строим и решаем основанные на них уравнения. Отсюда возникает следующая аксиома чистой знаковости.

*Аксиома чистой бессубстратности IV (XVI). Всякий знак, всякое обозначенное и всякий акт обозначения возможен только как область чистого смысла, освобожденная от всякой материи и какой бы то ни было субстанции.*

Впрочем, в истории философии многие мыслители, замечая очевиднейшую нематериальность знака или числа, так же как и вообще идеи вещи и ее отражения, представляли себе отдельный и сверхъестественный мир, наполненный этими чистыми идеями, числами, понятиями и знаками. Такова вся платоновская и аристотелевская философия с ее бесчисленными разновидностями, оттенками и компромиссами. Но построение такого рода сверхматериальной действительности является делом слишком уж необязательным и даже личным, слишком уж произвольным. Такую философию можно оспаривать с разных сторон, но то, что смысловая природа знака не есть материя, это оспаривать нельзя.

**3. Аксиомы конструктивных элементов.** Имея в виду все вышеизложенное, необходимо сказать, что до сих пор языковой знак рассматривался нами вне всякой своей структуры, т. е. рассматривался как таковой. Чтобы продвинуться на пути специальной информатики, мы теперь должны специфицировать и сам этот языковой знак, т. е. исследовать, действительно ли он является чем-то безраздельным, безразличным и бесформенным целым или ему тоже свойственна какая-нибудь своя собственная внутренняя структура.

*Аксиома неделимой единичности V (XVII). Всякий знак есть неделимая единичность.* Всякий предмет есть нечто, а именно он сам. И всякий знак тоже есть нечто, а именно он сам. Знак есть знак и ничто другое. Можно ли в этом смысле говорить о его делимости, раздельности или структуре? Едва ли. Ведь даже и любое число из натурального ряда чисел; хотя оно и складывается из определенного числа единиц (например, 3 есть сумма трех единиц, 4 есть сумма четырех единиц и т. д.), тем не менее тройка есть нечто целое и совсем никак неделимое; она есть неделимая

единичность. Это видно из тех больших чисел, число единиц которых мы не можем даже и перечислить и которые просто называем каким-нибудь общим именем, сразу охватывающим все входящие сюда единицы в одно нераздельное целое. Пусть скажут, что тройка состоит из трех единиц, которые можно тут же перечислить, т. е. представить их в отдельности и тут же их суммировать. Но когда мы говорим *сто, тысяча, миллион*, то при всех таких обозначениях мы не можем перечислить и даже представить себе все входящие сюда отдельные единицы. И уж тем более не можем их суммировать. И все-таки каждый знает, что такое 1000 и какое отличие этого числа от 999 и от 1001. Следовательно, сама тысяча эмпирически, конечно, составляется из тысячи отдельных единиц. Тысяча есть тысяча, а не просто сумма тысячи единиц. Иначе и не понадобилось бы для этого создавать специальные термины.

В этом смысле и каждый знак тоже есть знак, тоже по своей идее неделим и тоже не имеет внутри себя никаких различий, хотя фактически каждый знак можно изменить, можно составить его из отдельных частей и производить внутри него любые числовые операции.

Отсюда две необходимые аксиомы конструктивных элементов языкового (да и всякого смыслового) знака, не менее необходимые, чем указанная выше аксиома V (XVII).

Аксиома раздельности VI (XVIII). *Всякий знак обязательно есть та или иная раздельность, т. е. обладает разными частями, элементами, моментами, способными дробиться и варьироваться до бесконечности.* В банальной форме эта аксиома самоочевидна, по ввиду своей самоочевидности даже как будто бы и бесполезна. Она действительно очевидна, поскольку всякую вещь можно бесконечно дробить; и если мы какую-нибудь вещь не дробим бесконечно, то это вовсе не потому, что такая бесконечная операция для человека физически невозможна. Ведь никакой жизни не хватит на то, чтобы дробить данную вещь бесконечно и получать все более и более ее малые части. Однако это только фактически. Принципиально же нет никаких данных утверждать, что из единицы, бесконечно дробимой, нельзя получить бесконечное число дробей.

Но для нас в нашей работе важно даже не это, т. е.

не эта возможная бесконечность дробления. Для нас важно то, что языковые знаки могут действительно получать бесконечное число значений. Если вдуматься во все те смысловые оттенки, которые мы придаем издаваемым нами звукам, произносимым словам, составляемым нами предложениям, а значит, и всему тому, что на этом строится, т. е. целым речевым периодам, целым рассказам или стихотворениям и вообще целым произведениям, то, действительно, словесный знак получит для нас такое огромное количество значений, что будет не так уж безграмотно, даже и в математическом смысле, чтобы заговорить здесь о бесконечности. Языковой знак, о неделимой единичности которого мы говорили в предыдущей аксиоме, оказывается сейчас в этой аксиоме VI (XVIII) настолько делимым, что прямо нужно говорить о его бесконечной делимости. Ведь нельзя исчислить не только семантику, но даже и простую фонетику человеческой речи. Один и тот же звук, который есть именно он сам, а не что-нибудь другое, как будто есть нечто неделимое, так как иначе он перестанет быть звуком, и тем не менее попробуйте учесть все индивидуальные признаки произношения данного звука, и — вы не ошибетесь в том, что количество этих оттенков неисчислимо и число их в буквальном смысле слова практически бесконечно. Это и заставляет нас признавать аксиому VI (XVIII) как самоочевидную и не требующую никаких доказательств.

Аксиома цельности VII (XIX). *Всякий знак есть единораздельная цельность.* То, что знак есть знак, доказывать нет необходимости ввиду самоочевидности такого суждения. Но всякий знак представляет собой некоторого рода раздельность — об этом тоже говорить нечего ввиду очевидности такого утверждения. На то мы и называем подобного рода утверждения аксиомами. Но вот теперь оказывается, что всякий знак и, значит, языковой знак и не разделен, и является раздельностью, сразу и одновременно. И это тоже не требует доказательства, потому что это всякому известно. И тут тоже языковой звук как будто бы и остается сам собой и в то же самое время бесконечно разнообразится в своем произношении. Во всяком случае при любом его произношении мы все же его узнаем. Значит, при всех своих звуковых вариациях он все-таки остав-

ся сам собой. А ведь иначе мы не могли бы и понимать друг друга. Если скажем в одном случае *водный* и звук *о* будет услышан другими без всякого затруднения и полноценно, то, произнося слово *вода*, произносим *о* в данном слове уже несколько иначе, чем в слове *водный*. Это будет какой-то новый звук, средний между *о* и *а*; и вообще он может быть достаточно беззвучным, а иной раз и действительно беззвучным. Ведь когда мы произносим *лестный* или *известный*, то звук *т*, можно сказать, вовсе нами не произносится. И вообще полное или полноценное звучание данного звука обязательно смешивается в беглой речи или при беглом разговоре с таким произношением этого звука, который вовсе уже не настолько полноценен, а, может быть, даже и вообще отсутствует. Другими словами, принципиальная значимость данного звука и его фактическое звучание («фонема» и «фонемойд») представляют собой нечто единое и целое, единое потому, что мы его везде узнаем, а целое потому, что фактическое звучание совмещает в едином и нераздельном целом теоретически данную и общую фонему, с одной стороны, и фактически произносимый всегда разный фонемойд, с другой стороны. Различны между собой фонема и фонемойд или неразличны? Для диалектически мыслящего человека это вовсе не есть вопрос, а только бессмысленный набор слов. Главное здесь то, что при слиянии фонемы и фонемойда (а оно является здесь жизненной необходимостью) мы получаем совершенно новое качество звука, которое нет никакой возможности разделить на фонему, взятую отдельно, и на отдельно существующий фонемойд.

Итак, безраздельность и раздельность одинаково присущи всякому знаку, если он действительно знак. И здесь мы говорим опять о самой обыкновенной банальности, не требующей никакого доказательства.

4. **Структура и модель.** Сейчас мы можем употребить два термина, которые получили в настоящее время весьма большое распространение, но ясность которых, мягко выражаясь, заставляет ожидать лучшего будущего. Каждый языковед и неязыковед понимает эти термины в каком-нибудь специальном виде, так что в науке, можно сказать, воцарилась в этой проблеме невероятная путаница. Тем не менее в этой терминологии

гии затрагиваются настолько важные предметы, что без того или иного употребления данных терминов наше исследование будет в значительной мере отставать от всего современного научного словоупотребления.

Проще будет сказать несколько слов о термине «структура». Уже самое элементарное значение этого термина указывает на какое-то построение, устройство, распределение. Употребляя этот термин, даже всякий ненаучный работник всегда представляет какую-то раздельную ясность и какое-то построенное единство. Скажем прямо: то, что мы сейчас назвали «единораздельная цельность», — это и есть то, что мы назовем структурой. Нигде невозможно добиться определенного значения этого термина. Самое близкое понимание к существу дела заключается в указании на отношение или систему отношений. Автор настоящей работы вполне согласен с тем, чтобы структуру понимать как отношение или как систему отношений. Некоторые говорят здесь о связи отношений или о пучке отношений.

Эта терминология неплохая. Существенным недостатком ее является только то, что она или совсем не указывает на момент цельности, который заключается в самом понятии структуры, или указывает на него косвенно (в случае понимания структуры как системы, связи или пучка отношений). Но структура предмета обязательно есть прежде всего некоторого рода цельность. Однако это такого рода цельность, которая в то же самое время содержит в себе в яснейшей форме и все элементы, из которых она составляется.

Нужно различать «часть» и «элемент». Часть — это та вещь, которая хотя и входит в состав другой вещи, но мыслится совершенно отдельно от нее. Ведь можно стекло, входящее в дверцы шкафа, представить себе совершенно отдельно от самого шкафа и не думать о том, что тут имеется в виду именно только шкаф. Например, стекло, составляющее дверцу шкафа, может иметь самостоятельное художественное значение, может содержать в себе те или другие рисунки, может быть так или иначе окрашено или содержать те или другие чертежи. В этом случае, рассматривая данное стекло, мы совсем забываем о том, что стекло относится к составу шкафа и не будет рассматриваться как элемент самого шкафа, а будет иметь совершенно самостоятель-

ное значение и, самое большее, такое стекло назовем частью шкафа, и никакого нового термина «элемент» совершенно не понадобится.

Другое дело, если мы будем рассматривать шкаф в целом, куда войдет, конечно, и рассматривание составляющих его стекол. В этом случае стекло уже потеряет для нас самостоятельное значение, а будет рассматриваться в свете того целого, которое есть шкаф. Следовательно, часть вещи, хотя она и есть именно часть шкафа, одна имеет для нас самостоятельное значение. Эта часть есть именно часть, а не элемент. Элемент же — это то, что, входя в целое, только и мыслится в связи с этим целым и делается конечным только в связи с целым.

Итак, структура есть цельность, однако цельность раздельна внутри себя самой, так что, рассматривая все, что содержится в этой цельности, мы не забываем о самой этой цельности. Цельность рассматривается нами в свете составляющих ее элементов, а элементы цельности рассматриваются в свете этой цельности. Это и есть единораздельная цельность, т. е. структура.

Звук, в этом смысле слова, вовсе не может рассматриваться нами как часть чего-то. Ведь мы же говорим о звуках речи. Может ли каждый отдельный звук речи рассматриваться сам по себе? Если мы возьмем слово *дом*, то можно ли сказать, что мы сначала помыслили звук *д* и тут же о нем забыли, потом стали рассматривать звук *о* в его самостоятельности и отдельности, т. е. опять тут же его забыли при переходе к следующему звуку, а потом представили себе звук *м* и опять ради отделения его от соседних звуков тут же о нем забыли? Можем ли мы в таком случае слово *дом* понимать именно как слово *дом*? Ведь ни звук *д* не есть *дом* и то же самое ни звук *о*, ни звук *м*. Как же из трех нулей составила какая-то определенная единица, которую мы назвали *дом*? Ясно, что при такой дискретности не может образоваться ни какое-нибудь слово, ни какое-нибудь предложение, ни какая-нибудь связь предложений, периода, строфы, главы рассказа и т. д. Следовательно, употребляя звук *д* в слове *дом*, мы в то же время мыслим и *о*, и *м*; а во время произношения звуков *о* или *м* мы мыслим одновременно и два других звука, входящих в слово *дом*. Целое, таким

образом, решительно мыслится как таковое в каждом из составляющих его элементов, а каждый элемент мыслится одновременно со всем целым, в которое оно входит. Для диалектики такое положение дела вполне элементарно. Но как обойтись здесь без диалектики, мы не знаем.

Совершенно ясно, что аксиому VII (XIX) о том, что знак есть единая цельность, мы можем прочитать и так: знак предмета есть структура предмета, если только знак действительно обозначает предмет, а не беспредметен. Впрочем, если даже представить себе беспредметный знак, то и здесь мы либо вообще ни о чем не говорим, либо говорим о знаке что-то такое, чего мы не знаем, о знаке неопределенного, туманного или вовсе не существующего предмета, а только данного в нашей произвольной фантазии. Ясно, что даже в этом случае аксиома VII (XIX) остается правильной.

Труднее обстоит дело с термином «модель».

Вероятно, значение этого термина в настоящее время еще более запутанное. Однажды автор настоящей работы попробовал исчислить количество разных значений этого термина<sup>7</sup>. Он нашел их 34. Однако эта цифра, несомненно, слишком мала. Даже при перечислении этих 34 оттенков значения слова «модель» автору приходили в свое время в голову еще новые значения, которые казались ему в тот момент менее принципиальными. Но насколько можно судить сейчас, несомненно, фактическое число семантических оттенков данного термина должно быть весьма и весьма увеличено. Не будем здесь перечислять все семантические оттенки слова, как они употребляются в литературе разного рода. Мы дадим то простейшее и яснейшее определение слова «модель», которое постоянно употребляется в речи.

Когда говорится о модельном платье или модельной обуви, то всякий понимает под этим нечто лучшее, образцовое, наиболее красивое и приятное. Модель — это, попросту говоря, образец, и притом образец лучший, наилучший или, скажем, идеальный. При этом условии модель противоположна копии. Модель есть

---

<sup>7</sup> См.: Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968, с. 13—20.



образец для копии, а копия есть снимок с модели, подражание модели, использование ее в качестве чего-нибудь лучшего, более красивого или более удобного.

Спросим себя теперь: может ли знаковая теория языка обойтись без понятия модели? То, что она не может обойтись без понятия структуры, было нам ясно потому, что знак нельзя представлять себе чем-то изолированным и дискретным. Уже то, что всякий знак есть знак чего-нибудь, обязательно накладывает на него определенного рода построение, единство и раздельность, определенного рода структуру. Но это же самое рассуждение относится и к модели. Модель тоже ведь есть модель чего-то или для чего-то.

Обратимся опять-таки к тому простейшему, что имеется в языке, — к звукам. Ведь звуки речи необходимым образом связаны между собой. Эта связь лишает всякий звук его изолированности, дискретности, оторванности от речи в целом. Поэтому мы и говорили, что звук есть элемент речи, т. е. элемент речевой структуры. Но ту же ли самую мысль мы должны проводить и в вопросе о том, как понимать модель? Ведь если известный комплекс звуков накладывает на каждый входящий сюда звук свою определенную печать целого, так что звук речи оказывается не частью речевого отрезка, но уже его элементом, то так же и комплекс звуков, который является цельностью для каждого входящего в нее звука, тоже отражается на каждом отдельном звуке и тоже является в известном смысле его моделью. Речевой звук есть элемент речевой структуры, а речевая структура есть модель для каждого входящего в нее звука.

Однако фонетика и фонология — это уж слишком элементарные области, где понятие структуры и модели уже нашли для себя обязательное и весьма плодотворное применение. Однако чем сложнее речь, тем более интенсивно функционируют в ней структурные и модельные принципы. Если мы возьмем, например, достаточно обширный отрезок речи определенного содержания и определенной формы, то эти принципы структуры и модели могут получать совершенно неожиданное значение, далеко выходящее за рамки непосредственного содержания и формы, в узком смысле слова. Если мы скажем, что физика твердого и неподвижного

тела есть модель для геометрии Евклида, т. е. возьмем модель из области, не входящей в непосредственное содержание фигур и т. е. геометрии Евклида, то всякому будет ясно, что понятие модели в данном случае стало весьма глубоким и неожиданным, а в то же самое время для науки самым простым и самым необходимым. И вообще, пользуясь своим языком и своей речью, мы непрерывно употребляем те или иные модели, часто даже сами не понимая, насколько эти модели далеки от обыденного понимания слова «модель». Мы здесь то и дело пользуемся такими структурами, сложность которых не только не приходит никому в голову, но в них затруднится даже научный работник, специально изучающий область структурных соотношений.

Итак, структура и модель являются теми необходимыми принципами, без которых невозможно конструктивное понимание знака. А знак, лишенный всякой конструкции, т. е. не соотносящийся определенным образом ни с другими знаками, ни даже с самим собой, вовсе не есть знак, а только та мысленная или мнимощутимая неопределенность, о которой ничего нельзя ни сказать, ни помыслить.

В заключение этого небольшого рассуждения о структуре и модели мы должны сказать, что многие считают эти понятия и соответствующие им термины чем-то излишним и ненужным. Говорят так: если имеется такой общепонятный термин, как «форма», то для чего же еще придумывать такие термины, как «структура» или «модель»? На это необходимо ответить, что слово *форма* еще менее понятно, еще более запутанно, еще больше имеет всякого рода семантических оттенков, чем термины «модель» и «структура», и что поэтому указание на якобы понятность слова *форма* не может являться здесь серьезным аргументом. Во-вторых же, эти два термина хороши именно тем, что они подчеркивают в языке тот более абстрактный элемент, который мало охватывается словом *форма*. Всякий знак, и прежде всего языковой знак, содержит в себе множество всякого рода тончайших логических моментов, для которых термин «форма» является слишком малоговорящим. Этот более тонкий момент изучаемой нами терминологии заключается в том, что термины эти подчеркивают отстранение не только просто содержания,

противоположной форме, но они выдвигают на первый план, мы бы сказали, бессубстратность формы. Модель противоположна не содержанию, но только копии, которая, возможно, входит в область какого-нибудь содержания. И копия противоположна не форме, но именно модели, которая, возможно, совсем не входит непосредственным образом в то или иное содержание или в ту или иную форму. Можно начертить треугольник на стене, но можно его начертить также и на земле, можно в своем саду сделать грядку в виде треугольника. Стена, земля, садовые грядки и т. д. являются в данном случае только разным субстратом для одной и той же формы треугольника. Сказать так можно, но это будет у нас только обыденной и повседневной речью. На самом же деле здесь идет речь не о форме, которая имела бы значение сама по себе, но именно о модели, которая предполагает для себя свое осуществление на том или ином субстрате. Модель предполагает для себя тот или иной субстрат, который может воплотить в себе эту модель как некоторого рода копию. Но модель, предполагающая тот или иной субстрат, сама по себе вовсе еще не есть этот субстрат. Поэтому модель в языке и нужно мыслить как бессубстратную категорию. Да даже и копия известной модели, возникшая на том или другом субстрате, вовсе еще не есть сам субстрат, а только та или иная его структура, та или иная его копия, которая, по сути дела, тоже еще не есть субстрат вообще, а только определенным образом оформленный субстрат.

Это делает принципы модели структуры чем-то гораздо более абстрактным, нежели понятие формы и содержания, к тому же для более точного логического мышления тоже не очень ясные. Но если уж мы решились на создание аксиоматики знаковой теории языка, то мы не должны бояться никаких абстракций или логических тонкостей, поскольку всякая аксиома как нечто максимально общее и максимально далекое от того, что подпадает под аксиому, всегда окажется в той или иной мере тонким логическим и вполне абстрактным суждением, предполагающим такие же тонкие логические категории. Это не должно пугать нас еще и потому, что и сам знак предмета, в сравнении с самим предметом, тоже есть нечто гораздо более абстрактное,

чем сам предмет; а всякая абстракция всегда есть нечто более тонкое, чем те предметы, от которых она абстрагирована.

Отсюда вытекают две самоочевидные аксиомы.

*Аксиома структуры VIII (XX). Всякий знак имеет свою собственную структуру.*

*Аксиома модели IX (XXI). Всякий знак является либо моделью для самого себя, либо для каких-нибудь других предметностей того же типа.*

**5. Контекст и значение.** До сих пор мы рассматривали понятие знака в его неподвижном, стабильном или, по крайней мере, устойчивом функционировании. Однако некоторый момент смысловой подвижности возник перед нами уже в анализе понятий структуры и модели. Ведь если каждый элемент структуры несет на себе всю ее целостность, то уже это одно значит, что от данного элемента структуры мы можем легко переходить и к другим элементам структуры, и к самой структуре в целом. А ведь если структура и элемент структуры либо тождественны, либо только различны, то это значит, что никакой структуры у нас не существует. Полное тождество всех элементов структуры с ее целым заставило бы слиться всю нашу структуру в одну неразличимую точку. А полное различие каждого элемента структуры с ней же самой заставило бы нас каждый такой элемент рассматривать только в его изолированной форме, т. е. он перестал бы быть элементом структуры, и вся структура опять распалась бы, но на этот раз уже без перехода не только к одной и единственной точке, но и целому ряду дискретных точек, не имеющих никакого отношения друг к другу и, следовательно, тоже не образующих собой ничего целого и, следовательно, никакой структуры. Это же рассуждение относится и к понятию модели. Или мы можем перейти от модели предмета к самому предмету, который в данном случае отразит на себе модель в виде ее определенной копии, и — тогда наша модель для нашей копии действительно есть ее модель. Но если нет никакого смыслового перехода от модели к ее копии и обратно, тогда модель копии вовсе не есть ее модель и копия модели вовсе не есть ее копия. Следовательно, уже в понятии модели и копии мы коснулись той категории подвижности, без которой

немыслим никакой язык, да и вообще немыслим никакой знак.

Язык есть обязательно смысловая подвижность и даже непрерывность. Только допотопный механицизм заставляет сейчас многих из нас говорить, что слово состоит из звуков, а словопроизводство или словосочетание состоит из отдельных морфем или отдельных слов или что предложение тоже состоит из нескольких слов. На самом же деле, если брать язык, начиная с минимального звучания и кончая огромными структурами этих разнообразных звучаний, то, во-первых, придется опираться на новый принцип, который нами еще не был затронут, — это принцип движения или подвижности; а во-вторых, поскольку речь идет о смысловом знаке, то этот принцип звуковой подвижности приведет нас к самым неожиданным семантическим построениям, которые уже не будут иметь ничего общего ни с изначальными звуками, ни с их разнообразными комплексами.

Возьмите любой более или менее подробный словарь, и притом любого языка, и вы поразитесь тем множеством значений, которым обладает то или другое слово, если его брать не статически, а динамически, т. е. в процессе развития живого языка и живой речи.

В процессе изучения языкового контекста поражает это разнообразие значений каждого отдельного слова. Это значение может принимать самые разнообразные формы, начиная от нуля и до бесконечности. Иной раз слово или даже отдельная морфема имеет целый десяток или, может быть, несколько десятков значений. В другом случае это значение настолько разнообразно, что мы начинаем затрудняться даже как-нибудь перечислить все наличные семантические оттенки данного слова. А в третьем случае изучаемый нами звуковой комплекс вдруг исчезает совсем, мы перестаем понимать его значение, и значение это доходит до нуля.

Если мы возьмем такие слова, как *розоватый*, *синеватый*, *мрачноватый*, то всякому ясно, что в такой форме эти слова указывают на пониженную выраженность того или иного качества. *Розоватый* значит не вполне розовый, а более близкий к белому, серому или еще какому-нибудь другому цвету. Спрашивается: чем же выражается в языке эта пониженная интенсивность

значения? Если кто-нибудь скажет, что тут все дело заключается в суффиксе *ат*, то ведь это же будет совершенно неверно. Когда мы произносим *продолговатый* или *виноватый*, то ни о каком понижении интенсивности значения производящей основы в данном случае речь не идет. Это же самое относится к таким, например, словам, как *волосатый*, *бородатый*, *носатый*, где *ат* вовсе не указывает ни на какое сниженное качество вещей, о которых говорят данные слова. А в слове *носатый* суффикс *ат* указывает, пожалуй, даже на более интенсивную семантику данного качества, а вовсе не на ее снижение. Но, может быть, эту сниженную семантическую значимость выражает суффикс *ов*? И это неправильно. Ведь не выражает же он этой пониженной семантики в таких словах, как *розовый*, *лиловый* и т. д. Остается только сказать, что указанная пониженная семантика зависит от звукового комплекса *оват*, т. е. от соединения двух суффиксов *ов* и *ат*. Однако и подобного рода объяснение тоже никуда не годится, так как иначе *виноватый* обозначало бы собой «до некоторой степени виновный» или «очень мало виновный» и т. д. Чем же в конце концов выражается в слове *розоватый* эта свойственная ему низшая степень розовости или неполная розовость? Получается, таким образом, что указанная степень пониженной семантики не выражается в данном слове совершенно никак — ни производящей основой слова, ни его суффиксами.

Ясно, что единственный способ объяснить указанную сниженную значимость слова *розоватый* требует привлечения каких-нибудь других элементов, далеко выходящих за пределы слова *розовый*. Но единственный способ этого объяснения заключается только в учете словесного контекста этого слова в известной группе аналогичных слов, в известном диалекте, где это слово употребляется в той или иной обстановке и, может быть, даже в широчайшем историко-культурном контексте. Таким образом, последним и окончательно решающим для употребления данного знака принципом является только контекст, а для языка — как языковой, так и внеязыковой контекст в широчайшем смысле этого слова. Можно ли в таком случае не считать аксиомой для знака тезис о его контекстной значимости?

Аксиома контекста X (XXII). *Всякий знак получает свою полноценную значимость только в контексте других знаков, понимая под контекстом широчайший принцип*<sup>8</sup>.

Однако в связи с этой аксиомой контекста возникает множество других вопросов, касающихся определения того, что такое знак. Ведь сразу же оказывается очевидным, что никакой знак немислим в абсолютной смысловой пустоте и что даже самое примитивное свое значение он только и получает в том или ином, но тоже смысловом окружении. Здесь можно было бы выдвинуть массу всякого рода тоже очевиднейших аксиом, которые, может быть, и не всегда формулируются, а то и совсем не формулируются, но бессознательно предполагаются каждым лингвистом, занятым теорией языка. Из всего этого множества проблем мы выбрали бы, пожалуй, только одну, да и то из-за одного термина, получившего большое распространение в лингвистике и часто подвергающегося то малым, то большим исследованиям. Этот термин — «значение».

Мы уже достаточно изучили, что такое знак и что такое означаемое. Мы хорошо знаем, что всякий знак нечто значит, равно как и другие понятия, связанные со словом *знак*. Спрашивается теперь: что же такое значение? Известно, что знак является только тогда знаком, когда он нечто значит, т. е. имеет значение. Известно, что и означаемое тоже имеет некоторого рода значение в отличие от тех вещей, которые никак не обозначены и ничего для нас не означают. Наконец, то же самое нужно сказать и о самом акте обозначения, который ведь тоже является не чем иным, как носителем некоторого значения, связанного и с соответствующим знаком, и с соответствующим значением, и с соответствующим обозначаемым.

Знак нечто значит и имеет значение. Но и значение тоже как будто бы предполагает существование знака,

---

<sup>8</sup> Проблема языкового контекста отнюдь не нова и еще до сих пор разрабатывается многими учеными. Чтобы указать на сложность этой проблемы (а также и на существующую библиографию по этому вопросу), мы сошлемся на небольшую, но весьма содержательно и четко построенную работу А. В. Бондаренко «Грамматическая категория и контекст» (Л., 1971). Работа эта будит мысль лингвиста в самых различных направлениях, разработка которых, к сожалению, не входит в план нашего настоящего изложения.

при помощи которого оно возникает. С удивлением мы убеждаемся в том, что и обозначаемое тоже нечто значит и тоже имеет свое собственное значение. Что же такое значение, если его брать как самостоятельное целое? Ч. К. Огден и И. А. Ричард<sup>9</sup> попробовали подсчитать все оттенки термина «значение». Этих оттенков они насчитали 23. Однако есть один смысл термина «значение», который в настоящее время для нас наиболее важен, поскольку мы заняты аксиоматикой знаковой теории языка.

Этот смысл термина «значение» заключается в том, что он выражает собой точку встречи знака и обозначаемого, ту смысловую арену, где они, встретившись, уже ничем не отличаются друг от друга. Возьмем какой-нибудь иностранный словарь. Он состоит из перечня слов данного языка с указанием тех значений, которыми обладает данное слово. Само собой ясно, что слово, рассматриваемое в словаре, есть какой-то знак. Но знаком чего именно является данное слово, об этом как раз и говорят те значения данного слова, которые здесь перечислены. Чем же в таком случае отличается значение от знака? В первую очередь тем, что знак есть нечто более общее и более абстрактное, так что он гораздо меньше осмыслен, чем его конкретное значение. Знак осуществился на каком-то внезнаковом субстрате, и этот внезнаковый субстрат, получивший конкретное значение, оказался в смысловом отношении гораздо богаче самого знака. Но ведь внезнаковый субстрат есть не что иное, как контекст. Взяв данное слово вне всех его контекстов, мы, конечно, его чрезвычайно обедняем, если не лишаем всякой значимости. Свой реальный смысл слово получает только в связи с теми или другими контекстами, а ведь этих контекстов существует, можно сказать, бесконечное количество. Греческое слово *aretè* или латинское *virtus* по образцу поздней античности и моралистов как досредневекового, так и средневекового типа переводится как «добродетель». Но вот в греческом мы встречаем, например, такое словосочетание, как *aretè* лошадей. Можно ли здесь говорить о «добродетели»? Конечно, нет. Здесь

---

<sup>9</sup> Ogden C. K., Richards J. A. *The Meaning of Meaning*. London, 1953.



имеются в виду породистость лошади, ее физические качества, ее использование для тех или иных надобностей или ее годность в том или ином отношении. В таких греческих выражениях, как *aretē* героя, в архаическом и классическом греческом языке тоже имеются в виду не столько моральные качества, сколько благородство происхождения, военные подвиги, сила воли, физическая сила или выносливость. Так, гомеровский Ахилл, который только и занимается пролитием крови своих врагов, трактуется как носитель именно этой *aretē*. Можно сказать, что оттенков значения этих слов столько же, сколько их контекстов. Латинское *virtus*, если иметь в виду слово *vir* «муж», тоже вовсе не есть «добродетель», а скорее, «доблесть» или «мужество». Все эти разнообразные и почти неперечисляемые оттенки значения данных слов возможны благодаря тому, что в живом языке эти слова берутся только в связи с разнообразным контекстом речи. Отсюда же вытекают свои особые аксиомы значения. Их мы формулируем так.

*Аксиома значения XI (XXIII). Значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста.* Само собой разумеется, что в связи с этой контекстуальной значимостью варьируется значение также и означаемого, и акта обозначения.

Тут, следовательно, главное внимание нужно обращать на контекст, который может быть и очень бедным и очень богатым, очень разнообразным, противоречивым и в количественном отношении даже бесконечным. Даже если мы возьмем знак в его полной изоляции от его контекста, т. е. от всякого его окружения, то и в этом случае знак, если мы все еще продолжаем трактовать его как знак, тоже будет иметь свое значение. Но тогда, ввиду исключения всякого контекста, необходимо будет сравнивать знак с ним же самим, т. е. он сам явится для нас не только знаком, но и тем, что обозначено. Если мы выставим такой, не подлежащий никакому сомнению тезис, как «знак есть именно знак», то и в данном случае мы неопределенную и непонятную для нас природу знака сопоставили с ней же самой, т. е. отождествили знак с ним же самим. И это вовсе не пустословие. Когда говорится: «война есть война», то это неопределенное слово *война* хотя

объяснить при помощи соответствующего содержания понятия войны. Такого рода тезис является только попыткой уяснить, что же такое война. Поэтому и наша следующая аксиома не является в логическом отношении каким-нибудь пустословием, а тоже указывает на определенное, правда, в данном случае примитивное, но уж во всяком случае несомненное значение знака как такового.

Аксиома значения единичного знака XII (XXIV). *Всякий знак есть именно знак, а не что-нибудь другое, т. е. имеет значение знака, отличное от самого знака.* Фактически всякий языковой знак указывает на нечто иное, чем он сам. Однако чтобы продумать этот вопрос до его логического конца, придется сказать, что даже если нет ничего иного, кроме данного знака, и не имеется в виду какой-нибудь внешний для него контекст, то даже и в таком случае наличие контекста оказывается несомненным, поскольку таковым контекстом окажется для себя самого сам же знак. Можно поэтому сказать, додумывая эту проблему до ее логического конца, что всякий знак, пока он останется для нас знаком, обязательно имеет значение, даже если нет ничего другого, кроме него, с чем мы могли бы его сравнивать.

Аксиома значения вообще XIII (XXV). *Всякий знак в любом случае имеет значение, понимать ли под контекстом нечто внезнаковое или понимать ли под контекстом знака самый знак, взятый сам по себе*

б. Символ. Мы установили, что всякий знак что-нибудь обозначает, самого ли себя или нечто другое. Каждый знак поэтому имеет одно или несколько значений. В заключение этой главы нам хотелось бы указать на тот интересный случай, когда знак имеет бесконечное число значений. На первый взгляд такой «бесконечный знак» как будто бы является чем-то невозможным, нелепым или бессмысленным. Ведь не требует же доказательства тот факт, что контекстов для любого текста может существовать сколько угодно. Когда в наших словарях или грамматиках перечисляются значения того или другого слова или грамматического термина, то всегда можно придумать такой контекст, который ведет нас дальше и шире указанной группы значений, как бы она ни была велика. Поэтому

разве может что-нибудь помешать нам мыслить знак как бесконечное количество значений. Автор настоящей работы занимался, например, семантикой такой грамматической категории, как падеж<sup>10</sup>. Мы пришли к выводу, что обычное перечисление значений того или другого падежа, которое мы находим в русских или иностранных грамматиках, несравнимо с тем фактическим разнообразием этой падежной семантики, которое мы фактически находим в естественных языках. Перечислить все значения даже какого-нибудь одного падежа нет возможности, как бы далеко мы ни шли по пути этого перечисления. Мы могли прийти только к одному выводу, а именно, что значений, например, родительного падежа данного слова столько же, сколько всех контекстов, в которых данное слово употребляется, т. е. это бесконечность. Вполне понятно, что составители словарей и грамматик, а также научные исследователи падежной категории должны ограничиваться констатацией только определенного количества как значений данного падежа, так и падежей вообще. Однако достаточно намечить хотя бы основные вехи семантики данного падежа, чтобы тут же констатировать возможность возникновения еще новых и новых семантических оттенков между установленными основными вехами. Поэтому нет ничего странного в нашем утверждении, что всякий падеж имеет бесконечное количество значений и что даже само количество падежей в окончательной форме неперечислимо. Становление и текучесть внутри семантики отдельного падежа, а также между падежами вообще настолько неперечислимы и для терминологии неуловимы (зато они весьма отчетливо уловимы для непосредственного «чувства языка»), что мы будем пользоваться для этой непрерывной семантической текучести каким-нибудь специальным термином. Нам представляется подходящим для этого термин «символ». Опять-таки здесь необходимо отвлечься от разнообразного значения этого термина «символ», которое в истории науки настолько велико, что даже слова ли перечислимо. В таких случаях приходится каждому автору использовать собственное

---

<sup>10</sup> См.: Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей, с. 229—246.

«чувство языка» и терминологии. Ведь иначе нельзя будет употреблять даже и таких терминов, как «смысл», «значение», «контекст» и даже сам термин «знак». Мы исходим здесь только из того общепонятного факта, что количество значений любого языкового знака невозможно, перечислить ни в каком виде и что эту перечислимость, фактическую и вполне необходимую, нужно как-нибудь обозначить: если наш термин «символ» здесь не подходит, мы не станем возражать против другого, более подходящего термина. В настоящем же пункте нашего исследования мы считаем единственным исходом — употребление термина «символ», откуда и возникает соответствующая аксиома.

*Аксиома символа XIV (XXVI). Всякий знак может иметь бесконечное количество значений, т. е. быть символом.*

**7. Заключение.** В заключение мы должны сказать, что указанными аксиомами общей и специальной информации исследование аксиоматики теории языка отнюдь не исчерпывается. Мы начинали с указания на существование самого факта знака. Мы специально изучили смысл этого факта, заключающийся в отражении той или иной действительности. Мы указали на соотношение в знаке, существующее между фактом или носителем и самим знаком. Наконец, мы перешли к вопросу о соотношении с окружающим его знаковым или внезнаковым фоном. Этим самым мы не столько исчерпали учение о знаковой природе языка, сколько подвели под него необходимый логический фундамент, да и то ограниченный только самыми общими категориями информации. Остается изучение еще огромной и для нас самой важной области знаковой теории, а именно области чисто функционально, а не просто структурной, куда, между прочим, относится и вопрос о специфике языкового знака, о стихийности возникновения и развития языка, о его коммуникативной функции и, в частности, о функции конструктивно-технической, т. е. о той функции языкового знака, когда он, сначала обозначив действительность только в пассивном виде, переходит в активное наступление и начинает переделывать саму действительность. Однако все эти функциональные стороны языковой знаковости рассматриваются нами в другом исследовании.

## Аксиоматика теории специфического языкового знака (Стихийность знака и ее отражение в сознании)<sup>1</sup>

В работе 1973 года под названием «Аксиоматика знаковой теории языка»<sup>2</sup> мы занимались тем, что можно назвать структурной стороной языка. Мы обследовали отношение знака к носителю знака, к означаемому и к разным сферам применения знака, которые превращают знак в значение. Но в конце указанной статьи мы отметили, что структура знака — это еще не весь язык и что у нас остается не обследованной еще вся функциональная сторона языка, т. е. вопросы о стихийном происхождении языка, о стихийных его функциях в смысле коммуникации, о языке как факторе преобразования действительности и пр. Этими внеструктурными сторонами языка мы сейчас и должны заняться, поскольку языковые структуры достаточно подробно освещены в указанной статье.

Здесь прежде всего возникает проблема языка как системы знаков особого рода, т. е. вопрос о специфике языкового знака. Ведь знаков существует бесчисленное множество и без всякого человеческого языка или вне всякого человеческого языка. Уличные светофоры тоже являются знаками для транспорта и для прохожих, но назвать их знаком можно, очевидно, только в переносном смысле слова. Потепление погоды в наших широтах в марте месяце есть знак приближения весны. Но, конечно, это вовсе не есть языковые знаки в собственном смысле слова. В структурном смысле слова — это действительные знаки. Но в смысле специфически языковых знаков — это вовсе не знаки. Отсюда само со-

---

<sup>1</sup> Статья была опубликована в кн.: Проблемы общего и русского языкознания. М., 1978, с. 22—49.

<sup>2</sup> Напечатано в сборнике «Вопросы грамматики и лексики русского языка» (М., 1973, с. 22—56). В силу неизвестных автору причин название этой статьи чудовищным образом искажено, и напечатано: «Аксиоматика — знаковая теория языка».

бой возникает вопрос, где же и в чем же мы должны находить специфически языковые знаки.

В этой области, казалось бы, и говорить не о чем. Ведь языковой знак, или язык, есть принадлежность только человека, т. е. личности и общества. Все, что «говорит» нам в природе, говорит вовсе не в специфическом смысле слова. Слово *говорит* вовсе не обозначает здесь человеческого языка. Если что-нибудь «говорит» нам в природе, то слово *говорит* мы употребляем здесь вместо *открывает, изображает, возбуждает наши чувства, пробуждает нашу мысль*, это вовсе не есть человеческий язык в собственном смысле слова. Ни веселый и светлый пейзаж, ни странный и дикий пейзаж, ни роза или жасмин, ни овчарка или бульдог ровно ничего не говорят нам о себе в смысле человеческого языка. Образ, вид, картина при всей своей яркости и выразительности, при всей своей значительности не обладают сознанием или мышлением, не обладают членораздельной речью и в этом смысле ровно ничего нам не говорят. То, что «говорит» нам образ, вид или картина вещей, не есть язык в собственном смысле слова, и получаемые нами отсюда знаки вовсе не являются знаками языка, если понимать язык специфически.

То, что язык в особом, в специфическом смысле слова есть акт человеческого сознания и мышления, что он есть орудие разумного жизненного общения людей, что он есть фактор воздействия на действительность, все это, казалось бы, является настолько простой вещью, что тут и разговаривать не о чем. Гром и молния есть знак того, что вот-вот пойдет дождь. Но никто не думает, что гром и молния имеют свое сознание и мышление, что они употребляют членораздельные слова и они говорят в чисто человеческом смысле. Казалось бы, о чем тут думать и что это за проблема? Но у нас устраиваются целые конференции о языке как о системе знаков особого рода, затрачиваются огромные научные усилия для формулировки природы этого «особого» знака, пишутся ученые, углубленно-философские и часто малопонятные исследования о специфике языкового знака; и до настоящего времени вся эта проблематика все еще остается в туманном виде.

Нетрудно объяснить происхождение такой научной

ситуации в определении специфики языкового знака. С середины 50-х до середины 60-х годов мы слишком увлекались структурами языка, забывая, что в структурном отношении всякие знаки представляют собой нечто совершенно одинаковое. И математика, и все точные науки, и все естествознание, и вся техника, да и значительная область нашей бытовой жизни — все это состоит из употребления знаков. И знаки эти везде одни и те же. Одно и то же отношение знака и носителя знака, одно и то же отношение знака и обозначаемого предмета, одно и то же отношение знака и значения. Словом, везде и всюду знак есть определенного рода система смысловых отношений, и в этом смысле мы и пытались обрисовать природу знака в указанной у нас выше статье.

Но ведь если все время учитывать только этого рода знаки, т. е. знаки в их структурном построении, если все время пытаться выражать эти знаки только математически или только естественнонаучно и вообще только структурно, то ведь очень легко забыть о том, что такое человеческий знак, что такое знак в своем специфически-языковом отношении. У нас настолько увлекались установлением структур чисто человеческого языка, что за этими структурами забыли и о природе самого человеческого языка. И вот теперь возникает якобы новая, якобы трудноразрешимая проблема — это проблема именно человеческого языка, т. е. языка в собственном смысле слова, языка в смысле выражения человеческого сознания и мышления, в смысле общения одного человека с другим и в смысле воздействия одного человека на другого и вообще на всю действительность.

Успокоительным образом должно действовать на нас сознание того, что и в период расцвета структурализма никогда не забывался в советском языкознании сам язык, никогда не забывалось то, что лежит под структурами языка и из чего только и могут появляться эти структуры. Но с середины 60-х годов в нашей литературе начинают звучать голоса, уже прямо направленные против абсолютизации структурных методов. Самих структур у нас никто и никогда не отрицал. Задолго до появления структурализма Л. В. Щерба уже приводил фразы, состоящие из бессмысленных

слов, но таких, которые снабжены определенными морфологическими показателями, свидетельствующими для нас, что тут перед нами именно грамматическое предложение, хотя и вполне бессмысленное. Такого рода бессмысленными предложениями Л. В. Щерба хотел указать именно на структуру предложения, независимую от семантики составляющих это предложение слов. И такое отчетливое представление о структуре предложения ничуть не мешало, а скорее только способствовало появлению у Л. В. Щербы весьма важных и ценных трудов по лингвистике.

Однако уже в середине 60-х годов в советской лингвистике раздалось мощное слово против крайностей абсолютизированного структурализма. Ф. П. Филин<sup>3</sup> утверждал, что опасность этой новой теории заключается в «абсолютизации системных связей, в понимании языка как непротиворечивой структуры языковых символов, имманентной в своем развитии, в отрыве языка от общества»<sup>4</sup>. Он же выставляет еще и такое возражение против абсолютизации формально-системных отношений в языке: «Существующие в действительности системные связи в языке противоречивы, система — это не только гармоническое сочетание элементов одного и того же порядка, но в то же время и совокупность противоречивых элементов и отношений, отражающих диалектическую борьбу противоположностей, борьбу старого с новым, отживающего с нарождающимся»<sup>5</sup>. Конечно, Ф. П. Филин вовсе и не думает отрицать значимость структурального изучения языка. Он только отводит этому изучению соответствующее место, достаточно важное, но ни в коем случае не исключительное<sup>6</sup>.

Автор настоящей работы во второй половине 60-х годов тоже не раз выступал с критикой абсолютного структурализма, защищая языковые структуры не в их изолированности, но в их совокупном состоянии и в их

---

<sup>3</sup> См.: Филин Ф. П. Заметки о состоянии и перспективах советского языкознания. — «Вопросы языкознания», 1965, № 2, с. 15—28.

<sup>4</sup> Там же, с. 18.

<sup>5</sup> Там же, с. 21.

<sup>6</sup> Такова предлагаемая Ф. П. Филиным общая программа советского языкознания в конце статьи (с. 26—28).



единстве с внеструктурной стихией языка. Подчеркнем, что здесь шла борьба не против самих структур, которые необходимы не только в языке, но и во всех ощущаемых нами и мыслимых предметах, а против именно изолированного выделения структур и против изолирования внутренней и самостоятельной, доструктурной или, вообще говоря, внеструктурной стихии языка<sup>7</sup>.

Разбирать всю эту аргументацию в целях защиты живых, а не мертвых структур языка сейчас не является нашей задачей. Мы еще указали бы на одного автора-литературоведа, который одновременно с нами и в очень острой и убедительной форме доказывал несостоятельность изолированных структур.

Этот автор — П. В. Палиевский. В своей статье под характерным названием «Мера научности» он пишет, что после всех попыток характеризовать литературное произведение только чисто структурно, т. е. чисто схематически, в литературе «стало обнаруживаться непонятное и неожиданное сопротивление, странная неподатливость, которая указывала на что-то несравнимо более серьезное, требовавшее совсем иного понимания»<sup>8</sup>. За научными схемами и законами мира и жизни всегда кроется сам мир и сама жизнь, а вот они-то как раз и невыразимы в отвлеченных схемах или, точнее сказать, выразимы только отчасти. «Если это так, то не нужно быть никаким философом, чтобы, занимаясь своим делом, признавать некоторые простые вещи. То есть: что наука в каждой ее стадии знает только то, что она знает; что природа «знает» все, и что поэтому идея, будто мы призваны перекачать все

---

<sup>7</sup> См.: Лосев А. Ф. О методах изложения математической лингвистики для лингвистов.— «Вопросы языкознания», 1965, № 5, с. 13—30; Он же. Логическая характеристика методов структуральной типологии.— Там же, 1967, № 1, с. 62—79; Он же. О возможности сближения лингвистики классической и лингвистики структуральной.— Там же, 1968, № 1, с. 50—63; Он же. О пределах применимости математических методов в языкознании (о сравнительной характеристике языкового и математического знака).— В кн.: Лениннизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970, с. 184—195. Попытку совмещения структурных и традиционных методов языкознания мы предпринимали в своей книге «Введение в общую теорию языковых моделей» (М., 1968).

<sup>8</sup> Эта статья была напечатана в журнале «Знамя» (1966, № 4), а потом была перепечатана в сборнике того же автора: Пути реализма. Литература и теория. М., 1974, с. 57.

силы природы в известные законы и на них только строить свою жизнь и мысль, наивна, несбыточна, и при стечении определенных обстоятельств, если хотите, небезопасна». «Предлагая свою определенность, начиная с которой якобы можно строить модель, структурализм сразу останавливает литературу и обращает ее в заводной механизм. Все становится выводимым одно из другого по конечной схеме; возникает мнимая ясность, которая попросту отрезает себя от непрерывного целого и наполненного безначальным смыслом образа». «Совершенно незачем, например, с ученым видом называть что ни попало «моделями»: модель языка, модель культуры, модель поведения. Жизнь не является моделью и не построена из моделей (хотя модели в ней и участвуют). У модели есть начало и ограниченный принцип — у каждой капли жизни он уходит в бесконечность и выводит наружу, если его не остановить, все новые и новые качества». «Конечно, пренебрегать наукой было бы не только дико, но и невозможно. Но в отношениях науки и жизни, науки и литературы должна существовать мера, и, по-видимому, не математическая»<sup>9</sup>.

В заключение этих цитат из статьи П. В. Палиевского необходимо сказать, что этот автор своей небольшой статьей сделал весьма большое дело, ограничив и притом весьма отчетливым образом ту научность, дальше которой не может идти ни языкознание, ни литературоведение. Языкознание есть наука. Но это совсем не то, что мы находим в математике и естественных науках. И поскольку изучение структур в языке, и в прозаическом и в художественном, все же является необходимостью и поскольку изучение этих структур невозможно без математических приемов и абстрактно-понятийных методов, необходимо весьма строго соблюдать ту меру, дальше которой научное языкознание уже перестает быть языкознанием и превращается в аннулирование и игнорирование самого предмета языкознания.

В настоящее время в советском языкознании уже никого нельзя запугать термином «точные науки». Сейчас, во второй половине 70-х годов, не только языко-

---

<sup>9</sup> Там же, с. 58, 59, 66, 70, 71.

ведам, но и представителям других гуманитарных наук стало совершенно ясно, что всякая наука обладает своей собственной точностью и не может ею не обладать. Р. А. Будагов, прекрасно критикующий крайний и абсолютный формализм в языкознании, прямо так и говорит: «Неточных» наук быть не может»<sup>10</sup>. И если математик, захотевший изучать филологию, пришел бы со своей математической точностью к нам, филологам, на экзамен, то еще неизвестно, какой бы балл мы ему поставили.

Что касается автора настоящей работы, то его никто не может упрекнуть в игнорировании языковых структур. Аксиоматике именно этих языковых структур у нас посвящена, как мы выше сказали, целая работа в 1973 году. Поэтому мы считаем, что сейчас имеем полное право устанавливать и внеструктурные стороны языка, а они как раз и являются для языка специфическими. Структуры имеются или должны иметься решительно во всяком предмете чувственного восприятия и мыслительного построения. И вовсе не наличием структур языковой знак отличается от всякого другого знака. Поэтому возникает необходимость формулировать те самоочевиднейшие истины, которые во всяком случае следует высказывать о специфике именно языкового знака. Попробуем заняться этим предметом, продолжая нумерацию языковедческих аксиом, которую мы установили в указанной выше работе 1973 года.

Именно в указанной статье мы формулировали две группы аксиом — общей информации (с 12 аксиомами) и специальной (с 14 аксиомами). Следовательно, дальнейшая основная группа аксиом будет у нас уже третья, а сквозное перечисление новых аксиом мы начнем с аксиомы 27. Читатель пусть не удивляется тому напряженному педантизму и систематике, которых мы здесь придерживаемся. В научной литературе даются слишком часто многословные и малопонятные характеристики без ясного подведения всех необходимых логических выводов. Мы хотели этого избежать и потому

---

<sup>10</sup> Будагов Р. А. О предмете языкознания.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1972, т. 31, № 5, с. 401—412.

сами даем основные тезисы нашего рассуждения, чтобы не заставлять читателя излишним образом страдать в поисках основных тезисов и основного итога предлагаемого рассуждения.

## I

### Аксиомы стихийности

**Аксиома стихийного возникновения I (XXVII).** *Всякий языковой знак по своему возникновению стихийен.*

Под стихийностью мы понимаем здесь непреднамеренное, самопроизвольное и не содержащее в себе никакой закономерности возникновение. Язык и языковые знаки возникают именно так. Никто не придумывал словесных знаков, и никто не условливался о значении возникающих слов. Договорные теории, характерные для просветительского рационализма, не выдерживают равно никакой критики. Ведь чтобы договориться о значении слов, уже надо пользоваться словами и исходить из языка как из орудия разумно-жизненного общения.

Однако необходимо сказать, что эта аксиома языкового знака есть только еще первый шаг в установлении специфически языковой аксиоматики. А именно эта аксиома весьма отчетливо устанавливает разницу между естественным и искусственным языком. Языковые знаки возникают стихийно, а искусственные знаки (гудок отходящего поезда, звонок при входе в квартиру) возникают преднамеренно. Однако и в самом языке многое также возникает преднамеренно, хотя это для него и нехарактерно. Так в науке возникают специальные термины, вполне продуманные и вполне преднамеренные, быстро входящие в общую языковую стихию. Но не они являются основой языка. Основа — это именно стихийное возникновение языковых знаков.

**Аксиома стихийного функционирования II (XXVIII).** *Всякий языковой знак по своему функционированию стихийен.*

В самом деле, однажды возникший языковой знак, например, слово, в течение десятилетий, столетий, а

иной раз и тысячелетий меняет свое значение трудно-уловимыми и часто почти необъяснимыми путями. Латинский глагол *dico* значит «говорю», и корень *dic* указывает на процесс говорения. По-гречески, наоборот, этот корень и соответствующие производные слова указывают не просто на говорение, но на суждение, решение и даже на вынесение приговора. Греческое *dicastēs* значит «судья»; *dicē* «право», «справедливость»; *dicastērion* «суд»; *dicaïosynē* «справедливость как добродетель». Кто, когда, почему и в каких целях установил такие разные значения корня *dic* в греческом и латинском языках, совершенно неизвестно и даже вовсе не является предметом языкознания. Это разное функционирование одного и того же корня вполне стихийно. Можно припомнить еще и греческое *deïcupmī* «показываю», «указываю». Здесь тот же корень, но совсем с другим значением. Можно назвать и немецкое *zeigen* «указывать». По чьей воле и вследствие чьего намерения произошли все эти фонетические и семантические функции одного и того же индоевропейского корня, — спрашивать об этом просто бессмысленно.

Но также и здесь мы, конечно, весьма далеки от вскрытия всей специфики языкового знака. Данная наша аксиома достигает только одного: она резко отделяет стихийное функционирование языкового знака от механического функционирования отдельных частей механизма. Стрелки на циферблате часов тоже ведь нечто указывают и тоже являются знаками. Но функционирование этих знаков заранее и вполне преднамеренно создано часовщиком. И стоит только завести часы, как они тотчас же начнут правильно указывать время. Вот этого механического завода и не существует в языке. Его знаки функционируют в основе своей вполне стихийно. Это опять-таки не мешает тому, чтобы в культурной, и особенно в научной, среде функционирование термина устанавливалось вполне сознательно и преднамеренно. Карамзин создал такие слова, как *промышленность* или *влияние*. Эти слова вошли в оборот русского языка наряду с теми словами, которые некогда возникли стихийно и непреднамеренно. Преднамеренность, однако, в языке отнюдь не является его основой. Она только допускается на основе общестихийного функционирования языковых знаков.

Такое слово, как *атом*, возникло отнюдь не стихийно и функционировало в науке тоже совсем не стихийно. Перед мыслящими людьми уже в древности встал вопрос о необходимости сводить все сложные тела на что-нибудь простое и на такое простейшее, которое дальше уже не подлежит никакому делению. Но у Демокрита — это мельчайшие геометрические тельца, а с конца XIX века атом трактуется уже в связи с проблемами электричества; атом уже не есть нечто абсолютно неделимое, а в нем есть ядро и электроны, а ядро атома тоже делимо. Все такого рода представления, конечно, результат вполне продуманного построения, так что слово *атом* функционирует здесь вовсе не стихийно, а в результате преднамеренного анализа у представителей науки. И поэтому стихийность функционирования языкового знака хотя и является основой для понимания языкового знака, но она не исключает и преднамеренности.

Аксиома стихийности завершительных структур возникновения и функционирования языковых знаков III (XXIX). *Всякий знак обладает стихийно возникшей и стихийно функционирующей структурой.*

Для того чтобы убедиться в простейшей очевидности этой аксиомы, стоит только взять в руки какой-нибудь словарь любого языка и просмотреть, какие значения того или иного слова указаны в этом словаре. Разнообразию, пестроте и часто полной противоречивости всех этих значений данного слова можно только удивляться. Слова в более или менее подробном словаре настолько разнообразны по своему значению и эти значения часто настолько непохожи одно на другое, что невозможно даже и представить себе какое-нибудь основное или исходное значение данного слова, которое как-нибудь объединяло бы все эти значения данного слова одно с другим. Если мы скажем, что здесь перед нами стихийное нагромождение множества разноречивых значений, то этим мы только правильно опишем всю картину, нарисованную в словарной статье.

Примеры. Возьмем латинское слово *тепс* и воспользуемся отнюдь не собственно научным, а, скорее, общепопулярным латинско-русским словарем И. Х. Дворецкого и Д. Н. Королькова под редакцией С. И. Соболев-

ского. Уже здесь указываются 9 групп основных значений этого слова, но и каждая отдельная такая группа тоже еще достаточно сложна. Под пунктом 1) здесь стоит: «ум, мышление, рассудок». Ясно, что уже эти три подзначения достаточно различны между собой. Под пунктом 2) здесь читаем: «размышление, обдумывание, благоразумие, рассудительность», далее: 3) «образ мыслей, настроение, характер, душевный склад, душа», 4) «сознание, совесть», 5) «мужество, бодрость», 6) «гнев, страсть», 7) «мысль, представление, воспоминание, смысл», 8) «мнение, взгляд, воззрение», 9) «намерение, решение, план, желание».

Как-нибудь систематизировать все это огромное число значений этого латинского слова *mens* представляется делом весьма трудным и едва ли даже возможным. Дело начинается здесь, по-видимому, с каких-то самых простых и элементарных умственных представлений или образов. Однако тут же имеются в виду не только сами образы, но и их движение в уме, их процессуальность. Мало того, тут же возникают и значения устойчивых продуктов мышления образами, так что об образах самой разнообразной структуры здесь уже не может возникнуть никакого сомнения. Всякие мнения, воззрения, суждения о том или другом предмете, оценки — все это тоже есть *mens*. Тут же неожиданно возникает и совсем другая психическая стихия, а именно страсти, эмоции, аффекты вроде гнева и всякие настроения. Дело доходит даже до моральных оценок, когда *mens* указывает на рассудительность, благоразумие, мужество, бодрость, совесть. Когда философы говорят вообще о сознании, они употребляют тот же термин. Наконец, под этим термином понимается даже и то, что охватывает и вообще все человеческие способности, и умственные и аффективные, так что значение «душа» отнюдь не является здесь последним или каким-то чересчур редким. Другими словами, под этим латинским словом можно мыслить вообще любое психическое состояние, вообще любые умственные или аффективные процессы, вообще любые комбинации этих процессов и любые устойчивые их структуры.

Конечно, этим мы не хотим сказать, что указанное латинское слово просто значит что угодно, т. е. по существу вовсе ничего не значит. Нет, оно каждый раз

обязательно значит что-нибудь определенное в зависимости от контекста. Но поскольку этих контекстов бесчисленное множество, то потому и значений данного латинского слова тоже бесчисленное множество. С логической точки зрения все эти законченные структуры функционирования данного слова точно определяемы каждый раз контекстом, если их взять в их бесчисленных и каждый раз вполне законченных для данного контекста вариантах, то перед нами возникает безбрежное и вполне стихийное семантическое море, которое нет никакой возможности свести к какому-нибудь одному и четко действующему принципу.

Кто бы мог подумать, что указанный корень слова входит в такое слово, как *monumentum* «памятник»? А это, между прочим, вовсе и не только «памятник». Это и «воспоминание», «память», «фамильный склеп», а во множественном числе и «письменные памятники», «исторические документы», «мемуары», «исторические записки». И кто мог бы подумать, что от того же самого корня по-латыни образовано *monstrum*, которое вовсе не значит только русское «монстр», но и вообще «знамение», «предзнаменование», «знак». А потом оказывается, что это также и «чудо», «диво», «чудовище», «невероятная вещь», «небылица» и даже просто «урод». Но что уже совсем нельзя предполагать теоретически, это то, что глагол *mentior* значит «лгать» (по-видимому, в зависимости от того, что данный корень вообще указывает на умственную деятельность, включая также и ее ложное или уродливое направление). Значит, указанный латинский корень обнимает все, что угодно, — от невинного чувственного образа и до философских мнений и воззрений, начиная со спокойного размышления и кончая страстными аффектами, начиная от возвеличивающего увековечивания героя или события и кончая самым настоящим уродством.

Прибавьте к этому также и то, что греческое слово того же корня *μαινομαι* значит «бушую», «нахожусь в возбужденном состоянии», откуда и *μαινας* «менада», «вакханка», а также и *μαια* «возбужденное состояние», «неистовство», «бешенство», «сумасшествие», «восторг», «вдохновение». Не говоря уже о новоевропейских значениях слова *мания*, соответствующее греческое слово указывает на обширнейший семантический



горизонт, начиная от обыкновенного поэтического вдохновения, переходя к экзальтации аномальных психических состояний и кончая полным безумием, одержимостью, бешенством и прямым сумасшествием. Напротив того, такие греческие слова, как *manteion*, *manteuma*, *manteuomai*, *manteia*, *manteutos*, *manticos*, *manticē*, указывают на пророчество, предсказание, прорицание, оракул и его использование и даже просто на догадку. Греческое слово *mevos* только в поэтическом языке означает «гнев». А обычно это — «сильное желание», «сила», «мужество». Впрочем, и у Гомера попадаются такие выражения, как «священная сила Алкиноя» (метонимически о самом Алкиное).

Славянские языки в отношении этого индоевропейского корня несколько не уступают другим языкам, хотя ввиду явлений чередования это может быть и не сразу видно. По-русски мы имеем такие слова, как *помянуть*, *вспоминать*, *мнить*, *мнение*, да и слово *память*, если иметь в виду старославянское написание через юс малый, которым обозначается носовое *м*, тоже сводится на непродуктивную частицу *па*, указывающую на сниженную значимость корня и опять-таки латинское *mens*. То, что немецкое *Mensch* — слово того же корня, несомненно, указывает на выдвижение в человеке интеллектуальной стороны. Сюда же немецкое *Mann* или английское *man*. Немецкое *Minne* (откуда и *миннезингер*), несомненно, указывает на любовь более разумного или духовного содержания, чем обыкновенное *Liebe*.

Имея в виду этот разнообразный семантический хаос тех или иных корней или основ, необходимо, впрочем, не терять из виду и то обстоятельство, что все эти бесконечные разнообразные значения одного и того же корня почему-то вдруг все же выражены одним и тем же языковым комплексом с разными его модификациями, которые в лингвистике большей частью бывает не так трудно объединить в нечто целое. Это единство звучания при хаотическом множестве данных значений не может не свидетельствовать о том, что этому хаотическому множеству семантики все же принадлежит какой-то хотя бы легкий намек на единство. И действительно, перебирая все эти разнообразные значения одного и того же корня, мы можем, правда, не без некоторого усилия мысли, установить в указанном корне смысловой

налет, который говорит нам все-таки о том или другом умственном состоянии человека.

Пусть данное слово выражает состояние дикости, бешенства, безумия и вообще какой-нибудь дикой экзальтации. Поскольку для выражения этой экзальтации и в греческом и в латинском языках привлекаются совсем другие фонетические комплексы, ясно, что указанный корень *теп* должен обладать какой-нибудь своей собственной спецификой. Ведь всякое бешеное или экзатическое состояние есть не только аффект, но также и известного рода состояние мышления и ума. Это состояние крайне хаотическое, лишенное всяких нормальных умственных актов, но все же это не может не являться также и известным состоянием мышления. Поэтому нашу теорию стихийности языкового знака не нужно доводить до такой степени напряжения, чтобы языковая стихийность существовала уже в чистом и абсолютно внемыслительном состоянии и была бы чем-то насквозь иррациональным. В этой языковой стихийности есть своя семантическая целенаправленность. Но во-первых, об этой семантической целенаправленности языкового знака надо говорить уже в другом месте, не в том месте, где эту стихийность мы пока еще только впервые обсуждаем и формулируем. А во-вторых, подобного рода семантическая целесообразность вполне совместима с пониманием языковых знаков как явлений чисто стихийных, которые при всей своей смысловой однонаправленности все равно существуют в бесконечных количествах и комбинациях. Об этом, однако, у нас должна идти речь в нашем дальнейшем исследовании. Сейчас же пока будем стараться укрепиться на этой внеструктурной стороне языка, именно на стихийном характере специфически языковых знаков.

Русское слово *жизнь* тоже имеет необозримое число значений. Во-первых, это просто «бытие», «существование», «действительность» в отличие от смерти (материя и ее порождения есть «жизнь материи», как, например, в выражении «я и окружающая меня жизнь»).

Во-вторых, это «развитие», «процесс», «становление», «достижение». В биологии *жизнь* — особое развитие белкового вещества.

В-третьих, существует огромное количество областей жизни, из которых каждая имеет очень мало общего со

всякой другой: жизнь неорганическая (Солнца, Земли, горных пород, моря, реки), органическая (растений, лесов), одушевленная (животных и вообще живых организмов), индивидуально-человеческая (физиологическая, психическая, умственная, духовная), общественная, культурная, классовая, сословная, историческая, обобщенная в разных видах (человеческая, жизнь природы, космическая).

В-четвертых, под жизнью часто понимается определенного рода уклад или распорядок жизни: жизнь столичная, периферийная, провинциальная, деревенская, захолустная, заграничная, яркая или серая, удавшаяся или загубленная; дневная, вечерняя или ночная жизнь города; жизнь дома (в смысле населения дома), семьи, жизнь в разных возрастных смыслах (жизнь детей, подростков, взрослых, стариков), жизнь мужчин (например, говорят «жизнь холостяка») и женщин (интимная жизнь, частная жизнь, супружеская жизнь), говорят о монастырской жизни, о жизни вдовы; жизнь общественных организаций, университетов, школ, королевского двора; бытовая или обывательская жизнь, солдатская или вообще военная жизнь, партийная жизнь, театральная жизнь, биография («жизнь замечательных людей»).

В-пятых, под жизнью понимается «оживление», «подъем или расцвет жизненных сил», «полнота проявления физических и духовных сил» («дать жизнь», «вдохнуть жизнь», «даровать жизнь», «создавать жизнь», «кипеть жизнью», «войти в жизнь», «путевка в жизнь», «радоваться или наслаждаться жизнью», «живая жизнь», «мы с песней по жизни шагасм»). Здесь же мыслится и вообще протекание или время жизни («в начале жизни», «раз в жизни», «всю жизнь», «на всю жизнь», «по гроб жизни», «заря, цвет, закат, рассвет жизни»; «никогда в жизни», «подруга жизни», «испытание в жизни или на жизнь», «жизнь прожить — не поле перейти»). Но сюда же и разного рода отрицательные оценки жизненного процесса («прожигать жизнь», «убивать жизнь», «проводить жизнь», «похоронить жизнь», «доживать жизнь»).

Другими словами, также и русское слово *жизнь* обладает необозримым количеством разных значений, иной раз не имеющих ровно ничего общего между со-

бой, а иной раз и приближающихся одно к другому почти до полной неотличимости.

Однако не нужно думать, что эта сложность значения слова присутствует только в таких сложных по своему значению словах, как русское слово *жизнь*. Греческий язык несомненно богат, например, своими частицами. При чтении связного греческого текста каждая такая частица семантически отличается весьма ощутительно. Но формулировать всю эту бездну отдельных значений греческих частиц в связи с контекстами нет никакой возможности. Эта бездна оттенков совершенно неисчислима и логически не поддается никакой формулировке. В этих случаях грамматисты принуждены каждый раз ограничиваться только двумя-тремя или самое большее, может быть, одним десятком этих семантических оттенков.

Здесь опять-таки необходимо предупредить читателя, чтобы из нашей теории стихийного развития языка он не делал каких-нибудь иррациональных выводов. В языковых знаках все стихийно, и их зарождение, и их функционирование, и их законченные структуры. Но это не значит, что языковые знаки указывают на нечто иррациональное. Однако если можно говорить о жизни лягушки и о жизни Пушкина, то употребляющий здесь слово *жизнь* прекрасно отличает лягушку от Пушкина, что, правда, не мешает ему употреблять слово *жизнь* и в отношении лягушки и в отношении Пушкина. В чем же дело? А все дело заключается в том, что знаки языка, возникая и функционируя стихийно, употребляются людьми в смутном и почти неразличимом виде, что и заставляет нас говорить в данном случае о стихийности. Конечно, ученый-зоолог и ученый-литературовед безусловно договорятся о том, что значит слово *жизнь* в том или другом случае. Но обыватель вовсе не обязан быть непременно биологом и непременно литературоведом. А это и значит, что слово *жизнь* функционирует у него в сознании вполне стихийно, как бы хорошо он ни понимал различия между лягушкой и Пушкиным. Поэтому если говорить об иррациональности, то эта последняя в крайнем случае является только одним из моментов языковой знаковости. Момент этот, как нам кажется, не единственный, хотя и необходимый.

**Многозначность языкового знака в сравнении с механически изготовленными знаками.**

Необходимо обратить внимание также и на то, что едва ли указанная у нас многозначность свойственна каким-либо другим знакам, кроме языка. Если мы видим зеленый свет на улице, разрешающий переходить улицу, то зеленый свет только и обозначает это разрешение и больше ничего другого. В языке же самое мелкое словечко, какой-нибудь предлог или союз, имеет уже и в учебных словарях десятки значений; а, по существу, не в словарях, но в конкретной речи число этих значений просто неисчислимо. Сколько контекстов, столько и значений данного предлога или данного союза. Но число контекстов безгранично.

Опять-таки и здесь необходимо заметить, что для неязыкового знака вовсе не обязательна такая безусловная однозначность. Эта однозначность для него существенна и типична. Особенно это нужно сказать о неязыковых знаках, которые являются результатом действия того или иного механизма. Но к числу неязыковых знаков необходимо относить знаки и не только механические. Те, например, знаки, которые являются целыми картинами природы, или художественные знаки, тоже могут обладать обширным набором значений и могут подвергаться бесконечному числу разнообразных интерпретаций. Ведь «Пан» Врубеля может вызывать и вызывает у зрителей самые разнообразные и едва ли доступные перечислению ощущения, мысли, переживания и разного рода толкования. Это значит, что стихийность языкового знака, о которой мы теперь говорим, отличает специфическую природу языкового знака опять-таки только от механически создаваемых знаков, от светофоров на улице, от гудков или свистков на железных дорогах, от указания времени стрелками на часовом циферблате. Об отличиях чисто языковой стихийности от элементов стихийности при восприятии природы или искусства мы говорим в другом месте. Сейчас же под неязыковым знаком мы пока понимаем механический знак, будь то в специально созданном материальном механизме, будь то в чисто логически понимаемых знаках математики, механики, физики или химии. Нам надо укрепиться именно в этом предмете.

Этот внеязыковой и чисто механический знак тоже

может допускать и многозначность. Однако такая внеязыковая многозначность всегда в данных случаях точно планируется наперед, всегда обдумывается, и она всегда намеренна, так что число значений внеязыкового знака никогда не может быть стихийно бесконечным, оно всегда конечно, ограничено и допускает только самое небольшое количество строго предусмотренных альтернатив. Когда движется автобус, то с ним могут случиться любые катастрофы. Тем не менее все поломки и разрушения автобуса в технике заранее предусмотрены, и соответствующие мастера знают, как, когда, в каких случаях автобус необходимо ремонтировать. Любые неожиданности здесь уже заранее предусмотрены соответствующими техническими работниками.

В заключение этого раздела нашей аксиоматики необходимо сказать, что никакая стихийность возникновения и функционирования языка и никакая стихийность законченных языковых структур далеко еще не исчерпывает специфики языкового знака. Стихийность указанных нами типов вполне необходима для специфики языкового знака. Но эта необходимость является ли достаточной? Конечно, не является. Ведь в конце концов все, что совершается в природе, тоже стихийно. Метеорологические явления во многом изучены настолько, что делается возможным даже прогноз их на будущее. Тем не менее, точности в этой области далеко еще не существует; и еще неизвестно, когда она будет существовать. Рождение живых существ, их рост, расцвет их жизни, болезни и увядание и, наконец, их смерть, несмотря на огромное современное развитие биологии, все еще продолжают быть вполне стихийной областью; и сомнительно, можно ли будет когда-нибудь механизировать явления жизни на манер часового механизма. Таким образом, стихийность языка отличает языковые знаки исключительно только от механизма, но она несколько не отличает языковые знаки от тех естественных знаков, которыми полна природа, и в частности от тех голосовых знаков, которые издаются животными, т. е. тут стихийность языкового знака пока еще ровно ничем не отличается от всякого лая, кваканья, от пения птиц и даже от писка кузнечиков. Здесь необходимо коснуться еще одной области языкового знака, вероятно, самой главной, хотя уже и стихийность языкового

знака совершенно неопровержима. Это — область человеческого сознания и мышления, которой как раз и отличается всякий языковой знак самым заметным образом и которую как раз и игнорирует самым ужасным образом абсолютно изолированный и последовательный структурализм.

## II

### Аксиомы сознания

Прежде чем говорить об аксиомах сознания и мышления, мы должны еще и еще раз выразить свое удивление по поводу того, насколько же отвлеченный структурализм, мечтавший ограничиться структурно-математическими знаками, забыл о том, что для теории языковых знаков является самым необходимым и максимально очевидным. Почему резкие удары в колокол на пожарной машине, несомненно, являющиеся знаками, вовсе не есть именно языковые знаки? Это потому, что сам колокол на пожарной машине лишен сознания и мышления. Соответствующие сознание и мышление были у тех, кто создавал этот колокол и кто им пользуется, т. е., другими словами, соответствующее сознание и мышление находятся вне этого колокола и вовсе не свойственны ему самому. Поэтому звон такого колокола вовсе и не есть язык этого колокола, если этот язык понимать специфически, а не переносно. В переносном же смысле все вообще в природе и в искусстве только и состоит из языка, поскольку всякое явление природы и произведение искусства всегда нечто значат, т. е. всегда о чем-то нам «говорят».

Итак, перейдем к аксиомам сознания и мышления, необходимым для языковых знаков в современном смысле слова.

1. *Общая аксиома сознания I (XXX). Всякий языковой знак есть акт человеческого сознания.*

Хотя тут, казалось бы, не о чем и говорить, тем не менее об этом обязательно приходится говорить, чтобы язык не сводился только к одним внеязыковым структурам. Об этих внеязыковых структурах языка мы уже говорили в указанной у нас выше статье 1973 года.

И, собственно говоря, все эти аксиомы только и сводились к одному, а именно к тому, что всякий знак обязательно есть система определенных смысловых отношений. Теперь нам этого, конечно, мало, раз идет речь о языковой специфике. Эта система отношений, если она хочет быть языковым знаком в собственном смысле слова, обязательно должна трактоваться нами как акт человеческого сознания.

Под сознанием здесь мы вовсе не понимаем осознанность. Языковые знаки большей частью как раз и функционируют неосознанно и бессознательно. Когда мы произносим какую-нибудь фразу, мы вовсе не фиксируем у себя в сознании обязательно каждое слово, входящее в эту фразу. При этом необходимо сказать, что обыватель, незнакомый с элементами психологии и языкознания, тут же поймет наше суждение в смысле полной иррациональности и абсолютной бессмыслицы этих неосознанно употребляемых нами слов. Эти слова, входящие в фразу, предварительно могут сколько угодно обдумываться и не обдумываться, но это обдумывание или необдумывание относится вовсе не к языку и не к его знакам, а относится к мышлению. Мы же сейчас говорим специально и исключительно только о языковых знаках. Как бы математик ни обдумал свою теорему всесторонне и окончательно, безусловно логически и чисто числовым и максимально расчлененным количественным образом, он всегда, когда излагает свою теорему устно, употребляет все эти точнейшие и расчлененнейшие термины, так сказать, одним духом, совершенно неосознанно, не отдавая себе отчета и в употребляемых им словах, и в употребляемых им отдельных звуках. Итак, под сознанием мы понимаем здесь не осознанность, а просто переживаемость тех предметов, которые действуют на наше сознание и в нем отражаются. Однако этот неосознанный акт человеческого сознания, создающий собой знаковую сторону языка, не может ограничиваться данным разъяснением, но требует весьма существенных расчленений, тоже лежащих в основе соответствующих аксиом.

2. Частные аксиомы сознания. Аксиома переживания II (XXXI). *Всякий языковой знак есть результат определенного переживания той или иной предметности.*



В этой аксиоме мы фиксируем только источник и происхождение языкового знака из человеческого сознания. На первых порах сознание, в котором отражается та или иная предметность, является чем-то нерасчлененным и вполне глобальным. Тут пока есть только еще переживание, лежащее в основе всех возможных структур сознания и, следовательно, соответствующих знаков, но само это переживание еще лишено и всяких структур, и всяких расчлененных знаков. Для расчлененности знака необходимы более сложные структуры человеческого сознания, и о них мы будем говорить дальше. Однако в их основе лежит общее и пока еще не расчлененное человеческое сознание, которое мы называем переживанием. И без него тоже невозможен язык, если только мы не будем стремиться свести язык только к внеязыковым и дискретным одна в отношении к другой структурам.

3. Аксиома понимания III (XXXII). *Всякий языковой знак есть акт понимания той или иной предметности.*

Употребляя термин «понимание», мы имеем в виду здесь то простое обстоятельство, что воспроизводимый в человеческом сознании предмет никогда не возникает в нем в своем буквальном и неизменном виде. Уже тот простой факт, что какой-нибудь предмет воспроизведен в человеческом сознании, свидетельствует о разных модификациях, которые он претерпевает в человеческом сознании. Ведь человеческое сознание каждое мгновение течет и меняется, часто бывает пассивным и безынициативным, но бывает также и созидательным, и даже творческим. Даже если вещь названа решительно без всяких подробностей, а просто как таковая, как простейший предмет простейшего указания, даже и в этом случае сознание предельно выполняет некоторого рода творческую работу: оно выделяет эту вещь из других вещей, оно отвлекается от разных подробностей, свойственных вещи, от всех ее качеств или количеств и сосредоточивается пока только на самом факте ее существования. Назовем такой знак знаком-индикатором. Уже и эти индикативные акты сознания, несомненно, обладают творческой природой, хотя творчество здесь минимальное. Знак-индикатор является во всяком случае настолько творческим актом сознания, что он, не-

сомненно, некоторым образом понимает означаемую им вещь, так как для появления подобного знака-индикатора уже требуется большое число разного рода наблюдений над вещами, разного рода их сравнения, разного рода их абстрагирования и вообще всяческого нарушения первоначальных примитивных и непосредственных данных предметной информации.

Еще более активно проявляет себя человеческое понимание вещей, когда фигурирующие здесь знаки превращаются из абстрактных индикаторов в целые образы вещей. В литературе не раз мелькал термин «иконический знак», от греческого *eisōn*, что значит «образ». Иконические знаки чрезвычайно разнообразны, начиная от простого и с виду как бы ничего не говорящего, как бы только буквального воспроизведения предмета и кончая весьма сложной образностью, граничащей уже с художественной образностью. Однако имеет смысл все же резко отличать иконический знак и от знака-индикатора и от знака-символа, возникающего в результате идейно-художественного наполнения того или другого образа. Примеров этих иконических знаков — сколько угодно, и едва ли стоит их здесь приводить даже в малом количестве. Кое-что мы все-таки приведем.

Все хорошо понимают, что такое *рубаха-парень*, *крутой характер*, *золотое детство* или *юность*, *золотые мечты* или *надежды*, *золотые руки* (о хорошем работнике), *серебряные волосы*, *серебряная* или *золотая свадьба*, *медный лоб*, *медные трубы* (в выражении *пройти огни, воды и медные трубы*), *железная воля* или *характер*, *век стали*, *оловянные глаза*, *он остолбенел*, *руки и ноги одеревенели*, *липовая работа*, *дуботолк*, *осиновый кол*, *тернистый путь*, *почивать на лаврах*, *розовые мечты* или *надежды*, *синий чулок*, *желтая опасность*, *коричневая чума*, *зеленая скука*, *тоска*, *Белое море*, *Черное море*, *Красное море*, *беловик* и *черновик* (о рукописях), *черная зависть* или *ненависть*, *серая жизнь* или *серое существование*, *цветистая речь*, *стиль*, *зеленая молодежь*, *белые стихи*, *точить балясы*, *толочь воду в ступе*, *переливать из пустого в порожнее*, *сыграть в ящик*, *дать дуба*, *загнуться*, *прочитать книгу от доски до доски* или *от корки до корки*, *грызть гранит науки*, *работать спустя рукава*, *достукаться*, *дойти до*

*ручки, курить фимиам, вертеться волчком, падать ниц, разбить лоб, большому кораблю большое плавание, сесть в лужу, в калошу, заплотить имя, честь.*

Все подобного рода выражения не только нечто означают, но и означают при помощи какого-нибудь образа. И образ этот здесь имеет обыденное и всем хорошо понятное значение, однако еще не переходящее в художественный образ, который имел бы самостоятельное значение и, не переставая быть знаком вещи, все же содержал бы в себе тот или иной образ и те или иные зачатки образности.

С точки зрения художественной образности эти иконические знаки являются чем-то стертým, слишком обыкновенным и не привлекают с нашей стороны никакого специального внимания или самостоятельного наблюдения, какого-нибудь самодовлеющего созерцания. Для нас же в настоящий момент важно только то, что всякий языковой знак, будучи актом понимания той или другой вещи, является особого рода специфическим знаком. А именно это не знак-индикатор, но иконический знак.

Тут же становится ясным и то, что если знак вступил на путь образности, то эта образность обладает множеством разных свойств. Здесь не место перечислять разные типы образности, хотя бы даже и основные. Мы ограничимся здесь указанием только на такие образные знаки, образы которых получили художественную разработку и в этом смысле уже перестали быть иконическими знаками, а стали знаками с той или другой идейно-художественной насыщенностью, обеспечивающей для них не только просто фактическую и деловую знаковость, но и наше специальное к ней внимание, наше специальное и углубленное, наше вполне самостоятельное их наблюдение и даже их оценку.

Когда мы произносим такие выражения, как «медный всадник» (имея в виду известную поэму Пушкина под этим названием), «мертвые души» (имея в виду известную поэму Гоголя), «живой труп» (по Л. Толстому), «лес» (имея в виду одноименную комедию Островского), «волки и овцы» (тоже по комедии Островского), «обрыв» (по Гончарову), «на дне» (по Горькому), «хамелеон» (по Чехову), «мелюзга» (по Куприну), — везде перед нами возникает здесь не просто

образ в смысле фотографического ограждения явлений жизни, но образ, насыщенный весьма глубоким идейно-художественным содержанием. Такого рода знаки уже нет смысла называть просто иконическими. Это те образы, которые мы назвали бы здесь пока символическими, не входя, конечно, в анализ этой сложнейшей и запутаннейшей категории символа. Ведь здесь для нас в конце концов даже и не важно содержание языкового знака. Нам важно только то, что знаковое содержание всегда является в языке тем или иным пониманием обозначенной предметности и вот этого-то знака в качестве акта человеческого понимания мы нигде и не находим, кроме языка.

Густая туча, конечно, есть знак дождя, который вот-вот пойдет, и она «говорит» нам о дожде. Но это «обозначение» или «означение», это «говорение», конечно, выступает в соответствующих наших выражениях только в переносном смысле слова. Если иметь в виду специфику человеческого языка, то густая и нависшая туча ничего сама от себя не означает и не обозначает и, следовательно, ни о чем ничего не говорит. Точнее же будет сказать, что весь этот «язык», которым обладает туча, есть явление не человеческое, не личностное, не общественное, но только естественное, природное. Природа, конечно, тоже обладает своим языком. Музыка и живопись тоже обладают своим языком, но это не те языки, которые мы изучаем в языкознании и которые связаны с членораздельной человеческой речью.

Кстати сказать, если уже мы заговорили о языках природы или искусства, то даже и выставленной у нас сейчас аксиомы понимания не будет достаточно для изображения специфики языка в собственном смысле слова. Ведь очень часто говорится и говорилось раньше о «понимании без слов». И такого рода бессловесное понимание часто расценивалось даже гораздо выше, чем словесное понимание. Однако об этом ниже. Сейчас условимся только о том, что понимание в языке при собственном и переносном употреблении термина «язык» является необходимым условием для конструирования специфики языка. Оно все еще недостаточно, но необходимо.

**4. Три типа бытия необходимые для теории специфически языкового знака. Твердо запомним, что суще-**

ствуют, помимо всех прочих видов бытия, те три разных бытия, без теории которых невозможно никакое учение о специфике языкового знака.

Во-первых, существует самая обыкновенная действительность, материальная в основе, нас окружающая и все из себя порождающая. Она состоит из вещей, существующих вне нас и независимо от нас, но могущих быть для нас обозначенными в меру нашего познавательного горизонта. Эту объективную действительность, независимую от человеческого субъекта и только могущую быть названной и обозначенной, лингвисты так и называют денотатом, т. е. обозначенным ими тем, что доступно нашему называнию и обозначению.

Во-вторых, существует та же самая действительность, но уже отраженная в нашем мышлении и в нашем сознании. Это — та же действительность, т. е. те же самые вещи, но только взятые не сами по себе, а в своей форме или идее. Мышление, как бы идеально его ни понимать, есть не что иное, как существование формы самих же вещей или их идей, но взятой без самих вещей. Эти формы или идеи вещей получают свое оригинальное развитие уже вне вещей и обладают своей собственной закономерностью невещественного характера. Это — не вещи, но логика вещей, фактически без них не существующая, но в абстрактном смысле условно отделимая от них и в этом смысле условно самостоятельная и условно подчиненная своим собственным законам.

А в-третьих, существует еще бытие среднее, т. е. среднее между объективно-действительным и мыслительным бытием. Это бытие словесное, которое от мыслительного бытия отличается тем, что оно не есть воспроизведение действительности, но есть только определенное рода преломление этого мышления в целях понимания действительности, и отличается от самой действительности тем, что не есть просто результат ее механического и буквального воспроизведения, но тоже особого рода ее понимания. Это бытие семантическое. В отличие от денотата некоторые лингвисты называют это словесное бытие десигнатом. Этот десигнат тоже оригинален и тоже обладает своими собственными закономерностями, ни в какой мере не сводимыми ни к логике бытия, ни к его денотатам.

Эти три типа бытия, повторяем, совершенно оригинальны и ни в каком случае не сводимы один к другому. В то же самое время они ни в какой мере также и не изолированы один от другого, потому что такого рода принципы, как отражение или понимание, безусловно, связывают их в одно нераздельное целое. Они различны, но они друг от друга неотделимы. Вот почему нам пришлось в этом разделе заговорить о понимании. Оно представляет собой неискоренимую область в теории специфически языковых знаков.

5. Аксиома предикации IV (XXXIII). *Всякий языковой знак есть предикация того или иного понимания обозначаемой предметности в отношении самой этой предметности.*

Эта аксиома является очевидной уже по одному тому, что всякий знак вещи мы относим не к чему иному, как именно к самой этой вещи. Этим самым постулируется то, что есть какая-то общая точка соприкосновения нашего понимания вещи и самой вещи. Ведь понимание вещи для того и создается в человеческом сознании, чтобы как-нибудь охватить и осмыслить данную вещь. Без этого работа человеческого сознания над пониманием вещей была бы пустой, нецелесообразной и бессмысленной. Сознать что-нибудь — значит понимать это что-нибудь. А понимать что-нибудь — значит нечто предсказывать об этом.

Уже тут, на стадии первоначального установления аксиом языкового знака, выступает вперед одна категория, которая играет в языке решающую роль. Своим употреблением языковых знаков мы всегда что-нибудь предсказываем и предсказываем в отношении чего-нибудь. Ниже мы убедимся, что вовсе не только синтаксис есть учение о предсказывании, т. е. о высказывании чего-нибудь о чем-нибудь. Этот предикативный характер необходимо находить вообще в любом языковом знаке. И это предсказывание создается опять-таки при помощи сознания, а в значительной степени и при помощи мышления, но вовсе не в результате естественного соотношения вещи с ее признаками. Вещь не есть сознание и не есть мышление. Она только еще отражается в сознании и мышлении; но по своему бытию она не есть ни то ни другое. Когда луна вызывает приливы или отливы, то это вовсе не значит, что она предсказывается в от-

ношении приливов или отливов или что эти приливы или отливы являются предикатами луны. Естественный и природный ход событий не есть логический ход. Он состоит не из пониманий, а значит, и не из понятий, но только из вещей и из их причинного соотношения. Когда же мы высказываем что-нибудь о чем-нибудь, то это не значит, что мы каким-то естественным способом, т. е. чисто причинно, воздействуем на что-нибудь. Поэтому и знак, являясь некоторого рода обозначением той или другой предметности, ни в каком смысле не является ее причиной, но является только ее предикатом. Языковой знак вещи не есть естественный признак вещи. Признак вещи есть то или иное природное свойство вещи как самостоятельной субстанции. Языковой же знак вещи есть только предикат вещи, но не просто ее субстанция и не просто ее природный признак, все равно, существенный или несущественный.

Однако вместе с аксиомой предикации мы подошли к еще одной большой области. Это — область человеческого мышления. Ведь уже предикирование есть некоторого рода отождествление, полное или частичное. Однако эта категория тождества уже есть одна из основных категорий мышления вообще. И чтобы ее понять, надо коснуться и других основных категорий мышления. Если языковой знак предмета есть некоторого рода высказываемая о нем предикация, то ясно, что здесь копошится целый рой тоже первоначальных и тоже максимально необходимых логических категорий. Предикативная функция языкового знака, между прочим, богато разработана в советской литературе. После крупнейших работ в этой области В. И. Борковского, А. Н. Стеценко, Я. И. Рословца, Л. Ю. Максимова и других необычайно обогатилось также и понятие вообще языкового знака. Оно необычайно углубилось, уточнилось и, можно сказать, расцвело, и это вовсе не только потому, что грамматическое предложение является более сложным языковым знаком, чем знаки фонемные или морфемные. Однако не стоит комкать этот вопрос в настоящей статье. Проанализированные у нас аксиомы стихийности языкового знака и ее отражения в человеческом сознании — это еще только начало специфически языковой аксиоматики. Так, на очереди проблема языковой интерпретации.

## Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли<sup>1</sup>

К. Марксу принадлежат известные суждения: «Язык есть непосредственная действительность мысли»<sup>2</sup>, но «ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства... они — только проявления действительной жизни»<sup>3</sup>.

Эти суждения К. Маркса ставят весьма глубокую проблему о соотношении объективной действительности, субъективного мышления и языка. Без того или иного разрешения этой проблемы в настоящее время невозможно даже ставить вопрос о специфике языкового знака. И эта специфика языкового знака глубоко волнует умы, обсуждается множеством статей и книг, ей посвящаются целые конференции. Казалось бы, специфика языкового знака является настолько простой и очевидной, что нечего о ней и говорить. Однако увлечение асемантическим структурализмом уже успело приучить многих лингвистов к тому, чтобы эту специфику выражать обязательно в чисто логических, т. е. понятийных или в математических, смысловых формулах, в которых первая роль отводится языковым структурам. А это приводит к забвению того, что специфически языковой знак есть функция именно человеческого сознания и мышления, т. е. к забвению того, что такое человек — индивидуальный, общественный и исторический.

В таких условиях действительно становится очень трудной задачей определять указанную специфику. Ведь структуры существуют решительно везде, потому что всякий предмет есть нечто целое, имеет свои части, и эти части так или иначе между собой соотносятся, имея также и каждый раз свое собственное отношение

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1976, т. 35, № 5, с. 395—407.

<sup>2</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 448.

<sup>3</sup> Там же, с. 449.



к целому, которое из них составляется. Понимая знак предмета и его структуру в таком широком и глобальном смысле слова, мы должны решительно все на свете рассматривать с точки зрения той или иной структуры. Не только язык, но и все внеязыковое тоже и структурно информирует себя в знаках и каждый раз является той или иной системой знаковых отношений. Едва ли на этих путях можно будет найти определение специфики именно языкового знака.

Понятийно-смысловая и особенно математическая схема забывает о человеке, и потому структурное изображение языкового знака, лишенное учета всех структурных особенностей языка, обязательно встречается в проблеме языковой специфики с неминуемыми трудностями. Но ведь человек есть прежде всего та или иная форма сознания и мышления. В этом смысле человек только обладает структурой, владеет разными структурами, но никак не сводим только к одним структурным соотношениям. Поэтому, рассматривая сознание и мышление как отражение объективной действительности, мы вовсе не отрицаем самого существования сознания и мышления, а только говорим о том, что они невозможны без отражаемой в них действительности. Язык, а следовательно, и языковой знак являются в этом смысле еще более сложной категорией. Специфически языковой знак отражает объективную действительность, но ни в каком случае не сводится только к ней. Точно так же языковой знак отражает мыслительную сферу человека, но ни в каком случае тоже не сводится к ней.

В настоящей нашей статье мы и хотели бы коснуться некоторых вопросов из этой сложной области проблематики действительности мышления и языка, поскольку большинство существующих работ все еще находится под гипнозом асемантического структурализма и все еще игнорирует чисто человеческую практику, которой принадлежит здесь решающая роль. Естественно, что, взывая к такой, казалось бы, простейшей области, как человек и его история, мы должны будем высказывать некоторого рода суждения, может быть слишком уже очевидного и слишком уж банального характера, тем более, что мы претендуем на ясность и простоту изложения, которыми наши лингвистические

труды часто вовсе не отличаются. Однако правильная банальность лучше, чем неправильная и запутывающая схоластика. Маленькое начало соответствующего исследования мы пытались создать в статье «Аксиоматика знаковой теории языка»<sup>4</sup>. Но, как мы сказали в конце этой статьи, нас интересовали там пока еще только структурные проблемы языкового знака, а не сам языковой знак в его сущности. В предлагаемой сейчас статье мы пытаемся продолжить изучение языкового знака уже в пределах его чисто языкового функционирования.

Прежде всего нам хотелось бы сформулировать несколько тезисов вполне банального характера. Но их забвение грозит испровергнуть всю теорию искомой нами специфики языкового знака.

Первый наш тезис провозглашает, как нам кажется, простейшую истину. — *Именно всякий знак языка есть акт человеческого мышления.* И здесь же мы предлагаем наш второй основной тезис: *именно всякий языковой знак есть акт человеческого мышления, отражающий собой ту или иную систему смысловых отношений в мыслимом им и независимо от него существующем предмете.*

Казалось бы, очевидно само собой, что человеческий язык невозможен без человеческого мышления и что каждый языковой знак есть прежде всего акт человеческого мышления. Однако попытки свести язык на внеязыковые структуры наложили настолько тяжелый след на все языкознание, что работники этого последнего часто просто забывают, что для языка необходимо мышление, и, не учитывая этого мыслительного происхождения языка, часто затрачивают огромные усилия, чтобы формулировать специфику языкового знака. И, как уже было сказано, попытки эти далеко не всегда увенчиваются успехом. Надо эту простейшую аксиому о мышлении как об источнике языка самым серьезным образом принимать во внимание наряду со всеми теми аксиомами, которые говорят о зависимости языка от объективной действительности и о зависимости языкового знака от обозначаемой им внезнаковой предметности.

---

<sup>4</sup> Напечатано в кн.: Вопросы грамматики и лексики русского языка. Сборник трудов каф. общ. языкознания МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1973, с. 22—55.

Формулируем теперь также и наш третий тезис, который тоже представляется нам самоочевидным. *Всякий языковой знак, отражающий ту или иную систему отношений в обозначаемом им предмете, пользуется этим отражением свободно, произвольно и уже независимо от объективной истинности отраженной в нем предметной системы отношений, равно как и от самого мышления, актом которого является знак языка.*

Это ясно из того, что высказываемое нами грамматическое предложение, как бы оно ни было правильно в грамматическом смысле, само по себе еще ровно ничего не говорит о своей ложности или истинности. Мы можем сказать «Юпитер гневается», и это будет у нас грамматически совершенно правильное предложение. Однако тот, кто высказывает подобного рода предложение, вовсе не верит в существование Юпитера и уж тем более в существование гнева у Юпитера. Можно сказать «круглый квадрат летает; и когда он летает, он превращается в деревянное железо». В этом предложении ни одно слово не отражает объективной действительности, и уж тем более не отражает ее все предложение в целом. И тем не менее самый строгий грамматист должен признать, что перед нами здесь предложение, которое по законам русской грамматики составлено совершенно правильно.

Итак, нельзя согласиться с теми, кто ради мнимого материализма утверждает, что язык есть отражение действительности. Само собой разумеется, что язык очень часто является отражением действительности, но он часто является также искажением действительности, ложью об этой действительности и самой настоящей клеветой на эту действительность. Иначе ведь любое наше грамматическое предложение и любое наше высказывание уже было бы истиной, и исказить действительность, извращать существующие в ней отношения и вообще ошибаться или лгать было бы невозможно. Разумеется, не правы и те, кто на этом основании вообще отказывается сопоставлять язык и действительность, разрывает обе эти сферы, отбрасывает действительность и утверждает, что в языке имеется своя собственная истинность или ложность независимо ни от какой действительности.

Вести подобного рода дискуссию можно только в

специальном исследовании. Что же касается нашей аксиоматики, то она просто основана на здравом смысле. А с точки зрения здравого смысла, человеческое мышление, конечно, возникает из простейших и элементарных восприятий действительности; но, несмотря на это, оно вовсе не всегда соответствует действительности, может сколько угодно уклоняться от нее в сторону и быть в сравнении с нею самой настоящей ложью. Невозможно отвергать эти простейшие данные здравого смысла. И зависимость языка от предметной действительности, из отражения которой он только и мог возникнуть, а также зависимость языка от мышления, которое может быть как истинным, так и ложным, эта обоюдосторонняя зависимость языка, эта обусловленность специфических знаков языка как актами восприятия самой действительности, так и актами самостоятельно функционирующего мышления, всякая такая зависимость есть просто требование здравого смысла. И, собственно говоря, тут еще нет никакой научной теории, а фиксируются только факты самой обыкновенной и максимально очевидной человеческой практики.

Перейдем к нашему четвертому тезису. *Всякий языковой знак есть акт интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов действительности.*

Здесь мы вводим термин «интерпретация», с которым, собственно говоря, мы уже имели дело и раньше. Но раньше вместо этого термина мы пользовались термином «понимание» и связывали его с той стихией человеческого сознания, в которой объективная вещь находила свое отражение и свое то или иное к ней отношение, т. е. свое истолкование. Теперь же, после изучения вопроса о зависимости языка от мышления, мы можем говорить о понимании уже в более широком смысле слова, включая сюда и понимание действительности. Изучение этой *интерпретативной* природы языкового знака обнаруживает в нем целое множество разного рода явлений, вполне специфических как в сравнении с объективной действительностью, так и в сравнении с чистым мышлением, развивавшимся на основах отражения этой действительности.

Рассмотренный сейчас нами вопрос об объективной истинности или ложности грамматического предложения

является вопросом слишком грубым и слишком уж очевидным. Относительная самостоятельность языковых знаков гораздо больше усматривается в других, гораздо более тонких явлениях языка, в более тонкой его интерпретирующей функции. Когда мы говорим о практической сущности языка в сравнении с теоретическим мышлением или когда говорим вообще о выражении мышления в языке и отдельных понятий в тех или иных словах, то это соотношение мышления и языка никак нельзя понимать механически. Слово всегда богаче понятия и является его конкретным и материальным воплощением. Но это нельзя понимать буквально. В строгой науке, состоящей из операций со строго определенными и со строго фиксируемыми терминами, слово действительно является прямым выражением соответствующего понятия. Но такие строгие термины в сравнении с неисчислимым разнообразием слов в нескольких тысячах языков и диалектов на нашей планете являются только ничтожной прослойкой. Наша обыкновенная бытовая жизнь меньше всего оперирует такими словами.

Что значит слово *самолет* — это я знаю. Но как я знаю? Я слышу звук мотора, я вижу огни самолета, я вижу направление полета и догадываюсь о быстроте этого полета, я чувствую близость этого полета к поверхности Земли или его далекость от нее. И для практической жизни этого «знания» вполне достаточно. Но ведь всякий скажет, что знать самолет — это значит понимать его конструкцию, принципы этой конструкции и их механическую осуществленность и собранность в одну систему. Но ведь таким знанием обладает только небольшой круг соответствующих научно-технических работников. Да в этом строго научном смысле я даже не знаю, что такое картофель, который я сам и все другие едим очень часто, без всякого понимания, в чем ботаническая сущность этого растения и каков его точный и научный (а это, конечно, латинский) термин. Есть картофель еще не значит понимать его ботаническую сущность. И, присмотревшись к обыкновенному человеческому языку, мы без труда можем заметить, что все оперируют словами, обозначающими тот или иной предмет, но почти никто не понимает, что такое этот обозначаемый предмет по своему существу. Можно

ли при таких условиях сказать, что слово всегда есть выражение понятия и только понятия?

Даже если взять слова, в которых выражается точно фиксированное нами понятие предмета, то это еще далеко не значит, что данное так и будет употребляться нами в смысле абстрактного и вполне бесстрастного понятия. Математики, оперирующие в основном точными терминами, очень часто спорят между собой и даже вносят страстность в эти споры. Ясно, что всякое реальное человеческое слово, выражает ли оно собой строго продуманное логическое понятие или какую-нибудь эмоцию, настроение, аффект или волевою устремленность психики, несмотря на все это, обладает достаточно свободной и независимой жизнью, а вовсе не отражает мышления только чисто механически.

Если остановиться на отдельном слове, то слово не есть понятие, но есть определенным образом выраженное понятие; и слово о вещи не есть сама вещь, но определенным образом выраженная вещь, определенным образом понятая вещь, т. е. определенным образом интерпретированная вещь.

В самом деле, если остановиться, например, на грамматическом предложении, неужели это грамматическое предложение есть обязательно связь каких-нибудь понятий? В таком математическом предложении, как *Сумма углов треугольника равняется двум прямым углам*, мы действительно ничего не находим, кроме логического соединения тех или других логических понятий. Но если мы имеем такое предложение, как *Столяр сделал табуретку*, неужели здесь речь идет только о соотношении понятий? Ведь тогда получилось бы, что понятие столяра создает понятие табуретки; да и само это «сделал» или «создал» тоже было бы чисто логическим актом, т. е. в первую очередь умозаключением. Конечно, здесь идет речь не о понятиях, но о самих вещах. Но нельзя сказать, что речь идет здесь и просто только о вещах. Ведь в вещах имеется своя собственная причинность, вещи сами себя создают и сами себя уничтожают, так что участие человека тут совсем не обязательно. Значит, предложение *Столяр сделал табуретку* не есть ни логическое суждение, ни пассивное восприятие вещей, которые сами себя создают, сами себя уничтожают.

Если нужно обязательно употреблять термин «бытие», то языковое или словесное бытие есть третий вид бытия, наряду с чисто логическим и чисто вещественным или материальным. Особенности и специфика этого третьего бытия сразу же бросаются в глаза, если только внимательно к нему отнесемся.

Оно есть не что иное, как определенного рода интерпретация бытия, а не просто само бытие. Слово *столяр* уже тем одним отличается и от понятия «столяр», и от столяра как чисто материального фактора, что оно способно вступать в бесконечно разнообразные отношения с другими словами и вступать в бесконечно разнообразные комплексы слов, откуда и значений этого слова получается необозримое число.

Понятие угла треугольника всегда остается одним и тем же, в какие бы сочетания оно ни входило с другими понятиями. Но столяр может не только делать табуретку. Он может делать и скамейку, и дверь, и шкаф, и стол, и полки, и оконные рамы, и перила на лестнице, и повозки или экипажи, и еще многое другое. И везде в этих случаях он выступает с какой-нибудь своей одной специфической стороны. Но он может также и есть, пить, спать, гулять, ездить, читать газеты или книги, слушать радио, смотреть спектакли, быть здоровым или больным, умирать, носить ту или иную одежду, путешествовать, работать или отдыхать и вообще производить трудно обозримое количество разных действий или поступков, иметь всевозможные настроения, быть работником разнообразной квалификации, ходить пешком или ездить верхом на лошади, ездить в трамвае или автобусе, летом в тарантасе, а зимой в санях. Все эти оттенки деятельности столяра вполне вытекают из слова *столяр* и модифицируют это слово бесконечно разнообразными способами. Однако из понятия «столяр» вовсе не вытекает, что столяр может спать, так же как из понятия «линия» или «отрезок линии» вовсе не вытекает, что линия может быть железной или деревянной, что ее можно согнуть или сломать, что она имеет вес или запах. Следовательно, предложения, кроме строго научных, которые неотличимы от чисто логических суждений, вовсе не состоят из понятий. Подлежащее в предложении не есть понятие, сказуемое или дополнение в предложении — тоже не по-

нения, да и само отношение между подлежащим и сказуемым, т. е. предикцирование, тоже не есть чисто логический процесс.

Предложение, будучи актом мышления и будучи однажды порождено мышлением, получает полную свободу и независимость от мышления, так что мышлению даже трудно угнаться за теми своими актами, которые само же оно и породило. Но еще меньше того связь языкового знака с обозначенной вещью. В самом начале действительно должна быть вещь, а уже потом будет ее название. Если нет вещи, то не может быть и никакого слова об этой вещи, но если слово о вещи однажды образовалось, то оно норовит жить уже собственной жизнью и вовсе не всегда склонно к отражению тех вещей, которые его же и породили и отражением которых оно же и является. Слово настолько начинает жить своей собственной жизнью, что часто даже целиком отрывается от вещи, которую оно призвано обозначать и, значит, отражать. Часто оно даже вовсе прекращает всякую свою связь с породившими его вещами и начинает их искажать, представлять их в ложном виде и даже прямо лгать о них.

Итак, языковой знак есть акт мысли, но живущий своей собственной жизнью, и акт отражения вещи, но опять-таки живущий своей собственной жизнью, так что этот акт способен как действительно отражать и мышление и материальную действительность, их породившие, так и в порядке их специфической интерпретации полностью их искажать и извращать.

Вообще говоря, понятие «столяр» — бесконечно по своему функционированию, и слово *столяр* тоже бесконечно по своему функционированию. Но, сказав *столяр*, мы сосредоточились только на одном определенном типе бесконечных свойств и действий столяра и погрузили это слово в контекст языка, сразу же ограничивший эту бесконечность, но не по количеству ее бесконечных проявлений, а по типу этих проявлений.

Слово *идти* имеет свой логический смысл. Но, попав в русский язык и став знаком русского языка, оно, например, не может образовать имперфекта. Этот имперфект образуется совсем от другого корня и звучит *я шел*.

От греческого глагола *phereō* «я несу» нельзя обра-



зовать аориста в хорошем греческом языке, а этот аорист образуется супплетивно как *ἔπεγα*. И в этом греческом аористе почему-то появляется перфектное удвоение и перфектный форматив *с*.

От латинского глагола с тем же корнем почему-то нельзя образовать никаких временных форм, кроме тех, которые образуются от презенса. В качестве перфекта почему-то вдруг появляется какое-то *tuli*, а вместо супина какое-то *latum*. И почему? А потому, что это не логика, а язык; и хотя *tuli* и *latum* суть акты мышления, тем не менее они образованы вовсе не от корня *tego*, т. е. имеют свое собственное происхождение и свое собственное функционирование, уже чисто языковое и притом чисто латинское.

Большинство глаголов в греческом языке имеет свои собственные формативы и для аориста, и для перфекта, и для будущих времен. Но значительная часть глаголов почему-то так и осталась без этих формативов глагольных времен и образовала весьма внушительную область так называемых вторых времен, которые не поддались позднейшей морфологизации со специальными формативами, а упорно остались без всяких формативов и на все времена существования греческого языка.

От множества русских глаголов можно образовать итеративные формы: от *ходить* — *хаживать*, от *гулять* — *погуливать*, от *читать* — *читывать*, от *писать* — *пописывать*, от *лежать* — *полеживать*, от *сидеть* — *посиживать*. Но от массы других глаголов почему-то никак нельзя образовать подобных же итеративных форм. От глагола *любить* почему-то нельзя произвести форму *любивать*, от *ехать* — *езживать*, от *иметь* — *имеивать*, от *вести* — *повестивать*, от *наблюдать* — *наблюдывать*.

Бесконечно разнообразны и логически не предусматриваемы такие, например, языковые процессы, как управление глаголов. По-русски говорится *удивляться чему*, по-гречески же *удивляться что* (т. е. с accusativom). По-русски *я скрыт от кого или от чего*, по-гречески *я скрыт* опять с accusativom (*lanthanō ti*). При чем тут логика? Если подходить к этому вопросу чисто логически, то логически удивление определенным образом связано с предметом удивления и никаких падежей, ни дательных, ни винительных, здесь не мыслится.

Да уже тот простой факт, что одно и то же понятие в разных языках выражается по-разному, свидетельствует не просто о разнообразии звуковых наборов для обозначения данного понятия, но и о том, что слово, обозначающее в данном языке то или иное понятие, имеет свою собственную судьбу, уже не зависимую от первоначального понятия, которое оно призвано выражать, и судьба эта в разных языках бесконечно разнообразная, капризная и логически необъяснимая.

Ради примера приведем такое рассуждение В. А. Звегинцева: «...по своим лексическим значениям русское *стол* отнюдь не однозначно с английским *table*. По-английски нельзя употребить слово *table* в смысле отдела в учреждении: *личный стол* (по-английски *personnel office*), *адресный стол* (по-английски *address bureau*), *стол заказов* (по-английски *preliminary-orders department*) и т. д. Для значения „питания“ в английском также предпочтительно употребляется не *table*, а слово *board* или *cooking*, *cookerу* (*стол и квартира* — *board and lodging*, *домашний стол* — *plain cooking*, *диетический стол* — *invalid cookerу*). С другой стороны, английское *table* употребляется в значениях, которых не знает русское слово *стол*: 1) каменная, металлическая или деревянная пластинка с надписями, а отсюда и сами надписи (*the table of law*); 2) таблица (*table of contents of a book*; *tables of weights and measures*; *mathematical tables* и т. д.)»<sup>5</sup>.

Читатель сам прекрасно понимает, что подобного рода примеров из любого языка можно было бы привести десятки, сотни и, вероятно, целые тысячи. Языковые знаки являются и актами мысли, и актами понимания реальной действительности. Но однажды возникнув из отражения действительности и из теоретического мышления, т. е. став интерпретацией, языковые знаки начинают жить своей собственной жизнью, создают свои собственные законы, методы и просто навыки или традиции и становятся условно свободными, условно независимыми, условно самостоятельными, так что законы и вообще способы функционирования языковых знаков обладают своей собственной природой, т. е. при-

---

<sup>5</sup> Звегинцев В. А. Проблема знаковойности языка. М., 1956, с. 19.

родой не прямого отражения действительности или мышления о ней, но своего собственного понимания и самой действительности и самого мышления о ней, своей собственной их интерпретации. Теперь мы остановимся на самом главном принципе построения грамматического предложения — на принципе предикации.

Эта грамматическая предикация в отличие от логической однозначности, а если от многозначности, то строго планируемой в логике, прежде всего вовсе не характеризуется застывшим однообразием и унылой однозначностью. В строго логическом мышлении предикация вовсе не является застывшим однообразием, поскольку это однообразие здесь вовсе не рассчитано на охват бесконечных вещей и, строго говоря, она здесь вовсе и не есть только однозначность. Она здесь большей частью тоже является многозначностью, но только строго планируемой, т. е. тоже строго логической. Совсем другое дело в грамматике.

Если я скажу *Книга есть произведение печати*, то связка *есть* является здесь на первый взгляд как будто бы чем-то однозначным. Но даже и эта простая грамматическая связка *есть* вовсе не однозначна. Ведь это же есть указание на то или другое событие. А видов бытия опять-таки бесконечное количество. Если я скажу *Юпитер есть верховное божество у древних римлян*, то это сказуемое *есть* по своему смыслу вовсе не то, что в предложении *У меня есть рубаха*. А это последнее *есть* вовсе не то, какое мы имеем в предложении *Прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками*. Еще в другом смысле слово *есть* употребляется в таком предложении, как *Пушкин есть солнце русской поэзии*. Другими словами, грамматическая предикация может действительно указывать на логическое отношение между подлежащим и сказуемым; и яснее всего это в таких предложениях, которые подводят подлежащее как видовое образование под сказуемое как родовое образование (*Пушкин — это есть поэт*). Но чаще всего предикация в грамматическом предложении вовсе не есть подведение вида под род.

Прежде всего это *есть* может иметь экзистенциальное значение, т. е. быть указанием просто на существование: *добрые люди все-таки есть*, или *у него есть дом*, или *знания у него есть, а ума нет*. Во-вторых же,

грамматическая предикация далеко выходит за пределы подведения вида под род и за пределы констатации факта. Возьмем такое предложение, как *Брат любит сестру*. *Брат* тут вовсе не есть что-нибудь единичное, которое подводилось бы под слово *сестра* как под нечто родовое. И *брат* и *сестра* здесь одинаково единичные существа, а *любит* не имеет никакого отношения к простой экзистенции. Предложение *Архитектор Иванов построил дом* тоже не есть подведение вида под род, и это тоже вовсе не есть суждение существования. То же в предложении *В воздухе повеяло весной*. И заметим, типов таких предложений существует сколько угодно; и еще не появилось такого лингвиста, который бы дал точную классификацию всех грамматических предложений с принятием во внимание их качественных особенностей.

Можно сказать, что в отношении содержания число предложений, а следовательно и предикатов, безгранично. Можно представить себе и чисто логические предложения, и экзистенциальные, и качественно наполненные (физически, психологически, общественно, политически, исторически), и предложения разного рода оценочного типа (моральные, эстетические, политические).

К этому необходимо прибавить также и другие, уже чисто формальнограмматические категории, сопровождающие то или иное грамматическое предложение. Возможно введение в него разных уточняющих слов или отдельных частиц и даже целых придаточных предложений, уточняющих собой тот или другой основной член предложения.

Мышление действительно состоит из того, что мы что-нибудь предсказываем с чем-нибудь. Казалось бы, здесь мы имеем дело с таким простейшим предметом, о котором и говорить нечего. На самом же деле, когда мы переходим к языку, этот принцип предсказания приобретает совершенно неузнаваемые формы, а иной раз даже и совсем отсутствует, по крайней мере видимым образом. Это значит, что чисто логическая предикация неузнаваемым образом интерпретируется в языке. Безличные предложения вроде: *Светает, Вечереет, Холодает, Потеплело, Думается, Кажется, Знобит* не имеют выраженного предмета для предсказания,

а лишь выражают само предсказание. Но конечно, предмет этот есть, только проанализировать его трудно. Когда мы говорим *дойдет*, то нам на первых порах еще не известно, кто дождит или что дождит, но уже немецкий язык говорит *es regnet*, т. е. какое-то *оно дождит*. Французы пошли еще дальше, и это *оно* они превращают прямо в *он* — *il pleut*. Но откровеннее всех и со своей точки зрения гораздо более честно рассуждали древние греки, которые прямо говорили *Зевс дождит* — *Dzeys huei*. Поэтому безличные предложения имеют целую историю; и то, что идет дождь, как бы оно логически ни выражалось, в языках выражается весьма разнообразно. Поэтому само предсказание выступает в разные исторические эпохи в своей тоже весьма разнообразной степени и качественности, т. е. со своей весьма разнообразной интерпретацией.

Да и законченное логическое суждение в одних языках выступает в виде нерасчлененного звукового комплекса или в виде ряда таких комплексов, в других — в условиях огромной семантической значимости интонации, в третьих — эргативно, в четвертых — чисто флективно. Агглютинация и флективность имеют мало общего с чисто логическим слиянием отдельных понятий в едино-раздельное суждение. Особенно вариативным характером отличается в языках предсказание, начиная с указанного у нас его отсутствия (как мы сказали, только мнимого) и кончая проведением его решительно на всех языковых уровнях. Об этом речь пойдет ниже.

Это не значит, что грамматическое предложение не имеет своего логического смысла. Такое понимание сводило бы синтаксис на какую-то сплошную иррациональность. Нет, каждое грамматическое предложение, конечно, имеет свой логический смысл. Но какой это смысл? Это вовсе не та сфера смысла, которой оперирует чисто формальная логика. Это своя собственная и своя особенная, а именно языковая, логика, языковой смысл и языковое мышление. И в чем его особенность? А об этом мы уже достаточно говорили выше.

От чистого мышления языковое мышление отличается тем, что оно является каждый раз не чистым мышлением в понятиях, но тем или иным пониманием этого мыслительного процесса, тем или иным его преломле-

нием и конкретизацией, тем или иным его воплощением в целях обозначения вещей и общения между людьми, или, вообще говоря, той или иной его *интерпретацией*. Но вещей и их свойств бесконечное количество, следовательно, и мышление о вещах тоже бесконечно. А потому и языковой знак как акт мысли тоже бесконечен, но его бесконечность особого типа и гораздо более конкретная.

До сих пор мы говорили о языковой интерпретации в самостоятельном смысле слова и независимо от разных уровней языка. Однако очень важным и весьма интересным языковым явлением оказывается то, что отдельные языковые элементы, будучи самостоятельной интерпретацией и абсолютной действительности и отражающего ее чистого мышления, настолько близко и органически вливаются в общую стихию языка, что оказываются не только повсеместным языковым явлением, но и вполне специфическим для отдельных *уровней языка*.

У нас обычно говорят о предикации только в отношении грамматического предложения. Но без этой предикации в языке вообще ничего не обходится, поскольку языковой знак всегда есть акт человеческого сознания и мышления, а сознание и мышление по самому своему существу не могут обходиться без процессов предикации.

Что такое, например, фонема и какое ее отличие от аффикса? Установить, что данный звуковой комплекс, входящий в слово, есть его аффикс, мы можем только при помощи сравнения этого звукового комплекса в разных словах. Если аффикс, или в данном случае префикс, есть, например, *in* или *de*, или *sub* (*sub*), то достаточно сравнить какой-нибудь десяток или два десятка слов с подобного рода префиксами, как уже становится ясным, что эти звуковые комплексы представляют собой нечто самостоятельное и достойное самостоятельной фиксации. В этом смысле такого рода звуковые комплексы мы и считаем самостоятельно зафиксированными в тех или других словах, почему и называем их аффиксами. Однако ясно, что всякий такой аффикс берется вне всякой своей значимости в самостоятельном виде и в том виде, как он входит в то или иное слово. А ведь он обязательно имеет свое собственное значение, уже далеко выходящее за пределы значения отдельных со-

ставляющих его звуков. Чтобы аффикс играл свою семантическую роль в составе слова, мы должны приписать ему то или иное значение, уже не просто звуковое.

Но приписать какое-нибудь значение чему-нибудь — это и значит предцировать данное значение в отношении того или иного физического предмета и в данном случае в отношении асемантически данного аффикса. Такой аффикс, получивший свою семантику, входящую в семантику цельного слова, мы и называем уже не аффиксом, но фонемой или морфемой. То же самое необходимо сказать и о том комплексе морфем, который представляет собой цельное слово, потому что в каждом слове мы тоже предцируем то или иное его значение в отношении составляющих его звуков или слогов. То же самое, очевидно, необходимо сказать и о любом словосочетании. И наконец, то же самое необходимо сказать и о предложении, где впервые предцирование развертывается в полной форме, т. е. в виде отдельных слов, с указанием на то, какая именно предикация и в отношении чего именно высказывается. Однако в отношении предложения необходимо высказать несколько специальных замечаний.

Во-первых, поскольку предложение является развернутой формой лежащего в основе всякого языка предцирования, которое, в свою очередь, диктуется самым общим и необходимым образом как важнейший акт человеческого сознания и мышления, то, несомненно, этими актами предцирования (пусть не в такой развернутой форме, как это происходит в предложении) должен характеризоваться весь язык вообще с начала и до конца, а значит, любой специфически языковой знак. На эту тему имеется весьма любопытное исследование польского ученого В. Дорошевского<sup>6</sup>, который прямо говорил, что отдельные аффиксы слова соотносятся между собой точно так же, как соотносятся между собой и члены предложения. Получается, что одни аффиксы при словообразовании играют роль подлежащего, а другие — роль сказуемого. Такая теория вносила бы небывалое синтетическое представление вообще во

---

<sup>6</sup> Doroszewski W. D. Podstawy gramatyki polskiej. Warszawa, 1952, 1973.

всю науку о языке. Правда, сам В. Дорошевский несколько не склонен абсолютизировать свою теорию и сам же формулирует некоторые трудности, с которыми эта теория сталкивается. У нас эту теорию с успехом проводил Б. Н. Головин<sup>7</sup> и притом независимо от В. Дорошевского. В своей диссертации Б. Н. Головин пишет, что наблюдения над соответствием словообразовательного анализа и синтаксиса «могли бы установить не только очевидные параллели между синтаксисом и словообразованием, но и дали бы очень большой материал для развития учения о синонимии словообразования и других структурных сторон языка»<sup>8</sup>. Б. Н. Головин совершенно правильно утверждает, что *переплетчик* есть «тот, кто переплетает», *глиняный* — «сделанный из глины», *переписать* — «написать заново». И действительно, нетрудно сообразить, что морфема *переплет-* в слове *переплетчик* играет роль либо подлежащего, и тогда суффикс *-чик* будет играть роль сказуемого в страдательном залоге, и все это слово будет значить «переплет, сделанный переплетчиком». Или морфеме *переплет-* мы можем толковать как дополнение в соответствующем предложении. И тогда морфема *-чик* будет обозначать категорию подлежащего вместе с тем действием, которое совершается субъектом, выраженным в подлежащем. В. Н. Зиновьев, критикующий теорию В. Дорошевского, все-таки признает ее как весьма плодотворную научную попытку<sup>9</sup>.

Что касается нас, то и мы, пока эта теория не доказана абсолютно во всех случаях соотношения словообразования и синтаксиса, тоже считаем ее гипотезой, но не только просто плодотворной, а впервые ясно и в блестящей форме вскрывающей внутреннюю смысловую сущность словообразования и тем самым впервые трактующей грамматическую предикацию в ее универсально языковой роли. Было бы колоссальным дости-

---

<sup>7</sup> См.: Головин Б. Н. Приставочное внутриглагольное словообразование в современном русском литературном языке (автореф. докт. дис.). М., 1966.

<sup>8</sup> Там же, с. 166.

<sup>9</sup> См.: Зиновьев В. Н. Проблемы теории словообразования в современной польской лингвистической литературе.— «Учен. зап. Горьковского ун-та», сер. историко-филологическая, 1961, вып. 52, с. 362.



жением науки, если бы каждое отдельное слово уже нужно было считать конденсированным предложением. Теоретически это только и может быть так, но практически и языковедчески это требует обследования весьма больших грамматических материалов.

Во-вторых, никакое предложение не состоит только из каких-нибудь своих членов, которые имели бы свое собственное значение без отношения к предложению как к целому. Если в предложении *Столяр сделал табуретку* мы произнесли слово *столяр* и тут же о нем забыли, так что при переходе к слову *сделал* уже не знаем, кто именно здесь работал и делал, и если в переходе к слову *табуретку* уже забыли и слово *столяр* и слово *сделал*, то ясно, что вместо связного предложения у нас появится только ряд дискретных слов, ничем между собой не связанных, и само предложение просто рассыплется на отдельные куски, не имеющие никакого отношения к целому, и, значит, просто перестанет существовать. Следовательно, каждое из трех слов, входящих в данное предложение, уже содержит в себе два других слова хотя бы потенциально, и все предложение есть такое целое, которое пусть и делится на отдельные члены, тем не менее уже само это деление на части предполагает специфику того целого, из которого состоит данное предложение и которое обладает уже таким новым качеством, которое никак не дробится на отдельные части или проявления. Итак, всякое предложение, состоящее из определенных членов, будучи в сравнении с ними новым качеством, не может делиться на свои отдельные члены, есть нечто неделимое.

Но это явствует не только из логического анализа грамматического предложения. Это в такой же мере ясно и из способа произношения данного предложения, и из способа его написания или вообще из осуществления в том или ином вещественном виде. Когда мы произносим то или иное предложение, мы вовсе не отделяем подлежащее от сказуемого или сказуемое от дополнения. В связной речи, которой мы пользуемся для сообщения своих мыслей другим людям, всякое предложение проскакивает у нас, так сказать, единым духом, одним махом, в виде одной нерасчленимой точки или в виде одной нераздельной линии. И если мы будем отдельно произносить каждое слово, входящее

в данное предложение, и будем его отдельно фиксировать, а в каждом слове будем фиксировать в дискретной форме составляющие его аффиксы и фонемы, то наше произносимое предложение просто рассыплется на ряд дискретных элементов, и никто нашего предложения просто не поймет. Конечно, мы не говорим о процессах обучения данному языку. В процессе обучения приходится объяснять ученику каждое отдельное слово, входящее в предложение, или вообще объяснять все элементы языка, его произношения и его записи вплоть до последней буквы. Но язык есть живое общение между людьми, а это общение не имеет ничего общего с обучением отдельным буквам и звукам, отдельным лексемам и словам и отдельным членам произносимых нами грамматических предложений.

Итак, грамматическая предикация, будучи своеобразным явлением в сравнении с чисто логической предикацией и являясь свободной интерпретацией, имеет не только разную степень предикативности, но и множество разновидностей в зависимости от разных уровней языка.

В-третьих, языковая предикация, в сравнении с логическими категориями различия и тождества, будучи их свободной интерпретацией, может как угодно комбинировать члены грамматического предложения, совершенно произвольно и с использованием их любых сочетаний. В предложении *Белеет парус одинокий в тумане моря голубом* все учебники, да и все исследователи считают *парус* подлежащим, *белеет* сказуемым, а слова *в тумане моря голубом* обстоятельством выражением. И формально так оно и есть, поскольку в качестве подлежащего большей частью выступает существительное в именительном падеже, а в качестве сказуемого — глагол с той или иной характеристикой времени действия. Однако это еще не есть язык в собственном смысле слова, но только чисто логическое суждение, которое в своем буквальном и механическом применении к грамматическому предложению делает это предложение чем-то чересчур формальным и тоже не соответствующим конкретной языковой практике.

Указанное предложение я могу понять как характеристику не паруса, но белизны. Представьте себе, что вы стоите на берегу моря и видите вдали голубой ту-

ман, который вас мало интересует, а интересуется вас то, что появляется в этом тумане. И вот вы замечаете белый парус. Тогда вы можете сказать: «Ага, да ведь эта белизна есть не что иное, как лодка или корабль со своим парусом». И тогда указанную выше фразу Лермонтова вы поймете так: «видимая мною белизна в далеком морском тумане есть лодка или корабль с парусом», значит, подлежащим здесь явится не *парус*, но *белеет* со всеми прочими членами данного предложения. Далее, в указанной фразе Лермонтова вас может интересовать и не парус, и не его белизна, а весь тот голубой туман, который вы видите в морской дали. Тогда у вас получится предложение: *Голубой морской туман содержит в какой-то одной своей точке лодку с белым парусом.*

Другими словами, если грамматическое предложение понимать действительно как языковое явление, а не как абстрактно-логическое суждение, то оно, будучи интерпретацией этого последнего, может подчеркивать в нем любые его элементы и выдвигать на первый план любые употребленные в нем категории. Этим же самым способом даже определение *одинокий*, т. е. «одиночество», вполне может считаться подлежащим данного предложения, и тогда сказуемым будут слова *белеет парус в тумане моря голубом*. Следовательно, предсцировать в смысле языка — это и значит бесконечно разнообразно варьировать одно и то же логическое суждение, бесконечно разнообразно его интерпретировать. И вообще, любой член грамматического предложения можно считать подлежащим, а все остальные члены предложения, взятые вместе, считать сказуемым.

Заметим, что установленная здесь у нас разница между предложением и суждением весьма подробно и разносторонне разработана в советской лингвистике и в настоящее время является неотъемлемым ее достоянием. Правда, еще в 1947 году чешский ученый В. Матезиус<sup>10</sup> довольно отчетливо разработал теорию так называемого «актуального членения» грамматических предложений. Этот ученый как раз доказывал, что лю-

---

<sup>10</sup> Mathesius V. O tak zvaném aktuálním členění větěném.— In: Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.

бой член предложения и любая комбинация этих членов может быть и подлежащим и сказуемым и вообще интерпретироваться в виде любого члена предложения, из тех, которые указываются в школьной грамматике. Однако у нас в 50-х годах вся эта обширная проблема разницы между предложением и суждением, а также и вообще между словом и понятием, разрабатывалась настолько часто и детально, настолько разнообразно и самостоятельно, что никакого следа заимствования у В. Матезиуса проследить нет никакой возможности. В те же самые годы этой проблемой вполне самостоятельно занимался также и автор настоящей статьи, совершенно не будучи знаком с работой В. Матезиуса. Но по разного рода причинам соответствующая статья появилась только в 1965 году<sup>11</sup>.

Очень легко понять слишком формально проводимую здесь нами теорию языковой интерпретации и думать, что такое различное членение предложений вовсе несвойственно реальному языку. Это грубая ошибка, не свидетельствующая о пристальном внимании к произносимой и слышимой речи. Известный актер Качалов, изображая в своем Гамлете почти исключительно только сыновнюю любовь к матери, подчеркивал по всей трагедии только те слова, которые в той или иной другой степени выражают любовь Гамлета к матери. На периферии я видел много разного рода замечательных Гамлетов, и все они были разные. Мне помнится актер, выдвигавший на первый план одиночество, покинутость, беспомощность, расслабленность, крайнее отчаяние и полное бессилие Гамлета. Это был, скорее, какой-то чеховский герой, а не шекспировский Гамлет. Мне помнится другой актер, который выдвигал в Гамлете, наоборот, силу, волю, мощь, и притом в обдуманном, запланированном, злом и каком-то самодовольно-сатанинском виде. Был и еще один Гамлет, в котором выдвигалась скорее эпоха Гамлета и его дворцовое окружение, чем сам Гамлет с его индивидуальными особенностями. Один Гамлет остался у меня в памяти

---

<sup>11</sup> Лосев А. Ф. О коммуникативном значении грамматических категорий.— В кн.: Статьи и исследования по языкознанию и классической филологии. М., 1965, с. 196—231. В этой работе на с. 197—198 перечислены и главнейшие советские работы на эту тему.

как философ, как абстрактный мыслитель, как ученый студент тогдашнего европейского университета, который не столько действует, не столько чувствует, не столько к чему-то стремится, сколько над всем рефлектирует, все анализирует и все подводит под свою философскую концепцию о мире и о Дании как большой и малой тюрьме<sup>12</sup>. Все эти типы сценического воплощения Гамлета возможны были только потому, что решительно в каждой фразе одни Гамлеты считали подлежащим или сказуемым одно, а другие Гамлеты — совсем другое, третьи же — вовсе третье.

Да что там говорить о Шекспире? В самой простой фразе *Я вас люблю* можно находить по меньшей мере три, а на самом деле гораздо больше предложений. Во-первых, эту фразу можно произнести (и, конечно, вовсе не только на сцене, а в самой обыкновенной жизни) в таком смысле: «Я, и именно я, а не какой-нибудь Иванов или Петров, люблю вас». Но можно и так: «Я люблю именно вас, а не какую-нибудь Иванову или Петрову». И еще: «Имейте в виду, что я на самом деле люблю вас, а не просто с вами знаком и не просто имею с вами деловые отношения».

С точки зрения языка это будут три самые разные фразы, а с точки зрения чистой логики — здесь только одно и единственное суждение. Однако здесь мы входим еще в новую область, которую не знает чистая логика, а именно в область смысловых ударений, интонаций и всякого рода экспрессии. Точно так же на очереди стоит вопрос и о том, что называется валентностью в языке.

---

<sup>12</sup> Некоторые сведения о разных типах сценического воплощения Гамлета можно найти в статье А. А. Аникста «Сценическая история драматургии Уильяма Шекспира» (Шекспир У. Полн. собр. соч. в 8-ми т., т. 8. М., 1960, с. 611, 620, 625, 630).

## О бесконечной смысловой валентности языкового знака<sup>1</sup>

Уже самая обыкновенная интонационная сторона языка свидетельствует о его бесконечной смысловой валентности. Одно и то же предложение можно произнести с весьма разнообразной интонацией вплоть до перемены утвердительного предложения по его смыслу на совершенно противоположное, т. е. на самое настоящее отрицательное предложение. В наших школьных грамматиках различаются предложения повествовательные, побудительные, вопросительные и восклицательные. Чисто логически везде тут фигурирует одно и то же суждение. Но с точки зрения языка это совершенно разные предложения. По-латыни побудительное или запретительное суждение по крайней мере хотя бы выражается при помощи конъюнктива, так что здесь имеется формальное основание действительно говорить о разных предложениях. Но по-русски можно сказать: «идем», или «идемте!», или «давайте пойдем!», или «нү, пошли, пошли отсюда», или «пойдем гулять!», и для этого вовсе не требуется никакого сослагательного наклонения, а весь этот побудительный смысл такого рода предложений выражается при помощи все того же индикатива, т. е. не формально-грамматически, а только при помощи соответствующих интонаций и при помощи контекста речи.

Таким образом, грамматическое предложение только вне всякого контекста и только вне всяких ударений и интонаций может быть буквальным и механическим выражением чисто логического суждения, и когда мы в наших школьных грамматиках занимаемся предложениями без всех этих, как говорят, «суперсегментных» привнесений, то мы занимаемся здесь, собственно говоря, не грамматикой а пока только еще логикой. Такие предложения являются логическими знаками, но не знаками языковыми.

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1977, т. 36, № 1, с. 3—8.

В советском языкознании чисто эмпирическим путем исследователи уже давно пришли к гораздо более насыщенному пониманию языкового знака, чем это мы находим в школьных руководствах. Еще в 50—60-х годах образцы более углубленного понимания предложения мы находим у В. И. Борковского<sup>2</sup> и А. Н. Стеценко<sup>3</sup>. Однако сейчас мы остановимся на двух специальных докторских диссертациях, содержащих материал по нашей теме.

Именно попытку расширить само понятие грамматической предикации мы находим в докторской диссертации Я. И. Рословца<sup>4</sup> (1974). Основной целью этой диссертации является привлечение разного рода словосочетательных, предложенческих и всех разнообразных компонентов реально наличных в языке предложений вплоть до наречных, служебно-частичных и даже междометных элементов. И действительно, в результате исследования этого автора получается весьма богатая картина как подлежащего, так и сказуемого, весьма далекая от школьного схематизма. Тем не менее этот автор все-таки не доходит до разрушения твердыни предикации, до фиксации в ней разнообразных степеней и до становленческого понятия самой предикативности. Некоторый намек на разнонапряженную предикацию и на ее разнообразную понятийную насыщенность мы находим в тех местах этой диссертации, где анализируются разные значения связки *есть*. Таких значений Я. И. Рословец устанавливает пять<sup>5</sup>: 1) «отношения тождества, сущности, определения содержания предикативно определяемого лица или предмета»; 2) «отношения бытия, наличия, существования»; 3) «отношения возникновения, становления, обнаружения (*стать — становиться*,

---

<sup>2</sup> См.: Борковский В. И. Бессоюзные сложные предложения в древнерусских грамотах. — В кн.: Труды Ин-та языкознания, т. 8. М., 1957, с. 287—349; Он же. Синтаксис древнерусских грамот (сложное предложение). М., 1958.

<sup>3</sup> См.: Стеценко А. Н. Сложноподчиненное предложение в русском языке XIV—XVI вв. Томск, 1960; Он же. Сложносочиненное предложение в древнерусском языке. Томск, 1962; Он же. Исторический синтаксис русского языка. М., 1972.

<sup>4</sup> См.: Рословец Я. И. Именные (субстантивные) предложения в современном русском языке (автореф. докт. дис.). М., 1974.

<sup>5</sup> См.: там же, с. 23, 24.

делать — делаться, остаться — оставаться и др.)»; 4) «модальные оттенки высказывания (казаться — показаться, слыть — прослыть, почитаться, считаться, представляться и др.)»; 5) «связи „именования“ (зваться, называться, именоваться и некоторые другие)». Уже эти пять типов предикативного отношения свидетельствуют о том, что здесь использованы такие основные логические категории, как бытие (во втором случае), тождество (в первом случае), становление (в третьем случае), модальность (в четвертом случае), номинативный акт (в пятом случае). Все это свидетельствует, по крайней мере, о том, что Я. И. Рословец вполне отчетливо понимал логическую многозначность самой предикации как таковой независимо от второстепенных членов предложения и от внесения сюда самых разнообразных языковых элементов и конструкций. Тем не менее вся диссертация построена на нетронутости самой предикации и только на расцветивании ее разными, большей частью весьма разнообразно и четко подобранными внепредикативными элементами.

Еще раньше Я. И. Рословца, Л. Ю. Максимов в своей докторской диссертации (1971)<sup>6</sup> тоже исходил из динамического (как он говорил), а не из статического понимания членов предложения и простого, и сложного, и сложноподчиненного. В противоположность Н. Хомскому и Ч. Хоккету, понимавшим языковую модель как обобщенную и формализованную структуру, Л. Ю. Максимов пишет: «Структурно-семантическая модель сложноподчиненного предложения оказывается категорией динамичной в отношении степени абстракции: последовательное включение все новых и новых релевантных структурных признаков делает модель все более и более частной в структурном отношении и конкретной в семантическом. Такое понимание модели принципиально отличается от понимания модели (формулы, схемы) как категории статичной, широко распространенного в современной синтаксической науке... Вполне понятное стремление дать конечный список моделей и универсальный набор признаков, из которых должны стро-

<sup>6</sup> См.: Максимов Л. Ю. Многомерная классификация сложноподчиненных предложений (на материале современного русского литературного языка) (автореф. докт. дис.): М., 1971.



иться любые модели, неизбежно приводит к абсолютизации какой-либо одной ступени дифференциации, к привелированию специфических особенностей отдельных классов, что может исказить реальные соответствия языковых фактов, так как абсолютизуемый уровень абстракции может не отражать весьма существенных признаков описываемых структур, а сами абсолютизуемые признаки могут быть в различной степени важными для разных структур (представлять различные по степени обобщенные модели)»<sup>7</sup>. Из этого рассуждения Л. Ю. Максимов необходимо прямо сделать тот вывод, что предикативные отношения между подлежащим и сказуемым только в редких случаях являются буквальным воспроизведением предикации как чисто логической операции. На самом же деле те предикативные операции, которые наличны в языке, всегда обладают той или иной смысловой динамикой и могут в какой угодно степени отходить от абстрактного логического предикативания. Л. Ю. Максимов пишет: «Определенные преимущества имеет понимание модели как категории динамичной и при решении вопроса о границах грамматических значений (семантических характеристик) моделей и индивидуальной семантики (содержания) предложений, построенных по этим моделям. Если операции со статичными моделями предполагают обращение только к самым общим грамматическим значениям, то последовательная дифференциация моделей предполагает соответствующую дифференциацию и грамматических значений, позволяет описать и более частные значения, вплоть до таких, которые связаны с получившими статус структурных признаков функциональными средствами и типизированными лексическими элементами. При этом, думается, границы между грамматическим и лексическим не только не утрачиваются, но становятся более ясными, ибо приобретают реальный характер»<sup>8</sup>. С этой точки зрения, из анализа грамматического предложения неизбежно вытекает тот вывод, что однозначное абстрактно-логическое конкретное употребление предикации в языке встречается реже всего и имеет наименьшее значение и что фактически значение предик-

---

<sup>7</sup> Там же, с. 10, 11.

<sup>8</sup> Максимов Л. Ю. Указ. соч., с. 11.

кативного акта очень мало отличается от семантики вообще. Предикативный акт, как и вообще всякий языковой акт мысли, насквозь семантичен, безгранично разнообразно насыщен, все время находится в процессе становления и ничем не отличается от языковой семантики вообще. Его абстрактная предикативная структура в зависимости от того или иного семантического наполнения приобретает настолько разнообразный вид, что необходимо прямо говорить о столь же разнообразных ее типах.

Перейдем к нашему последнему, теперь уже пятому, тезису<sup>9</sup>. Именно, *всякий языковой знак, будучи системой отношений, черпает эту систему отношений из того или иного функционирования бесконечного источника мышления и может варьировать эту систему отношений тоже бесконечными способами.*

Этот тезис тоже еще далек от какой-нибудь специально лингвистической теории и базируется, как и все предыдущие наши тезисы, на данных простейшего здравого смысла, на данных самой обыкновенной и неустрашимой, неопровержимой человеческой практики. Здесь нам совершенно нечего доказывать, а достаточно будет только сказать в чем дело.

То, что всякий языковой знак есть акт человеческого мышления, это мы уже знаем. Но мышление есть отражение действительности, а действительность бесконечна. Следовательно, и человеческое мышление тоже никогда не останавливается, тоже уходит в неисчислимое множество наблюдений, сравнений, сопоставлений и всяких смысловых конструкций, то больших и глубоких, а то легких или поверхностных, всегда развивается и уходит в бесконечную даль, никогда не останавливается и всегда мало или много творит, как и сама действительность. Если мы будем отрицать за мышлением эту бесконечную способность развиваться, то мы просто должны будем отказаться от учения о том, что мышление есть отражение действительности. Получится так, что

---

<sup>9</sup> Первые четыре тезиса, относящиеся к специфике языкового знака, сформулированы нами в статье «Проблема специфики языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли», напечатанной в «Известиях Академии наук. Серия литературы и языка», 1976, т. 35, № 5, с. 395—407.

действительность все время развивается, все время бурлит и клокочет, все время создает свои новые и новые формы; а человеческое мышление в противоположность действительности никогда не развивается, никуда не стремится, не порождает все новых и новых форм и вообще лишено способности к бесконечному движению. Рассуждать так — значило бы впасть в мрачный, метафизический дуализм и заключить человека в тесную тюрьму его собственных переживаний только данного момента, не идущих никуда дальше.

Итак, мышление бесконечно, потому что бесконечна та действительность, отражением которой оно является. Но если это так, то и отдельные моменты мыслительного процесса тоже несут с собой заряженность этим бесконечным стремлением, каждый момент мышления тоже не стоит на месте и тоже все время стремится к безостановочному развитию. Следовательно, и языковой знак, если он действительно является актом мышления, тоже заряжен этой всегдашней способностью к бесконечному развитию, тоже никогда не стоит на месте и тоже кишит бесконечными семантическими возможностями.

В нашей статье «Аксиоматика знаковой теории языка»<sup>10</sup> мы уже пришли к выводу, что всякий знак может применяться к любым областям человеческого мышления и поведения и к любым областям действительности; а поскольку этих областей в человеческой практике и вообще в действительности неисчислимо количество, то, говорили мы, и всякий языковой знак тоже может обладать бесконечно разнообразными значениями. Однако все это мы говорили выше в применении к знакам вообще, не только к языковым знакам. Сейчас нас интересует только специфика языкового знака. А эта специфика необходимым образом связывает человеческий язык и его знаки с человеческим мышлением. И вот только теперь мы можем говорить о бесконечно разнообразных значениях знака не просто в описательном смысле слова и не просто как о фактах языка.

Эта бесконечная возможность значений знака теперь

---

<sup>10</sup> Напечатано в кн.: Вопросы грамматики и лексики русского языка. Сб. трудов каф. общ. языкознания МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1973, с. 22—55.

базируется у нас на том, что языковой знак есть акт мышления, что мышление есть отражение действительности, которая тоже бесконечна, и что, значит, бесконечно и само мышление, что этим бесконечным стремлением отличается и каждый момент мышления, каждый его акт и что, наконец, и каждый языковой знак тоже заряжен бесконечными семантическими возможностями.

Заметим, что проводимая здесь у нас теория бесконечной семантической валентности языкового знака хотя пока что нигде и не проводится в систематической форме, тем не менее для нее имеются все основания в нашем языкознании и литературоведении. Так, например, Э. Г. Аветян<sup>11</sup> прямо требует заменить существующие синхронные рассуждения о знаках рассуждениями диахронными, историческими, начиная от примитивной и непосредственной реакции субъекта на внешнее раздражение и кончая такой абстрактной конструкцией, как фонема. На точке зрения необходимости преодолевать слишком стационарную и слишком неподвижную характеристику знаковости стоит С. Р. Вартазарян<sup>12</sup>. Ю. С. Степанов<sup>13</sup> любопытнейшим образом говорит о разной степени напряжения самой знаковости, устанавливая бесконечные переходы от нулевой значимости знака и кончая тем или иным его содержательно-полноценным наполнением. Очень широко подходит к понятию знака также и акад. М. Б. Храпченко<sup>14</sup>, который весьма основательно высказывается как против абсолютизации знаковой теории, так и против ее игнорирования. Исследование М. Б. Храпченко убедительно доказывает ошибочность глобальной семиотики и, на конкретных примерах констатирует бесконечно разнообразное функционирование знаковых систем, их весьма разнообразную эстетическую насыщенность и их тоже весьма разнообразную эстетическую значимость от нуля до полноценных символов.

---

<sup>11</sup> См.: Аветян Э. Г. Природа лингвистического знака. Ереван, 1968; ср. особенно с. 164—217.

<sup>12</sup> См.: Вартазарян С. Р. От знака к образу. Ереван, 1973; ср. особенно с. 149—185.

<sup>13</sup> См.: Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971, с. 107—116.

<sup>14</sup> См.: Храпченко М. Б. Природа эстетического знака.— «Вопросы философии», 1976, № 2, с. 148—158; № 3, с. 96—105.

Теперь нам остается подвести итог приведенным выше рассуждениям о специфике языкового знака. Автор только просит читателя не упускать из виду основной установки, проводимой им в этой и предшествующей работе, которая заключается в том, что специфику языкового знака мы рассматриваем здесь только в связи с человеческим мышлением и не касаемся многих других сторон той же самой языковой специфики, каких очень много и помимо мыслительных связей.

Во-первых, что значит мыслить? Мыслить какой-нибудь предмет — это значит прежде всего отличать его от других предметов, т. е. находить в нем нечто для него существенное, а затем также и уметь соединять эти моменты в одно нераздельное целое. Мыслить — это значит устанавливать противоположности и противоречия, а также основания и следствия. В конце концов мыслить предмет — это значит устанавливать *систему отношений*, царящую как в нем самом, так и в его связях с другими предметами. Мыслить — это значит в первую очередь систематизировать.

Во-вторых, язык вовсе не является только одним мышлением, и языковой знак вовсе не есть акт только чистой мысли, т. е. не есть просто система смысловых отношений. Чтобы возник язык и чтобы стали функционировать языковые знаки, необходимо осуществление чистого мышления на практике, т. е. необходима *действительность мысли*. Поэтому слово вовсе не является понятием, но тем или другим его осуществлением, тем или другим его использованием, тем или другим его жизненным наполнением.

Отсюда, в-третьих, специфически языковой знак есть не только акт мысли, но и акт определенного понимания тех или других актов мысли, той или другой *интерпретации акта мысли*.

В-четвертых, эта осуществленность мышления в языке не может быть понимаема в виде отдельного существования какого-то акта мысли как чего-нибудь идеального и какого-то языкового акта как чего-то реального. В порядке необходимой для детального исследования научно-философской сущности предмета можно и нужно отличать реальное как факт действительности и идеальное как смысловое отражение этой действительности. Фактически, однако, не только язык и язы-

ковые знаки, но вообще все на свете в одинаковой мере и реально и идеально. Реально потому, что исходным пунктом всякого исследования является только то, что фактически существует или по крайней мере признается таковым, а идеально потому, что всякая предметность есть нечто, имеет какой-нибудь смысл или определяется совокупностью тех или других признаков, не только отделимых от самой предметности, но в целях детального исследования и долженствующих быть отделимыми, правда временно и условно. А это все и значит, что язык со всеми своими языковыми знаками не есть просто действительность человеческого мышления, но действительность эта дается здесь еще и *непосредственно*. Тот, кто пользуется языковыми знаками в речи или в письме, ни о каких языковых знаках даже и не думает, а если он о них думает во всем их раздельном многообразии, то это значит, что реальная речь в таком случае прекращает у него свое существование и вместо орудия реального общения людей становится предметом абстрактной науки о языке.

В-пятых, языковой знак, занимая, таким образом, среднее положение между субъективным мышлением и объективной действительностью, при всей своей зависимости от того и другого и при всей своей полной невозможности существовать как без того, так и без другого, фактически является вполне оригинальным и своеобразным бытием, не сводимым ни на чистую мысль, ни на слепую, глухую, никак не осмысленную, туманно текущую объективную действительность. Язык и образующие его языковые знаки возникают стихийно (а не преднамеренно и заранее не запланированно, как в чистой мысли), функционируют стихийно и создают свои собственные законы целесообразного развития, не сводимые ни на какие законы чистой мысли и ни на какие законы глобально-движущейся объективной действительности. Сводить эти законы на законы чистой мысли было бы абстрактным и удушающим всякую науку идеализмом, а сводить их на законы объективной действительности является такой же грубой ошибкой, как сведение законов общественного развития на законы материально существующей природы. Языковая действительность развивается *свободно и независимо*, имеет свои собственные законы и есть явление историческое,

а не понятийно-мыслительное и не глобально-материальное.

Наконец, в-шестых, всякий специфически языковой знак как в силу своей зависимости от чистой мысли и от своей материально-природной данности, так и в силу своей оригинальности всегда необходимым образом оказывается заряженным *бесконечными семантическими возможностями*. Ведь и всякое движение от одной точки к другой всегда и непрерывно и прерывно, как учит о том марксистско-ленинская теория. Поэтому как бы ни были близки между собой два значения родительного падежа, между ними всегда можно найти и третье значение, которое будет отличаться и от одного и от другого. В наших грамматиках мы говорим о модальности действительного существования, возможного, необходимого или невозможного, ирреального. Тем не менее все эти модальные категории являются только необходимыми для науки вехами сплошного модального становления, свидетельствующими только о бесконечной валентности всякой модальной категории. В греческой грамматике даже оптатив (модус произвольного допущения) в ином контексте может бесконечно близко подходить к самому определенному индикативу, а индикатив (модус реального существования) как угодно близко может подходить и к оптативу и к конъюнктиву (модус реально обусловленной возможности) и даже к императиву, несмотря на всю волевою категоричность этого последнего модуса. Такая *бесконечная семантическая валентность* языкового знака сама собой возникает из того, что он всегда есть акт мышления, а мышление бесконечно уже по одному тому, что оно есть отражение действительности, тоже всегда бесконечной и ничем не ограниченной. Таким образом, специфически языковой знак всегда подвижен и никогда не является абсолютно устойчивым атомом. А эта подвижность заставляет рассматривать его всегда только в контексте других знаков. Но языковые контексты так же бесконечны, как и породившая их материальная действительность и как осмыслившее их человеческое мышление. Все тут только и определяется тем, что язык есть непосредственная действительность мысли, а мысль и язык фактически совершенно нерасторжимы и вливаются в общее безбрежное море объективной действительности.

Вот почему асемантический структурализм был неспособен формулировать специфику языкового знака. Опираясь на чистые структуры, мы характеризуем очень важную сторону языка и очень важный момент в определении специфики языкового знака. Но язык только еще *обладает* структурой, а вовсе не есть только одна структура. Такие особенности языкового знака, как его связь с мышлением и с материальной действительностью, как его историческое происхождение и функционирование или его бесконечная семантическая валентность, его вечная и творческая подвижность, вовсе не являются структурами, но являются бытием доструктурным или внеструктурным. В этом смысле специфически языковой знак не имеет ничего общего ни с уличными светофорами или дорожными гудками и свистками, возникающими преднамеренно и механически, а не стихийно и органически, и даже ни с каким лаем, мяуканьем, блеяньем, хрюканьем, кваканьем и т. д., возникающими органически, но не мыслительно. И эта внеструктурная специфика языкового знака усилилась бы, если бы мы перешли к рассмотрению других сторон этой специфики.



## Аксиоматика теории языкового знака в плане его специфики<sup>1</sup>

В настоящей статье попытаемся сформулировать те аксиомы, которые являются, на наш взгляд, завершительными для характеристики специфически языкового знака, хотя многое из этого по необходимости было затронуто нами в нескольких наших предыдущих статьях, посвященных языковой аксиоматике<sup>2</sup>.

Напомним, что в статье 1973 года нами были сформулированы аксиомы общей (I—XII) информации и аксиомы специальной (XIII—XXVI) информации. Что же касается статьи 1978 года о стихийности языкового знака и ее отражении в сознании, то этому были посвящены у нас тоже специальные аксиомы стихийности (XXVII—XXIX) и аксиомы языкового сознания (XXX—XXXIII). Следовательно, те аксиомы валентности, которые мы рассматриваем в настоящей статье, должны начинаться с аксиомы XXXIV.

1. *Общая языковая аксиома валентности I (XXXIV). Каждый языковой знак определяется своей валентностью, т. е. способностью отдельного знака вступать в связь с другими знаками для возникновения более или менее обширных цельностей.*

Собственно говоря, такая языковая валентность тоже все еще не является специфически языковой в собственном смысле слова, поскольку и всякий внеязыковой предмет тоже всегда является тем или иным сгустком разного рода значений, т. е. своего того или иного

---

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: Проблемы развития и состояния современного русского языка. М., 1979, с. 3—22.

<sup>2</sup> См.: Лосев А. Ф. Аксиоматика знаковой теории языка.— В кн.: Вопросы грамматики и лексики русского языка. М., 1973, с. 22—55; Он же. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1976, т. 35, № 5, с. 395—407; Он же. О бесконечной смысловой валентности специфики языкового знака.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1977, т. 36, № 1, с. 3—8.

функционирования. Чтобы эта языковая валентность стала именно специфически языковой, необходимы другие, более частные особенности валентности вообще, т. е. другие, более частные аксиомы валентности.

2. **Аксиомы языкового мышления.** Эти специфические валентности языка определяются очень просто. Нужно только принять во внимание ту простейшую и банальнейшую истину, что язык принадлежит только человеку, т. е. ту истину, которая как раз и не принималась во внимание в асемантическом структурализме, оказавшемся поэтому и неспособным вскрыть как раз специфику языкового знака. Вся премудрость здесь только в том и заключается, что языком в окружающей природе пользуется только человек и поэтому специфика языкового знака есть не что иное, как сам же человек. Языковой знак есть, попросту говоря, человеческий знак, т. е. знак в качестве орудия человеческого общения. И вот эту банальность приходится возводить в ранг целого ряда научных аксиом. Хотя премудрость эта известна всем и каждому, она игнорировалась асемантическими структуралистами.

**Аксиома языковой валентности II (XXXV).**  
*Всякий знак языка есть акт человеческого мышления.*  
Термин «мышление» мы употребляем здесь только для краткости и вовсе не имеем в виду только строго систематическую и строго понятийную систему научного мышления. Мышление понимается здесь нами в самом широком смысле слова. Здесь мы имеем в виду не только систему понятий, но даже и вообще не только область понятия. В указанной статье 1976 года мы подробно разъяснили отличие слова от понятия, и повторять этого здесь мы не будем. Кроме того, язык способен выражать и не только понятия, но и вообще любые состояния человеческого сознания, любые аффекты, любые эмоции, любые влечения и волевые стремления. Человеческий язык способен выражать собой малейшие и тончайшие движения сознания. В языке выражаются любые извилины, едва уловимые движения человеческой психики, даже любые бессознательные намеки, лишь бы они принадлежали именно человеку и лишь бы находили они у человека то или иное смысловое выражение, пусть оформленное, пусть даже и бесформенное. Везде тут важен только человек с его сознанием и мышлением,

т. е. именно он превращает общеобъективный знак в специфически языковой знак.

**Аксиома языковой валентности III (XXXVI).** *Всякий языковой знак есть акт человеческого мышления, отражающий собой ту или иную систему смысловых отношений в мыслимом им, но независимо от него существующем предмете.* Эта аксиома возникает сама собой потому, что иначе язык пришлось бы толковать как явление чисто субъективно человеческое, а когда мы говорим, что языковой знак есть акт человеческого мышления, то очень легко подумать, что под человеческим мышлением мы понимаем только одно субъективно человеческое мышление. Между тем, однако, мыслить можно только тогда, когда существует то самое, что мыслится. Если нет предмета мышления, то нет и самого мышления. Но предмет этот уже не может быть опять мышлением, так как иначе при определении мышления мы уйдем в дурную бесконечность, определяя одно мышление через другое, другое мышление через третье, третье — через четвертое и т. д. Это не значит, конечно, что само мышление не может быть предметом мышления. Но в таком случае мышление как предмет мышления уже перестает быть только мышлением, а становится какой-нибудь объективной или субъективной данностью, которая сама подвергается научно-критическому анализу.

Поэтому уже самый простой здравый смысл заставляет трактовать мышление не просто как субъективно человеческий акт, но как такой субъективно человеческий акт, который предполагает некоторого рода объективно-мыслимый предмет, хотя бы он и оказался по своему содержанию все тем же субъективным мышлением. Иначе не получится специфически языкового знака, поскольку всякий специфически языковой знак предполагает объективную для него внемыслимую данность, которая в любом случае является для него объективной данностью, а он ее только обозначает, отражает и перерабатывает.

**Аксиома языковой валентности IV (XXXVII).** *Всякий языковой знак, отражающий ту или иную систему отношений в обозначаемом им предмете, пользуется этим отражением свободно, произвольно и уже независимо от субъективной истинности отражен-*

ной в нем предметной системы отношений, равно как и от самого мышления, актом которого является знак языка. Эта аксиома является только естественным продолжением предыдущей аксиомы. Мышление есть отражение действительности. Но действительность развивается вполне свободно и самостоятельно, потому что все движущие факторы и причины действительности находятся внутри самой же действительности. Действительность сама себя движет и действительность всегда спонтанна. Но каким же это образом мышление, а в том числе и языковое мышление, будет отражением действительности, если оно само не будет самостоятельным, свободным, зависящим только от самого себя и, вообще говоря, спонтанным? Ведь если мышление отражает действительность, а действительность развивается сама собой, то и языковое мышление тоже развивается само собой, тоже всегда спонтанно. При изучении истории языков приходится только удивляться тому, что история слов вовсе не есть история тех реальных предметов, которые отражаются в словах.

На первый взгляд так и получается, что действительность развивается сама собой, а язык тоже развивается сам собой. На самом деле этого, конечно, нет и не может быть, поскольку, кроме действительности, вообще ничего не существует, и язык, как бы он ни относился к действительности, все равно является определенной стороной самой же действительности и поэтому в своих последующих корнях он, конечно, является не чем иным, как отражением действительности. Но тут нужно соблюдать специфику языкового знака. А его специфика заключается не только в том, что он отражает или когда-то отражал те или иные предметы, но в том, что это отражение он воспринимает творчески, все время его обрабатывая и перерабатывая, удаляясь от него и приближаясь к нему как только можно максимально, иной раз искажая эту действительность и даже нападая на нее, а иной раз и переделывая эту действительность в неожиданно новом направлении. В конце концов и это переделывание действительности человеком является не больше как развитием самой же действительности. Но только в случае неожиданных переделываний или переворотов действительность воспользовалась своим отражением в человеческом сознании,

чтобы при помощи этого сознания продолжать свое развитие, хотя оно и кажется иной раз неожиданным и неопределенным при слишком высокой оценке субъективно-языковой деятельности человека.

Итак, развитие языковых знаков управляется своими собственными языковыми законами и ни в какой мере не сводимыми на законы природы. Иначе и законы общественного развития тоже нужно было бы сводить на законы естественных наук, и мы утеряли бы специфику общественного развития, и в частности такие категории общественного развития, как класс, классовая борьба, революция и реакция или бесклассовое общество, не говоря уже об утере всех тех специфических категорий, которыми отличается каждая отдельная человеческая индивидуальность.

**Аксиома языковой валентности V (XXXVIII).** *Всякий языковой знак есть акт интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов действительности, т. е. языковая валентность всегда есть интерпретативно-смысловая валентность.*

**3. Аксиома бесконечной языковой валентности.** В этом кратком обзоре основных аксиом языковой специфики невозможно обойтись еще без одной категории, которая хотя и употребляется очень часто, но у лингвистов не получает достаточно ясной формулировки: Это — категория бесконечности. Общее языкознание, которое стремится установить именно самые общие законы языка, никак не может обойтись без этой категории бесконечности. Но чтобы научиться правильно и ясно понимать эту категорию, надо прежде всего поучиться именно у математиков.

В математике бесконечно малой величиной считается такая величина, которая может стать меньше любой заданной величины. Здесь прежде всего имеет значение само выражение «может стать». Оно указывает на то, что бесконечно малая величина отнюдь не является в математике величиной неподвижной и всегда постоянной. Наоборот, она совершенно лишена всякой неподвижности и, собственно говоря, является даже и не величиной, а только процессом уменьшения. Оказывается, что как бы мы ни уменьшали данную величину, мы никогда не можем дойти до нуля. Конечно, из едини-

цы можно вычесть единицу и в результате получить нуль. Но это вычитание отнюдь не будет постепенным процессом, и выражение «может стать» является здесь совершенно неприменимым. Мы просто отказываемся видеть в единице ее самое, и тогда действительно от единицы ничего не остается, т. е. получается нуль. Другое дело, если мы начнем делить единицу постепенно и переходить от нее, например, к ее половине, от половины к ее четверти, от четверти к ее восьмой и т. д. В этих случаях мы никогда нуля не получим, а нуль окажется только пределом бесконечного дробления единицы. Соответственно определяется в математике и бесконечно большое, которое есть не что иное, как такая величина, которая опять-таки может стать больше любой заданной величины.

Сама математика нас здесь не интересует. Однако интересно то, что единицу можно дробить на все более и более мелкие части и никогда не дойти до нуля. Для языкознания отсюда вытекают огромные выводы.

Во-первых, языковая валентность, о которой мы говорили выше, вовсе не есть какая-нибудь постоянная или устойчивая величина. Она вечно бурлит разными смысловыми возможностями, и в живом языке такая смысловая валентность знака никогда не может исчерпать себя. Она все время создает те или другие значения знака, причем значения эти могут бесконечно сближаться и бесконечно расходиться. Школьная грамматика учит, например, о падежах, стараясь придать каждому падежу какое-нибудь определенное значение. Но уже и школьная грамматика принуждена перечислять самые разнообразные значения одного и того же падежа.

В самой элементарной латинской грамматике перечисляется не менее двух десятков разных значений творительного падежа. Фактически же этих значений творительного падежа не может быть сколько угодно, и они часто так мало отличаются друг от друга, что языковеды не находят возможным, а иной раз даже и нужным как-нибудь закреплять их терминологически. И тем не менее даже и не очень большая осведомленность в латинском языке вполне ясно свидетельствует о том, что творительный падеж решительно везде и всюду имеет тот или иной семантический оттенок, пусть и мало-

значительный, но тем не менее требующий своего признания также в зависимости от общего чувства языка.

Отсюда видно, что даже без всякого знания математики эту математическую бесконечность каждый хорошо чувствует, кто владеет данным языком. Правда, для владеющего данным языком, а иной раз даже и для специалиста-языковеда вовсе необязательно так или иначе обозначать отчетливо переживаемый оттенок той или иной грамматической формы. Неязыковеду это вообще неинтересно, поскольку он все же бесконечные оттенки той или иной грамматической формы переживает бессознательно. Языковеды же в целях сохранения ясности и систематичности своей науки ограничиваются просто перечислением и изучением только основных типов данного значения, так что эти типы значения оказываются только некоторого рода вехами в безграничной области семантического функционирования данной грамматической формы.

Кроме того, мы не должны забывать и того, что никакая грамматика и никакие словари не могут отразить тоже бесконечно разнообразные формы интонации или экспрессивной заостренности того или другого слова, той или иной части слова и уж тем более тех или иных словообразовательных, словосочетательных и предложенческих методов. Это то, что в языкознании называется суперсегментными формами. Их тоже безграничное количество. И поэтому будет неправильно сказать, что язык состоит из слов. Он состоит также из разного интонирования тех или других слов, а интонировать можно бесконечно разнообразно.

Такую фразу, как *Вы удивительно умны*, можно произнести и очень сухо, и без всякого настроения, чисто объективно, и с похвалой, доходящей до восторга, и с порицанием, доходящим до иронии, и даже до совершенно обратного смысла. Разве все эти оттенки интонации и экспрессии не являются языком и притом именно человеческим языком? Об этом и говорить нечего, и математики здесь со своим учением о бесконечно малых или бесконечно больших величинах, собственно говоря, ничего нового нам не дают, а только научно и вполне точно формулируют разную близость языковых значений, доходящую до величины, едва отличной от

пуля, и разное расхождение этих значений, доходящее до полной их противоположности.

Во-вторых, употребляя этот математический термин «бесконечности», мы еще и еще раз должны напомнить, что язык вовсе не есть какое-то количественное или величинное исчисление. В первую очередь он есть результат того или иного понимания действительности или, как мы говорили, смысловая интерпретация действительности. Поэтому и сейчас, заговорив о категории бесконечности в применении к языку, мы никак не должны забывать специфики языка и потому наша бесконечная валентность, если она всерьез применяется к языку, является *интерпретативно-смысловой бесконечностью*. Иначе даже такая высокая и возвышенная категория, как категория бесконечности, окажется совершенно пустой и ничего не значащей особенностью языка, т. е. вовсе не будет относиться к языку.

Имея в виду все эти характерные особенности бесконечной валентности языка, мы теперь можем уже без всякого опасения остаться на ступени неполной продуманности, неокончателности и нечеткости мысли, сформулировать следующую аксиому.

**Аксиома языковой валентности VI (XXXIX).** *Каждый языковой знак определяется своей бесконечной интерпретативно-смысловой валентностью.*

До сих пор о самой валентности языка мы ничего нового не сказали, а только, приступая к характеристике ее бесконечности, предупредили читателя о том, что языковая бесконечность вовсе не есть математическая бесконечность, хотя и пользуется этой последней как своей абстрактной моделью. Математическая бесконечность относится к сфере величинной, количественной или числовой. Языковая же бесконечность, или бесконечная валентность языка, есть понятие не количественное, но качественное со всеми вытекающими отсюда последствиями. При всей краткости нашего изложения три типа этой качественности языка во всяком случае должны быть указаны и аксиоматически зафиксированы.

До сих пор мы констатировали только одну особенность языковой валентности — это ее интерпретативно-смысловой характер. Конечно, так понимаемая языковая валентность не имеет ничего общего с предметной и внеязыковой валентностью. Ведь и все предметы разви-



ваются бесконечно, а если в метрическом смысле и конечно, то расстояние между двумя конечными величинами, как указано выше, может стать меньше любой наперед заданной величины, т. е. между двумя конечными величинами все равно залегает их бесконечное дробление. Поэтому, говорили мы, отнюдь не бесконечностью отличается языковая валентность от валентности вообще объективного или субъективного мира. Существенным свойством языковой валентности является, сказали мы, ее человеческий, т. е. интерпретативно-смысловой, характер. Это условие является необходимым для языковой валентности.

Но вот оказывается, что имеются еще по крайней мере три особенности языковой валентности, которые тоже для нее необходимы и которые делают языковую интерпретацию хотя и необходимым условием, но отнюдь не условием, достаточным для человеческого языка, т. е. для его валентности.

**4. Аксиома стихийности языковой валентности.** До сих пор мы отличали языковую валентность от валентности вообще предметного мира. Однако существует валентность не только предметного мира, но и валентность искусственная. Всякий граммофон тоже всегда говорит или поет при помощи вполне человеческого языка. Но старое представление о граммофоне является чересчур наивным в сравнении с теперешними попытками создать самостоятельно существующий и самостоятельно действующий язык. Правда, для этого необходимо прежде всего сконструировать самостоятельно существующий и действующий мозг. Такое конструирование до сих пор натывается на непреодолимые препятствия. Единственной материальной машиной, продуцирующей язык и слова на нашей планете, все еще остается человеческий мозг, возникающий стихийно, в порядке биологических процессов, но никак не конструктивно, никак не механистически, никак не искусственно.

В статье 1977 года мы уже установили, что одной из самых существенных сторон языка, по крайней мере того единственного человеческого языка, который мы знаем на нашей планете, является его стихийное происхождение, его стихийное функционирование и развитие, его стихийный расцвет, его стихийная смерть. Выдвигнув на первый план стихийное появление и развитие че-

ловеческого языка, мы, безусловно, коснулись одной из самых существенных сторон языка. Но сейчас у нас речь идет о валентности. Следовательно, также и эта стихийная валентность языкового знака уже не может быть создана искусственно и по крайней мере до сих пор не могла быть исчислена количественно. Отсюда — следующая аксиома интерпретативно-смысловой валентности языка, которая отличает человеческую способность пользоваться знаками не только от всякого природного, т. е. естественного, явления, но и от всякого искусственного устройства.

**Аксиома языковой валентности VII (XL).** *Языковая валентность всегда есть бесконечная стихийная интерпретативно-смысловая валентность.*

**5. Системные аксиомы языковой валентности.** Категория бесконечности еще и потому не должна уносить нас в те или иные дали абстрактного мышления, что бесконечная языковая валентность имеет своим пределом еще и чисто практическое применение языка для воздействия на действительность.

Сначала язык возникал стихийно, как прямое и непосредственное, вполне наивное и даже грубое воспроизведение тех или иных предметов. Но, как мы указывали уже много раз, это отражение творчески перерабатывается в человеке и даже достигает иной раз весьма абстрактного мышления.

При этом интересно, однако, то, что результатом этой мыслительной и абстрактной переработки являются такие точные термины и такие точные формулы, что они уже сами начинают свидетельствовать о той самой действительности, отражением которой они были в самом начале и которая теперь получает от них те или иные принципы своего *конструктивно-технического развития*. Согласно данным такого развитого языка, то ли математического, то ли естественнонаучного, то ли обществоведческого, иной раз уже бывает нетрудно заметить, что и сама действительность развивается согласно этим, казалось бы, вначале весьма абстрактным законам мысли. Конструкции, получаемые с большим трудом и только в результате огромной работы мыслительно-терминологического аппарата, например с помощью сложнейших математических уравнений, оказываются, определяют собой движения внутри солнечной системы. Та-

кого же рода абстрактные, но в то же самое время с предельной ясностью продуманные законы мысли и законы употребления языковых знаков, оказывается, лежат в основе того или иного общественного развития. Следовательно, конкретно продуманная бесконечная валентность имеет свою абстрактную разработку только в виде одной из предварительных областей языка и мысли. А в окончательно продуманной форме она всегда так или иначе заканчивается практическим применением к действительному ходу вещей.

Накопец, чтобы конструктивно-техническая валентность языка была продумана у нас до конца, необходимо обратить внимание еще и на то, что эта конструктивно-техническая сторона является только разновидностью системы языка вообще. Выше мы констатировали в языке его стихийное происхождение и развитие. Это совершенно правильно. Без этого язык превратился бы в машину или, вообще говоря, в механизм. Но ведь совершенно же ясно, что язык вовсе не есть только стихия. Имея стихийное происхождение и развитие, язык достигает небывалой степени систематичности, небывалой степени упорядоченности и структурной точности. Возьмите любую грамматику любого языка. Ведь она же решительно вся наполнена бесконечными правилами, бесконечными законами, бесконечными приемами, без которых данный язык не существует. Грамматисты всех времен настолько были увлечены как раз именно правильной системой языка, что их воззрения на язык достигали степени какой-то схоластической упорядоченности, доходящей до невероятной сухости и скуки. В этом смысле грамматика вовсе не должна быть беспощадно сухой и скучной.

Не имея возможности свести язык к таблице умножения, традиционные грамматисты и особенно грамматисты старого времени наряду со своими якобы непреложными законами и правилами всегда вводили массу всякого рода исключений из правил. Но ведь всякое такое исключение из правила свидетельствует уже о том, что само-то правило не очень правильно. И действительно, с точки зрения научно построенной грамматики, никаких строгих правил или законов совсем не существует, потому что все так называемые исключения тоже имеют свое вполне естественное происхождение. И если

существуют какие-нибудь исключения из данного правила, это значит, что само-то правило необходимо формулировать более гибко, более близко к данному конкретному языку и что в грамматике должны быть не правила с исключениями, а просто формулировки разнородности языковых систем, которые в той или другой степени перекрывают или могут перекрывать одна другую.

Так или иначе, но мы должны сделать здесь только один вывод: язык не только стихия, но и система, и валентность языка возникает не только стихийно, но и системно. Как совмещать стихийное развитие языка с его системными структурами, это должен определять и изучать каждый языковед в том языке, которым он специально занимается. И ясно, что сформулированная у нас выше конструктивно-техническая сторона языка есть не что иное, как та система языка, которая доведена до своего практического применения. Отсюда и две аксиомы специфически языкового знака, из которых одна более общая, другая же более частная, но обе они являются диалектической противоположностью языковой валентности как валентности чисто стихийной, да и валентности чисто абстрактной.

**Аксиома языковой валентности VIII (XLI).** *Языковая валентность всегда есть бесконечная стихийно-системная интерпретативно-смысловая валентность.*

**Аксиома языковой валентности IX (XLII).** *Языковая валентность всегда есть бесконечная стихийно-системная, и в частности конструктивно-техническая, интерпретативно-смысловая валентность.*

**6. Аксиома коммуникативной валентности.** Человеческая интерпретация действительности, специфическая для языка, несет с собой и длинный ряд других своих проявлений, уже выходящих за пределы всяких количественных подходов к предмету. Сейчас мы хотим указать на такую частную, но грандиозную по своим размерам разновидность интерпретации, как ее коммуникативное функционирование, которое тоже никак не может исключаться из нашего понимания бесконечности для того, чтобы языкознание не превратилось в математику. Общение одного человека с другим человеком, а это общение и есть не что иное, как сам язык, вовсе не

есть машинный перевод с языка одного человека на язык другого человека. Пользуясь бесконечными оттенками слов и их значений, а также и всех суперсегментных функций, человек стремится к общению с другими людьми. Даже когда он дает название неодушевленным предметам, он уже общается с ними, потому что он переводит их из их абсолютно внесубъективного существования на язык своего собственного субъекта и начинает так или иначе их понимать и толковать. Проблема коммуникации — это огромная проблема, и заниматься ею здесь мы не предполагаем. Но будет весьма досадно, если читатель поймет выставляемую нами здесь на первый план бесконечную валентность только чисто математически и из-за нее будет игнорировать такие подлинно специфические особенности языковой знаковости, как ее коммуникативный характер. Коммуникативная сущность специфически языкового знака, может быть, и является для него максимально-специфической, т. е. максимально человеческой. Отсюда специальная аксиома.

*Аксиома языковой валентности X (XLIII). Языковая валентность всегда есть бесконечная стихийно-системная, и в частности конструктивно-техническая, интерпретативно-смысловая и коммуникативная валентность.*

**7. Сегментная валентность.** До сих пор мы рассматривали валентность с точки зрения ее качественного наполнения, т. е. почти исключительно семантически. Этим обуславливается то, что предложенные у нас выше аксиомы XXXIV—XLIII обладают слишком общим характером и не касаются строения слова как звуковой данности. Поскольку эта последняя все же входит в сущность человеческого слова, придется сейчас обратить внимание и на эту сторону дела.

Конкретно мы всегда имеем перед собой не язык в отвлеченном смысле, и не просто речь как то, что фактически нами произносится. Наиболее конкретной стороной языка является не то и не другое, а текст, который может быть и письменным и устным. В тексте одинаково представлены и отвлеченные законы языка, и те предметы, о которых мы говорим, и те способы произнесения, которыми мы пользуемся. Следовательно, речь у нас должна идти сейчас о тексте и о его строении. Но

о строении текста можно говорить только при условии и возможности представлять его себе в раздельном виде, или, точнее сказать, в единораздельном виде. Но в этой области уже давно получил право научного гражданства термин «сегмент». Сегментация возникает как раз именно тогда, когда мы разделяем неопределенно-длинный текст на отдельные отрезки. Сегмент как раз и есть той или иной величины отрезок речевого потока. Этот сегмент при ближайшем изучении выявляет какую-нибудь свою специальную структуру, но эту сегментную структуру мы можем находить и в разных других сегментах речевого потока. Ясно, что здесь мы будем иметь дело уже не с чисто смысловой значимостью языковой валентности, но с ее фактическим воплощением в звуках речи.

Необходимо разделять *прерывную* и *непрерывную* сегментность. Прерывно понимаемый сегмент речи ясно представляет собой тот или иной набор значимых звуков.

Каждый из этих звуков имеет свое значение. Но, объединяясь с другими звуками, он получает уже другое значение. Конечно, та общая смысловая заряженность языковой валентности, о которой мы говорили выше, обязательно остается и здесь, так что каждый звуковой элемент общей валентности языка тоже насыщен безграничным количеством разных значений и, тоже представляет собой труднообозримую смысловую мощь. Однако общезыковая валентность, конечно, дана в отдельных звуках и в их сочетаниях более ограничено, хотя ограниченность эта всегда является качественной, а в количественном отношении каждая такая звуковая валентность все равно остается весьма широкой вплоть до немислимой безграничности. Отсюда вытекают следующие три основные аксиомы прерывной валентности.

Аксиома языковой валентности XI (XLIV). *Каждая отдельная звуковая валентность сохраняет в себе все части смысловой валентности языка вообще.*

Такой звук в языкознании обычно уже не называется просто звуком, но называется фонемой. Фонема как раз и отличается предельно обобщенным характером в сравнении с ее отдельными фонемоидами, которые всег-

да оказываются в речевом потоке только частным случаем той или иной фонемы.

*Аксиома языковой валентности XII (XLV). Каждый два или несколько звуков, обладающие одной и той же валентностью, сохраняют в себе все черты смысловой валентности языка вообще.*

Такое двухзвуковое сочетание, образующее собой уже целый слог, обычно называют морфемой.

*Аксиома языковой валентности XIII (XLVI). Любое по количеству звуковое сочетание тоже, в свою очередь, может являться по своему смыслу единичным (т. е. далее неделимым) элементом общезыковой валентности с сохранением всех смысловых свойств этой последней.*

Звуков, входящих в данную звуковую валентность, может быть сколько угодно, вовсе не только два или три. В этих случаях необходимо ввести хотя бы один термин, который указывал бы на воплощение общезыковой валентности в виде тех или иных звуковых сочетаний. Количество же самих звуков не подлежит ограничению, и в смысле общей языковой валентности может выступать вообще любое количество звуков с любой их комбинацией. Назовем этот термин «лексема»: то, что обычно называется словом, т. е. известная комбинация морфем, способная выступать как далее не делимая смысловая единичность, или как единичность, далее не делимая, есть именно лексема. Но такой неделимой единичностью, в которой выражается общезыковая валентность, может быть и разная комбинация слов, как, например, словосочетание, предложение и другие более сложные и более обширные сочетания отдельных лексем. Все они представляют собой тот или иной отрезок звукового потока, или потока речи, и все они являются неделимой бесконечностью и способны получать бесконечное множество разных значений.

Можно было бы эти три последние аксиомы формулировать и как одну аксиому, поскольку их общей оригинальностью является только звуковое воплощение валентности. Однако логически целесообразно противопоставлять такие категории, как «одно», «многое», «какое угодно». Имея это в виду, мы и сочли полезным формулировать здесь не одну, а три аксиомы. В первом случае мы говорим об одном звуке, во втором — о мно-

гих звуках, а в третьем — о звуках любого количества. Разделение это, конечно, вполне условное, но полезное.

То, что любой сегмент речевого потока является не только прерывным, но и непрерывным целым, заметить это нетрудно, а формулируется это редко и нерешительно. Действительно, когда мы беседуем друг с другом и произносим те или другие слова, можно ли сказать, что в эти моменты мы думаем об отдельных звуках, которые произносим, или даже об отдельных словах, из которых состоит наша речь? Если бы мы в процессе речи фиксировали каждый звук в отдельности, то никакой связной речи у нас даже и не появилось бы. Произнося фразу *Дождь идет*, мы в условиях фиксации отдельных звуков, из которых состоит эта фраза, думали бы вовсе не о дожде и хотели бы сообщить нашему собеседнику вовсе не известие о дожде, но думали бы только о звуках *д*, *о*, *ж*, *дь* и т. д. В течение всего речевого потока мы просто не принимаем во внимание никаких отдельных произносимых нами звуков, но все эти звуки, оставаясь раздельными, тем не менее сливаются в один непрерывный речевой поток. То же самое необходимо сказать и о цельных словах. Только в исключительных случаях, например когда учитель поясняет ученику какое-нибудь слово, имеется в виду именно отдельное слово и фиксируется как таковое без всяких других слов или с такими словами, которые тоже специально фиксируются и объясняются для специальных целей. И при всем том, конечно, весь этот несомненный поток звуков и слов в процессе реального произнесения переживается как нечто целое и выражает собой тоже определенную валентность с присущими этой валентности общими свойствами всякой валентности вообще в языке.

Эта неразрывность прерывных и непрерывных функций языковой валентности относится не только к самим произносимым нами звукам, но также и к тому смыслу, который мы вкладываем в то или иное речевое звучание. В современном языкознании особенно интересными оказываются для нас в данном случае многочисленные работы о разного рода *модальных* функциях и притом не только цельных слов, но и всякого рода служебных частиц и слов неполноценных, т. е. таких, которые



трудно характеризовать лексико-морфологически. В этом отношении ценную работу проделал еще в 1950 году В. В. Виноградов<sup>3</sup>. Но и кроме В. В. Виноградова многие языковеды тоже интересовались этой невероятно разнообразной и спутанной модальностью отдельных слов и частиц<sup>4</sup>. Какое-нибудь вставное слово вроде *конечно, действительно, видимо, безусловно, верно* при более точном семантическом исследовании, оказывается, выражает собой самые разнообразные модальные отношения, реальные, ирреальные, потенциальные, императивные и вообще любые оттенки субъективных мыслей и построений человека. Между *быть* и *не быть*, оказывается, залегает бесконечное множество разного рода оттенков, уверенность в бытии или неуверенность в нем, предполагаемости, ожидания, разного рода допущения, то ли ничем не обоснованного, то ли обоснованного разными скрытыми возможностями, пока еще не проявленного бытия и т. д. и т. д. Писатели и собеседники в самой обыкновенной бытовой обстановке очень любят перебивать одну модальность другой, одну конструкцию другой конструкцией, один строй грамматического предложения совершенно другим строем. Писатели то приводят собственные слова своих героев, то перебивают эти слова вставками от себя, то вообще коверкают грамматические предложения до полной неразберихи и хаоса. А вместе с тем из всей этой неразберихи образуется нечто целое, что именно и хотел выразить писатель, пусть это целое будет деформированным, искаленным, недосказанным, противоречивым и вообще насыщенным любыми оттенками мысли и чувства. Разве это не будет язык, если я свою фразу начну со слов *ишь ты* или *авось*, или *небось*? Как бы ни квалифицировать эти

---

<sup>3</sup> См.: Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке.— В кн.: Труды Института русского языка АН СССР, т. 2. М.—Л., 1950.

<sup>4</sup> Из недавних работ ради примера назовем автореферат кандидатской диссертации М. С. Чертковой «Модальные слова наречного происхождения в их соотношении с другими структурно-семантическими категориями в современном русском языке» (М., 1970); см. также: Аникин А. И. Вставные единицы в сложных предложениях.— В кн.: Проблемы русской филологии. Сборник трудов памяти Ф. М. Головенченко. М., 1976, с. 57—62, с библиографией.

языковые единицы этимологически, морфологически или синтаксически (а эта их квалификация часто бывает делом весьма трудным), все равно сказать, что это не язык, никак нельзя. Наоборот, все эти бесчисленные неполноценные, как бы чисто служебные и ни в каком смысле не рациональные единицы языка как раз и заполняют собой те разрывы в речи, которые образуются в условиях представления о ней как об отдельных разорванных словах. Они-то и заполняют собой все перерывы в речи, они-то и заливают глубоко выразительным смыслом те отверстия, которые образуются между отдельными изолированными словами и являются необходимым условием для превращения речевого потока из комбинации прерывных элементов в непрерывную линию речевого развития, в то самое, что и делает речевой поток именно потоком, т. е. сплошным течением, мешая ему превратиться в рассудочную комбинацию дискретных и разорванных элементов. Но отсюда, кажется, сама собой вытекает необходимость еще и в новой аксиоме валентности.

*Аксиома языковой валентности XIV (XLVII). Любые звуковые валентности сохраняют в себе черты смысловой валентности языка вообще не только в случае их звуковой прерывности и раздельности, но и в случае их непрерывности, т. е. их звукового и смыслового слияния в одно нераздельное целое, в один непрерывный речевой поток.*

8. Суперсегментная валентность. Нам остается формулировать еще три аксиомы теории языкового знака, которые мы считаем настолько очевидными, что не будем вдаваться в их разъяснение.

Прежде всего каждому ясно, что речевые ударения и речевые интонации являются тем, без чего немыслима никакая реально-человеческая звуковая речь. С каким ударением произнесли мы тот или иной слог, то или иное слово, ту или иную фразу и какую интонацию употребили в своем разговоре, от этого тоже зависит весь язык, если его понимать как непосредственную действительность мысли. Если ударение назвать динамической стороной речевого потока, а интонацию — тем или иным повышением или понижением голоса в речи, то отсюда будут сами собой вытекать две такие аксиомы суперсегментной валентности.

Аксиома языковой валентности XV (XLVIII). Любые звуковые валентности сохраняют в себе черты смысловой валентности языка вообще не только при условии учета входящих сюда прерывных или непрерывных элементов, но и при условии учета их речевой динамики.

Аксиома языковой валентности XVI (XLIX). Любые звуковые валентности сохраняют в себе черты смысловой валентности языка вообще не только при условии учета всех входящих сюда прерывных или непрерывных элементов, но и при условии учета их речевой интонации.

Наконец, раз мы говорим о звуках языка, а не только об его валентности, то при сопоставлении того и другого нельзя ограничиваться только структурными особенностями самой сегментации. Важно ведь не только то, из чего состоит эта сегментация, т. е. тут важны не только звуки, взятые с той или другой стороны, но важен и самый принцип звучания, важно зафиксировать и вообще отношение звучащей валентности к языковой валентности. Ведь когда мы говорим о том, что язык (т. е. звуковой язык) есть непосредственная действительность мысли, то ведь этим мы хотим сказать в основном только то, что язык выражает собой ту или иную мысль, т. е. чувственно ее выражает. Мысль в отношении языка есть нечто внутреннее, а язык в отношении мысли есть нечто внешнее. Тем не менее язык и мысль обязательно должны расцениваться как нечто единое и единое не в смысле абстрактного тождества, но и в смысле взаимного обогащения. Мысль обогащается от языка и получает от него свою конкретность и действительность, язык же обогащается от мысли и получает от нее свое осмысление и свою смысловую выразительность. Выражение и есть слияние внутреннего смысла и внешней звуковой оболочки в одно единое и неразрывное целое. Отсюда наша последняя аксиома, связанная с областью звуковой валентности.

Аксиома звуковой валентности XVII (L). Любые звуковые валентности сохраняют в себе черты смысловой валентности языка вообще, сливаясь с ними в одно выразительное целое.

9. Заключение. На этом мы можем закончить общий обзор аксиоматики теории языкового знака, взятой в

ее специфическом содержании. Необходимо еще много говорить о связях знаковой теории как со знаками вообще, так и с языком вообще. Для этих общезыковедческих рассуждений предлагаемая у нас аксиоматика является только предварительным и черновым материалом.

В конце этой работы мы должны еще и еще раз предложить читателю не смущаться банальностью многих выставленных здесь у нас аксиом. Дело в том, что асемантический структурализм, оперирующий слепыми и глухими, т. е. чисто количественными, знаками, никогда не был в состоянии определить специфику языкового знака, поскольку специфически языковой знак есть всегда знак человеческого языка, а что такое человек, это считалось всем известным, и заговаривать о нем в научных теориях языка считалось слишком ненаучным и банальным. Но вот, используя все структуральные методы и не получив возможности определить с их помощью специфику языка, мы принуждены были обратиться уже к внеструктуральным сторонам языкового знака. А такой внеструктуральной специфической стороной языка является только человек, поскольку на нашей планете только человек обладает языком и больше никто другой.

## О понятии аналитической лингвистики<sup>1</sup>

Современная лингвистика отличается как своими огромными достижениями, так и своими весьма многочисленными недостатками. Мы сейчас хотели бы говорить не о достоинствах, но скорее о недостатках современной науки о языке. Одним из самых главных недостатков этой науки является, с нашей точки зрения, слишком абстрактное и слишком логически неподвижное определение и употребление основных языковых категорий. Спешим, однако, заметить, что мы не только не против логической системы языковых категорий, а, наоборот, считаем такую систему первым шагом к построению языковой дисциплины как научного целого. Мы хотели бы только существенно дополнить эту категориально-логическую систему и вовсе не хотели бы ее устранять, поскольку без нее лингвистика вообще перестала бы быть наукой. Сейчас мы укажем даже на недостаточную разработку логической стороны при определении грамматических категорий.

То, что сама лингвистика не обладает достаточной четкостью в определении своих категорий, это, кажется, становится уже общеизвестным. Противопоставляются, например, существительное и прилагательное, но тут же говорится о субстантивации прилагательного, а это уже путаница. Говорят о глаголе. Но определение причастия формулируется так, что оно (причастие) оказывается прилагательным, а не глаголом. Инфинитив в старину определяли как наклонение. Но эти времена прошли, поскольку наклонение связано с тем или другим типом модальности, а в инфинитиве никакой модальности не выражается. Но обозначение инфинитива как «неопределенной формы» тоже никуда не годится, поскольку никакой специфической неопределенности в инфинитиве нет; а если в нем не выражены некоторые глагольные категории, то это вовсе еще не означает ни-

---

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: Исследования по русскому языку и языкознанию. М., 1974, с. 6—36.

какой специфической неопределенности. Попросту говоря, многие грамматисты вообще не в силах отличить инфинитив от существительного и стараются отделаться только указаниями на морфологические показатели.

Определение падежей как ответов на вопросы: кто? что? кого? чего? кому? чему? и т. д. является уже чересчур интуитивным и допустимо только при начальном обучении языку. Кроме того, путаница в вопросе о значении того или иного падежа часто достигает таких размеров, что уже теряется из виду само первоначальное определение данного падежа. Однажды нам уже пришлось провести исследование семантики падежей в плоскости сравнительной грамматики<sup>2</sup>. И пришлось только удивляться этому бесконечному количеству значений каждого отдельного падежа и полной неуловимости семантического перехода одного падежа к другому. Обычно перечисляется некоторое количество основных значений данного падежа в данном языке. Однако мы пришли к твердому выводу о том, что родительных падежей не 10, не 20, не 30, а столько, сколько существует контекстов, в которых употребляется родительный падеж. Другими словами, количество значений родительного падежа, практически говоря, бесконечно. Повторяем, мы вовсе не хотим отрицать необходимость определений родительного падежа в его самой общей форме. Наоборот, мы должны бороться за установление этой общей значимости родительного падежа, хотя тут сейчас же возникнут разные трудные вопросы, как понимать такую общность. Сейчас мы хотим утверждать только одно: значений родительного падежа столько же, сколько и тех контекстов, в которых фигурирует родительный падеж.

В связи с этим и возникает тот вопрос огромной важности, на который мы хотели бы обратить внимание читателя настоящей небольшой работы. Но чтобы наша постановка вопроса не отличалась односторонностью, мы сначала сформулируем два тезиса, которые и должны лечь в основу того, что мы называем аналитической лингвистикой.

**1. Принцип прерывности.** Этот принцип требует ре-

---

<sup>2</sup> См.: Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968, с. 211—275.

нительно от всякой науки, и в том числе также и от лингвистики, чтобы наука оперировала четко разделенными и точно сформулированными категориями. Пока в изучаемую область, которая до изучения представляется в виде некоего хаоса и каких-то отдельных размытых и туманных пятен, не будет внесена раздельность, прерывность и упорядоченность, до тех пор никакой науки о данной области действительности не может и начаться. Всякий исследователь прежде всего расчленивает изучаемую им действительность, отделяет одни ее моменты от других и старается во что бы то ни стало внести раздельность в то, что раньше представлялось ему смутным и лишенным всяких определенных различий. Нам кажется, едва ли этот тезис о прерывности требует каких-либо доказательств. Он не только ясен сам собой, но, можно сказать, он даже чересчур ясен. Во всяком случае исследователи часто весьма злоупотребляют этим принципом прерывности, игнорируя тот второй принцип, о котором мы сейчас скажем. Выше мы уже успели привести примеры того, как один простой принцип раздельности и прерывности часто побивает сам себя, устанавливая такие элементы действительности, которые вовсе уж не так раздельны и кроме своей прерывности содержат в себе также элементы непрерывности. Уже из этих примеров делается ясной вся недостаточность принципа прерывности. Всякая наука требует при своем изучении применять также и другой принцип, противоположный только что нами указанному.

**II. Принцип непрерывности.** Уже первые шаги построения науки свидетельствуют о том, что между двумя элементами действительности, как бы они ни были близки один к другому, ничто не мешает помещать еще третий элемент, средний между двумя соседними элементами, а в двух образовавшихся отрезках помещать еще по одному элементу и т. д. до бесконечности. Ясно, что при таком понимании действительности одного принципа прерывности окажется весьма мало. Никакими соображениями или доказательствами нельзя заставить человеческий ум остановиться только на какой-нибудь одной прерывной точке действительности и не скользнуть от этой точки к другим точкам той же действительности в разных направлениях. В разных культурах прежних

времен рано или поздно всегда появлялись те или иные философские и даже математические учения о необходимости совмещать прерывное и непрерывное. Что касается культуры нового времени, то в XVII веке было положено начало целой математической дисциплине, которая с тех пор так и называется «математический анализ».

Математический анализ исходит из принципиального различия между так называемыми постоянными и так называемыми переменными величинами. Постоянные величины всем хорошо известны уже из арифметики. Однако оказалось, что это прерывное исчисление на основе натурального ряда чисел и на основе таблицы умножения является чересчур абстрактным методом, не способным отразить действительность во всем ее непрерывном становлении. Было выдвинуто понятие бесконечно малого, понимаемого не как устойчивая, конечная и прерывная данность, но как такая величина, которая может стать меньше любой заданной величины. Вот это «может стать» и является указанием на то, что перед нами здесь не какая-нибудь определенная величина, но постепенный переход к величинам все меньшим и меньшим и, другими словами, бесконечный процесс уменьшения. Величины такого рода и получили в математике название переменных величин, а изучающая эти переменные величины наука стала называться математическим анализом.

Прежде чем пойти дальше, заметим, что необходимость совмещать прерывное и непрерывное много раз останавливала на себе внимание В. И. Ленина, который всякое движение вообще и не мыслил иначе, как только в виде диалектического совпадения прерывности и непрерывности. В. И. Ленин прямо пишет: «Движение есть сущность времени и пространства. Два основных понятия выражают эту сущность: (бесконечная) непрерывность (*Kontinuität*) и «пунктуальность» (= отрицание непрерывности, *прерывность*). Движение есть единство непрерывности (времени и пространства) и прерывности (времени и пространства). Движение есть противоречие, есть единство противоречий»<sup>3</sup>. Таким образом, с точки зрения В. И. Ленина не может быть ни-

<sup>3</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 231.



какого сомнения в том, что момент непрерывности должен играть одну из основных ролей во всякой науке. Ведь всякая наука всегда есть только наука о том или другом виде движения.

Если вернуться к лингвистике, то всякий, кто занимался этой наукой, безусловно, должен подтвердить, что в лингвистике слишком часто брал верх принцип прерывности и слишком мало проводился принцип непрерывности, хотя разного рода указания на этот последний мы находим в истории лингвистики за последние 150 лет. Нам кажется, что давно уже наступил момент сознательного и систематического проведения в лингвистике также и принципа непрерывности. Под *аналитической лингвистикой* мы и предполагаем понимать учение о непрерывно становящихся элементах языка. А что такое учение не только не противоречит учению о прерывных элементах, а, наоборот, его предполагает, об этом мы уже высказались в яснейшей форме.

В дальнейшем, однако, мы не предполагаем в данной работе развивать понятие аналитической лингвистики в его деталях, т. е. не предполагаем приступить к построению данной дисциплины (что мы делаем в других своих работах), а предполагаем противопоставить свое понимание этого предмета тому его пониманию, которое в современной советской лингвистике развивается Л. З. Совой в книге, которая так и озаглавлена «Аналитическая лингвистика» (М., 1970). Точно так же мы здесь не предполагаем давать сравнительную оценку обоих пониманий аналитической лингвистики, поскольку каждое из этих пониманий, как нам кажется, вполне имеет право на свое существование. Поэтому в дальнейшем мы постараемся только понять и критически освоить то, что мы имеем в книге Л. З. Сова, чтобы оба эти понимания выступили в своей максимально ясной форме.

Переходя к анализу теории Л. З. Сова, мы должны сказать, что нам придется здесь касаться разных проблем, которые, теоретически рассуждая, может быть, и необязательно было бы рассматривать в теории аналитической лингвистики. Но их необходимо касаться потому, что Л. З. Сова придает этим проблемам большое значение, а также и потому, что здесь у Л. З. Сова мы находим много неожиданного и оригинального.

Прежде всего, чтобы определить понятие аналитической лингвистики или аналитического метода в лингвистике, Л. З. Сова ставит вопрос о том, что такое лингвистика вообще. Казалось бы, здесь не может быть никаких сомнений, поскольку лингвистику все без исключения понимают как науку о языке. Но удивительным образом Л. З. Сова как раз противопоставляет лингвистику и языкознание (с. 4—7).

Это необычное противопоставление при ближайшем анализе оказывается довольно простым предметом. Попросту говоря, Л. З. Сова должна была бы начать с естественного языка, продолжить его традиционной описательной грамматикой, основанной на интуитивном понимании языковых элементов, а закончить сравнением разных способов изложения этих описательных грамматик. Но она, несомненно, вредит себе, когда говорит не об естественном языке, а о языке вообще, и когда говорит не о традиционной описательной грамматике, но выставляет науку о формах языка, а сопоставление разных способов построения грамматики называет ненужным термином «учения о метаязыке».

Такая же ясная мысль, но неясное выражение сопровождает ее учение о лингвистике, которая, по ее мнению, есть просто система точных определений языковых элементов и языковых форм. При таком понимании лингвистики тот, которого Л. З. Сова называет языковедом, возмутится и скажет, что он тоже дает определения и своих языковых элементов, и своих языковых форм. В чем же тогда будет разница между лингвистикой и языкознанием? Изложение у Л. З. Сова в этом месте (с. 5) не страдает особенной ясностью. Было бы гораздо яснее, если бы она языковые формы изображала как формы, возникающие из простых интуиций языка (например, падежи мы определяем как слова, отвечающие на вопрос кто? что? кому? чему? и т. д.; это ведь есть чисто интуитивное понимание падежа, вполне достаточное для элементарного изучения языка), а лингвистические формы она определяла бы как формы понятийные, т. е. как данные в виде точного перечисления признаков соответствующих понятий. Из этого видно, что разделение на языкознание и лингвистику у Л. З. Сова ничего страшного собой не представляет, а только выражено несколько заумно. Для представите-

ля традиционного и классического языкознания покажутся странными и непонятными такие выражения, как «метаязык», «метатеория», «языковая метатеория» и «лингвистическая метатеория». Жаль, что здесь употреблен термин, весьма модный для крайнего структурализма, но, после удаления излишней изысканности выражения, это есть, попросту говоря, сравнение между собой языковых теорий, сравнение между собой лингвистических теорий и попытка формулировать такую теорию языка, которая обнимала бы и языкознание, и лингвистику и была бы выше их. На тех страницах (например, с. 7), где даются эти первоначальные определения, понять Л. З. Сова трудно. Однако ее дальнейшие и вполне конкретные анализы достаточно убедительно показывают, что такое разделение наук вполне естественно, только нужно помнить то, чего сама исследовательница не говорит, а именно, что здесь мы имеем лестницу восхождения от примитивных и чисто интуитивных наблюдений над языком к их обобщенной форме, которая требует уже точных понятий и точных систем, а кончаем мы перечислением этих понятий и систем, их сравнением, вопросами об их совместимости и несовместимости и, если можно, построением наиболее общей системы категорий, без которой невозможен никакой язык.

Если я правильно понял эти утверждения Л. З. Сова, то я могу их только одобрить, хотя сам я излагаю подобного рода утверждения гораздо проще и понятнее. Но если Л. З. Сова будет возражать против такого моего понимания, то я должен отступить в сторону ввиду невозможности ответить на ее утверждения никакими «да» или «нет».

Ведь это так естественно: на основании первичных интуиций языка языковед фиксирует разные особенности языка, которые в нем самом коренятся, а также часто повторяются и составляют как бы некоторого рода его остов; далее, таких описаний первичных особенностей естественного языка может быть несколько, и потому может появиться и появляется много разных типов изложения первичной описательной грамматики. Логически настроенный языковед, конечно, будет при этом сравнивать разные типы изложения описательной грамматики данного языка или данной группы языков;

а из этого сравнения уже сама собой будет вытекать потребность определить то общее, что можно находить в указанных типах описательной грамматики, а также и их различия, их противоположность или их противоречие. И вот этот простой переход от интуитивно-описательных форм к понятийным формам и их предельное обобщение вовсе не потребует от нас противопоставлять языкознание и лингвистику, язык и метаязык или метаязыкознание и металингвистику. То, что вместо этого общепонятного перехода от естественного языка к его предельной формализации Л. З. Сова употребляет целый ряд сложных и малопонятных терминов, это, как мне кажется, является предприятием достаточно излишним.

В связи с этим и само понятие аналитической лингвистики у Л. З. Сова тоже требует к себе критического подхода. То, что сама исследовательница говорит об аналитической лингвистике, это опять-таки не очень ясно. Она говорит, что аналитическая лингвистика пользуется «методом построения лингвистических элементов через металингвистическое исследование» (с. 215). Это можно понять только так, что обычные грамматические понятия берутся по разным грамматикам, дающим эти понятия по-разному, делается сводка этих разных понятийных систем и устанавливается, что в них общего и необходимого и что разноречиво или даже противоречиво.

Еще путаннее рассуждение Л. З. Сова на страницах 216—217, хотя начало этого рассуждения максимально естественно и понятно: «Фиксируется некоторый элемент, существующий в объективной действительности и данный нам в ощущении («естественный языковой или лингвистический элемент»). На основании наших представлений о нем, вызванных «ощущением» этого элемента, выделяются присущие ему (с точки зрения наших ощущений) свойства и изображается наше представление о нем в виде пучка характеристик... Другими словами, подходя к естественному элементу как некоему черпому ящику, мы предлагаем строить его модель через исследования его функционирования и сравнения с прецедентами применения конструкта. Тем самым мы предлагаем использовать в лингвистике метод рассуждений, обычно применяемый в кибернетике. Характерной

чертой этого метода является то, что его применение основано на схеме повторяющихся циклов, окаймленных аналитическими процедурами».

Зачем такая масса непонятных и малопонятных слов? Ведь то, что хочет здесь сказать автор, опять-таки сводится к обычной логической работе ума над ощущаемым предметом: интуитивно познаваемый предмет анализируется с точки зрения составляющих его признаков; эти признаки, взятые вместе, являются логическим конструктом предмета; но построение такого конструкта может быть истинным и может быть ложным, что и проверяется на интуитивно-данном и логически проанализированном предмете; затем может оказаться, что таких конструктов одного и того же предмета имеется весьма много, смотря по точке зрения на сам этот конструкт; наконец, собрав все эти возможные конструкты в одно целое, мы либо строим из них единую цельную и непротиворечивую систему, либо такая система не удастся, а удастся лишь какая-нибудь ее отдельная часть. По-просту говоря, аналитический метод Л. З. Сова заключается в том, что мы производим максимальное количество различий, свойственных предмету, и все эти различия мы затем сводим в единую и минимальную систему, однако насыщенную всеми этими возможными конструктами. Это, как я думаю, согласится всякий, общий ход расчленения и обобщения признаков изучаемого предмета, который проводится решительно во всех науках. Если я прав в таком понимании Л. З. Сова, то ее построения я могу только одобрить, с оговоркой на терминологическое и нетерминологическое излишество. Если же Л. З. Сова скажет, что я не усвоил ее аналитического метода, то мне опять придется отойти в сторону ввиду непонимания, о чем мы спорим.

Если Л. З. Сова будет напирать на такие термины, как «черный ящик», «кибернетика», «повторяющиеся циклы» или даже «окаймление аналитическими процедурами», то уже здравый смысл свидетельствует о полном излишестве такой терминологии. Не будем говорить о терминах «черный ящик» и «кибернетика», но зачем Л. З. Сова употребляет такое выражение, как «повторяющиеся циклы», когда речь, по ее же собственному мнению, должна идти только о получении разных обобщений или конструктов, которые, конечно, могут оказаться

неправильными, и требовать замены их другими обобщениями или конструктами. Не слишком ли роскошен для такого простого логического процесса термин «повторяющиеся циклы»? И пужно ли говорить об «окаймлении аналитическими процессами», когда имеется в виду всего только либо нахождение первичных форм естественного языка, либо проверка полученных обобщений на данных все того же естественного языка? Тут же заметим, что термин «аналитический» употребляется у Л. З. Сова в данном случае отнюдь не как-нибудь специфически и отнюдь не терминологически, но просто как указание на необходимый для всякой науки процесс различения существенного от несущественного и как на процесс эмпирической проверки получаемых обобщений.

Если подвести итог тому, что мы процитировали из книги Л. З. Сова, то этот итог сведется попросту к требованию критических обобщений путем сравнения одних частных с другими, путем сравнения частных с обобщениями, путем сравнения обобщений между собой и, наконец, путем стремления находить предельные обобщения. Как это можно легко заметить, все эти логические процессы хотя и можно назвать аналитическими, но, во-первых, этот термин совершенно здесь не обязателен, а, во-вторых, анализов здесь несколько не больше, чем синтезов.

Наперед можно сказать, что уже заглавие самой книги, несомненно, заставит Л. З. Сова дать какое-нибудь более интересное понимание аналитического метода, чем та обыденная логика, к которой мы его сейчас свели. И нужно сказать, что при максимально объективном подходе к построению Л. З. Сова черты иного и притом более специфического понимания, несомненно, там и здесь мелькают в ее книге. Но ведь нужно же исходить из того определения, которое дает сама Л. З. Сова, но в то же время она говорит об аналитическом методе только в смысле «построения лингвистических элементов через металингвистическое исследование». Я здесь не нахожу ничего иного, кроме требования (конечно, вполне естественного, хотя и не единственного) проверять частные обобщения науки обобщениями более высокого рода. Другими словами, получив какое-нибудь обобщение, мы должны каждый раз удо-

стоверяться, не противоречит ли оно тем, более широким обобщениям, которые мы получили еще раньше. Такое требование логики не может вызывать никакого сомнения, как, правда, и обратное толкование о том, чтобы более широкое обобщение тоже не противоречило менее широким обобщениям или обобщениям частного характера. Но при чем же тут аналитический метод? А разве здесь нет также и синтетического метода? Другими словами, возникает сомнение даже в том, стоит ли употреблять сам термин «аналитический метод» для столь общеобязательных и общепонятных научных операций.

В дальнейшем мне представляется целесообразным рассмотреть, как Л. З. Сова применяет свой аналитический метод к некоторым вполне конкретным проблемам языкознания. То, что у нас было сказано выше о существовании аналитического метода Л. З. Сова, вполне подтверждается анализом у нее отдельных проблем. Обычно берется какой-нибудь такой основной элемент языковой или лингвистический, не определяется по существу, а конструируется только путем указания тех или иных его признаков, признак этот либо отбрасывается в результате анализа, либо сохраняется в своем допущенном вначале гипотетическом виде. То же самое происходит и со всяким новым признаком данного элемента, и в результате всех этих наблюдений конструируется модель данного языкового или лингвистического элемента, которая в дальнейшем объявляется в виде критерия для оценки всех других аналогичных представлений в данной области. Другими словами, под аналитическим методом Л. З. Сова везде понимает здесь перечисление существенных и проверенных признаков данного элемента при соблюдении постепенности и последовательности этого перечисления, но притом с традиционным отсутствием определения изучаемого элемента по его существу. Другими словами, здесь рассматриваются логические процессы, которые несколько не специфичны для лингвистики, а обязательны вообще для всякой науки. Ближе к лингвистике та проблема, о которой мы сейчас скажем несколько слов.

Двумя элементами, действительно основными и неизбежными для лингвистики, является *слово* и *предложение*. Посмотрим, что говорит Л. З. Сова по этим двум

фундаментальным проблемам всякой науки о языке, как бы ни пожимать эту науку.

Сначала она определяет, что такое слово. Оказывает-ся, что слово есть, по ее терминологии, «дуал», а дуал есть совместное наличие значения и формы. Спрашивается, не то же ли самое мы говорим и в школе, и в средней и в высшей? Неужели можно дать какое-либо иное определение слова, если подходить к нему пока элементарно, кроме того, что оно есть определенного рода звуковая форма, обладающая определенным значением? Неужели термин «дуал» привносит тут что-нибудь новое или говорит о чем-то еще иначе, кроме того, что слово есть соединение звуковой формы и смыслового значения? Но согласимся, что такого рода термин будет нам полезен. И что же мы тогда получаем для определения такого термина, как «предложение»?

Л. З. Сова утверждает гипотетическое тождество трех таких формулировок: Предложение — это мысль, выраженная словами-дуалами. Предложение — это цепочка словоформ («половинки» дуалов), имеющая смысл. Предложение — это цепочка связанных между собой слов-дуалов (с. 13). Конечно, тут хотелось бы знать, что это такое за дуал, поскольку в нем и содержится разгадка соотношения между языковой формой и языковым смыслом. Но кроме констатации наличия формы и значения в дуале об этом дуале больше ничего не говорится. Но тогда что значит термин «слово-дуал»? Ведь и без этого «дуала» слово всеми понимается именно как дуал. Поэтому в трех приведенных определениях термина «предложение» имеется в виду попросту мысль, выраженная словами. Ведь если Л. З. Сова понимает, что такое «смысл» или «значение», то почему же она не понимает слова *мысль*? Эту «мысль» она, конечно, прекрасно понимает. И поэтому все три указанных понимания предложения действительно тождественны, но только в первом определении имеется в виду вообще словесное выражение мысли, во втором — только формальное объединение слов, а в третьем случае — и формальное и смысловое.

Кроме того, в другом месте Л. З. Сова просто пишет: «Предложение — это дуал, одной стороной которого является формальная цепочка, а второй — смысловая цепочка» (с. 16). Значит, попросту говоря, в



предложении, как и в слове, мы находим просто объединение формальной стороны и смысловой стороны. Можно ли назвать это каким-нибудь новым пониманием предложения? Заметим, что Л. З. Сова не дает определения ни того, что такое «смысл», «значение», ни того, что такое «форма». Выходит, что все это исследование основано на простейших языковых интуициях, в которых никогда никто не сомневался, в которых не сомневаюсь и я и которые к тому же вполне предметны и очевидны. Можно ли возражать здесь Л. З. Сове? Я думаю, что возражать здесь невозможно. Но какого-нибудь «аналитического» исследования слова и предложения я здесь никак не могу найти.

При обсуждении этого предмета я обращаю внимание еще только на два факта.

Во-первых, соединение смысловой и формальной цепочки имеется не только в предложении, но и вообще во всяком словосочетании и словосложении, и не только здесь, но и во всяком отдельном слове. Ведь всякое отдельное слово тоже состоит из разных морфем, имеющих свою форму и свое значение, а также и из совокупности этих морфем, обладающей тоже своим смыслом и своей формой. Таким образом, Л. З. Сова определила не само предложение, а боюсь, что вообще всякое языковое выражение, в котором есть свой смысл и своя форма.

Во-вторых, во всех этих определениях Л. З. Сова обращает на себя внимание весьма интересный термин «цепочка». Ведь такого рода «цепочками» пользовались те крайние структуралисты-формалисты, которые во чтобы то ни стало хотели изучать язык вне всякой семантики, почему и предложение понимали только как бессмысленное и механическое сплетение одних слов с другими.

Но эти времена крайне формального структурализма уже давно прошли; да и сама Л. З. Сова нигде не отделяет форму от смысла, а смысл от формы. Наоборот, она прямо пишет: «Предложение — это формальная цепочка, находящаяся в определенной зависимости от смысловой цепочки» (с. 16). Но в таком случае я уже перестаю понимать, зачем понадобился здесь механистический термин «цепочка», когда дело касается вовсе не только смысловых связей, но только их наруши-

мого синтеза и даже говорится о полной зависимости формальных связей от смысловых?

В дальнейшем мне хотелось бы проанализировать тот фактический метод, при помощи которого Л. З. Сова идет от естественного языка к лингвистике и даже к металингвистике. Несмотря на то, что этот ход мысли от практических и интуитивных наблюдений к понятийным теориям и далее к теории этих теорий, т. е. к сравнению их между собой, я должен, безусловно, одобрить, тем не менее фактически работа Л. З. Сова в этой области базируется на одном весьма существенном противоречии. С одной стороны, утверждается, что металингвистика есть самая общая и потому самая необходимая теория языка. А с другой стороны, мы читаем, например, на с. 77: «На основании анализа известных нам работ термину «управление» может быть дано строгое определение только при понимании управления, как связи между конкретными словами... Таким образом, мы приходим к выводу, что лингвистика как единая теория не существует: в лингвистике столько разных лингвистик, сколько есть лингвистов». Но автор не замечает, что в таких условиях постулированная им металингвистика совершенно теряет свой смысл и делается просто невозможной. При этом сам автор чувствует противоречие, в которое он попал, и предлагает избавиться от этой неопределенности металингвистики обращением все к тем же естественным языкам для установления правильности констатированных разных противоречивых лингвистик. «Каждую логическую возможность, — пишет Л. З. Сова, — целесообразно реализовать только в той сфере практической деятельности, для которой неразрешимые при данном подходе противоречия оказываются несущественными» (с. 78). По этому поводу я опять-таки скажу, что вовсе нельзя считать неправильной теорию Л. З. Сова о необходимости возрастающего обобщения и формализации от естественного языка до металингвистики. Сама-то эта теория правильная. Но против ее изложения я возражаю, потому что изложение это довольно-таки путаное. Действительно, весьма желательно существование такой максимально общей теории, которая обнимала бы, классифицировала бы и устанавливала бы противоречивость или непротиворечивость отдельных конкретных теорий.

Но если эта максимально-общая теория, констатируя противоречия в лингвистической науке, опять должна обращаться к языковой практике для того, чтобы избавиться от этих противоречий, то такое положение дела я могу только приветствовать. А тогда не отрывайте так безусловно металингвистику от работы над естественными языками.

В дальнейшем мне хотелось бы остановиться на одной проблеме, которая является для книги Л. З. Сова и самой центральной, и самой показательной, и разработанной больше всего. Это — проблема *управления*. Так как управление есть некоторого рода связь между словами, то Л. З. Сова сначала устанавливает такие пять наиболее общих отношений между словами, которые в дальнейшем она будет применять для исчисления всех возможных пониманий управления (с. 19). В дальнейшем ей понадобится еще 12 общих типов соотношения между парадигматическими и синтагматическими моментами внутри сочетания слов (с. 81). Помножая 5 на 12, она получает «60 типов связей, описанных или могущих быть описанными в лингвистике» (с. 81), причем здесь имеются в виду не связи слов вообще, но вообще типы соотношения моментов формы и смысла, взятых в аспекте парадигматики и синтагматики. Из этих 60 соотношений Л. З. Сова считает необходимым выбрать те, которые характерны только для процедуры управления, и таковых она насчитывает тоже 12 (с. 92—93). Еще до определения того, что такое управление, исходя из всех логически возможных комбинаций при построении систем частей речи и членов предложения (с учетом пока еще лишь следующих моментов: синтагматики, парадигматики, отношения языка и речи, логического, денотатного, грамматического и психологического принципов классификации), Л. З. Сова получает 480 видов лингвистических систем частей речи и членов предложения (с. 77). Мало того, она пишет даже так: «Немного изобретательности — и количество логических возможностей можно увеличить до любой мыслимой величины». Всякого обычного языковеда это исчисление всех возможных пониманий лишь одного момента языка может только удивить, и большинство, безусловно, будет возражать против этой абстрактной комбинаторики. Од-

нако лично меня эта комбинаторика несколько не удивляет, и я в самом серьезном смысле слова готов идти здесь до бесконечности, но об этом я скажу ниже. Сейчас же меня интересует логический анализ только одной грамматической категории, а именно управления; и меня не смущает то, что, конечно, смутит каждого читателя Л. З. Сова, а именно, что между выведением всех этих цифр читателю приходится усваивать большое количество страниц, не имеющих прямого отношения к делу. Лучше было бы все это исчисление объяснить кратко и ясно на одной странице, а уже потом заниматься разъяснением всех этих цифр. Но, повторяю, сейчас дело не в этом, а в том, как понимает Л. З. Сова управление.

Она пишет: «Управление в значении формальной синтагматической связи между формальными принадлежностями слов, рассматриваемых как представители синтагматических классов, мы назовем термином «детерминация»; а управление в смысле формально-смысловой связи между словами, рассматриваемыми как представители синтагматических классов, — термином «синтаксическое требование» (или просто «требование»)» (с. 95). Следовательно, в предложении *Читаю книгу* между обоими словами, составляющими это предложение, одинаково существует синтагматическая связь, но только при одном рассмотрении она формально-синтагматическая, а при другом — формально-смысловая синтагматическая связь. Поскольку в книге не поднимается никаких вопросов относительно того, что такое «форма», и что такое «смысл», и что такое «формально-смысловое», об этом мы Л. З. Сова спрашивать не будем. Но вот о том, что такое синтагматическая связь, об этом она говорит много, и любопытно посмотреть, как она это понимает.

На странице 48 Л. З. Сова противопоставляет синтагматическую и парадигматическую связь соответственно как цепочку слов и как «ассоциативный ряд». Следовательно, при определении синтагматического признака не вводится ничего нового, кроме того, что он есть отношение в цепочке слов (или цепочка классов слов). Для определения же парадигматической связи Л. З. Сова употребляет только неопределенное выражение «ассоциативный ряд». Такое определение двух фундамен-

тальных для языкознания понятий является чересчур мало дающим. «Цепочка», как мы уже об этом говорили, вовсе не обозначает для Л. З. Сова какой-то механистической последовательности дискретно связанных между собой слов. Зачем же в таком случае этот термин употреблять? Термин же «ассоциативный ряд» настолько многозначен, что при таком определении останется неизвестным, что Л. З. Сова понимает под парадигматикой. Мы не будем здесь приводить разные определения этих понятий, которые существуют в лингвистике. Но то определение, которое дает здесь Л. З. Сова, можно сказать, наихудшее. И тогда что же остается для исходного определения нами того, что такое грамматическое управление? Очевидно, ничего, кроме неопределенных терминов «цепочка» и «ассоциация», здесь не появляется. Единственное, что имеет здесь предметный смысл, это то, что управление можно понимать формально, т. е. как морфологическую связь слов, или смысловым образом, т. е. как связь слов по их смыслу. Но в первом случае морфологическую связь признаков слов в предложении можно установить, только если уже заранее знать, что такое управление и что такое предложение, т. е. тут допускается логическая ошибка *petitio principii*. Во втором же случае, когда речь идет о формально-смысловой связи слов в предложении, опять-таки без предварительного знания, что такое есть управление, нельзя установить и морфологического соответствия, так как иначе окончание слова *книга* морфологически будет то же самое, что окончание в родительном падеже единственного числа слова *стол*. Итак, Л. З. Сова не даст ровно никакого определения того, что она понимает под управлением, и рассуждает здесь только на основе обычного в школе интуитивного понимания этого термина.

Но я не стал бы забраковывать все учение Л. З. Сова об управлении. Очень важно действительно установить все логические возможности сочетания слов, из которых мы потом выберем те, которые соотносятся между собой как управляемые и управляющие. Но только здесь я стал бы возражать против способа перечисления этих логических возможностей.

Возьмем указанное у нас выше определение связи слов. Первое отношение — это соотношение внесмысло-

вых форм слов между собой. Но это вовсе не есть связь слов, потому что форму слова мы только в том случае можем установить, если знаем само слово, которое вовсе не есть только форма, но форма с определенным смыслом. Второе отношение — это отношение между формами, которые являются носителями смысла. И это тоже не есть соотношение самих слов, потому что слово вовсе не сводится к своей форме, хотя бы она и была смысловая. Третье отношение — это отношение смыслов разных слов независимо от их формальной выраженности. А это и вовсе не относится к языкознанию, но только к чистой логике, которая только и оперирует смыслами слов и их соотношениями, не взирая на их языковую выраженность в той или иной форме. Четвертое отношение — это соотношение таких слов, между которыми устанавливается смысловая связь. Это уже гораздо ближе к языкознанию. Но только опять остается непонятным, что тут надо понимать под словом. И наконец, пятое отношение — это отношение синтаксических связей между словами как неделимыми формально-смысловыми компонентами. Тут правильно то, что автор находит в слове неделимый формально-смысловой компонент и утверждает, что между такими компонентами существует синтаксическая связь. Однако если еще можно согласиться с тем, что в слове нераздельно слиты форма и значение, то зато остается неизвестным, что же такое «синтаксическое отношение» между такими словами. Что же, это опять какая-нибудь механистическая цепочка или что-нибудь другое? Л. З. Сова, безусловно, понимает соотношение членов предложения отнюдь не как механистическую цепочку, но и понимает ее в интуитивном смысле достаточно содержательно. Однако понятийная содержательность этой связи, кроме того, что она может быть и формальной, и смысловой, и формально-смысловой, к сожалению, никак не раскрывается.

Таким образом, эти пять типов соотношения слов между собой остаются у Л. З. Сова чересчур сомнительными.

Что касается заманчивой цифры 12 относительно связи слов, взятых то ли как конкретное слово, то ли как член парадигматического класса, то ли как член синтагматического класса (с. 81), то очень легко сообразить, что из разных сочетаний этих трех понятий по

два, взятых сначала в синтагматическом, а затем в парадигматическом аспекте, весьма легко получить это число 12. Я опять-таки скажу, что дело не в этом числе 12 (пусть будет установлено хотя бы число 112 или число 1012), а в том, что само-то понятие парадигматического и синтагматического класса Л. З. Сова, как мы сказали выше, рисует в весьма неясном виде. Ведь если так трудно определять эти понятия, то было бы хорошо, чтобы Л. З. Сова опиралась при определении этих понятий хотя бы на какие-нибудь известные всякому лингвисту грамматические категории. Пусть она сказала бы, что парадигматический класс есть класс слов, имеющих разную флексию, и в этом случае парадигмой оказался бы просто класс всех падежей. Или пусть она сказала бы, что парадигматический класс есть вообще класс всех слов, которые отличаются каким-нибудь звуком или комплексом звуков внутри парадигмы (тогда парадигматическим классом оказался бы класс таких слов, как *пал, пел, пил, пол, пыл*); а синтагматический класс пусть она понимала бы как класс слов, из которых каждое является, например, членом того или другого предложения. И сама Л. З. Сова отнюдь не чужда такого рода конкретного понимания парадигматического и синтагматического класса. Однако жаль только то, что приведенные нами примеры без специального анализа отнюдь не могут возводиться в степень общего и основного учения об основных логических возможностях тех или других сочетаний слов, а являются только простыми ясными примерами. Однако поскольку мы занялись сейчас учением Л. З. Сова об управлении, остановимся на тех 6 типах сочетаний слов, или, точнее, языковых элементов, которые, по ее мнению, можно понимать как соотношение управляющего слова и управляемого слова.

Из своих 60 сочетаний слов, как мы уже знаем, Л. З. Сова оставляет для управления только 12 соотношений (с. 92—94). Сначала Л. З. Сова устанавливает 6 типов синтагматических связей, в качестве названия которых в лингвистике употребляется термин «управление» (с. 89). Последние три из этих отношений несколько не затрагивают специально категории управления, поскольку все они построены только на формальном соотношении слов или классов слов. Тут получается, на-

пример, что *красная роза, красная папа, красная ерунда* и т. д. суть примеры именно управления, в то время как это вовсе не управление, а согласование. Что же касается первых трех типов соотношения, которые Л. З. Сова тоже трактует как отношение слов, создающее именно управление, то ввиду отсутствия формулировки того, что является управлением в точном и специфическом смысле, эти три случая тоже можно понимать вовсе не как управление. Так, например, первая формулировка говорит о нормально-смысловой синтагматической связи между двумя конкретными словами. Но в таком случае предложение *Он пришел* тоже будет содержать в себе то или иное управление, а никакого управления в данном предложении нет, а есть только предцифрование. И дело, конечно, не меняется от того, если мы вместо слов будем понимать целые классы слов. Все равно никакого управления здесь не получится. Но Л. З. Сова не удовлетворяется и этим. Она утверждает, что таких соотношений двух слов, которые создают управление, не 6, а целых 12. Именно поскольку «класс слов» можно понимать или парадигматически, или синтагматически, то, подставляя эти термины вместо просто термина «слово» и термина «класс», которое употребляется в 4 из указанных 6 делений, мы легко получаем цифру 12. Но я и здесь не возражаю против самой цифры 12. Если угодно, то, пользуясь методом Л. З. Сова, я легко мог бы установить не 12, а целых 20 соотношений слов для тех случаев, когда мы имеем дело с управлением. Именно если брать каждое слово не только парадигматически и не только синтагматически, а брать так, что оно будет иметь в одно и то же время и парадигматическое, и синтагматическое значение, то получится не 12, а целых 20 соотношений слов, входящих в процедуру управления. Ведь ничто не мешает мне понимать каждое конкретное слово и как падеж, т. е. в конце концов как часть речи, и как подлежащее или дополнение, т. е. в конце концов член предложения. Ведь таковым же и является каждое имя (существительное, прилагательное и т. д.). Тогда уже искомым соотношений будет не 12, а, как мы только что сказали, 20.

Я не буду анализировать другие проблемы, затронутые в книге Л. З. Сова. Проблема, которую я затро-



нул, повторяю, и центральная для книги, и наиболее подробно разработанная, а разбор всех деталей теории Л. З. Сова завел бы меня слишком далеко, причем результаты получились бы те же самые. Но я прошу внимательно отнестись к моим выводам. Я вовсе не склонен все свои выводы относительно книги Л. З. Сова понимать только как отрицательные. Наоборот, я считаю важным и очередным и логический подход к языку, и исчисление всех логических возможностей, на которые дает нам право понятие, но не дает права слово. Пусть в языке не все осуществляется из того, что я получил чисто логически и из чего построил стройную и непротиворечивую систему понятий. Все равно подобного рода анализ будет полезен для оценки конкретно существующих и когда-то существовавших лингвистических теорий, и все это только больше меня убедит в отличии теоретического мышления, которое создает всю языковую область. Это дает возможность, кроме того, понимать и то, насколько многозначно, разноречиво и даже противоречиво употребляют языковеды свои основные термины и не только при сравнении нескольких лингвистов между собой, но и в сравнении разных суждений одного и того же лингвиста. Меня не смущает, а только ободряет то, что Л. З. Сова насчитывает то 5, то 6, то 12, то 480, то даже бесконечное количество оттенков в понимании одного и того же лингвистического термина или определения. Может быть, в этом смысле и нужно было бы именовать подлинную лингвистику именно аналитической, поскольку математический анализ как раз и оперирует с бесконечно малыми величинами, которые вовсе не являются стабильным целым, а постоянно уходят вдаль все больше и больше без всякого конца. Поэтому основное отношение Л. З. Сова к языку я бы считал и положительным, и своевременным, и очередным. Правда, наше общее языкознание находится еще в самом начале своего развития, поэтому Л. З. Сова очень часто свои вполне правильные языковые интуиции неудачно формулирует весьма неподходящими терминами и сводит часто на весьма уязвимые системы. Но я думаю, что это ей надо простить.

Тем не менее та терминологическая расчлененность, которой пользуется Л. З. Сова, раз навсегда исключит всякую возможность относиться, например, к тем же

проблемам управления столь мало расчлененно и столь противоречиво, как это мы теперь иной раз находим в научных исследованиях и учебных пособиях. Изучивший книгу Л. З. Сова сразу же определит степень логической точности, характерную для наших работ по общему языкознанию и по отдельным языкам. Воспользовавшись аналитическими методами Л. З. Сова, другой лингвист, возможно, даст и более четкое изложение аналитического метода в языкознании. Но важно было начать, и Л. З. Сова начала.

Наконец, поскольку исследование Л. З. Сова имеет главной своей целью логический охват языка, позволено спросить (имея в виду увлечения последних лет в науке): развивается ли ее исследование в рамках допустимого для советской лингвистики логицизма или здесь дело переходит далеко за пределы допустимого логицизма с той или другой утратой изучения естественных языков и с переходом в область чистой логики. После внимательного изучения книги Л. З. Сова я прихожу к выводу, что при многочисленных недостатках и при некотором словесном излишестве Л. З. Сова все же остается в пределах допустимого логицизма, и многое из ее исследования может быть с успехом применено в практической работе языковеда.

Таким образом, если подвести итог всем рассуждениям, предложенным в настоящей статье, необходимо сказать так.

Имеется два понимания аналитической лингвистики. Одно понимание, принадлежащее автору данной работы, основано на изыскании бесконечно малых семантических переходов как внутри каждого отдельного языкового элемента, так и в его контекстуальных отношениях с другими элементами. «Анализ», по примеру математического анализа, сводится здесь попросту к исследованию всех мельчайших переходов как внутри каждой отдельной семемы, так и между отдельными семемами. Причем этот процесс уточнения и дробления семем уходит в бесконечность по причине наличия в каждом языке бесконечного числа разных контекстов, в пределах которых выступает данный элемент и от которых зависит тот или иной его семантический оттенок. Другое понимание аналитической лингвистики принадлежит Л. З. Сова, которая понимает анализ как постепенное

и последовательно, постоянно критически проверяемое установление тех или других признаков данного лингвистического элемента, а также получение из органического объединения этих признаков той или другой, принципиально тоже бесконечно насыщенной модели, уже выходящей за пределы той или иной системы языковедческого или лингвистического исследования ввиду своей формальной и предельно обобщенной значимости, получающей наименование метаэлемента (с необходимостью именовать также и всю эту теорию метаязыкознанием и металингвистикой). С первого взгляда между этими двумя пониманиями аналитической лингвистики нет ничего общего, поскольку одно из них ставит своей целью исследование всех бесконечно малых оттенков семемы или семантического построения, а другое понимание основано на систематическом и методически проводимом установлении всех существенных признаков данного элемента. Тем не менее общее между этими двумя пониманиями аналитического метода в лингвистике все же имеется. Оно заключается в бесстрашном накоплении семантических функций того или другого элемента, практически уходящем в прямую бесконечность. Наука о языке в ближайшее же время должна обсудить эти два, а может, и многие другие понимания анализа, пока еще не сформулированные отчетливо, и ввести аналитический метод в число самых основных методов языковедческой науки вообще.

## Учение о словесной предметности (лектон) в языкознании античных стоиков<sup>1</sup>

Понятие «лектон» (*lecton*) у античных стоиков на первый взгляд кажется весьма туманным и запутанным. Современные структуралисты своими предшественниками в истории считают стоиков, учение которых действительно очень глубоко формулирует черты самой настоящей языковой иррелевантности. Подробное изучение предмета показывает, что учение античных стоиков об иррелевантных структурах и отношениях имеет мало общего с теперешними беспредметными анализами языка, что стоикам свойствен не только глубокий онтологизм и объективизм, но также и последовательно проводимый материализм. Настоящая небольшая работа пытается формулировать стоическое учение о словесной предметности без всякой модернизации, без всякого подведения под современные асемантические теории языка. Приведение точных филологических фактов в этом смысле будет весьма уместным.

По мнению В. и М. Нилов<sup>2</sup>, уже анонимный автор известного софистического трактата «Двойные речи», констатирующий выражение одного и того же понятия в разных местах и контекстах по-разному, исходит из различения словесного звучания и содержащегося в нем утверждения, откуда ведет свое происхождение позднейшее стоическое различение «звучащего слова» (*phōnē*) и «словесной предметности», или «смысла» (*lecton*). При этом необходимо заметить, что хотя деление философии на логику, физику и этику было высказано еще у Аристотеля (Тор. I 14, 105 19), тем не менее как раз у стоиков это деление получило окончательное признание, в силу чего эти три философские дисциплины, а следовательно, и логика получили свое

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: Вопросы семантики русского языка. М., 1976, с. 4—22.

<sup>2</sup> Keane W., Keane M. The development of logic. London, 1971, p. 16.

разграничение, и отныне логика становится самостоятельной дисциплиной.

Стоики по-разному делили логику. Одни говорили, что она делится на риторику и диалектику; другие добавляли к этому еще одну часть, касающуюся определений; некоторые добавляли еще и четвертую часть, куда относили теорию канонов и критериев. Однако среди всех этих разделений наиболее оригинальной частью является диалектика с ее разделением на учения об обозначающем и обозначаемом, а из этого последнего учения — теория обозначаемого, которое стоики стали называть «лектон». Остановимся на этом стоическом *lecton*.

«Лектон» — это *adjectivum verbale* — от греческого глагола *legein*, обозначающего не только процесс говорения, но и нечто более осмысленное, а именно процесс «имения в виду». Более подробно об этом читаем у Секста Эмпирика (*Adv. math.* VIII. 11—12); «Три (элемента) соединяются вместе, — обозначаемое (смысл), обозначающее (звуки) и предмет (*to tygchaon*). Обозначающее есть слово, как, например, «Дион». Обозначаемое есть сама вещь, выявляемая словом; и мы ее воспринимаем как установившуюся в нашем разуме, варвары же не понимают ее, хотя и слышат слово. Предмет же есть находящееся вне, как, например, сам Дион. Из этих элементов два телесны, именно звуковое обозначение и предмет. Одно же — бестелесно, именно обозначаемая вещь и словесно выраженное (*lecton*), которое бывает истинным или ложным».

В этом разделении у Секста Эмпирика, по-видимому, является неточным сведение «лектон» только к истинному или ложному высказыванию. Сам Секст Эмпирик тут же говорит, что, согласно стоикам, «таково вообще не все, но одно — недостаточно, другое — самодовлеюще. Из самодовлеющего истинным или ложным бывает так называемое утверждение (*axiōta*), которое стоики определяют так: «Утверждение есть то, что истинно или ложно».

Из приведенных текстов Секста Эмпирика ясно, что «лектон» у стоиков, во-первых, бестелесно, что оно есть предмет осмысленного высказывания, не сводимый ни к физической вещи, которая высказывается, ни к словесным звукам, при помощи которых оно высказано,

и что, во-вторых, этому «лектон» свойственна своя имманентная истинность, не всегда соответствующая объективной истинности материальных вещей.

Общее мнение античности о стоическом «лектон» дошло до последних представителей неоплатонизма, из которых Аммоний именно в этом пункте сопоставляет стоиков и Аристотеля. Согласно Аристотелю, думает Аммоний, существуют только две области, противопоставляемые одна другой, — объект вне человеческого субъекта и субъект со своим разумом и языком, позволяющим человеку понимать объективные вещи и их обозначать. У стоиков же здесь не две, но три совершенно разные области: объект, субъект (понимающий и обозначающий объект) и нечто среднее между объектом и субъектом, а именно умопостигаемый предмет высказывания и понимания; и при помощи этого третьего только и происходит понимание и обозначение вещей. Аммоний пишет: «Здесь Аристотель учит нас, что такое есть обозначаемое ими [т. е. именами и словами], и предварительным, и ближайшим образом, и что [имеются, с одной стороны] умственные представления (поёмата), а с другой стороны, через его [т. е. обозначаемого] посредство вещи, и помимо этого не следует примышлять ничего посредствующего между мыслью и вещью. Это стоики в своих предположениях и решили называть «лектон» (Ammon., Ad Arist. 156). Таким образом, и для Аммония является совершенно ясным то обстоятельство, что «обозначаемое» Аристотель вовсе не понимал как некоторого рода самостоятельную инстанцию между понимающим, а также обозначающим субъектом и объектом, а стоики как раз и признавали эту третью инстанцию, резко противопоставляя ее и обозначающему субъекту, и обозначаемой вещи.

Несколько подробнее об этом читаем у Диогена Лаэртция (VII 57): «Звуковое выражение и высказывание (lexis) различны, ибо высказывание всегда что-то значит (aei sēmanticos); звуковое выражение может ничего не значить (например, «блитири») ... Высказывать и произносить (propheresthāi) тоже вещи разные: произносятся (propherontai) звуки, а высказываются (legontai) вещи, которые и являются словесной предметностью (lecta)». И далее: «Словесной предметно-

стью они называют то, что возникает согласно смысловому представлению (*cata logicēn phantasia*)» (VII 63). То же у Секста Эмпирика с прибавлением слов: «Смысловым же они называют то представление, в соответствии с которым представленное можно доказать разумом (*logōi*) (или демонстрировать в слове, сопоставить с осмысленным словом, демонстрировать при помощи слова)» (VIII 70). А то, что «лектон» отнюдь не всегда подпадает под критерий истинности или ложности, видно из следующего высказывания того же Диогена Лаэртца: «Словесная предметность бывает, по стоикам, недостаточной или самодовлеющей. Недостаточная — это та, которая произносится в незавершенном виде, например, «пишет», — спрашивается, кто пишет? Самодовлеющая словесная предметность это та, которая произносится в завершенном виде, например, «Сократ пишет».

Тот вывод, который сам собой напрашивается из этих текстов, В. и М. Нилы формулируют достаточно точно<sup>3</sup>. Во-первых, «лектон» есть обозначаемое в осмысленной речи. Во-вторых, оно всегда бестелесно (или, как мы сказали бы теперь, абстрактно). И в-третьих, оно может быть ложным или истинным, но это для него не обязательно. К этому мы прибавили бы только то, что, согласно стоикам, «лектон» вполне отличается не только от словесного высказывания, но и от психического акта как высказывания, так и обозначения. А именно «лектон» отличается у стоиков от *επιποια* или *επιποητα*, под которым они понимают слепое воспроизведение в уме того, что чувственно воспринимается — без осознания смысла этого отражения. Еще более это нужно сказать о *phantasia*, которая у стоиков есть всего лишь слепое представление, лишённое всякого смысла.

Плутарх даёт ценное разъяснение, требующее нашей интерпретации. Он пишет: «Умственное представление (*ποητα*) есть чувственное представление (*phantasma*) разума у разумного существа. Ведь чувственное представление, когда оно случается в разумной душе, называется умственным представлением (*επιποητα*), получившим свое название от слова «ум». Поэтому чувственные представления (с их смысловым содержанием)

<sup>3</sup> Kneale W., Kneale M. *The development of logic*, p. 141.

несвойственны другим живым существам. Те чувственные представления, которые появляются у нас и у богов, являются просто чувственными представлениями вообще (*phantasmata*); а те, которые появляются у нас, являются по своему роду действительно чувственными представлениями, но в то же самое время по своему виду, по своей разновидности — умственными представлениями (*επινοήματα*)» (Plut., Πιασ. philos IV, 11). Эту несколько путаную концепцию Плутарха, по-видимому, нужно понимать так. Имеется слепое чувственное представление, никак не осмысленное и никак не приобщенное к умственной деятельности. Но это только родовое понятие чувственного представления. Оно может быть просто слепым, но может быть и осмысленным. В качестве осмысленного оно имеется у богов и людей, но не у животных. Что же касается «лектон», то оно само по себе вовсе не есть даже и осмысленное чувственное ощущение или просто умственное представление. Оно просто лишено всякой чувственности и даже не есть результат отвлеченной умственной деятельности. Оно только «возникает» согласно чувственному или умственному представлению, но само по себе не есть ни то и ни другое, а есть просто то чисто смысловое содержание, которое выражено словом. Всякое представление, и чувственное и умственное, согласно стоикам, само по себе еще не есть «лектон», оно — только психическое представление, взятое само по себе. Оно трактуется у стоиков как простой отпечаток вещи в уме, о котором нельзя сказать ни того, что он есть, ни того, что он есть некое качество. Он «как бы» есть, он «как бы» существует и «как бы» обладает тем или другим качеством (Diog. L. VII 61). В этом резкое отличие общего психического акта от смыслового и выразительного акта в «лектон». Упомянувшиеся у нас выше В. и М. Нилы, кажется, не очень отдают себе в этом отчет. Кроме того, не очень вникает и английский переводчик Диогена Лазерция Р. Хикс, который переводит «лектон» как *verbal expression*, т. е. как «словесное выражение», или просто как «выражение», а в другом месте — как *meaning*, т. е. «значение», «смысл». При таком переводе стирается указанная у Секста разница между *rhōnē* и *lexis*, а также между *lexis* и *logos*.

Предложенное нами предварительное толкование



стоического «лектон» подтверждается следующим рассуждением Сенеки (Epist. 117, 13): «Я вижу, что Катон гуляет. На это указало чувственное восприятие (sensus), а ум (animus) этому поверил. То, что я вижу, есть тело, на которое я направил и свои глаза, и свой ум. После этого я утверждаю: «Катон гуляет». Согласно Сенеке, стоик говорит, что «вовсе не является телом то, что я сейчас высказываю, но оно есть нечто возвещающее о теле». «Одни называют это высказанным (effatum), другие — возвешенным, а третьи — сказанным (dictum)».

Необходимо заметить, что В. и М. Нилы здесь до некоторой степени ошибаются, находя у стоиков противоречие, которое как будто бы состоит в том, что отдельные слова не имеют своих «лектон» и что «лектон» свойственно только суждению, или предложению (axiōta), или отдельным членам предложения, но в их соотносительности с другими членами предложения. Как нам представляется, у стоиков нет здесь никакого противоречия, поскольку сами они различают полный, или совершенный, «лектон», и неполный, частичный, несамодовлеющий. Поэтому слово *Сократ* имеет свой собственный «лектон», но этот «лектон» пока еще неполный, а предложение *Сократ пишет* имеет свой уже полный «лектон». Тут ровно нет никакого противоречия. Но только здесь существует необходимость уловить очень тонкий оттенок значения стоического «лектон». Это у стоиков не просто предмет высказывания, но еще и предмет, взятый в своей соотносительности с другими предметами высказывания. Сама же эта соотносительность может быть выражена в «лектон» то более, то менее ярко.

Чрезвычайно важно не упускать из виду ту смысловую утонченность, которая возникала у стоиков в связи с их учением о «лектон». То, что этот «лектон» не есть просто физический, психический или какой бы то ни было другой объективно данный предмет, об этом мы уже сказали достаточно. Сейчас же нужно подчеркнуть то обстоятельство, что понятие «лектон» потому и было введено стоиками, что они хотели фиксировать любой малейший сдвиг в мышлении. Отвлеченные категории мысли, с которыми имели дело Платон и Аристотель, для стоиков были недостаточны именно ввиду своей

абсолютности, неподвижности и лишенности всяких малейших текучих оттенков. Не только то, что мы теперь называем падежами или глагольными временами, залогами, были для стоиков всякий раз тем или иным специфическим «лектон». Но даже одно и то же слово, взятое в разных контекстах, или какой-нибудь контекст, допускавший внутри себя то или иное, хотя бы и малейшее словечко, все это было для стоиков разными и разными «лектон».

Далее, стоики связывали свое понятие «лектон» с проблемой истины и лжи. Однако и здесь необходимо отказаться от представления о стоиках как о людях, занятых только моралью и мало понимающих в логике. Наоборот, перед нами возникает одно из самых тонких логических учений в античности.

Прежде всего истину стоики отличали от истинного. А этот средний род прилагательного часто употреблялся у древних только ввиду чрезвычайной конкретности их мышления. На самом же деле это есть указание на максимально-абстрактное понятие. Поэтому для современного нам сознания будет понятнее, если мы стоическое «истинное» будем понимать как «истинность». Секст Эмпирик пишет о стоиках (Pyrrh. II 81 сл.): «Говорят, что истинное отличается от истины трояко: сущностью (*oysiāi*), составом (*systasei*) и значением (*dynamei*). Сущностью — потому, что истинное бестелесно; ибо оно — суждение и выражается словами (*axiōta cai lecton*), истина же — тело, ибо она — знание, выясняющее все истинное; знание же — известным образом держащееся руководящее начало точно так же, как известным образом держащаяся рука — кулак; руководящее же начало — тело, ибо, по их мнению, оно дыхание. Составом — потому, что истинное есть нечто простое, как, например, «я разговариваю», истина же состоит из знания многих истинных вещей. Значением же — потому, что истина относится к знанию, истинное же не вполне. Поэтому они говорят, что истина находится у одного только мудреца (*sproudaīoi*), истинное же и у глупца, так как возможно, что и глупец скажет что-нибудь истинное».

Итак, истинность отличается от истины у стоиков прежде всего своим абстрактным характером, а всякую истину они, как материалисты, понимают только физи-

чески или телесно. Во-вторых, истинность чего-нибудь имеет своим предметом тоже такую же абстракцию, выделенную из всего прочего, и потому простую и неделимую. Когда мы заговариваем об истине, то погружаемся в бесчисленное количество разного рода чувственных данных, разного рода психических переживаний и разного рода знаний. Поэтому, чтобы установить истину, нужно затратить множество всяких усилий, и нужно пересмотреть множество разных вещей, внимательно изучая то, что истинно, и то, что неистинно. Таким образом, истина всегда сложна, поскольку она многопредметна. Истинность же всегда проста, поскольку она всегда относится только к какому-нибудь одному предмету. В-третьих, истина, как утверждают стоики, есть то, чем владеет мудрец, а истинность может быть высказана и человеком глупым.

В этом замечательном рассуждении Секста Эмпирика отмечается поразительная склонность стоиков к абстрактным (или, как они говорят, бестелесным) и однозначным суждениям. Но, пожалуй, в приведенном тексте еще важнее то, что это абстрактное и всегда однозначное «лектон» отличается еще и от всякого рода психических или моральных состояний того субъекта, который что-нибудь высказывает. Предмет его высказывания хотя и порожден теми или другими психофизиологическими усилиями человека, тем не менее взятый сам по себе не имеет никакого отношения к ним. Не нужно думать, что здесь мы находим какое-то логическое чудачество. Наоборот, мы же сами пользуемся таблицей умножения, которая хотя и дана всегда только в результате наших психофизиологических усилий, тем не менее по смыслу своему вовсе не имеет к ним никакого отношения и может применяться когда угодно, кем угодно, где угодно и в отношении к любым предметам — как существующим, так и несуществующим. У стоиков это не было чудачеством, а было только уверенностью в очевидности и явленности обозначенного предмета.

Стоики доходили до прямого утверждения, что «лектон» есть нечто умопостигаемое и что только благодаря применению этого «лектон» к чувственным вещам или к душе мы и можем установить их истинность или ложность. Здесь, однако, мы должны предупредить читате-

ля, что слово *умопостигаемое*, как его употребляют стоики, вовсе не содержит в себе ничего слишком торжественного, подчеркнуто возвышенного или идеалистического. Это есть просто мыслимое, или предмет мысли. Мысль возникает из чувственности, а чувственность — из восприятия физических вещей. Но это не значит, что и мысль есть также нечто чувственное. Вода замерзает и кипит; но идея воды, или мысль о воде, отнюдь не замерзает и отнюдь не кипит, и вообще никакие физические категории к идее, к мысли, к уму и к словесной предметности не применимы. Здесь пока нет еще никакого платонизма и даже никакого аристотелизма с их склонностью понимать идеи и ум как самостоятельные субстанции, объективно существующие вне человеческого субъекта. «Лектон», или предмет словесного высказывания, чисто словесная предметность, тоже не есть ни тело, ни вообще что-нибудь физическое. Это словесная предметность есть только смысловая конструкция, о которой еще рано говорить, существует она или не существует, действует она как-нибудь или никак не действует, истинная ли она или ложная. Чисто словесная предметность, как ее понимают стоики, по своей природе есть пока нечто абстрактное, как и таблица умножения у нас. Однако это не значит, что стоический «лектон» раз навсегда оторван от всякого бытия и жизни, от всякой материи, физической или психической, и от всякого реального функционирования в обыкновенной мысли, в обыкновенном языке и в обыкновенном слове. Но только функционирование это — не физическое и не психическое, не телесное, а чисто смысловое и только осмысливающее. Также ведь и дерево осмысливается нами как дерево не потому, что «смысл» дерева мы увидели, услышали, ощупали или понюхали. «Смысл» дерева как дерева в отличие от травы, цветов и прочих растений мы можем воспринять с восприятием самого же дерева — и тем не менее «смысл» дерева ровно ничего деревянного в себе не содержит. В этой своей абстрактности он — только нечто мыслимое, нечто «умопостигаемое». Но стоики вовсе и не думали останавливаться на абстрактной словесной предметности как на какой-то последней инстанции. Наоборот, выделив этот абстрактный «лектон», эту чисто мысленную словесную предметность, они тут же требовали обратного применения

этого «лектон» и к оставленным им чувственным вещам или телам, и прежде всего к самому языку, взятому и в виде отдельных слов, и в виде всякого рода словосочетаний, и в частности в виде предложений.

У Секста Эмпирика читаем (*Adv. math.* VIII 10): «Стойки же говорят, что и из чувственного и из умопостигаемого истинно [только] некоторое; однако чувственное истинно не в прямом смысле, но соответственно отнесению к умопостигаемому, которое с ним связано. По их мнению, истинное — это существующее и противостоящее чему-нибудь, а ложное — несуществующее и не противостоящее ничему. Это «бестелесное» утверждение по существу есть умопостигаемое». Из этих слов Секста Эмпирика о стойках можно сделать не только тот вывод, что свой «лектон» они понимали как нечто умопостигаемое, а не чувственно-воспринимаемое, но также и тот, что своему «лектон» они приписывали как некоторого рода структурное оформление (поскольку истинное, да и ложное всегда чем-нибудь отличается от всего прочего и, следовательно, отличается чем-нибудь, т. е. несет в себе ту или иную качественную определенность), но также и то, что умопостигаемое «лектон» обладает известного рода осмысливающими функциями в отношении чистой, т. е. никак не осмысленной, чувственности.

Теперь мы можем более точно формулировать стоическое учение об истинности или лжи в их отношении к «лектон». Вот что по этому поводу все у того же Секста Эмпирика (*Adv. math.* VIII 74): «Для того чтобы лектон можно было приписать истинность или ложность, необходимо, говорят стойки, прежде всего существовать самому лектон, а уже потом, чтобы оно было самодовлеющим, и не вообще каким-либо, но утверждением, потому что, как мы сказали выше, только произнося его, мы или говорим правду, или лжем».

Отсюда с полной очевидностью вытекает, что «лектон», взятый сам по себе, совершенно никакого отношения не имеет к истине или лжи. Для того чтобы получить истинное или ложное суждение, мы уже должны владеть каким-то «лектон», да еще «лектон» полным, самодовлеющим, т. е. чтобы он был не просто предикатом (*catēgorēma*) и не просто словом в его соотношении с другими словами (*ptōsis*), но их тем или другим

конкретным соотношением. И наконец, это соотношение должно выразиться в виде того, что стоики называли утверждением (axioma). Утверждения могут быть и ложными, и истинными, так что, собственно говоря, даже этих трех условий еще недостаточно для такого суждения, которое мы определенно могли бы назвать истинным или ложным. Однако в настоящий момент мы ведь выясняем только само понятие «лектон», а не что-нибудь другое. А для этого выяснения на основании предыдущей цитаты мы невольно наталкиваемся на то, что «лектон», взятый сам по себе, вовсе еще не есть ни истина, ни ложь, а только тот отдаленный принцип истины и лжи, который требует для себя в данном случае еще много других принципов.

А то, что логики кроме истины и лжи допускали еще и нечто «безразличное» (*adiaphora*), т. е. нечто такое, о чем нельзя сказать ни того, что оно истинно, ни того, что оно ложно, это известно из самых общих стоических теорий. Имеется большое количество текстов о том, что безразлично в моральном отношении, как, например, богатство или слава, или что безразлично в отношении человеческого влечения к себе, или что безразлично в отношении счастья или несчастья (SVF III, фр. 119.122). Согласно стоикам, здоровье можно употребить и во благо, и в целях зла; богатство тоже может служить добру, а может, и злу. Следовательно, здоровье и богатство в моральном отношении, взятые сами по себе, не являются ни добром, ни злом, но нечто «безразличным». Поэтому не нужно удивляться и тому, что также и чисто словесная предметность, «лектон», не есть пока еще ни истина и ни ложь. Она может соответствовать и чему-то действительно существующему, или существующему не в подлинном смысле слова. Однако все «безразлично» у стоиков является разновидностью относительности, т. е. все безразлично не абсолютно ни в каком смысле, не субстанциально (III, фр. 140). Это полностью относится прежде всего к стоическому «лектон».

Подобного рода тексты заставили одного английского исследователя<sup>4</sup> предположить, что стоики вообще

---

<sup>4</sup> Watson G. The stoic theory of knowledge. Belfast, 1966, p. 70.

учили не столько о бытии и действительности, сколько о человеческих представлениях по поводу бытия и действительности, и что они в основном говорили только относительно философской интерпретации действительности и не собирались говорить о ней как о таковой. В такой резкой форме противопоставлять безразличное «лектон» и объективную действительность было бы, вероятно, слишком поспешно. Это едва ли было свойственно всем стоикам; а тем, кому это было свойственно, едва ли удавалось так резко противопоставлять логическую «истину» и объективное «бытие»<sup>5</sup>.

Наконец, стоики пробовали также и классифицировать свои «лектон». Так, например, в одном тексте «лектон» делятся на утверждения (*axiōmata*), вопросы, расспрашивания, повеления, клятвы, просьбы, предположения, обращения и «то, что подобно утверждениям». Этот текст (*Diog. L. VII 66*) ясно свидетельствует о том, что «лектон» понимался не только в смысле повествовательного суждения, но мог выражать собой и все разнообразные типы модальности (ср. *Sext. Emp. Adv. math. VIII 73*), который, между прочим, более ясно говорит о «подобии утверждению»: «Пастух похож на сына Приама» — утверждение, а высказывание «Как похож этот пастух на сына Приама!» — «больше, чем утверждение». Из этой классификации «лектон» совершенно ясно следует, что «лектон» у стоиков может обладать самой разнообразной смысловой природой. Так, например, вопросительное слово или предложение имеет своим коррелятом тоже такое же вопросительное «лектон». Любая модальность тоже конструируется «лектон» каждый раз своим специфическим способом. Это указывает на огромную смысловую насыщенность всех «лектон» и на способность соответствующих «лектон» смысловым образом конструировать решительно любое словесное выражение, включая всевозможные смысловые изгибы языка и речи. До стоиков в античной литературе еще не было такого понимания мыслительной области человека, чтобы мысль отражала не только любые оттенки чувственного восприятия, но и любые оттенки языка и речи. То, что Платон и Аристо-

---

<sup>5</sup> В этом смысле рассуждает Дж. Рист (*Rist J. M. Stoic philosophy. Cambridge, 1969, p. 147*).

тель называют идеями, эйдосами или формами, несмотря на постоянные прорывы у этих философов в область сложнейших жизненных и языковых структур, все-таки является чаще всего в виде того или иного общего понятия, которое ввиду своей слишком большой общности и слишком большой понятийности совсем не отличается такой смысловой гибкостью, чтобы отражать в себе эти бесконечные оттенки языка и речи. Стоическое «лектон» формулируется так, чтобы именно отразить все мельчайшие оттенки языка и речи в виде определенной смысловой структуры. В этом огромная и небывалая заслуга стоического языкознания.

В современной науке уже давно научились понимать эту умопостигаемую, но в то же самое время антиплатоническую и почти антисубстанциальную природу стоического «лектон». Швейцарский исследователь А. Грезер<sup>6</sup> посвящает этому вопросу рассуждение, из которого во всяком случае ясна полная противоположность стоического «лектон» и платонической идеи. Весьма богатую картину стоического «лектон» дает также и французский исследователь Э. Брейе<sup>7</sup>. Однако эта картина далеко выходит за пределы языкознания и требует обстоятельного исследования уже в самой философии стоиков, чем здесь мы не можем заниматься.

Наконец, ко всему этому необходимо прибавить еще два обстоятельства, чтобы стоическая словесная предметность получила свою более или менее законченную характеристику.

Во-первых, мы уже видели, что истинное и ложное у стоиков определяется только в связи с отношением данной вещи к другим вещам, а отношение это определяется тем, каково «лектон», т. е. какова словесная предметность данной вещи (Sext. Emp. Adv. math. VIII 10). Это значит, что и все человеческое знание, опираясь на словесную предметность, есть не что иное, как система отношений. Это же вытекает и из общефилософских категорий у стоиков. Эти категории таковы: *to ti*, или «нечто», или «подлежащее» (*hyposeimena*), или субъект возможных предикаций; *to poiou* «качест-

<sup>6</sup> Graeser A. Plotinus and the stoics. Leiden, 1972, p. 33—35.

<sup>7</sup> Brehier E. La théorie des incorporels dans l'ancien stoïcisme. ed. 4. Paris, 1907, p. 14—37.



во», существенный признак подлежащего, или его предикат, сказуемое; *to rōs echon* «как обстоит» подлежащее со своим сказуемым, или его положение, структура; *to pros ti rōs echon* «отношение» подлежащего, взятого со своим сказуемым, или предцированного субъекта к разным другим и подлежащим к субъектам. Знание и мышление, по стойкам, получают свою последнюю конкретность в системе отношений.

На основании этих логических категорий стойки производили и разделение частей речи. Так, ясно, что вторая категория соответствовала, вообще говоря, имени, третья — глаголу, имевшему цель обрисовать состояние и положение определяемого имени, четвертая же категория — союзам, предлогам, артиклям, а также, очевидно, и всем морфологическим показателям склонения и спряжения, лежащим в основе всякой связной речи<sup>8</sup>. Очевидно, стойки исходили не из понятия, как это делали Платон и Аристотель, и, следовательно, не из имени, а из предложения, в котором их абстрактное «лектон» получало конкретное выражение. Следовательно, реляционный характер всех стонческих «лектон» очевиден. Во-вторых, учение стонков о «лектон» только с виду имеет сходство с современными нам неопозитивистскими теориями. Эти последние, отказываясь от всякого изучения реальных человеческих ощущений и вообще от всяких объектов, и материальных и духовных, от всякого онтологизма, тоже выставляют разного рода языковые категории и трактуют их в полной изоляции от всякого бытия, в отношении которого они вполне независимы, вполне самостоятельны и даже лишены всяких признаков бытия или небытия. Эта иррелевантность всякого «лектон» проповедуется, как мы видели, и у стонков. Однако единственно существующим они признают только тела, и уж эти-то тела совсем не зависят ни от какого человеческого языка и вообще ни от какого человеческого субъекта. Правда, согласно стонкам, эти тела, взятые сами по себе и без всякого

---

<sup>8</sup> Мы здесь не входим в анализ запутанной истории чисто грамматических категорий и, в частности, частей речи. Необходимые материалы для этого имеются в работе: Тронский И. М. Основы стонческой грамматики.— В кн.: Романо-германская филология. Сб. ст. в честь академика А. Ф. Шишмарева. Л., 1957, с. 309—310.

осмысления, вполне слепы и непонятны. Чтобы их понять, их надо осмыслить, а чтобы их осмыслить, надо оперировать с категорией смысла, который сам по себе уже бестелесен, абстрактен и, если угодно, иррелевантен. Но это только предварительная позиция. Язык, как и все существующее, как и все вещи, обязательно так или иначе осмыслен, т. е. ко всей этой реально-бытийной сфере обязательно применяется наш «лектон», который ведь и был получен лишь как абстракция и обобщение из реальности. И вот эта реальность, осмысленная через «лектон», и есть подлинная реальность, которая и телесна, и осмысленна. Таким образом, стоическое учение о «лектон» как о словесной предметности отнюдь не останавливается на иррелевантных абстракциях, но закапчивается вполне реальным онтологизмом и даже материализмом. Во всяком случае нет ничего общего между современным нам позитивизмом и античным материализмом стоиков.

Достаточно указать хотя бы на общее учение о логосе, который у античных материалистов, как и у Гераклита, неотделим от первоогня и его эманаций и который есть живое единство материи и «лектон», мировой, а также и человеческой жизни и мировой же смысловой закономерности.

Другой такой стоической категорией, снимающей дуализм «лектон» и материи, была «энергия», или «энергема» (SVF II, 318, 848; III p. 262, 31—263, 5). И, вообще говоря, весь стоицизм поразительно монистичен, и никакого дуализма в нем найти невозможно.

В заключение необходимо сказать, что стоическое учение о словесной предметности является для нас поучительным примером и, если его правильно понимать, не противоречит никакому онтологизму и даже материализму.

# Обзор некоторых главнейших негативных концепций соотношения языкового знака и языкового значения

(предварительный очерк)<sup>1</sup>

В настоящей небольшой работе мы не предполагаем заниматься позитивной теорией языкового знака и языкового значения, а надеемся только способствовать расчистке пути к достижению положительной концепции. Некоторые из негативных концепций в этой области давно уже устарели, и о них можно было бы в настоящее время даже и не говорить, если бы в виде непродуманных и бессознательных остатков они все еще не появлялись бы даже и в изложениях положительной концепции. Ввиду краткости настоящей работы все эти негативные концепции тоже будут перечислены кратко, без того необходимого для них большого аппарата ссылок, который имеется у автора, но который невозможно здесь воспроизвести. До какой сложности дошло современное учение о знаках и значениях, можно судить по тому, что, например, Ч. Пирс<sup>2</sup> насчитывает 76 разных типов знака, С. Огден и И. Ричардс<sup>3</sup> насчитывают 23 значения слова *значение*, а А. Ф. Лосев<sup>4</sup> насчитывает 34 значения слова *модель*. Из этого видно, что в небольшой статье о негативных концепциях знака или значения речь может идти только о главнейших теориях,

---

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: Русский язык. М., 1975, с. 202—215.

<sup>2</sup> Peirce Ch. Logic and Semiotic. The theory of signs.— In: Philosophical writings of Peirce. Selected and ed. with an introduction by I. Buchler. New York, 1955.

<sup>3</sup> Ogden C. K., Richards I. A. The Meaning of Meaning. London, 1953.

<sup>4</sup> См.: Лосев А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968, с. 16—18.

а вернее сказать, только о некоторых главнейших теориях<sup>5</sup>.

Укажем сначала некоторые негативные теории, которые отличаются особенной наивностью, но от которых, к сожалению, часто бывают не свободны даже теоретики большого масштаба. Несомненный агностицизм содержится в тех заявлениях, которые считают значение слова чем-то непознаваемым и не нуждающимся в определении. Большой знаток древних языков, покойный С. И. Соболевский сказал однажды, выступая оппонентом по диссертации о винительном падеже в латинском языке: «Я знаю винительные падежи только в каждом отдельном и специальных текстах. Сам же винительный падеж, взятый в общем и самостоятельном виде, для меня непознаваем». Получается, таким образом, что нельзя будет понять даже и такого простого суждения, как *Иван есть человек* или *Жучка есть собака*, потому что единичное никак не может отождествиться с общим; и это — вопреки известному рассуждению В. И. Ленина на эту тему с приведением этих же примеров<sup>6</sup>. Такая концепция часто опирается на излишний интуитивизм, исходящий из того, что значение слова понятно всякому и без какого-нибудь его определенного логического раскрытия, так что всякое такое логическое раскрытие объявляется ненужной схоластикой или далеким от языкознания упражнением в чистой логике. С этим весьма легко объединяется тот семантический индифферентизм, который вообще равнодушен к установлению тонких и мелких оттенков значений слова, опять-таки опираясь на общеизвестность и общедоступность всех этих оттенков всякому, кто владеет данным языком. Значения слова, как говорится в этих случаях, толкуются каждым как ему угодно, а общая и для всех обязательная теория невозможна. Некоторые языковеды проявляют большую нервозность при попытках других языковедов найти так называемое основное значение слова, выставляя рискованный посту-

---

<sup>5</sup> Некоторые сводки этих теорий (правда, совершенно недостаточные) у нас уже имелись. Ср.: Лосев А. Ф. Критические замечания по поводу современных знаковых теорий языка.— «Учен. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 1970, № 403, с. 26—40; Комлев Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., 1969, с. 5—23.

<sup>6</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 316—322.

лат, что никаких основных значений не существует и что их можно только произвольно конструировать из отдельных и реальных значений слова в живой речи. Однако все эти примитивные теории, с нашей точки зрения, едва ли требуют опровержения или даже просто заслуживают изучения. В частности, вопрос о том, что нужно понимать под основным значением слова, требует глубокого анализа; и, возможно, такая семантическая общность является вовсе не тем, что обыкновенно думают, исходя, например, только из этимологии слова или из комбинаций тех конкретных значений слова, которые указываются в словарях. А тем не менее очень трудно отказаться от того, что каждое слово имеет значение в каком-то смысле основное, в каком-то смысле центральное и в каком-то смысле находящее для себя отражение в отдельных и конкретных значениях, зависящих от контекста, интонации или каких-нибудь других языковых функций.

Номинализм — явление, весьма характерное для многих современных концепций языкового знака. Можно сказать, что он вообще соответствует исконной потребности буржуазной филологии сводить все человеческое знание только на одни слова с полным отрывом от всякой внесубъективной предметности. Этот номинализм уходит своими корнями в отдаленные века гносеологической науки, ведя свое происхождение еще от античных софистов и получая свое существенное развитие также и во многих средневековых философских школах<sup>7</sup>. Ставился вопрос о том, существует ли что-нибудь общее или не существует. То, что общее необходимо, этого отрицать никто не посмел, так как уже всякое предложение предполагает, что сказуемое обязательно есть нечто более общее, чем подлежащее. Произнося простейшую фразу *Иван есть человек*, мы уже тем самым единичность Ивана поясняем при помощи общего и родового понятия. Но, не отрицая наличия этих общностей в человеческом сознании, средневековые номиналисты утверждали, что эти общности вовсе не существуют реально, вне и независимо от человека, от его сознания. Общие понятия, говорили тогда, есть не что

---

<sup>7</sup> Ср.: Трахтенберг О. В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. М., 1957, с. 28—45, 181—223.

иное, как наши слова. Слово и есть то обобщение, которое необходимо для мышления. А ничего реального этим словам совершенно не соответствует. В такой грубой форме номинализм не очень долго мог удержаться в средневековой философии. Желая во что бы то ни стало свести всякую общность на субъективный словесный знак, постепенно стали приходиться к некоей особой предметности, которая и не объективна, но и не грубо субъективна. Позднейшие номиналисты уже в самом мышлении стали находить такое бытие, которое было и не объективным и не субъективным. Стали приходиться к учению о смысловой стороне мышления и сознания. А эту смысловую сторону уже трудно было свести только на субъект и только на объект. Никто не сомневался в истинности таблицы умножения, но свести ее только на субъективный произвол значило бы войти в противоречия с самой обыкновенной и реальной человеческой жизнью, которая ни при каких условиях (кроме, конечно, психического расстройства человека) никогда не могла приходиться к выводу, что дважды два не четыре, но, например, 24. Сводить, однако, таблицу умножения на обыкновенные чувственные восприятия также было невозможно, ввиду того что если можно было говорить о двух ногах или о двух руках, то уж никак нельзя было говорить о самой двойке, взятой без вещей, как о чем-то вещественном. Поэтому номинализм, добросовестно продумываемый до конца, никак не мог оставаться на почве только субъективизма, а должен был постулировать какое-то нейтральное бытие, описать и проанализировать которое составляло огромные трудности. Такие же трудности возникали и в последние десятилетия, когда неопозитивисты, отбрасывая объективную и материальную реальность, хотели свести все человеческое знание только на одни языковые функции. Так или иначе, но эта номиналистическая теория знаков и понятия безнадежно провалилась в глазах непредубежденно мыслящего лингвиста, и таким многочисленным номиналистам-субъективистам волей-неволей приходилось искать новые пути для теоремы знака, значения и стоящей за ними реальной предметности.

Современный провал номинализма отнюдь не означает того, что в отдаленные эпохи своего возникновения он тоже не имел никакого значения. Наоборот, по мыс-

ли основоположников марксизма-ленинизма, средневековый, например, номинализм имел даже и передовое значение, будучи отдаленным предшественником материализма нового времени<sup>8</sup>.

Тем менее может претендовать на правильную теорию современный психологизм, пытающийся свести все знаковые функции на общезвестные и ввиду своего механицизма совершенно неприемлемые процессы ассоциаций по смежности, по сходству или по контрасту. Такие процессы в раздельном виде вообще не существуют в психике, не говоря уже о той психической активности, которая игнорируется сторонниками ассоциативной психологии. Сложность понятий знака и значения не имеет ничего общего с этими совершенно устаревшими в настоящее время теориями. Сказать, что представление о предмете соединяется со знаком предмета только ассоциативно или что знак, значение и их предметность тоже связаны путем только одних психических ассоциаций, — это в настоящее время представляет собой малоинтересный и ни в коем случае неприемлемый исторический хлам. Однако заметим, что речь идет у нас сейчас только о психологизме, т. е. только об абсолютизации психического, но никак не о самой психологии. Попытки антипсихологического употребления психологических понятий в языкознании и, в частности, в учении о языковых знаках проводятся в советской науке весьма основательно<sup>9</sup>.

Вообще же языковедческий субъективизм ушел в далекое прошлое, поскольку язык, будучи орудием жизненно-смыслового общения людей, прежде всего фиксирует ту предметность, для общения с которой он вообще существует и без которой он перестает быть знаком предмета, значением слова и орудием человеческого общения. В крайнем случае субъективистические теории могут более или менее (да и то большей частью плохо) обосновать общение субъекта с самим же собой,

---

<sup>8</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 142; Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 37.

<sup>9</sup> Язык и мышление. М., 1967; Семантическая структура слова. М., 1971; Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М., 1965; Он же. Языкознание и психология. М., 1966; ср.: Психоллингвистика за рубежом. Сб. перев. под ред. А. А. Леонтьева и Л. В. Сахарного. М., 1972.

но ни с чем другим, — а это в настоящее время может вызвать только смех.

Близкой к субъективизму, но уже не вполне субъективистской теорией является, к сожалению, общераспространенная теория произвольной и чисто условной связи знака с его значением и с означаемой предметностью. Подавляющее большинство думают, что если один и тот же предмет, например дерево, называется по-гречески *dendron*, по латыни *arbor*, по-немецки *Baum* и по-английски *tree*, то как будто бы произвольность словесного обозначения становится сама собой ясной. Эта теория, хотя она и общераспространена, нашла в советском языкознании убийственную критику, вскрывшую механицизм, антиобщественность и антитрадиционность языка, его антиисторизм при такой убежденности в чисто условном характере знака. Знак, и особенно языковой знак, вовсе не обладает каким-то изолированным и внесистемным существованием. Он несет на себе функции разумно-жизненного общения людей между собой и не может заменяться произвольно любым другим знаком и относиться к другому какому-нибудь произвольно выбранному значению. Если же такие смысловые сдвиги языкового знака и имеют место в истории языков и особенно в таких, например, областях, как художественная литература, то здесь осуществляется произвольность совсем другого типа. Она — не продукт механической связи знака, значения и означаемой предметности, но их творческая переработка, имеющая своей целью расширять наше познание мира и углублять людские отношения. В настоящее время прямо можно сказать, что языковой знак (да, вероятно, и все другие типы знаков) обязательно детерминирован, пусть не во всех отношениях, пусть не во всех проявлениях знака и пусть не во все исторические периоды его развития<sup>10</sup>.

Если отбросить все эти шесть «теорий», то сам собой возникает вопрос о логической или, вообще говоря, о

---

<sup>10</sup> Этот анализ детерминированности языкового знака в общедоступной форме обсуждает В. А. Звегинцев в работе «Проблема знаковости языка» (М., 1956) с приведением примеров как из истории языков, так и из истории языкознания. Ср. также: Гамкрелидзе Т. В. К проблеме «произвольности» языкового знака. — «Вопросы языкознания», 1972, № 6, с. 33—39.



смысловой структуре знака, значения и той предметности, к которой они относятся. Но и в этих логических теориях в настоящее время накопилось достаточно много всякого рода предрассудков, которые в нашем обзоре негативных теорий обязательно должны быть отмечены.

Теория тождества гласит, что значение слова есть попросту выражаемое им понятие. Это совершенно неверно. Слово может выражать не только понятие, но и любые образы, представления, любые чувства и эмоции и любую внесубъективную предметность. Кроме того, если значение приравнивается к понятию, то язык оказывается излишним, т. е. он попросту превращается в абстрактное мышление понятиями. Однако кроме специальных научных дисциплин, где понятия играют главную роль, чистые логические понятия в чистом виде редко употребляются нами, если иметь в виду реальное общение людей между собой. Если же приравнивать понятия, выражаемые словами, к их значению, то значения слов потеряли бы всякий свой понятийный смысл, т. е. перестали бы быть значениями, а в таком случае обыкновенная человеческая коммуникация тоже была бы невозможной. Можно говорить только о моменте тождества между значением, или словом, и понятием, так как здесь, кроме тождественности имеется еще и многое другое. Самое главное — это сохранить специфику значения в его отличии как от знака, так и от обозначаемой предметности, хотя, правда, анализ этой специфики и относительной самостоятельности значения представляет весьма значительные трудности. Наиболее грубым тождеством является в данном случае тождество значения предмета и самого предмета, не говоря уже о тождестве значения и знака. Говорить, что значения слов отличаются друг от друга только теми предметами, которые обозначаются словами, означает не только уничтожать специфику значения, но и выводить какую-то бессмысленную теорию знака, лишенного всякого значения, или значения, лишенного всякой предметности, или предметности, которая ничего не значит. Установление всех подобного рода тождеств для настоящего времени является чрезвычайно примитивным и наивным способом мыслить языковые связи. История знаков не совпадает с историей значений, история знаков предмета не совпадает с историей самих предметов и, наконец,

история значений предметов не есть история самих предметов. Здесь везде проступает явная необходимость, кроме тождеств, говорить также еще и о различиях.

Теория различия между значением слова и понятием, которое выражается данным словом, тоже никуда не годится, если это различие брать в чистом виде. Иначе слово со своим значением оказалось бы целиком оторванным от всякого понятия или смысла, т. е. оказалось бы бессмысленным; а понятие, выраженное в слове, было бы безнадежно оторвано от своих выразительных функций, т. е. тоже перестало бы играть свою роль в языке, и в данном случае язык тоже оказался бы бессмысленным. Следовательно, и различие здесь тоже только один из моментов соотношения знака и значения, и один из моментов соотношения знака и значения предмета, с одной стороны, и самого предмета, с другой стороны. Кроме категорий различия здесь, очевидно, содержится еще многое другое.

Теоретикам общего языкознания волей-неволей приходится расстаться с этими взаимно изолированными теориями тождества и различия. В общем языкознании имеется тенденция заменить эти односторонние категории какой-нибудь более общей, но все еще пока не указывающей ни на какое содержание категорией, правда, пока все еще далекой от фиксации содержательной стороны знака, значения и их предметности. Здесь очень повезло категории отношения. Это отношение понималось весьма разнообразно. Минуя такие воззрения, в которых либо знак отождествляется с носителем знака, либо значение предмета отождествляется с самим предметом, мы указали бы на некоторые другие теории отношения, тоже пока еще недостаточные, но уже не столь грубые. Одни говорили о главенствующей роли отношения представлений к знаку. Эту теорию тоже нужно считать в настоящее время весьма слабой, хотя представителем ее был у нас лингвист И. В. Крушевский. Ведь в этих словах: «отношение представлений к знаку» — ни одно слово не является понятным и отчетливым. Отношение может быть самым разнообразным. Какое же именно отношение имеется здесь в виду? Термины «знак» и «представление» тоже понятны только профанам или, точнее сказать, понимаются всеми в обиходном и некритическом смысле. То и другое имеют

свою структуру, каждый раз вполне отличную. Тот и другой термин, кроме того, понимаются весьма многозначно, начиная от самого простого и элементарного их содержания и кончая философским их заострением, которое уже много раз подвергалось весьма тонким исследованиям. Самое же главное — это то, что такая теория опять-таки сводится к чистейшему психологизму, т. е. говорит о психических процессах, но не о языке, который вовсе не есть только психический процесс, но есть разумно-жизненная коммуникация людей между собой. Все это опять сводится к старой ассоциативной психологии, которая уже давно дискредитировала себя своим механицизмом и вещьизмом.

Отношение знака к понятию тоже является для настоящего времени теорией весьма слабой. Ее защищают очень многие, например Е. М. Галкина-Федорук. Значение вовсе не есть только отношение знания к понятиям. Не говоря уже о невыясненности самого термина «отношение», эта теория опять-таки оставляет нас в пределах субъективистского понимания языка. Значение, действительно, коренится где-то между знаком предмета и понятием предмета, но эта связь значения со знаком вещи и вещью как предметом тоже требует весьма тонкого и углубленного анализа и вовсе не является такой уж понятной, чтобы ее можно было принимать без всякой критики.

В настоящее время некоторые утверждают, что значение есть отношение знака к другим знакам. Эта теория сильна тем, что она не берет знак в изолированном виде, но пытается определить его в системе других знаков, устанавливая те или другие отношения между этими знаками. Попросту говоря, мы бы сказали, что значение знака предполагает определенный текстовой или смысловой контекст, без которого, действительно, знак теряет свое специфическое значение в языке и речи. Но можно ли свести значение только к одной категории отношения или понимать только как систему? В последнее время было много охотников понимать вообще весь язык как систему отношений, не говоря уж о том, что сам термин «отношение» чрезвычайно многозначен. Язык, лишенный всякого содержания, а представляющий собой только систему отношений, есть понятие пустое и непродуманное. Ведь для того чтобы

существовало отношение, необходимы еще и те члены, между которыми устанавливается отношение. Если каждый из таких членов есть по содержанию своему ничто, т. е. по содержанию своему отсутствует и не обязателен, то явно рушится и само понятие отношения. Могут сказать, что отношения в языке являются отношениями между такими членами, каждый из которых тоже есть отношение. На это необходимо возразить, что если каждый элемент в языке есть тоже результат каких-нибудь отношений, то во всяком случае само-то отношение предполагает эти элементы взятыми в самостоятельном виде, т. е. вне тех отношений, которые в них имеются с другими языковыми элементами. В момент установления нами какого-нибудь отношения эти элементы, между которыми мы устанавливаем наши отношения, во всяком случае мыслятся безотносительными. Иначе всякое языковое отношение расплывается в дурной бесконечности отношений, т. е. перестает быть ясным, устойчивым и говорящим само за себя отношением.

Бихевиористы, а также Витгенштейн и многие другие пытались понять значение как отношение знака к действию, и этот момент при установлении нами категории значения никак не может игнорироваться. Этому моменту, несомненно, принадлежит в языке большая роль. Но если говорят, что о значении употребляемого слова можно судить только по тому, как человек оперирует с данным словом в действительности, на практике, то подобного рода установка, взятая сама по себе и в абсолютном виде, часто бывает совершенно неверна.

Не все внешнее может выражать собой внутреннее и не все внутреннее может выражаться вовне. Когда мы произносим слово *человек*, то остается неизвестным, понимаем ли мы это слово в смысле самостоятельной и внутренне живущей личности, или понимаем его в общественном смысле, или понимаем его биологически как один из видов животного царства. Другими словами, если наши «действия» или «поведение» действительно играют здесь большую роль, то эта роль едва ли отлична просто от контекстуальной значимости каждого слова, т. е. мы опять возвращаемся к понятию контекста, которое, конечно, ставит перед собой очень важную языковед-

ческую проблему, до сих пор тоже еще не вполне выясненную.

Правда, в понимании значения как активного начала бессознательно крестя одна из самых важных языковых теорий, которую можно назвать теорией практики. Значение знака, с такой точки зрения, действительно, можно усмотреть только в его практической заостренности и в основной тенденции каждого знака служить общечеловеческой коммуникации и в связи с этим — переделыванию самой действительности. Для этого, однако, бихевиоризм никуда не годится, а подлинно научные результаты получены нашими исследователями только на путях марксистско-ленинской теории познания. Так же необходимо сказать, что деятельная или, точнее, деятельностьная теория знака находится у нас пока не на таком уровне, чтобы можно было говорить о глубоко проработанных и законченных систематических теориях. Здесь предстоит еще большая работа<sup>11</sup>.

Таким образом, ни одна из этих пяти теорий отношения (число этих теорий легко можно было бы значительно увеличить) не отвечает требованиям последовательно развиваемой логики, причем каждая из этих теорий выставляет тот или другой весьма важный для языка принцип, но принцип этот мыслится в таких теориях слишком изолированно и односторонне. А его настойчивая абсолютизация в корне разрушает саму специфику языковедческого предмета. Кроме того, сама категория отношения (мы сюда присоединили бы также теорию языка как системы) большей частью оставляет не раскрытым само это отношение, а взятое в самом общем смысле такого рода понятие обязательно предполагает те или иные спецификации, о которых тоже еще нельзя прямо и без предварительных больших усилий мысли сказать, что они такое, сколько их и как они относятся к родовому понятию отношения. Недостатки этой теории не только были давно замечены, но и не раз подвергались у нас уничтожающей критике. Уничтожать теорию отношений, конечно, не следует, потому что как-никак язык в некотором роде все же является той или другой

---

<sup>11</sup> Ср.: Полторацкий А., Швырев В. Знак и деятельность. М., 1970.

системой смысловых отношений. Это — односторонне, но при условии понимания такой односторонности мы можем и должны во всяком случае воспользоваться этой теорией, добавляя ее еще другими сторонами языка, не столь формальными.

Мы обратили бы внимание на одну работу И. С. Нарского<sup>12</sup>, где подвергаются весьма тонкой критике теории отношения, якобы лежащего в основе значения. И. С. Нарский анализирует не только работы таких зарубежных ученых, как Витгенштейна (думавшего на эту тему в разные периоды своей работы по-разному) или Марковича, но и труд польского ученого А. Шаффа<sup>13</sup>. И это, несмотря на то, что А. Шафф в общем гораздо правильнее, чем все другие, понимает внутриязыковые отношения прежде всего как результат взаимного общения людей и пытается использовать результаты современного исторического материализма. Много недостатков И. С. Нарский находит и в работах советских ученых, например Л. А. Абрамяна<sup>14</sup> или Д. П. Горского<sup>15</sup>. Несмотря на всю глубину и полезность этой критики, мы все-таки не стали бы отрицать в значении момент отношения, а только предложили бы рассматривать это отношение как некоторого рода абстрактно-идеальную предметность и как факт наличия своеобразных абстрактно-идеальных объектов, исключаящих как платоническое их гипостазирование, так и их субъективистский номинализм. Это, однако, относится уже к позитивному конструированию теории знака и значения, т. е. совсем не к предмету нашей настоящей работы<sup>16</sup>.

Разновидностью и уточнением указанной общей

---

<sup>12</sup> См.: Нарский И. С. Проблема значения «значения» в теории познания.— В кн.: Проблема знака и значения. М., 1969, с. 5—54.

<sup>13</sup> См.: Шафф А. Введение в семантику. М., 1963, с. 218—307.

<sup>14</sup> См.: Абрамян Л. А. Гносеологические проблемы теории знаков. Ереван, 1965; Он же. Значение как категория семиотики.— «Вопросы философии», 1965, № 1.

<sup>15</sup> См.: Горский Д. П. Проблема значения смысла знаковых выражений как проблема их понимания.— В кн.: Логическая семантика и модальная логика. М., 1967.

<sup>16</sup> Попытку правильного подхода к такого рода теории см.: Горский Д. П. Вопросы абстракции и образование понятий. М., 1961, с. 276—291.

теории отношений является теория языковых функций. Эти функции, безусловно, являются чем-то гораздо более конкретным и более близким к языку. Чтобы соблюсти эту ясность и конкретность, нужно посмотреть, как пользуются этой категорией математики. Под функцией здесь понимается совокупность всех операций, которые произведены над независимым переменным или, как говорят в математике, над аргументом. Это гораздо ближе к языковой действительности, чем просто отношение. Ведь языковые элементы связаны между собой и не просто как тождественные, и не просто как различные, и не просто как соотносящиеся, и меньше всего здесь идет речь о родовой общности и специфическом различии. Ведь кроме отношения общего к частному и единичному и кроме отношения единичного и частного к общему существует еще множество других отношений, сконцентрированных в каком-нибудь переходе между соотносящимися элементами, т. е. в нашем случае между знаком, значением и означаемой предметностью. Так, совершенно неправильно говорят, что фонема есть не что иное, как общее языковое понятие, обобщающее собой все оттенки данного звука в реальной человеческой речи. На самом деле отношение между фонемой и фонемой гораздо сложнее, чем отношение между родовым и видовым понятием. Но если мы скажем, что всякий фонемойд есть функция соответствующей фонемы, то мы, конечно, зайдем гораздо более реалистическую позицию в языкознании, чем просто отношение рода, вида, действия, контекста или даже системы. Очень важным является то обстоятельство, что функция того или другого аргумента вовсе не является только его формой, но, будучи системой разных операций над аргументом, указывает на значение как на некоторого рода смысловую структуру. В частности, языковая функция не есть только грамматическое отношение, поскольку грамматика не есть сам язык, а пока только еще наука о языке. Поэтому, когда Айдукевич уже 40 лет назад говорил о том, что значение есть семантическая функция знака, то такого рода определение, конечно, было гораздо богаче простой теории отношения. К сожалению, и Айдукевич не избежал здесь логической ошибки *idem per idem*. Ведь еще нужно определить, что такое знак и что такое семантика. И поня-

тие знака и понятие семантики многие тоже определяют при помощи понятия значения. Тут остается неясным, знак ли является функцией значения или значение является функцией знака. И притом, если говорится о семантической функции знака, то, очевидно, категории значения и семантики мыслятся разными. Но в таком случае как же можно было бы говорить о значении слова, находясь вне семантической области, и как можно было бы говорить о знаке, находясь тоже вне всякой семантики? Поэтому в указанной нами теории языковых функций имеет значение только самый принцип функции, но как мы им можем воспользоваться—этот вопрос для своего разрешения требует от нас очень больших усилий мысли. Принцип этот, повторяем, весьма значителен, поскольку от вышеприведенных общелогических теорий знака и значения он отличается математической ясностью и необходимой для языка спецификой.

Между прочим, в советской науке уже высказывалась мысль о том, что значение есть не что иное, как структура знаковой операции<sup>17</sup>. И это — очень важный момент для понимания как знака, так и значения. С другими столь же важными моментами мы встретимся ниже. О невозможности понимать знак атомарно, вне его реляционной связи как в отношении выражения, так и в отношении содержания слова, удачно рассуждает Ю. Лотман<sup>18</sup>.

В поисках специфики знака, значения и означаемой предметности немалую роль сыграли в последние десятилетия описательно-смысловые теории языка. Исследователи уже давно стали обращать внимание на то, что язык не только в своих разновременных, но и в своих одновременных системах чрезвычайно текуч и неустойчив и поэтому заключить его в какие-нибудь неподвижные теоретические рамки совершенно невозможно. Осмысленное в одно время является бессмысленным или неузнаваемым по своему новому смыслу в другом случае и в другое время. Самое большее, гово-

---

<sup>17</sup> См.: Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М., 1965, с. 212—215.

<sup>18</sup> См.: Лотман Ю. О проблеме значений во вторичных моделирующих системах. Труды по знаковым системам.— «Учен. зап. Тартуского гос. ун-та», 1965, т. II, с. 22 и др.



рили в этом случае, на что может рассчитывать лингвистика, это только описание той или другой языковой данности лишь в данное время, лишь в данном контексте, лишь в данной речевой, смысловой или культурной ситуации. При таком положении дела и знак, и значение, и означенная предметность не являются бытием в обычном смысле слова. Тут, говорили, столько же бытия, сколько и небытия. Конструировали какой-то результат человеческого мышления, который оказывался уже и не просто субъективным, и не просто объективным. Вместо категорий бытия или небытия выдвигалась категория смысла, о котором уже нельзя было говорить, есть ли он бытие или он есть небытие. Действительно, если не грамматические, то во всяком случае математические формулы, с одной стороны, как будто бы создаются субъективно самими же математиками, ни разу эмпирически не наблюдавшими движение солнечной системы. А с другой стороны, оказывается, что применение этих формул уравнений к движению всей солнечной системы дает возможность устанавливать это движение с точностью до секунды. По этому поводу спрашивали: что же такое есть математическое уравнение, субъективно оно или объективно? Напрашивалась мысль о том, что и математика, и логика, и всякая наука вообще, а в том числе и языкознание, если их строить научно и строго методически, являются областью чисто смысловой, которая если и осуществляется в действительности, то заслуживает только чистой описательности. Сегодня у нас такое описание солнечной системы, а завтра, возможно, будет совсем другое. Гуссерль и неопозитивисты вообще отказывались от всяких объективных установок и от всякого мировоззрения, считая это вненаучной установкой, отдельно для каждого данного случая, отдельно данного субъективного психического акта.

По этому поводу необходимо сказать, что какая-то нейтральная область, т. е. нейтральная в отношении бытия или небытия, несомненно, имеется. Так, например, диалектическая категория становления, несомненно, не есть ни просто категория бытия, ни просто категория небытия. Во всяком непрерывном потоке или, вообще говоря, во всяком континууме, несомненно, имеются отдельные неподвижные точки; но каждая такая точка

тотчас же снимается и переходит в другую, как только мы пытаемся ее фиксировать. Поэтому описательность отдельных категорий языкознания и отдельных моментов или ситуаций языка и речи всегда останется одним из достаточно значительных методов. Но ясно также и то, что в языке имеются не только ситуативные моменты, но и моменты устойчивые, причем устойчивость эта исчисляется иной раз целыми столетиями, если не тысячелетиями. Тут уже трудно обходиться методами только одного описания. В языковедческих исследованиях тут сама собой напрашивается также и та или иная объяснительная теория. Знаки предметов все время находятся в движении, и значение слов или предметов постоянно меняется, но это не должно мешать, а, скорее, только должно делать необходимым точное определение и того, что такое знак, и того, что такое значение, и того, что такое означаемая предметность. И знак, и значение, и означаемую предметность нужно так уметь установить и описать, чтобы не получалось ни платонического гипостазирования понятий, ни номиналистического их субъективизма, ни той предельной (а мы бы скорее сказали, беспредельной) формализации языка, с которой многие современные формалисты вообще отождествляют всю теорию языка целиком<sup>19</sup>.

Впрочем, В. И. Ленин дал настолько убийственную критику подобного рода махизма, что она у нас стала общеизвестной и общепринятой, почему и излагать эту критику здесь мы не будем.

Наконец, из теорий, уже близко подходящих к положительному и реалистическому охвату изучаемой у нас здесь проблематики, некоторые наши исследователи при-

---

<sup>19</sup> Этот крайний и абсолютизированный формализм подвергается у нас принципиальной критике: Лосев А. Ф. О пределах применимости математических методов в языкознании (о сравнительной характеристике языкового и математического знака).— В кн.: Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970, с. 184—194; Палиевский П. В. Мера научности.— «Знамя», 1966, № 4, с. 229—236; Аветян Э. Г. Природа лингвистического языка. Ереван, 1968 (где формалистический абсолютизм снимается теорией эволюции самой категории знака, особенно с. 89—217). В самое последнее время о вздорности абсолютного формализма в языкознании талантливо писал Р. А. Будагов (О предмете языкознания.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1972, т. 31, № 5, с. 406—409).

дают большое значение теории значения как информационного инварианта. На большую роль этой теории указывают у нас Л. О. Резников<sup>20</sup>, И. С. Нарский<sup>21</sup> и Н. Г. Комлев<sup>22</sup>. На первый взгляд, здесь как будто бы дается настоящее решение вопроса о знаке, значении и означаемой предметности. Информация—это извещение или сообщение, а инвариант—это то, что остается постоянным среди текущих показаний и многообразных извещений, которые выражаются обозначенным предметом для внешнего восприятия. Правда, указанные исследователи обращают наше внимание на математический формализм, свойственный современному пониманию информации, на частое равнодушие этой теории к семантике и на приложимость ее по преимуществу к максимально элементарным моментам в языке. Но, несомненно, эта теория во многом уже перестает быть только негативной и представляет собой переход к положительному учению о нашем предмете.

В заключение необходимо сказать, что все указанные выше негативные теории так или иначе, пусть косвенно и непоследовательно, являются все же искажением какой-то истинной теории и тем самым невольно на нее указывают. Общелогические теории тождества, различия, отношения, функции, чистой описательности и информационной инвариантности, как и многие другие теории, здесь пока еще у нас не сформулированные, — все они при условии нашего критического осознания их односторонности и неправомерности абсолютизации обязательно должны найти свое место и играть соответствующую им смысловую роль в той истинной теории, которая пока еще только создается и, вероятно, еще не скоро будет создана в окончательной форме. Основой для этой назреваемой у нас истинной теории должна явиться марксистско-ленинская теория отражения, понимающая под этим последним не механистический, но

---

<sup>20</sup> См.: Резников Л. О. Гносеологические вопросы семиотики. Л., 1964; Он же. Понятие и слово. Л., 1958.

<sup>21</sup> См.: Нарский И. С. Указ. соч., с. 34—39.

<sup>22</sup> См.: Комлев Н. Г. Указ. соч., с. 22—24; с. 23, прим. 73 указывает также огромную литературу по этому предмету, существующую в советской науке.

диалектически-творческий процесс<sup>23</sup> вместо господствовавших до сих пор теорий сосюррианского формализма и неогумбольдтианского выдвижения на первый план «этнического» «видения» мира<sup>24</sup>. Много положительных элементов для построения удовлетворительной теории языкового знака дала одна из недавних конференций по специфике языкового знака, именно конференция 1967 года в г. Москве<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Одним из хороших примеров творческого толкования процессов отражения может служить исследование А. М. Коршунова «Теория отражения и творчество» (М., 1971, с. 173—193) (специально о знаках).

<sup>24</sup> Эти две последние семантические теории критикует С. Д. Кашнельсон в работе «Содержание слова, значение и обозначение» (М.—Л., 1965).

<sup>25</sup> Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода» (М., 1967). Из множества ценнейших докладов на этой конференции мы бы указали на доклады Г. В. Колшанского (с. 30—32); В. Г. Гака (с. 14—17); А. А. Уфимцевой (с. 80—83); что касается самого определения природы языкового знака (ср.: Ветров А. А. Семиотика и ее основные проблемы. М., 1968), тут важны рассуждения о языковой ситуации (с. 98—185); Волков А. Г. Язык как система знаков. М., 1966; Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971.

## Критические замечания по поводу современных знаковых теорий языка<sup>1</sup>

Знаки языка являются вполне специфической областью, заслуживающей специального анализа. Современная лингвистика полна разного рода знаковых теорий, и теории эти вызваны именно пониманием знака как чего-то своеобразного и вполне оригинального. Тем не менее, знак всякой вещи, особенно если рассматривать его специфически, всегда имеет тенденцию к разъединению с самой вещью, к изоляции от нее и к получению какой-то невещественной структуры. В данном случае весьма полезно учение В. И. Ленина об отражении действительности в сознании человека и в его мышлении, когда действительность вещей не только не отрицается, но признается абсолютно самостоятельной и когда отражение вещей в сознании человека, отнюдь не теряя своей специфики, своего развития и даже саморазвития, необходимым образом диалектически связано с действительностью самих вещей и без нее теряет всякий свой смысл и всякое свое назначение.

Поэтому теория языкового знака в свете ленинской теории отражения должна получить свою специальную разработку в борьбе как с метафизическим материализмом, так и с абстрактным идеализмом, которые чересчур отождествляют знак вещи с самой вещью, сведя ее на простую репрезентацию, или чересчур отрывают знак вещи от самой вещи и тем самым его обесмысливают.

«...Ощущения суть «символы» вещей (точнее было бы сказать: образы или отображения вещей). Эта последняя теория есть *философский материализм*»<sup>2</sup>. «...Познание человека отражает абсолютную истину... практика человечества, проверяя наши представления, подтверждает в них то, что соответствует абсолютной

---

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: Проблемы русского языкознания. М., 1970, с. 26—40.

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 34.

истине...»<sup>3</sup>. Поэтому, если действительность, хотя бы и понимаемая нами как абсолютная, находится в вечном движении, то и наше сознание, отражающее такую действительность, тоже должно находиться в вечном движении, а не создавать мертвые и неподвижные существа, которые бы отвечали такой же мертвой и неподвижной действительности.

«Речь идет вовсе не о неизменной сущности вещей и не о неизменном сознании, а о *соответствии* между отражающим природу сознанием и отражаемой сознанием природой»<sup>4</sup>. Но если природа активно развивается, то, значит, и отражающее ее человеческое мышление тоже активно развивается; а так как оно всегда связано с действительностью, то его наивысшее развитие связано с практикой, т. е. переделывает самое действительность и пересоздает ее заново. «...Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его»<sup>5</sup>.

Человеческий субъект не в силах создать мир в абсолютном смысле слова, так как подобное учение было бы субъективным идеализмом. Но человек обладает возможностью создавать ту или иную картину мира, которая соответствует его практическим потребностям. В этом и только в этом смысле нужно понимать слова В. И. Ленина: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»<sup>6</sup>.

«Человек не может охватить = отразить = отобразить природы *всей*, полностью, ее «непосредственной цельности», он может лишь *вечно* приближаться к этому, создавая абстракции, понятия, законы, научную картину мира и т. д. и т. п.»<sup>7</sup>. Поэтому сознание, мышление и практическое переделывание действительности могут происходить только постепенно, хотя оно всегда и творческое.

«Понятия, обычно кажущиеся мертвыми, Гегель анализирует и показывает, что в них *есть* движение. Конечный? значит, *двигающийся* к концу! Нечто? — значит, *не то*, что другое. Бытие вообще? — значит, такая

<sup>3</sup> Там же, с. 106.

<sup>4</sup> Там же, с. 140.

<sup>5</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 105

<sup>6</sup> Там же, с. 194.

<sup>7</sup> Там же, с. 164.

неопределенность, что бытие = небытию. Всесторонняя, универсальная гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей, — вот в чем суть. Эта гибкость, примененная субъективно, = эклектике и софистике. Гибкость, примененная объективно, т. е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития мира»<sup>8</sup>.

Ленин говорит об идее «всемирной, всесторонней, живой связи всего со всем и отражения этой связи... в понятиях человека, которые должны быть также обтекаемы, обломаны, гибки, подвижны, релятивны, взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир»<sup>9</sup>.

Теперь если мы примем во внимание, что «слово (речь) уже обобщает»<sup>10</sup> и «в языке есть только общее»<sup>11</sup>, а «общее существует лишь в отдельном, через отдельное ... Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. ... Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.»<sup>12</sup>, то в этих рассуждениях В. И. Ленина уже заключается все необходимое для построения знаковой теории языка, особенно если мы примем во внимание, что «каждое понятие находится в известном отношении, в известной связи со всеми остальными»<sup>13</sup>. Другими словами, всякая знаковая теория языка должна базироваться на следующих четырех положениях, диалектически между собой связанных: 1) если язык есть обобщение, то и знак языка тоже должен быть известной общностью; 2) эта общность, однако, неотделима от входящих в нее отдельных и единичностей, на которых, следовательно, тоже всегда отражается их общность; 3) языковые общности могут пониматься только в своей связи с относящимися к ним единичностями и только в связи с другими языковыми общностями, так что все языковые общности, а следовательно, и все языковые знаки образуют те или иные взаимоотношения, т. е. являются структурами, а отражаясь

<sup>8</sup> Там же, с. 98—99.

<sup>9</sup> Там же, с. 131.

<sup>10</sup> Там же, с. 246.

<sup>11</sup> Там же, с. 249.

<sup>12</sup> Там же, с. 318; ср. с. 158—161, 181.

<sup>13</sup> Там же, с. 179.

одна в другой, являются также и моделями друг для друга; 4) всякий языковой знак как живая общность должен быть бесконечно гибок, подвижен, релятивен и противоречив, поскольку он отражает собой живую действительность и призван ее переделывать.

Создавать правильную знаковую теорию языка, с такой точки зрения, является делом весьма нелегким. Советская лингвистика за последние годы приложила много усилий для создания такой теории; и многое здесь разрабатывается правильно, глубоко и логически тонко. Правда, в этой трудной области еще многое остается неизученным или представленным односторонне, но борьба за правильную знаковую теорию ведется у нас широким фронтом и часто дает огромные результаты. Самым главным, конечно, является здесь анализ самого понятия знака и разграничение этого понятия с другими понятиями, на которых базируется языкознание. У нас почти никто не отрывает языковой знак от той реальной живой действительности, которую этот знак призван обозначать. С другой стороны, у нас ведется широким фронтом борьба также и за логическую специфику понятия знака, за структурный, модельный и вообще системный характер знака, за его коммуникативное и вообще жизненное значение. В настоящей небольшой статье мы укажем только на некоторые работы последних лет, оставляя за собой право коснуться еще других работ, еще более важных, в другом своем сообщении.

Если миновать такие ценные, но более ранние работы, как работы Р. А. Будагова<sup>14</sup> или Е. М. Галкиной-Федорук<sup>15</sup>, остановимся на работе В. А. Звегинцева<sup>16</sup>. Этот автор еще в 1956 году отдавал себе самый ясный отчет в неприменимости в области языкознания абстрактной теории знака вообще, так что после прочтения этой работы В. А. Звегинцева возникает даже вопрос о том, является ли языковое выражение знаком? Знак, как правильно рассуждает В. А. Звегинцев, всегда однозначен, чего совершенно нельзя сказать о слове, которое

---

<sup>14</sup> См.: Будагов Р. А. Слово и его значение. Л., 1947.

<sup>15</sup> См.: Галкина-Федорук Е. М. Знаковость в языке с точки зрения марксистского языкознания.— «Иностранные языки в школе», 1952, № 2.

<sup>16</sup> См.: Звегинцев В. А. Проблема знаковости языка. М., 1956.



всегда полисемантически и связано бесчисленными нитями вообще со всей системой языка. Далее, согласно этому автору знак всегда автономен, т. е. он совершенно никак не связан в смысловом отношении ни с какой-нибудь системой знаков вообще, ни с теми предметами, которые он обозначает. Самый простой и элементарный звук *a*, существующий в разных языках и в разные времена, отнюдь не автономен, т. е. не всегда один и тот же, но несет с собой самую разнообразную и фонетическую и семантическую нагрузку, поэтому никак невозможно считать, что звуки в языке являются простой условностью и что обозначаемое ими лексическое значение совершенно самостоятельно, имеет свою историю и никак не зависит от своего звукового обозначения. Звуки языка в этом смысле ни в каком случае не автономны. Даже языковые звуки обязательно связаны с той или другой и фонетической и лексико-семантической системой.

Например, если мы возьмем трехбалльную оценку в школе: «плохо», «удовлетворительно», «хорошо» и сравним ее с четырехбалльной школьной оценкой знаний учащихся: «плохо», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», то слово «удовлетворительно» будет иметь совершенно разное значение в обеих системах оценки. Знак, в подлинном смысле слова, лишен этой системной связанности и имеет значение сам по себе. Но такой знак вовсе не есть слово. Наконец, если брать знак в подлинном и собственном значении слова, то он совершенно непродуктивен и играет только служебную роль. Но если бы слова в этом смысле были бы только знаками, то значение слова имело бы для нас самостоятельное значение, свою собственную, независимую ни от каких звуков историю и было бы какой-то чистой от всякой вещественности областью. На самом же деле «лексическое значение есть обязательный компонент слова, представляющего неразрывное единство «внутренней» (значение) и «внешней» (звуковая оболочка) сторон»<sup>17</sup>. В связи со всем этим В. А. Звегинцев совершенно правильно отвергает традиционную теорию условности звуковых обозначений, теорию их полной произвольности и немотивированности. Языковой оболочке

---

<sup>17</sup> Там же, с. 14, 19.

слова принадлежит не пассивная и механическая, по творческая роль, которая незаметна только потому, что действует постоянно и непрерывно. В сочетаниях *крыша дома, холодная вода, человек идет* на первый взгляд слова только пассивно и механически отражают то или иное значение, но возьмем такие сочетания, как *крыша из ветвей, холодная брезгливость, техника идет*, как мы уже сразу начинаем вполне отчетливо ощущать творческий и продуктивный характер слов, которые в других случаях переживались нами как внешний, условный и несущественный привесок того или другого значения слова. Теория произвольности языковых звуков совершенно ничего не дала ни одному из научных направлений в лингвистике и без нее вполне можно было бы обойтись. Характерная для данного языкового явления структура в условиях отсутствия твердых исторических данных часто без труда восстанавливается на основании владения нами другими структурами данного языка, подобно тому, как палеонтолог по отдельным частям ископаемого животного получает представление о целом организме данного животного, так что теория произвольности или условности отдельных элементов не имеет здесь ровно никакого значения. Теория произвольности у Ф. де Соссюра мало что дает для языкознания, которое должно изучать языковые знаки в их общественно-исторической обусловленности и в их творческой семантике, для которой общая семнология или семнотика имеет почти только нулевое значение<sup>18</sup>.

О том, что только низшие формы языковых знаков являются более или менее немотивированными и что эта мотивированность обязательна для более сложных и более основных языковых форм, можно было читать в те же годы и у других языковедов, как, например, у А. И. Смирницкого<sup>19</sup> или у Р. А. Будагова<sup>20</sup>.

Таким образом, если не забираться в глубь истории, то уже в середине 50-х годов у нас прозвучали весьма твердые голоса о том, что язык либо вообще не есть система знаков, либо система эта неузнаваемо отлична

<sup>18</sup> См.: Звегинцев В. А. Проблема знаковости языка, с. 26.

<sup>19</sup> См.: Смирницкий А. И. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства. М., 1955, с. 26.

<sup>20</sup> См.: Будагов Р. А. Из истории языкознания. Соссюр и соссюрианцы. М., 1954, с. 17.

от обычного понимания знака, и, мы бы сказали, от математического знака. После этого спрашивается: можно ли языковое выражение хотя бы приблизительно пренести в виде системы математических знаков?

Далее, весьма энергичную критику смысловой единичности знака и значения в слове мы находим у Л. О. Резникова<sup>21</sup>, который утверждает, что большинство буржуазных лингвистов стоят на точке зрения слова как знака мысли (кроме указанного у нас выше Ф. де Соссюра здесь можно было бы упомянуть у англичан Расела, у американцев Дьюи, Карнапа и Блумфельда, у французов Делакура, Вандриеса, Карнуа, у немцев Бюлера, Кассирера, у датчан Ельмслева и мн. др.), но что эта теория словесного знака не выдерживает никакой критики. Языковой знак не выражает ни того понятия, которое лежит в глубине слова, ни тем более того предмета, который отражается в понятии. Словесное выражение подчинено своим собственным законам. Тут вполне прав В. В. Виноградов, который в 1953 году писал: «Слово относится к действительности, отражает ее и выражает свои значения не изолированно, не в отрыве от лексико-семантической системы данного, конкретного языка, а в неразрывной связи с ней, как ее составной элемент»<sup>22</sup>. Л. О. Резников пишет: «Предметы отображаются в словах опосредованно — через мышление. А формы мыслительного отображения предметного мира определяются не только структурой и свойствами самих предметов, но и материальными условиями жизни людей, их практической деятельностью, направлением их интересов, уровнем их интеллектуальных способностей и т. д.»<sup>23</sup>. Поэтому едва ли права О. С. Ахманова, когда она считает слово просто знаком или отражением действительности и понимает значение слов как «отраженные человеческим сознанием и связанные с определенным звучанием элементы действительности»<sup>24</sup>.

По Л. О. Резникову, знак и значение в слове настоль-

<sup>21</sup> См.: Резников Л. О. Понятие и слово. Л., 1958.

<sup>22</sup> Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова.— «Вопросы языкознания», 1953, № 5, с. 12.

<sup>23</sup> Резников Л. О. Указ. соч., с. 31.

<sup>24</sup> Ахманова О. С. О понятии «изоморфизма» лингвистических категорий.— «Вопросы языкознания», 1955, № 3, с. 94.

ко слиты в одно нераздельное целое, что, собственно говоря, невозможно даже и вообще признавать знаковую теорию языка, хотя (на это указывал уже Потебня) представления, посредствующие между предметами и знаками, часто забываются и возникает соблазн трактовать слова просто как знаки предметов. В этой теории органического единства знака и значения слова Л. О. Резников только углубляет в гносеологическом отношении то, что лингвистически утверждали В. В. Виноградов или В. А. Звегинцев<sup>25</sup>.

Само собой разумеется, слово может употребляться как непосредственный знак, например как сигнал. При дрессировке животных слова выступают именно как такого рода знаки или сигналы, но эти знаки или сигналы не являются какой-нибудь переработанной в сознании животного действительностью, не являются обобщением, не создают понятий и потому вовсе не являются языком. Такого же рода знаки возможны и в человеческом языке. Но они здесь не суть слова, не образуют языка, а являются только нервными или мозговыми рефлексами. Слово как сигнал и в дальнейшем как рефлекс вовсе не есть слово. Слово не есть также и признак предмета, поскольку признак этот, естественно, связан со своим предметом (дым — с жильем, повышенная температура у человека — с его болезненным состоянием), слово же по своему звуковому составу совершенно ничего не имеет общего с теми предметами, которые оно обозначает. И тем не менее удивительным фактом является то, что эта чувственная форма слова, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к значению слова, на самом деле органически и творчески с ним связана, так что сводить эту чувственную форму только на простую знаковую никак невозможно<sup>26</sup>.

А. Г. Волков и И. А. Хабаров<sup>27</sup>, правильно подчеркивая полезность философии для языкознания и правильно отвергая учение Ф. де Соссюра о нематериальности языкового знака, ведущее к растворению языкового знака в семиотике вообще, к отрицанию исторической причинности и, следовательно, к полноценной познаваемо-

<sup>18</sup> См.: Звегинцев В. А. Проблема знаковости языка, с. 26.

<sup>26</sup> См. там же, с. 97—106.

<sup>27</sup> См.: Волков А. Г., Хабаров И. А. К вопросу о природе языкового знака.—«Вопросы философии», 1959, № 11, с. 79—90.

сти языкового знака и, следовательно, к нелингвистическому его пониманию, выставляют следующие пять особенностей языкового знака: его материальность, социальный характер, необходимое наличие его развития, сложность и системность<sup>28</sup>. Многие из этих пяти особенностей указывается совершенно правильно и в смысле науки о языке достаточно реалистично. Так, например, очень важно суждение указанных авторов об особенностях языковой системности, которая, с их точки зрения, меньше всего определяется какой-нибудь формально-логической гармонией или рассудочной последовательностью, но отражает на себе вековую и стихийно-противоречивую историю языковых явлений. Тем не менее сказать, что указанные авторы обрисовали подлинную специфику языкового знака, никак нельзя, потому что все эти пять признаков характерны и для всякого знака вообще. Поэтому соображения Т. П. Ломтева<sup>29</sup> о том, что у этих авторов не принята во внимание специфика значения языкового знака, заслуживают большого внимания. Т. П. Ломтев указывает, что у А. Г. Волкова и И. А. Хабарова значение оказывается только второй стороной самого же знака и что оно также представляет собой не что иное, как тот же знак. Это замечено правильно. Т. П. Ломтев также правильно указывает на то, что у многих структуралистов языковой знак просто соотнесен с самим обозначенным предметом, а о значении знака большей частью ничего не говорится. Между тем, с точки зрения Т. П. Ломтева, значение в слове играет более или менее самостоятельную роль как в сравнении с звуковыми знаками, так и в сравнении с обозначенными предметами. Значение языкового знака, говорит он, есть отражение объективной действительности, в сравнении с которой все прочие особенности слова передают только третьестепенную роль, уточняя и только лишь конкретизируя то, что дано в самой объективной действительности. Этому несколько противоречит та критика многих лингвистов, что «значение — только отношение, и его нельзя определить с помощью описания объекта»<sup>30</sup>. Сам же Т. П. Ломтев

<sup>28</sup> См.: Волков А. Г., Хабаров И. А. Указ. соч., с. 83—89.

<sup>29</sup> См.: Ломтев Т. П. О природе значения языкового знака. — «Вопросы философии», 1960, № 7, с. 127—134.

<sup>30</sup> Там же, с. 129.

называет отношение значения к знаку как выражение, а отношение значения к объекту как отражение. Реляционный момент, несомненно, содержится в значении. Нужно только само значение понимать как отражение объекта, т. е. как нечто относительно-самостоятельное. И когда Л. Завадовский (1957) отвергал психологическую или логическую природу значения, то он был совершенно прав, так как психологическое явление или логическое построение слишком фактичны, т. е. слишком изолированы, чтобы выражать собой отношения. А значение знака если не есть только отношение, то обязательно содержит в себе это отношение в качестве необходимого момента. Совершенно правильно Т. П. Ломтев пишет: «Значение языкового знака не тождественно понятию, представлению, ощущению. Различие между понятием и значением языкового знака весьма важно. Однако установление того факта, что значение языкового знака наряду с понятием, представлением, ощущением является одной из форм отражения объективной действительности, имеет принципиальное теоретическое значение. Языковое значение представляет собой особое явление и по отношению к объективной действительности.

Между знаком и значением существует определенное отношение. Это — отношение выражения. Знак есть выражающее: он материален, значение есть выражаемое: оно идеально. Между знаком и значением, с одной стороны, и объективной действительностью — с другой, существует другое отношение. Это — отношение обозначения для знака и отношение отражения для значения знака. Знак есть обозначающее, объективная действительность — обозначаемое; значение знака есть отражение, объективная действительность — отражаемое. Слово представляет собой не знак, а единство знака, как выражающего средства, и значения, как выражаемого содержания, которое в то же время является отражением объективной действительности. Слово связано с объективной действительностью: отношением обозначения и отношением отражения»<sup>31</sup>.

Все это совершенно правильно. Мы бы только больше подчеркивали наличие реляционного момента в зна-

---

<sup>31</sup> Там же, с. 130.

чении знака и меньше подчеркивали бы отражение объективной действительности, поскольку язык часто совершенно не отражает никакой объективной действительности (так, ложному суждению ровно ничего не соответствует в объективной действительности). Самое же главное—это то, что в своем правильном выдвижении знакового значения Т. П. Ломтев все же не вскрывает специфики этого значения языкового знака и ограничивается вполне правильными, но недостаточными указаниями на отражение реального в идеальном и на выражение знаком своего значения. Едва ли также проблема системности связана только с понятием знака и не связана с понятием значения. Наконец, едва ли правильно Т. П. Ломтев приписывает А. Г. Волкову и И. А. Хабарову понимание природы значения только в связи с языковым контекстом без всякой связи с объективной действительностью. Значение языкового знака невысказуемо вне контекста, и сам же Т. П. Ломтев хотя и недостаточно, но правильно подчеркивает роль контекста<sup>32</sup>. Утверждение же В. А. Звегинцева<sup>33</sup> о том, что, с лингвистической точки зрения, значение знака определяется всем окружающим языковым фоном, т. е. определенной языковой системой, отнюдь не противоречит теории отражения, которую выдвигает Т. П. Ломтев.

В статье «Онтологический и гносеологический аспекты знаковой проблемы» А. Г. Волков и И. А. Хабаров<sup>34</sup> справедливо защищают знаковую теорию языка против крайностей метафизического идеализма и метафизического материализма. Эти авторы используют известную полемику В. И. Ленина против теории «исроглифов» и правильно связывают язык как с объективной действительностью, так и с мышлением и с областью знаков вообще.

Нельзя не одобрить также взглядов этих авторов на определенное наличие в языке той или иной системы тех или иных структур, а главное, мотивированности знаковых элементов языка. Тем не менее указанные авторы слишком увлекаются философской поста-

---

<sup>32</sup> См.: Ломтев Т. П. Указ. соч., с. 131.

<sup>33</sup> См.: Звегинцев В. А. Семасиология. М., 1957, с. 123.

<sup>34</sup> Законы семантического развития в языке. М., 1961, с. 63—82.

новой проблемы, оставляя почти неразработанным чисто лингвистический аспект. А это мешает им правильно оценить указанные у нас выше взгляды Е. М. Галкиной-Федорук, Л. О. Резникова и В. А. Звегинцева<sup>35</sup>. Все же борьба авторов указанной статьи против агностицизма и субъективного идеализма не может не оцениваться положительно и, несомненно, является ценным вкладом в теорию знаков за последние годы в советской литературе. Определение знака, даваемое этими авторами, правильное, но слишком широкое; оно относится не только к языковым, но и вообще ко всяким знакам: «Знак — это социально отработанная звуковая единица, условно связанная с объективным, исторически обусловленным содержанием и обладающая свойством дифференциации этого содержания»<sup>36</sup>. Если мы возьмем такой знак, как национальный флаг, то это определение будет целиком относиться также и к нему, с заменой, конечно, «звуковой единицы» на «живописную» или «цветовую единицу». Выдвижение материальности языкового знака безусловно правильно, но опять-таки обладает слишком общим характером, поскольку и всякий знак вообще всегда материален. Борьба с чистой глоссематикой Л. Ельмслева тоже у всякого вызовет только положительное и вполне одобрительное отношение. Но учение Л. Ельмслева о языке как о системе чистых отношений, лишенных всякой субстанции, тоже не так просто, поскольку Ельмслев отбрасывает всякую субстанцию только в ее грубой самостоятельности, но в смысловом отношении даже и он старается вобрать ее в свою систему чистых отношений<sup>37</sup>.

В том же сборнике необходимо отметить статью Г. С. Клычкова<sup>38</sup>, ценную во многих отношениях, но не ставящую вопроса о специфике языкового знака. Этот автор едва ли правильно пишет: «Значение слова является психическим образованием, основанным на отражении в нашем сознании предмета, явления и притом

---

<sup>35</sup> См.: Звегинцев В. А. Указ. соч., с. 67.

<sup>36</sup> Волков А. Г., Хабаров И. А. Указ. соч., с. 80.

<sup>37</sup> Ср.: Смирницкий А. И. Объективность существования языка. М., 1954.

<sup>38</sup> См.: Клычков Г. С. Значение и полисемия слова, с. 100—120.



отражении обобщенном»<sup>39</sup>. Значение может переживаться психикой, но само по себе вовсе не есть психический акт. Кроме того, ни значение, ни психический акт вовсе не обязательно являются отражением объективной действительности.

Мифы, сказки и вообще фантастические рассказы если и отражают объективную действительность, то в каком-то особом смысле, который еще надо раскрыть. Впрочем, и сам автор не сводит значение только на психический акт, а в дальнейшем указывает еще и на его общественно-историческую значимость, а также и на обусловленность системой языка, роль которой он сам же очень хорошо иллюстрирует<sup>40</sup>. Если исключить эту некоторого рода сбивчивость изложения, то статью Г. С. Клычкова нужно считать очень полезной, хотя она и не ставит основного вопроса о специфике языкового знака. Огромным шагом вперед являются те многочисленные доклады, которые были прочитаны на симпозиуме по знаковым системам в Москве в 1962 году<sup>41</sup>. Этот шаг характеризуется тем, что здесь впервые и притом в специальной, а не в случайной форме языковые знаки связываются с понятиями *структуры* и *модели*. Поскольку, однако, такая колоссальная проблема не могла быть разрешена сразу, то докладчики на этом симпозиуме, по-видимому, были далеки от того, чтобы ставить в логически ясной форме вопрос об отношении языкового знака к языковым структурам и моделям. Этот вопрос считался здесь ясным, и никто из докладчиков не потрудился дать ту или иную его логическую формулировку. Эта формулировка наметилась у нас только в последующие годы, но об этом мы будем говорить в специальной работе. Что же касается симпозиума 1962 года, то, несмотря на большое количество хороших и даже блестящих докладов, упомянутая проблема пока еще не стала здесь предметом исследования, что для начальной стадии знаковой теории является вполне естественным.

В книге, посвященной тезисам этого симпозиума, имеется предисловие, в котором, казалось бы, и нужно

---

<sup>39</sup> Там же, с. 105.

<sup>40</sup> Там же, с. 106.

<sup>41</sup> Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. Тезисы докладов. М., 1962.

было бы осветить или, по крайней мере, поставить основную проблему связи знака с теорией структур и моделей. Но уже первая фраза этого предисловия, преподносимая как определение знака, страдает логической ошибкой *idem per idem*: «Семiotика — это новая наука, объектом которой являются любые системы знаков, используемые в человеческом обществе»<sup>42</sup>. Другими словами: наука о знаках есть наука о знаках. Так как этим определением знака не дается, то и в дальнейшем понятие знака выступает в неясной форме; и уже с самого начала нужно сказать, что понятие это берется в некотором чрезвычайно широком виде. Так, тут же пишется: «С точки зрения современных кибернетических представлений человек может рассматриваться как такое устройство, которое совершает операции над различными знаковыми системами и текстами». Поскольку и здесь точного определения знака не дается, то становится неясным, причем тут кибернетика и почему человека можно рассматривать как знаковую систему? В дальнейшем противопоставляются человеческий мозг и машина, и опять то и другое рассматривается как знаковая система. Но почему человек и машина являются только знаковыми системами, опять оказывается неизвестным. Казалось бы, то и другое является в первую очередь некоторого рода субстанцией, которая владеет той или иной знаковой системой. Но владеть знаковой системой и быть знаковой системой — это как будто бы разные области; и если эти области тождественны, это требует разъяснения. Полное же и окончательное тождество какой бы то ни было субстанции и ее знаковой системы само собой не очевидно и еще требует для себя доказательства. Но уже и тут ясно, что упомянутый симпозиум вовсе не понимает знака в обычном смысле слова, а понимает его чрезвычайно расширенно. И, вероятно, для такого расширения имеет свои основания, но основания эти на симпозиуме не анализировались. Дальше на той же странице читаем: «...естественные языки могут использоваться в качестве модели всего мира, окружающего человека, в том числе для описания явлений, еще не получивших научного объяснения». Здесь вводится другое, тоже никак не опреде-

---

<sup>42</sup> Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, с. 3.

ляемое понятие моделей; и поскольку такого определения нет, термин «модель» приходится понимать в самом неопределенном и обыденном смысле слова. Но тогда сразу же возникает вопрос: почему же естественный язык является моделью мира, а не мир является моделью для естественного языка? То, что знаковая система понималась на этом симпозиуме очень широко, свидетельствует устанавливаемая в предисловии тесная связь системы знаков с поведением человека и указания на практические и жизненные выводы, которые можно сделать на основании знаковой системы<sup>43</sup>. Следовательно, знаку приписывается какое-то практическое функционирование, а системе знаков — какое-то практическое регулирование поведения людей и вещей. Разумеется, такое расширенное понимание знака вполне соответствует тем основным принципам теории знака, которые мы формулировали выше; и в этом необходимо видеть большой шаг вперед в сравнении с обычным мертвенным и неподвижным пониманием знака. Однако разъяснения понятия знака, необходимого для такого его понимания, здесь не дается.

Можно также приветствовать сближение теории знаков с предельной формализацией языка науки, которая, как известно, имеет в истории науки такое большое значение. Но что значит формализация языка в данном случае, это тоже здесь не рассматривается.

Модель в представлении участников упомянутого симпозиума имеет самую близкую связь с моделируемыми объектами. И это обстоятельство тоже очень ценно для выставленных у нас выше общих принципов для всякой знаковой системы. Но сам термин «модель», а следовательно, и связанное с ним понятие не только не анализировались на упомянутом симпозиуме, но когда там заходила речь об отношении модели объекта к самому объекту, докладчики упорным образом стояли здесь на позиции *idem per idem*: «Семиотика имеет дело прежде всего с моделями, т. е. образами отображаемых (моделируемых) объектов». Значит, модель есть образ моделируемых объектов. И, несмотря на эту логическую ошибку в определении, модель вещи, конечно, есть преж-

---

<sup>43</sup> Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, с. 4—5.

де всего образ вещи, ее отражение. Здесь очень важна попытка дать сравнительную характеристику модели объекта и самого объекта, но ввиду неясности употребляемых здесь терминов, против основной характеристики этого сравнения нужно возражать, причем возражение это, вероятно, отпало бы, если бы терминология здесь была более ясной. Автор предисловия пишет: «Эти образы (модели) стремятся к такому отношению между моделируемыми объектами и образами, при котором все элементы и объекты, имеющиеся (с прагматической точки зрения потребителя данной модели) в моделируемом объекте, имеются и в образе (модели), но обратное может не иметь места»<sup>44</sup>.

В условиях отсутствия ясной терминологии можно было бы сказать обратное: те соотношения, которые имеются в модели какого-нибудь объекта, имеются также и в моделируемом объекте, но в этом последнем есть нечто большее, чем в модели, а именно сама субстанция, явившаяся предметом моделирования. Так или иначе, но основная позиция рассматриваемого симпозиума совершенно правильная: модель вещи есть ее отображение, а знак вещи и есть модель вещи, т. е. знак вещи есть отображение самой вещи, поскольку он повторяет соотношения, царящие в самой вещи, но в более общем, «формализованном» виде. Кроме того, моделирующему знаку приписывается здесь значение регулятивного принципа в связи с кибернетической направленностью основной идеи модели — знака. А это, если отвлечься от увлечений и гиперболизма в кибернетике, является весьма полезным пониманием моделей знака, поскольку все же ратует о переделывании действительности.

В докладе Ю. С. Мартемьянова «К построению языка лингвистических описаний» делается попытка разграничить такие важные для знаковой теории языка понятия, как «структура», «модель» и «система». Попытку эту, однако, приходится считать не очень удачной ввиду замысловатых объяснений, предлагаемых здесь автором. Лингвистическое описание, согласно этому автору, начинается с «полного разграничения», понимаемого как описание исходных объектов (текстов набора) в терминах «минимальных сегментов», образующих

---

<sup>44</sup> Там же, с. 5—6

в результате «класс единиц текста (речи)»<sup>45</sup>. Сказано замысловато, но имеется в виду, вероятно, невиннейшее установление минимальных элементов языка (например, существительное, глагол, фразеологический оборот, та или иная синтаксическая конструкция и т. д.). Для этого установления, конечно, требуется четкое разграничение одного элемента языка от другого, причем каждый такой элемент оказывается вовсе не изолированной единичностью, но целым множеством единиц, их родовым понятием. Если автор хочет сказать именно это, то возражать здесь не приходится. Вторым этапом лингвистического описания является, согласно этому автору, «полное расчленение», под которым имеется в виду описание полученного «класса единиц» в терминах «минимальных подклассов» ...конституирующих «синтаксические части речи». Этот второй этап является, по-видимому, излишним, потому что минимальный класс языковых единиц, точно отграниченный от всякого другого класса, уже имелся в виду в первом этапе лингвистического описания. Третьим этапом описания является далее «узкое распределение», определяемое как описание единиц из «минимальных подклассов» в терминах «коррелирующих единиц языка», «вариантов», а также «парадигм» и «морфологических частей речи». А этот третий этап описания формулировок уже совсем непонятен. Что такое «коррелирующие единицы языка» и причем тут «парадигмы», и что это за «парадигмы» и причем тут морфология? По-видимому, установленные и описанные раньше элементы языка объединяются здесь в какие-то общие классы; но что это за классы, опять остается неизвестным. Однако именно эти три неясных этапа лингвистического описания служат автору основанием ни больше и ни меньше как для разграничения понятий системы структуры и модели. Автор пишет: «Под «системой языка» понимается все чаще совокупность классов и таких правил, применением которых к этим классам создаются некоторые новые правильно построенные единицы, т. е. «системой» моделируется процесс, обратный выявлению «структуры»<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, с. 11.

<sup>46</sup> Там же, с. 11—12, прим. 2.

Насколько можно понять эти весьма неясные выражения автора, имеются в виду больше всего минимальные и далее неразложимые языковые элементы и установление законов объединения этих элементов. Совокупность этих законов автор понимает как соответствующую структуру языка, а установленная таким образом структура языка в сравнении с наблюдаемыми элементами языка является их моделью. При всей неясности подобного рода рассуждений ясным, однако, является то обстоятельство, что структура того или иного языкового явления есть определенное соотношение и потому закономерно сочетание всех тех элементов, из которых оно возникает, а структура эта, рассматриваемая как регулятив для данного языкового явления, становится моделью этого явления. При этом, если мы даже неправильно понимаем указанного автора, то во всяком случае заслуживает всякого внимания его попытка разграничить три указанных понятия — система, структура и модель. Этому автору хотелось также связать данных три понятия с учением о знаке, что тоже совершенно правильно. Однако способ выражаться у этого автора делает понятие знака в этих условиях тоже малопонятным. «Начальные понятия такого метаязыка опираются в конечном счете на сущность всякого языка — его знаковую природу, чем гарантируется в известной мере успех разработки дальнейших понятий». Тут понятно только то, что сущность языка автор видит в его знаковой природе. Но как нужно понимать здесь «сущность языка» и как нужно понимать здесь «знаковую природу языка», т. е. как нужно понимать сам знак, неизвестно.

Впрочем, если не предъявлять авторам этого симпозиума тех точных логических требований, которые они сами себе не предъявляли, то почти все доклады на этом симпозиуме можно расценивать и как весьма важные для знаковой теории, и даже необходимые для нее, и как выполненные на большом теоретическом уровне. Так, на высоком теоретическом уровне находятся доклады И. И. Ревзина «Некоторые трудности при построении семантических моделей для естественных языков»<sup>47</sup>, А. А. Зализняка «Об использовании понятий «автома-

---

<sup>47</sup> Там же, с. 17—24

тической выводимости» и «зависимого признака» при описании знаковых систем»<sup>48</sup>, его же «О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией»<sup>49</sup>, а также доклады по искусству и литературе в связи с теорией знаковых систем (напр., Л. С. Выготского, Ю. К. Лекомцева, Б. А. Успенского, С. Е. Генкина, Л. Ф. Жегина, А. К. Жолковского, М. Л. Гаспарова и др.).

Таким образом, в 1962 году у нас раздался мощный голос о необходимости углубить теорию языковых и других знаков до степени структурного и модельного отражения. Но на этих первых порах основные категории знаковой теории еще не получили своей точной логической формулировки. Это делалось у нас в последующие годы и делается до сих пор, однако об этих достижениях знаковой системы мы скажем в другом нашем сообщении.

---

<sup>48</sup> Там же, с. 55.

<sup>49</sup> Там же, с. 56.

## Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа<sup>1</sup>

Такие термины, как «знак», «значение», «структура», «модель», «символ», имеют у разных авторов десятки разнообразных значений. Не нужно думать, что в этой области должна быть декретирована какая-нибудь одна-единственная терминология, которая исключала бы всякие другие терминологические принципы. Единственное, что можно требовать от авторов, — это чтобы они, пользуясь той или другой системой терминов, выдерживали свою терминологию до конца и не сбивались каждый раз с принятой ими на какую-нибудь иную систему терминов. В план настоящей работы не входит анализ разных теорий символа и знака, но мы хотели бы остановиться хотя бы на одном более или менее значительном явлении из этой области. Таким явлением представляется нам многотомное издание под названием «*Sēmeiōtikē. Труды по знаковым системам*», I—VII (Тарту, 1964—1975).

1. **Модель.** Прежде всего в первом томе этого издания Ю. М. Лотман совершенно правильно пишет: «Современная стадия научного мышления все более характеризуется стремлением рассматривать не отдельные, изолированные явления жизни, а обширные единства, видеть, что каждое, казалось бы, простое явление действительности при ближайшем рассмотрении оказывается структурой состоящей из более простых элементов, и само, в свою очередь, входит как часть в более сложное единство» (1 5). Указанную точку зрения Ю. М. Лотман в приложении к искусству понимает прежде всего как учение об отражении действительности в искусстве и как учение о коммуникативной природе искусства. В связи с первой теорией, по Ю. М. Лотману, «понятие модели всегда означает некоторый способ отображения

---

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: Языковая практика и теория языка, вып. 2. М., 1978, с. 3—26.



или воспроизведения действительности, как бы ни различались между собой отдельные модели»<sup>2</sup>. Уже тут заметна оригинальность употребления Ю. М. Лотманом — В. А. Штоффом термина «модель». Поскольку «модель» значит прежде всего «образец», то, казалось бы, отнюдь не искусство есть модель действительности, а действительность есть модель для искусства, тем более, что сам Ю. М. Лотман считает искусство отображением действительности. Впрочем, как мы уже сказали выше, термин «модель» употребляется в настоящее время настолько разнообразно<sup>3</sup>, что каждый автор, в сущности говоря, имеет право на свое собственное понимание данного термина. Здесь нам важно зафиксировать только то, что, по Лотману, модель не есть отражаемое значение или отражаемая структура, но отраженное значение, отображенная структура и что, однако, в то же самое время Ю. М. Лотман называет искусство «моделирующей системой». Так же понимают искусство и другие авторы данного многотомного издания. В дальнейшем Ю. М. Лотман указывает 10 разных особенностей, «определяющих специфику искусства как модели» (I 31—38).

Ввиду огромного семантического разнообразия термин «модель» действительно может употребляться каждым исследователем так, как ему захочется. Однако мы, по крайней мере, должны пытаться вводить здесь по возможности ясность здравого смысла. Представляется, что если действительность является моделью для художественного произведения, а художественное произведение есть та или иная, пусть даже самая совершенная ее копия, то назвать художественное произведение и вообще какую бы то ни было систему знаков чем-то моделирующим уже никак нельзя. Если что-то и является здесь моделирующим, то это только сама отраженная в искусстве действительность; искусство, поскольку оно ее отражает, не может быть моделирующим, а только моделируемым. Точно так же и система знаков того или

---

<sup>2</sup> См. I 16, где Ю. М. Лотман цитирует работу В. А. Штоффа «О роли модели в познании» (Л., 1963, с. 8), с чьим пониманием модели он вполне согласен.

<sup>3</sup> А. Ф. Лосев (Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968, с. 16—18) насчитывает 34 разных значения термина «модель» в его современных употреблениях. Но фактически этих значений еще больше.

иного предмета тоже никак не может быть моделирующей, а только моделируемой; если что здесь и моделирует, т. е. является моделирующим, то это только сам предмет искусства, сама действительность, так или иначе отраженная в искусстве или в системе знаков.

Противоречащее здравому смыслу отнесение терминов «моделирующий» и «моделируемый» к одной и той же вещи с самого начала вносит коренную неопределенность во многие структуральные исследования; и читателю после ознакомления с самыми подробнейшими изложениями приходится самому додумывать как раз то, что составляет самые первые и существенные основы вопроса.

Опасность такого противоречивого словоупотребления заключается меньше всего в противоположности форм причастия, которые здесь терминированы и пущены в оборот как научные понятия. Самая главная опасность в том, что подобного рода словоупотребление никак не удастся соотнести с привычным представлением о действительности как подлинном образце художественного изображения. Если произведение искусства всерьез само себя моделирует и является моделирующим, отпадает всякая нужда в исследовании того, моделью чего же, собственно, является искусство. Если ни о какой модели художественного произведения вне художественного произведения нет речи, а подлинной моделью для него является оно само, то это значит, что никакой действительности как образца не требуется, в частности, не требуется для анализа и понимания художественного произведения. Нам предлагают само же художественное произведение рассматривать в качестве той подлинной и, по-видимому, вполне самодовлющей действительности, на которую ориентируется художник и которую изучает теоретик и историк как литературы, так и всякого другого искусства. У тартуских авторов имеется сколько угодно заявлений о том, что именно искусство отражает действительность. Но тогда необходимо выбрать что-нибудь одно. Или действительность всерьез и на самом деле является тем, что отражено в искусстве, т. е. является для него подлинным или, по крайней мере, последним образцом, — тогда нельзя говорить о моделирующих функциях искусства, а только о моделируемых, отражаемых, изображаемых, выража-

смых, подражательных. Или искусство само моделирует действительность, и мы получаем возможность говорить о моделирующих системах знаков, но тогда действительность вне творческой действительности искусства нас несколько не интересует, а единственной изучаемой нами действительностью оказывается художественное творчество, т. е. мы впадём в объятия безвыходного формализма и субъективизма.

Есть возможность пользоваться термином «моделирующая система» без столь опасных последствий. Но для этого необходимо пусть не очень подробное, но все-таки существенное исследование, которого мы не нашли в тартуских работах. Можно рассуждать так, что если само художественное произведение и есть смоделированная действительность, т. е. если действительность и является подлинной и окончательной моделью для моделируемого по ее законам художественного произведения, то это все-таки не мешает тому, чтобы само художественное произведение временно и условно отделялось от изображаемой в ней действительности и являло в себе имманентный принцип своего собственного конструирования, т. е. было моделью для построения как своих отдельных моментов, так и всего, что втягивается в его сферу. Во всяком художественном произведении такой общий имманентный принцип действительно есть, именно он управляет всем построением и всем ходом развития художественного произведения, т. е. является его моделью и есть для него нечто моделирующее. Такое моделирование вполне находит для себя место в тартуских исследованиях. Для этого вовсе не обязательно зачеркивать ту модель художественного произведения, которая существует до него и вне его; вовсе не обязательно, чтобы художественное произведение было чем-то моделирующим, но не моделируемым. Здесь можно видеть какой-то выход из терминологической путаницы, чтобы не было фетишизма имманентно-художественного моделирования и чтобы само художественное произведение было моделирующим только в том смысле, что подлинная моделирующая действительность находится вне художественного произведения, а само оно содержит в себе моделирующий принцип только в виде подобия художественной первичной модели, действительности.

Мировое дерево — это весьма популярный образ во всей древней истории, и В. Н. Топоров (V 9—62) правильно называет такой образ «концепцией», «архетипом», «мифологемой». Но он совершенно не прав и вносит большую путаницу в историческую терминологию, когда считает такое мировое дерево всего лишь «знаком», «универсальным знаковым комплексом» (9) или «некоей универсальной знаковой системой» (62). Скандинавская, иранская, индийская, библейская и другие системы мирового дерева в сравнении с универсальным образом мирового дерева, конечно, имеют более частное значение и в этом смысле вполне могут называться ее знаками и теми или другими знаковыми системами. Но само это универсальное дерево вне частных систем и описаний вовсе не есть знак; а если называть его знаком, то для этого необходимо, по-видимому, особое онтологическое и гносеологическое обоснование, например, теория иерархии знаков: в каком смысле мировое дерево «означает» и что оно означает? В каком смысле могут существовать его знаки и на что в нем эти знаки указывают? В. Н. Топоров в своей статье не называет мировое дерево моделью, хотя универсальное мировое дерево как архетип для соответствующих мифологем в отдельных мифологиях мы с полным правом могли бы назвать моделью, — с той уже сделанной оговоркой, что для модельного понимания мирового дерева тоже требуется специальная философская теория. Тот же исследователь совершенно правильно поступает, трактуя миф о мировом яйце (III 81—99) как архетип для соответствующих мифологем у разных народов, что уже недалеко от того, чтобы именовать и общий миф о мировом яйце (как и о мировом дереве) моделью. Это было бы, на наш взгляд, правильно.

Вполне целесообразно Ю. М. Лотман определяет модель как «аналог познаваемого объекта, заменяющий его в процессе познания» (III 130). И не следует думать, будто модель и моделирование относятся только к теоретико-познавательной деятельности человека. Своими эмоциями, аффектами, волевыми актами человек тоже может известным образом отображать действительность. Имея это в виду, Ю. М. Лотман утверждает, что «моделирующая деятельность — деятельность человека по созданию моделей» (там же) и что «моделиру-

ющая система — структура элементов и правил их соединения, находящаяся в состоянии зафиксированной аналогии *всей* области объекта познания, осознания или упорядочения» (там же; курсив мой. — А. Л.) По Ю. М. Лотману, искусство, как и всякая модель, не есть любое отображение действительности, и моделировать что-нибудь вовсе не значит просто только соотносить с действительностью. Это значит еще и устанавливать соотношения элементов отражения между ними самими и превращать их в логически точную систему. И в данном контексте Ю. М. Лотман, на наш взгляд, совершенно понятным образом именуется художественное произведение «моделирующей системой», поскольку понимает под этим принцип его построения, который диктует собой взаимную упорядоченность входящих в него частей. Как мы сказали выше, прилагательное «моделирующий» здесь вполне допустимо. Более того, «моделировать» в этом смысле вовсе не значит только распределять отдельные моменты произведения внутри художественного целого согласно тому его имманентному принципу, который трактуется как «моделирующий»: процесс моделирования вовсе не только конструирующий, но и содержательный. Однако об этом мы скажем дальше.

2. Модель и структура. Предыдущие замечания не преследуют цели опровержения и руководствуются только желанием подчеркнуть отдельные терминологические огрехи. Нам хочется установить, что же такое модель и каковы ее существенные свойства у современных теоретиков учения о знаках. Возможно, нам поможет здесь то обстоятельство, что в рассматриваемых нами тартуских изданиях модель всегда трактуется, среди прочего, и как структура, понимаемая и в смысле соотношения отдельных моментов внутри целого, и в смысле соотношения одной цельности с другими цельностями. То, что модель или, по крайней мере, модель мира имеет структурное строение, видно, например, уже из указанной выше работы В. Н. Топорова «О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией мирового дерева» (V 9—62, особенно с. 9, 20, 23—24). Хотя структура мира трактуется здесь просто как «мировое дерево», однако это все же и некоторого рода структура. Как мы видели, общечеловеческое «мировое

дерево» является архетипом для представлений мира и культуры в разных областях человеческой истории, у индийцев, скандинавов, славян, иранцев, китайцев и т. д. Если иметь в виду общесроенные модели, то необходимо указать и на статью Ю. М. Лотмана под названием «Заметки о структуре художественного текста» (V 281—287, особенно с. 281—284). Здесь развивается мысль, что во всякой художественной конструкции, в противоположность чисто логической, всегда сталкиваются две противонаправленные упорядоченности, из которых одна относится к окончательной и, так сказать, идеально упорядоченной модели, а другая — к тем многочисленным отступлениям от этой модели, которые всегда можно найти при достаточно внимательном рассмотрении. Наконец, в статье В. В. Иванова и В. Н. Топорова «К проблеме достоверности поздних вторичных источников в связи с исследованиями в области мифологии» (VI 43—86, особенно с. 61—64) для понятия древнего текста, который, согласно этим авторам, является принципом перекодирования для более поздних текстов, употребляется прямо выражение «идеальная структура текста».

Итак, модель в анализируемых нами изданиях трактуется как отражение тех или иных объектов, данное в виде логической системы и ее элементов на основе установления точной структуры в результате фиксации их смыслового соотношения. Как это ни парадоксально, неясным здесь остается, может быть, только понятие структуры. Впрочем, это понятие далеко выходит за пределы как литературоведения, так и языкознания и относится к очень глубоким областям логики и математики; поэтому при употреблении слова *структура* до известной степени допустимо обходиться и без установления логически точного понятия структуры.

Что нужно считать, безусловно, положительным в таком понимании модели — это сознательное ограничение ее исключительно только целями познания (мы бы сказали, скорей, логического конструирования). Самым настоящим дилетантом является тот, кто считает невозможным при построении теории искусства сопровождать прямое наслаждение от искусства абстрактной теорией этого искусства (V 281). Никакой подлинный теоретик искусства никогда и не думает заменять не-

посредственное художественное чувство абстрактной теорией. Сколько бы он ни теоретизировал над искусством, его прямое наслаждение искусством не только от этого ничего не потеряет, но, наоборот, выиграет. Сколько бы семиотик ни теоретизировал над знаком, непосредственность и свежесть восприятия им слова несколько не улетучится, если только он — подлинный теоретик. Поэтому возражения против теории моделирования со стороны непосредственных ценителей искусства нужно считать достаточно бессмысленными. Ни в каком случае нельзя только забывать, что кроме системы моделирующих методов, системы знаков и символов, волевым образом преследуемых, целью для вдумчивого теоретика остается нетронутым художественное произведение само по себе.

При всей — отмеченной нами выше — допустимости разнообразного осмысления терминов как в случае с термином «модель», так и в случае с термином «структура» есть вещи, которые исследователь не может упускать из виду и которые в условиях небрежного обращения с ними могут грозить опасными методологическими промахами. Не занимаясь точным логическим анализом понятия «структуры», тартуские авторы подвергают себя опасностям, о которых, может быть, сами не догадываются. Первая — в том, что структуру художественного произведения они склонны понимать по преимуществу все же чисто логически. Мы уже сказали, что логическое или формальное понимание художественного произведения несколько не мешает его эстетической значимости и не обедняет эстетического восприятия у человека достаточно образованного. Пусть никто не поймет, что логическую структуру художественного произведения мы в какой-нибудь мере отвергаем: мы ее принимаем и считаем весьма важным моментом в анализе художественного произведения. Но можно ли свести все художественное произведение только на его познавательную аналогию в сознании и мышлении человека и является ли художественное произведение в аспекте своей структурности только логической конструкцией?

Художественное произведение действует на нас не только своей упорядоченностью, но в гораздо большей мере своим аффективно-волевым и эмоциональным содержанием, и это последнее существует в нашем созна-

нии вовсе не отдельно от логической структуры: аффективное состояние психики является некоторой стороной нашего логического конструирования, другими словами, структура вовсе не есть только логическое построение частей, она является также и нашим аффективным устроением, нашим эмоционально-волевым состоянием, тем или иным характером наших переживаний вообще. Эти последние невозможны без логического конструирования, но и логическое конструирование художественного произведения тоже невозможно без непосредственного и общепонятного, вполне интуитивного эстетического переживания. Слишком долгое отбрасывание этих внелогических сторон способно заморозить художественное произведение, лишить его жизни и теплоты. Не нужно вместе с логическим конструированием тут же сразу говорить и об эстетических переживаниях. Но логическая конструкция как таковая не должна от этого претендовать на исключительность, на окончательную научность, окончательную правоту. Тартуские авторы, по видимому, вовсе и не собираются уничтожить эстетику во имя чистой логики. Однако многие критики их работ не случайно базируются именно на их интеллектуализме и на их логицизме.

Если мы возражаем против понимания структуры только в интеллектуальном или только логическом плане, то дело тут не в наших забытых чувствах или эмоциях, дело вовсе не только в наших иррациональных переживаниях. Обычно думают, что структура есть система прерывных точек или элементов, а интуиция — нечто не делимое на отдельные точки, т. е. нечто непрерывное. Однако в нашей логической теории уже давно доказана мысль, что ни непрерывное невозможно без прерывного, ни прерывное — без непрерывного. Отбросив всякие эмоции и переживания и взяв только одну познавательную сторону предмета, как это хочется многим исследователям, мы все равно найдем несколько областей таких, в которых нет никаких отдельных точек, а есть только непрерывная слитность и которые в то же самое время без этих точек совершенно невысказанны. Возьмем, например, пространство. Оно представляет собой совершенно голое поле, в котором невозможно установить ни одной точки, потому что всякая такая точка будет разрушать пространство, т. е. нарушать его



непрерывность. Тем не менее, уже то одно, что мы скользим по этому пространству, свидетельствует о том, что мы именно переходим от одной его точки к другой. То же самое нужно сказать и о времени. А в математике то же самое говорят о числовом континууме. Точно так же структура художественного произведения — это еще вовсе не только прерывные точки. Подлинная структура художественного произведения, как и все на свете, обязательно есть определенная система как непрерывных полей, так и прерывных точек. Избегание в структурном исследовании художественного произведения всякой непрерывности и сведение ее только на систему одних прерывных точек тоже является рационализмом или формализмом, недопустимым в той же мере, в какой недопустимо изгнание эстетики в жертву логике.

Поэтому мы рискуем заявить, что само понятие структуры остается в тартуских сборниках логически не исследованным и применяется в конкретных исследованиях часто так же некритично, как и понятие модели. Некритическое понимание структуры так же ведет к формализму, как и некритическое понимание модели, хотя сами тартуские исследователи по своим интенциям часто совсем неповинны в формализме. Более того, Ю. М. Лотману принадлежит блестящая критика формальной школы начала 20-х годов. Такие категории, как «прием», или такие противоположения, как «форма — содержание», да и все основы формальной школы Ю. М. Лотман подвергает самой беспощадной критике (I 158—159), после которой уже никто не посмеет причислить его к чистым формалистам; если в его теориях попадаются формалистические черты, они оказываются результатом либо неполной характеристики соответствующего предмета, либо следствием неимоверного терминологического разнобоя, существующего в современном литературоведении. Весьма интенсивная критика формализма чувствуется также и у В. В. Иванова в его суждениях о соотношении знаковой системы с идеологией, когда этот автор излагает заслуги М. М. Бахтина (VI 5—44). «Он указал», пишет В. В. Иванов о Бахтине, на непосредственную связь исследования знаков с общей наукой об идеологиях, которую он предлагал создать: все виды идеологической деятельности объединяются своим знаковым — двусторонним — характером.

Согласно формулировкам первых его книг... «где нет знака — там нет и идеологии», «всему идеологическому принадлежит знаковое значение», «все продукты идеологического творчества — произведения искусства, научные работы, религиозные символы и обряды и пр. — являются материальными вещами... Правда, это вещи особого рода, им присущи значение, смысл, внутренняя ценность. Но все эти значения и ценности даны только в материальных вещах и действиях» (VI 5). Более сильную критику отрыва знака вещи от самой вещи, т. е. более сильную критику формализма, трудно представить.

В тартуских сборниках особенным вниманием пользуются модельно-структурные представления о мире в целом и о культуре.

В статье «О понятии географического пространства в русских средневековых текстах» (II 210—216) Ю. М. Лотман справедливо говорит о том, что средневековое пространство отнюдь не мыслилось в чистом и самостоятельном виде, а всегда в связи с моделью: небо — земля — ад, т. е. всегда имело религиозно-этический смысл. Особенно верно наблюдение Ю. М. Лотмана над тем, что небеса в средневековом смысле вовсе не означали какого-то мира чистых идей, никак и ни в чем не воплощенных. Средневековое небо — это тоже пространство, но только особого типа, так же и ад. В работе В. Н. Топорова «Заметки о буддийском изобразительном искусстве в связи с вопросом о семиотике космологических представлений» (III 221—230) весьма поучительно звучат слова: «Композиционная, символическая и концептуальная структура буддийской иконографии, трактуемая обычно как довольно искусственное и «учено-схоластическое» построение, связанное исключительно с догматикой буддизма, при всех ее связях с буддийской концепцией удивительно последовательно, точно и полно отражает более общие космологическо-религиозные представления древнейшего комплекса, который полнее всего проявляется в так называемых «шаманских» культурах, но в той или иной степени ощущим и в культурах иного характера». Отсюда В. Н. Топоров тоже делает интересные выводы относительно качественно различной топографии небесной, земной и подземной. Здесь мы стали бы возражать только против нивелиров-

ки всякого различия между политеистическими и монотеистическими религиями, в частности, в проблеме творения мира или в разборе христианского учения о Богородице. Формальные аналогии между этими двумя типами религий, конечно, существуют, и хорошо, что они изучаются; но всякая аналогия имеет везде свою специфику, а о ней тоже нельзя забывать.

Переходной проблемой от мироздания к человеческой культуре занимается В. Н. Топоров в работе «О космологических источниках раннеисторических описаний» (VI 106—150). Ранняя историография во всех литературах начинается с космологических образов преснейшей мифологии и только постепенно переходит к изображению фактически раньше существовавшего человека и его культуры. В работе В. Н. Топорова приводятся в этом отношении много любопытных фактов, на которые обычно мало обращают внимание. Здесь, несомненно, тоже сыграло положительную роль оперирование именно космологическими и историографическими моделями. Если перейти, наконец, к проблемам культуры, то основополагающее значение принадлежит работе Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «О семиотическом механизме культуры» (V 144—166). Здесь устанавливается та простейшая мысль, что всякая культура, если она вообще есть нечто, должна быть чем-нибудь, т. е. она должна отличаться от окружающего ее фона некультуры. А раз она есть что-нибудь, то этим самым уже продиктован и основной принцип ее модели. Игнорировать подобного рода модель культуры — это значит превращать культуру в хаос неизвестно каких явлений, неизвестно как связанных между собой. Подобного рода рассуждения мы считаем вполне очевидными и совершенно неопровержимыми. Важны здесь и другие, более дробные модельные наблюдения, которые, впрочем, не всегда бесспорны. К числу убедительных иллюстраций структурных соотношений внутри данной культурной модели принадлежит, например, противопоставление классицизма с его господством правил над литературой («текстами») и реализма XIX века с его зависимостью правил от картин изображаемой жизни. Общепринятость такого противопоставления не снижает ценности указанной работы, поскольку эта последняя предполагает не просто глобальное сопоставление противополож-

ных стихий, но именно моделирующее, т. е. логически точно обозначающее свои предметы, исследование.

Однако возникает общий вопрос о том, как можно характеризовать культуру и каким образом можно ее описывать. В своей статье «О метаязыке типологических описаний культуры» (IV 460—478) Ю. М. Лотман занимает, вообще говоря, бесспорную позицию, но позицию, мы бы сказали, не очень выгодную. Если мы захотели бы узнать, что такое метаязык той или другой культуры с точки зрения существующих в ней пространственных представлений, то оказывается, что при понимании пространства в его существенной связи с типом культуры «пространственные модели выступают как некоторый метаязык» (463). Другими словами, пространственная характеристика данного типа культуры предполагает как существование пространства вообще, так и пространства именно данного типа культуры. Малопонятный термин «метаязык» обозначает собой не что иное, как просто описание данного предмета в более общей форме. Стоит ли в таком случае употреблять термин «метаязык пространства», если уже заранее всякому известно, что констатировать разные типы пространства можно только в том случае, если мы знаем, что такое пространство? Сторонники моделирующего описания культуры сами вооружают против себя оппонентов, получающих возможность упрекать здесь модельно-знаковую теорию в замене простейших и общепонятных слов мудреной и ненужной терминологией. Правда, эти противники модельной теории будут весьма ошибаться: каждый тип культуры действительно имеет свое собственное представление пространства; разнотипность, разнородность, гетерогенность пространства (и времени) — это важнейшая и для современной науки очередная проблема большинством историков культуры еще не ставилась, хотя она продиктована в настоящее время всем предыдущим развитием науки и философии.

В статье «К проблеме типологии культуры» Ю. М. Лотман, с нашей точки зрения, вводит тоже малопродуктивный термин «код», противопоставляя его, вслед за Р. О. Якобсоном, «сообщению». Если мы хотим описать данный тип культуры, нужно уметь переводить общий метаязык этой культуры на языки отдельных

ее областей, специфичные для каждой из них. Орудия труда, которые нашел археолог в своих раскопках, являются для нас не просто орудием труда. Для историка культуры они должны свидетельствовать также и о других областях культуры, например, о структуре семьи и иных форм социальной организации. Другими словами, «метаязык» данного типа культуры проявляет себя по-разному и вполне специфично в ее разных областях, т. е. в «текстах» меньшей общности. Простейшую мысль об общем характере данной культуры и о специфическом проявлении этого характера в отдельных ее областях Ю. М. Лотман выражает следующим мудреным образом: «Весь материал истории культуры может рассматриваться с точки зрения определенной содержательной информации и с точки зрения системы социальных кодов, которые позволяют эту информацию выражать в определенных знаках и делать достоянием тех или иных человеческих коллективов» (31). Стоит ли в данном случае слово *сообщение* или *свидетельство* заменять термином «информация», общепонятное и общепотребительное слово *стиль* заменять мало кому понятным термином «код», а вместо выражения *в определенных знаках* не лучше ли просто говорить «определенным образом»?

Таким образом, изучая тартуское понятие модели и структуры по указанным выше и по многим другим весьма интересным и содержательным работам, мы бы выставили три следующих положения. Во-первых, там, где не требуется точного критического обследования понятий модели и структуры, а можно понимать их в обывательском смысле слова, там тартуские исследователи дают весьма интересный материал, иной раз даже весьма оригинальный с точки зрения того, что до сих пор имелось в науке. Во-вторых, там, где требуется точное критическое исследование понятий модели и структуры, для неосторожного читателя появляется опасность сделать неопределенные и двусмысленные методологические выводы, которые при ближайшем рассмотрении оказываются преждевременными, потому что исследование бессознательно исходит из основательных традиционных концепций и завершается, как правило, корректными выводами. И только там, где исследователи пытаются вычитать из недостаточно проясненных тер-

минов окончательные решения сложных содержательных проблем, мы начинаем ощущать явственное несовершенство их методологии и ее плодов. В-третьих, мы продолжаем настаивать на том, что подлинной моделирующей системой в художественном произведении является не само оно: его необходимо рассматривать как моделирующую систему только во вторичном смысле слова, т. е. постольку, поскольку оно содержит в себе свой собственный оформляющий принцип, вовсе не являясь при этом последним моделирующим принципом. Таковым является та художественная или внехудожественная действительность, подражанием которой явилось данное анализируемое художественное произведение. Кроме необходимости различать эти два принципа моделирования необходимо учитывать, что и моделирующая система в тартуском смысле, т. е. как имманентная идея данного художественного произведения, определяющая собой все его формообразование, отнюдь не исчерпывается только одними структурными соотношениями внутри данного художественного произведения. Всякое художественное произведение обязательно идеологично в художественном или во внехудожественном смысле слова, а идеология структуры сама отнюдь не есть структура, но понятие качественно содержательное, и моделирование в смысле установления только композиционно-технического плана художественного произведения — это еще далеко не все. Что в моделирующей системе кроме структурных отношений содержится и нечто другое, об этом в Тарту вопрос не ставится.

При таком составе авторов и при такой важной и малоизученной проблематике эти семь тартуских томов располагают большим материалом и большим богатством теоретических выводов, чем можно было бы ожидать от подобного издания, — конечно, испытывается насущная нужда в строгом логическом исследовании того, что понимается под моделью и структурой. Точный и критический анализ этих терминов или даже хотя бы только единообразный характер их понимания уже избавил бы тартуские исследования от методологической пестроты и терминологического разнообразия.

3. **Знак.** В рассматриваемых нами сейчас тартуских сборниках понятие знака имеет еще большее значение,

чем понятие модели. Даже все это издание имеет название «Труды по знаковым системам». Хотелось бы отдать себе отчет в том, как в Тарту понимают этот свой основной термин «знак».

Прежде всего Ю. М. Лотман различает в художественном произведении две стороны — моделирующую и знаковую. То, что Ю. М. Лотман понимает под моделью, мы видели выше. В своем основном труде «Лекции по структуральной поэтике» моделирующую функцию он рассматривает в связи с познавательной ролью искусства. Что касается знаков, то он относит их к стороне коммуникативной, к тем сторонам художественного произведения, которые открываются при реальном восприятии его читателями, зрителями или слушателями.

Мы сразу должны высказать некоторого рода недоумение по поводу такого распределения терминов «модель» и «знак». Ю. М. Лотман под моделью понимает познавательный момент в искусстве, под знаком — коммуникативный. Какая же разница между познанием и коммуникацией? По-видимому, автор из познания исключает всякую коммуникацию, а из коммуникации исключает всякое познание. Вот это как раз представить себе очень трудно. Какое же это познание предмета, если у меня нет с ним никакой коммуникации? И какая же это у меня коммуникация, если у меня нет познания? Тут требуются какие-то разъяснения.

По Ю. М. Лотману, сначала знак еще не отделен от означающего орудия: перед трактиром может висеть окорок, который в данном случае не просто является предметом для еды, но является знаком, который можно истолковать как «здесь можно пообедать». В дальнейшем подобного рода знаки, или сигналы, становятся знаками в собственном смысле слова, т. е. обозначающее в них отделяется от них самих как от реальных предметов.

Когда знак выступает, наконец, в виде слова, то этим самым уже происходит полное отчуждение означающего, или знака, от их внезнакового носителя. Как Ю. М. Лотман в данном случае точным образом определяет понятие знака? Он размышляет о некоторой области, которую мы назвали бы смыслом, потому что именно смысл, будучи чем-то нематериальным, вполне отличен и от своего носителя, хотя этот последний неот-

делим от него, и от осмысленного предмета, хотя смысл тоже не отделен от этого последнего. Правда, необходимо сказать, что смысл есть одна из самых трудных философских категорий, и безусловно логически формулировать его — предприятие весьма замысловатое. Здесь мы имеем дело с каким-то особым видом бытия, не материального и не идеального. Иррелевантность всякого смысла и его виртуальная структура вообще редко поддавались в истории философии какому-нибудь точному анализу. Но знак, несомненно, относится к этой области смыслового, не будучи ни материальным телом, которое он обозначает, ни материальным носителем, без которого он фактически невозможен, ни просто такой системой отношений, которые исчерпывали бы его до конца. Недаром Ю. М. Лотман не хочет формулировать категорию смысла. Тем не менее вместо этого он все же дает некоторое его описание, которое заслуживает большого внимания.

Именно Ю. М. Лотман употребляет после слова *знак* выражение «единство обозначающего и обозначаемого» (I 43). Неизвестно, можно ли считать это определение намеренно или случайно данным и является ли оно окончательным. Однако на этих страницах своих «Лекций» он никакого другого определения не дает. По крайней мере, исследователь отдает себе отчет в диалектической природе знака. Тут же Ю. М. Лотман характеризует специфику художественного знака. Она заключается в том, что «в искусстве обозначаемое (содержание) передается всей моделирующей структурой произведения, т. е. текст становится знаком, а составляющие текст единицы-слова, которые в языке выступают как самостоятельные знаки, в поэзии (в литературе вообще) становятся элементами знака» (там же). Из этого можно сделать вывод, что Ю. М. Лотман находит в художественном знаке не что иное, как неделимую целостность художественного произведения. Правда, неделимой целостностью обладают и другие предметы, например, всякий живой организм, который делим только до определенного предела, и если предел этого деления пройден, то организм гибнет. Но что произведению искусства обязательно свойственна неделимая целостность, этого, конечно, отрицать нельзя. И если свой художественный знак Ю. М. Лотман понимает как неде-



лимую целостность, то это несколько не обедняет его понятия знака, а скорее его обогащает.

Нам хотелось бы сделать здесь одно небольшое замечание. Если указанное выше определение знака у Ю. М. Лотмана как «единства обозначающего и обозначаемого» понимать строго логически, то в таком определении неизбежно окажется логическая ошибка *idem per idem*. Ведь для того чтобы знать, что такое обозначающее, уже нужно понимать, что такое знак, и то же самое необходимо для понимания термина «обозначаемое». Не зная, что такое знак, мы не можем представлять себе, что нужно понимать под означиванием. Предполагаемая нами замена этой логической тавтологии определением знака через внутреннее и внешнее могла бы способствовать избежанию указанной ошибки *idem per idem*. Не будем, однако, рассуждать только с точки зрения формальной логики. Ведь *idem per idem* получится только в том случае, если термины «означающее» или «означаемое» мы будем брать только в их существенном содержании. Но, кажется, эти термины можно понимать и чисто структурно. И если это возможно, то *idem per idem* отпадет, а получится совершенно правильное утверждение о тождестве означающего и означаемого в одной единой структуре, которую можно назвать «знаком».

Важна также вторая особенность художественного знака, о которой говорит Ю. М. Лотман. Она заключается в том, что между знаком и его фоном имеется гораздо более сложное отношение в художественном произведении, чем в любой другой знаковой системе. Обычно знаковая система очень четко отделяет себя от окружающего ее фона. Произведение же искусства рассчитано на то, чтобы функционировать за своими собственными пределами, т. е. уже на том фоне, которым окружено данное художественное произведение. У Ю. М. Лотмана читаем: «В искусстве... знак или его смысловоразличающий элемент может одновременно проектироваться на несколько (или на множество) фонов, становясь в каждом случае посетителем различной семантики... Таким образом, понятие знака в искусстве оказывается строго функциональным, определяемым не как некая материальная данность, а как пучок функций» (I 44—45). Подобного рода художественный функцио-

пализм можно только приветствовать, поскольку он вызван намерением учитывать всю значимость художественного произведения как чего-то живого и способного в этом смысле воздействовать на все окружающее. И еще в одном смысле, по Ю. М. Лотману, соотношение означающего и означаемого в обычном языке — одно, а в поэзии — совсем другое. В общем языке означающее и означаемое связаны только условно, только конвенционально; напротив, «то, что знак в искусстве выступает одновременно как модель, а паралог объекта (объективной действительности, предмета изображения), сколь бы абстрактна эта модель ни была, снимает вопрос о произвольности отношения обозначающего и обозначаемого» (45). А отсюда Ю. М. Лотман делает еще более глубокий и еще более ответственный вывод, что «раздельное изучение плана содержания и плана выражения в искусстве невозможно» (там же).

Мы бы заметили здесь, что мнение о конвенциональности означающего и означаемого, вероятно, значительно устарело. Раньше всегда говорили об условности всякого словесного обозначения, поскольку, теоретически рассуждая, каждый предмет можно назвать по-разному, да так оно и происходит в разных языках, когда мы их начинаем сравнивать один с другим. Но это старое учение о конвенциональности или условности базировалось на понимании слова как пустого звука, а предмета, обозначаемого словом, — как только объективной данности. В настоящее время рассматривать таким способом соотношение языка и мысли никак невозможно. Мы теперь различаем денотат как просто объективный предмет, независимый ни от какого его обозначения, и десигнат как тоже объективный предмет, но который уже рассмотрен с познавательной и обозначительной точки зрения и в котором поэтому уже выделены и подчеркнуты одни элементы и отодвинуты в сторону другие элементы. В таком случае слово едва ли нужно расценивать как чистую условность. Оно отражает собой огромную историческую реальность и тем самым ярко подчеркнутую невозможность понимать его как угодно. Семантика всякого словесного знака весьма ограничена и ни о какой условности говорить здесь не приходится. Впрочем, это наше замечание имеет сторонний характер.

Представляется весьма важным и еще один момент. Художественное произведение, которое, как сказано выше, играет по преимуществу функциональную роль, окружено фоном, вернее, самыми разнообразными фонами, на которые оно рассчитывает воздействовать. Это не значит, думает Ю. М. Лотман, что обязательно должны существовать какие-то субъекты, так или иначе воспринимающие данное художественное произведение. Это не значит и того, что благодаря окружающему фону нечто внешним образом «примышляется» к данному художественному произведению. Само художественное произведение уже содержит в себе самом те или иные возможности воздействовать на окружающее, будь то субъективное или объективное бытие. «Внетекстовые отношения не «примышляются» — они входят в плоть художественного произведения как структурные элементы определенного уровня» (166).

Чтобы уяснить себе знаковую терминологию тартуских томов, надо указать и еще на один ряд мыслей, без которого специфика этой знаковой терминологии никак не может получить для себя хотя бы приблизительной формулировки. У Ю. К. Лекомцева (III 124) — что весьма характерно именно для современного терминологического разноречия — дается еще новое определение «выражения» и тем самым знака, плохо совместимое и с терминологией Ю. М. Лотмана, и с терминологией автора настоящей статьи: «Под выражением понимается набор линий или пятен, цветных или тональных... Выражение разделяется на элементы, которые могут группироваться в эквивалентные классы (прямые линии, кривые незамкнутые, кривые замкнутые и т. д.) и иерархические классы (например, по площади пятен). нас в данный момент не интересует процедура анализа выражения: необходимо лишь подчеркнуть, что выражение может рассматриваться как некоторая структура, в которой элементы подчинены определенному синтаксису». Мы не стали бы говорить о выражении, по Ю. К. Лекомцеву, если бы здесь не присутствовал термин «знак» (127): «Выражение построено из некоторого множества элементов восприятия, на сочетаемость которых наложен ряд ограничений (синтаксический аспект прекрасного). Такое выражение в отношении репрезентативной информации выступает как знак-изображение». Таким

образом, знак, по Ю. К. Лекомцеву, есть, попросту говоря, выражение, определенным образом сконструированное. Это звучит, однако, уже совсем иначе, чем мы находили у Ю. М. Лотмана. И приведенная у нас мысль Ю. К. Лекомцева отнюдь не случайна. В других местах он выражается еще определеннее. Он пишет, например (124): «Понятие знака явно или скрыто связано с противопоставлением я и не-я, т. е. носит гносеологический характер». Или (122): «Знаки — это неизбежная форма связи человека с внешним миром и с себе подобными». Подобного рода высказывания вовсе не свидетельствуют о том, что здесь проводится какая-то особенная знаковая теория. Здесь просто говорится о том, что язык есть орудие общения, как это мы и вообще говорим на первых лекциях по языкознанию. Но в таком случае необходимо ожидать и такого учения о языке, которое не свидетельствовало бы о его застывшем, мертвом и математически знаковом характере. Сама знаковость должна обладать разной насыщенностью и разной степенью жизненного наполнения. У Ю. К. Лекомцева так оно и выходит. Пользуясь очень глубоким и сложным исследованием Ч. Пирса, он берет из него, однако, самое простое и понятное, а именно делит знаки на три типа (123). Первый тип знаков — это «знак-изображение (icon). Соответствие его с объектом (классом денотатов) носит характер непрерывного или в широком смысле приближающегося к непрерывному, например рисунок дерева и дерево». Второй тип знаков — это «знак-индикатор (index). Соответствие между ними не непрерывное, неоднозначное, носящее статистический характер; например, дым — индикатор огня». И наконец, третьим типом знаков является, по Ю. К. Лекомцеву, «знак-символ (symbol). Дискретный характер соответствия. В логических языках соответствие между классами денотатов и символов имеет тенденцию к взаимной однозначности». Можно сколько угодно спорить с подобного рода типологией знаков, но нам она представляется довольно интересной и достаточно определенно свидетельствующей как о степени смысловой насыщенности знака, так и о сближении знаковости и символичности, когда символ является только предельно обобщенной знаковостью.

Но все же употребление термина «знак» в рассмат-

риваемых у нас сейчас работах связано с опасностью, которую мы назвали бы своего рода фетишизацией знака. Нельзя излагать учение о знаках, забывая о том, что для знака необходимо означаемое и что знак, взятый сам по себе, ни в каком случае не терпит абсолютизации. Ведь даже и в математике, которая вся насквозь пронизана разного рода знаками, сначала мыслится предмет обозначения, который и осмысляет собой ту или иную знаковую систему. Элементы, из которых состоит треугольник (три отрезка прямой, «углы», «вершина», «высота»), допустим, можно назвать знаками. Но сам треугольник уж во всяком случае не есть знак, но только обозначаемое и даже больше того. Разумеется, нет фетишизации знака, когда в тартуских исследованиях ясно, где — знак обозначаемого, которое само по себе вовсе не есть знак (хотя и связан с ним существенно) и где — само обозначаемое. Ю. К. Лекомцев в статье «Об алгебраическом подходе к синтаксису цветов в живописи» (VII 193—205), можно сказать, прямо-таки увлекается знаковой терминологией, доводя ее до алгебраического метода; тем не менее это «алгебраическое» употребление термина «знак» не нарушает требования реализма в какой-нибудь недопустимой форме. Здесь вполне можно разобраться, какие цвета имеются в виду, как они располагаются и какое между ними существует соотношение. Пользоваться ли здесь обязательно алгеброй — это, мы бы сказали, дело вкуса; алгебраичность едва ли здесь служит интенсификации гносеологического реализма, но она ему несколько не мешает (тут, правда, скорее не алгебра, а стенография).

Мы могли бы теперь подвести некоторого рода итог — и пусть тартуские исследователи извинят автора настоящей статьи за приближенность этого итога.

Во-первых, этим исследователям не чуждо полное отождествление — на некоторой элементарной ступени — знака вещи и самой вещи (окорок, висящий над трактиром, есть самый настоящий знак «здесь можно пообедать»).

Во-вторых, в нормальном случае у этих исследователей знак вещи не только отличен или отделен от вещи, но обладает вполне несвещественным характером. Он есть смысл вещи, выражение вещи, но никак не сама вещь.

В-третьих, знак вещи нечто в пей обозначает и потому является ее обозначением. Тем не менее знак существует только там, где имеется тождество означающего и означаемого. Ю. К. Лекомцев прямо цитирует Л. Витгенштейна (III 128): «В образе и в отображаемом должно быть нечто тождественное, чтобы первый вообще мог быть образом второго».

В-четвертых, то, что у исследуемых нами авторов называется знаком, часто весьма близко к тому, что можно было бы назвать выражением. Вспомним, что под знаком Ю. М. Лотман понимает прежде всего единство внутреннего и внешнего, а это близко к тому, что автор настоящих строк называл во многих своих работах по эстетике выражением, или выразительной формой (см., например, ст. «Эстетика» в пятом томе «Философской энциклопедии»). Нам представляется, что с таким толкованием термина «знак» Ю. М. Лотман должен вполне согласиться. И если бы он везде вместо термина «знак» употреблял термин «выражение» или «выразительная форма», то едва ли кто-нибудь стал бы возражать. Правда, для Ю. М. Лотмана существует большое препятствие толковать свой знак как выражение, потому что термин «выражение» имеет у него совсем другой смысл, а именно как противоположность «содержанию». Однако и это терминологическое расхождение, как нам кажется, можно было бы легко преодолеть, потому что, по Ю. М. Лотману, в художественном произведении выражение и содержание есть одно и то же. Нужно только термин «выражение» понимать достаточно широко, как это уже не раз предлагалось в науке. Но тогда уже придется согласиться и с тем, что термин «знак» у тартуских исследователей мало чем отличается от термина «выражение», анализируемого во многих работах, в частности автора настоящей статьи.

В-пятых, знак понимается в Тарту также и весьма близко к термину «символ». Здесь мы очень часто встречаем указания на связь внутреннего содержания или внутренней жизни предмета и его внешней выразительности. Мало того, эта связь толкуется у приводимых нами авторов иной раз вовсе не статично, но вполне динамично и даже бесконечно разнообразно в своей динамике. Даже то разложение символической функции действительности в бесконечный ряд, которое автор данной

статьи постулирует в своих работах, несомненно, находит свой аналог, по крайней мере, в работе Ю. М. Лотмана «Лекции по структуральной поэтике». Ведь в этих «Лекциях» требуется, чтобы уже само художественное произведение в самом же себе содержало всевозможные потенции своего проявления во внешней среде. А это значит, что «знак» у Ю. М. Лотмана насыщен бесконечными смысловыми возможностями, что мы как раз и признаем существенным для понятия символа. Таким образом, оба научных метода, и тартуский, и принадлежащий некоторым теоретикам символа, например, автору этих строк, как будто бы сближаются.

Наконец, в-шестых, некоторос впечатление негативности от этих семи томов получается в результате того, что здесь постоянно избегается философский анализ предмета. Разумеется, каждая наука имеет полное право излагать свои материалы своими специальными методами. Но слишком настойчивое и убежденное привязывание всякого разбираемого материала к термину «знак», несомненно, накладывает нежелательный и слишком узкий отпечаток на все эти исследования. Ведь здесь в конце концов может сложиться впечатление, что в слове, в языке и в художественном произведении, а также в быту, в мифологии, в религии, в культуре и вообще во всей человеческой истории ничего не существует, кроме знаков. Когда в средние века возник спор между номиналистами и реалистами, то номиналисты так и утверждали, что единичное существует реально, а вот общие понятия — это только слова. Как выясилось в нашем анализе, учение о знаках у тартуских авторов мало чем напоминает номинализм. Тем не менее сам термин-то «знак» во всяком случае имеет для многих наших современников номиналистическое происхождение. Не лучше ли будет вместо «трудов по знаковым системам» говорить о «трудах по символическим системам»?

Намеренное избегание философского анализа и перенасыщенность термином «знак» вносят во все эти часто весьма ценные и глубокие исследования односторонность, в результате которой многие литературоведы чересчур поспешно снижают значимость тартуских исследований и не хотят учитывать того большого вклада в науку, который в них содержится. То, что в художественном произведении изучение знаковой области весьма

полезно и даже необходимо, это признают все. Но когда оказывается возможным думать, что в художественном произведении вообще ничего, кроме знаков, не существует, то многие начинают — без достаточного основания — смущаться и не отдавать необходимой здесь дани справедливости. И когда знак мало чем отличается от понятия, выражения, символа, художественной формы, художественного образа, метафоры и т. д., то невольно возникает терминологический разнобой, который мешает разбираться здесь в самом главном. В Тарту (правду сказать, весьма туманно) намечаются следующие различные значения термина «знак»: 1) знак как иррелевантная и только виртуально-смысловая область, ни вещь, ни идея вещи, ни психологическое представление о вещи, ни носитель вещи, ни значение вещи, когда вещь толкуется только как она сама и ничто другое; 2) знак есть определенная система отношений между означаемым, означающим, носителем знака и значением знака; 3) знак есть совпадение означающего и означаемого, т. е. внутреннего и внешнего в означаемом предмете, или выраженные предмета; 4) знак предмета есть та или иная степень выразительно-смысловой предметности; 5) знак предмета не есть еще структура предмета, но только результат ее требующей своего признания информации; структура же предмета есть его единая цельность, т. е. всегда обязательно система тех или других внутренних отношений в нем, определяющая собой, в свою очередь, и внутреннюю расчлененность знака как информации об этом предмете; 6) знак есть интерпретирующий акт и в отношении внезнаковой предметности, т. е. в отношении денотата, и в отношении понятийного содержания предметности, и в отношении результата той или иной понятийной обработки объективной предметности, т. е. в отношении словесной конструкции объективной предметности или в отношении десигната; 7) знак предмета отличается от его значения тем, что он является принципом интерпретирующего осмысления той или другой внезнаковой области (так, в латинском языке слово *signum* есть знак, но уже в школьном словаре в результате функционирования этого знака в тех или других внезнаковых областях перечисляются такие, например, значения этого знака: «ум, мышление, рассудок, размышление, обдумывание,



рассудительность, образ мыслей, настроение, характер, душевный склад, душа, сознание, совесть, мужество, бодрость, гнев, страсть, мысль, представление, воспоминание, смысл, мнение, взгляд, воззрение, намерение, решение, план, желаниис»). Повторяем: поскольку слово *знак* обладает огромным количеством значений, то его удобнее будет называть «символом».

Все эти семь пунктов понимания знаковости (фактически их гораздо больше) находятся в противоречии одни с другими. Так, первый пункт при своем абсолютном применении превращает всякое исследование в номиналистическое или феноменологическое описание. Второе понимание знака, превращающее его в систему отношений, лишает его устойчивой смысловой значимости и т. д. и т. д. Только весьма трудный и весьма тонкий философски-диалектический анализ может совместить их в одно целое и из элементарной путаницы превратить в непоколебимую систему диалектических противоположностей. Впрочем, тем самым мы по существу уже признаем, что в тартуских тсориях, пусть не всегда явно, содержится очень много безусловно правильных и потому необходимых элементов. Знак вещи действительно и неотделим от самой вещи, и его вполне необходимо отличать от нее. В истории литературы, как и вообще в истории культуры, знаковость играет огромную роль. Но при изучении художественной формы можно и вообще обойтись без термина «знак». Так иной раз поступают и сами тартуские авторы, например, тот же Ю. М. Лотман в статье «Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века» (VII 120—142).

Как мы говорили, при ограничении области термина и при условии философски-диалектического сведения всех содержащихся здесь противоречий в одно целое можно избежать терминологической и понятийной путаницы. А по большей части в этих тартуских исследованиях вовсе не содержится никакой формалистической узости и никакого терминологического разнобоя. Ввиду злоупотребления термином «знак» многие при чтении этих томов становятся в тупик. Но если тартуские исследователи хотят для себя достаточно широкого признания, то им нужно рассчитывать не только на таких читателей, которые могут исследовать их труды в целой специально этому посвященной статье.

# О пропозициональных функциях древнейших лексических структур<sup>1</sup>

## Вступительные замечания

1. **Универсальная роль предложения.** В наших работах мы уже не раз опровергали тот тезис, что язык состоит из одних только изолированных слов. И если из чего и состоит язык, то разве только из целых предложений. Ведь язык есть орудие общения, а общение предполагает те или иные высказывания, понятные тем, кто владеет данным языком. Но высказывание чего-нибудь о чем-нибудь есть приписывание чего-нибудь чему-нибудь, частичное или полное отождествление чего-нибудь с чем-нибудь или, попросту говоря, предсказывание чего-нибудь о чем-нибудь, т. е., выражаясь грамматически, то или иное предложение. В современной науке роль предложения, а также его различные формы и типы изучены весьма глубоко. И можно сказать, что никакой лексики без предложения вообще в живом языке не существует. Всякая живая лексика уже так или иначе пропозициональна.

Однако имеет смысл именовать многие формы предложения в архаических языках именно пропозициональными. И это потому, что в некоторых языках пропозициональность выдвигается особенно ярко, вплоть до того, что предложение и отдельное слово в их фактическом употреблении вообще никак не различаются. Их различает только современная наука во всеоружии своих абстрактно-логических и абстрактно-грамматических методов. Это и заставило нас в данном месте понимать так называемый шкорпорированный строй именно как область пропозициональной лексики, пока отвлекаясь от того, что пропозициональна вообще всякая лексика во всех человеческих языках.

---

<sup>1</sup> Статья была напечатана в кн.: Проблемы современной и исторической лексикологии. М., 1979, с. 3—13 (в сокращении).

2. Язык и мышление. Это является теперь уже старой-престарой проблемой, нашедшей для себя множество разных ответов, то более, то менее основательных и обстоятельных. Решать эту проблему в настоящем месте нашей работы мы не будем. Однако имеются два обстоятельства, на которые во всяком случае необходимо обратить самое серьезное внимание.

Первое обстоятельство заключается в том, что всякий универсальный тип предложения связан как с определенным пониманием действительности, о которой повествует предложение, так и с определенным типом мышления, выражаемого в данном предложении. Мы стоим на той точке зрения, которая самым отчетливым образом уже выражалась в марксистско-ленинской литературе и в трудах автора данной работы. Именно язык есть действительность мышления, определенным образом осуществленное и организовавшее мышление. Поэтому ни в этой, ни в других наших работах мы не можем ни в какой, даже в малейшей, степени сомневаться в связи языка с объективной действительностью и с субъективным мышлением человека. Основные типы языка, т. е. основные типы предложения, должны быть изучены во всех своих связях как с определенными типами действительности, так и с определенными типами мышления. Для нас это является аксиомой, какие бы частичные и односторонние исследования из этой области мы ни предпринимали.

Второе обстоятельство сводится к весьма существенному ограничению этой нашей аксиомы, непоколебимой в своей основе. Дело в том, что один вопрос — о теоретической, т. е. чисто *логической*, связи данного типа предложения с данными типами действительности и мышления и совсем другой вопрос — о *фактической* и исторически наличной связи всех этих областей. Чисто логическая связь, конечно, кое-где, может быть, и существует фактически. Но если обращаться к историческим фактам, то история языков повествует нам о невероятной усложненности этой связи, которая доходит вплоть до полной неузнаваемости.

Это ведь касается не только предложения. Любой уровень языка, взять хотя бы чисто фонетический, поражает своей пестротой, своими едва заметными, а иной раз и совсем незаметными переходами от одного состоя-

ния к другому. В каждом языке, например, можно с большой точностью установить особенности того или иного диалекта. Фактически эти диалекты представлены в каждом языке в виде тех или иных фонетических, семантических, грамматических и вообще стилистических *ландшафтов*, в которых далеко не всегда удается разобраться в дозировке наличия совершенно разнообразных диалектов.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что тип предложения, логически связанный с определенной мифологией, у тех или иных представителей данного языка уже больше не связан с мифологией, а связан с каким-нибудь другим, гораздо более позитивным отношением к действительности. Да и формально чистая агглютинация, т. е. аморфное склеивание звуковых комплексов, фактически вдруг объединяется с элементами самой настоящей морфологии, хотя в логическом плане эта морфология связана совсем с другим типом мышления. Поэтому мы говорим о типах предложения только *в связи* с типами действительности или с типами мышления, а связь эта всегда очень пестрая и иной раз доходит до своего полного самоотрицания. Было бы большой наивностью на основании типов предложения строить всю историю логической мысли человека, хотя изучение истории логики и невозможно без изучения истории типов предложения. В наших работах мы ограничиваемся только установлением именно логической связи типов предложения с типами действительности или мышления. Но мы оставляем в стороне ландшафтную картину всех этих связей на ответственности фактических работников в области фактических языков, строго определенных по своему времени и пространству. Нужно прямо сказать, что те логические связи, о которых мы будем говорить, именно чисто логические, что они на самом деле вне времени и пространства, как существуют вне времени и пространства и таблица умножения, и любое математическое доказательство. В этом нет ничего плохого. Наоборот, такого рода логическая специфика не только не мешает изучению фактов, но впервые только и делает это изучение возможным.

**3. Из литературы вопроса.** Наша настоящая работа не имеет целью обследование соответствующих архаических языков, для которых характерны те или иные ори-

гинальные типы предложения. Автор вовсе не является специалистом по этим архаическим языкам и лишь пользуется результатами исследований специалистов. Ни описания фактической картины того или другого типа архаического предложения, ни установления самих типов архаического предложения автор, как неспециалист, совершенно не касается. И примерами разного рода предложений, и установкой самих типов архаического предложения автор пользуется в том виде, как это содержится в исследованиях по данному вопросу, которые будут перечислены ниже. Единственная задача, которой занимается автор, — это анализ не им установленных типов архаического предложения с точки зрения их логических связей с разными типами действительности и разными типами мышления. Эта задача ставилась редко, и если ставилась, то до сих пор нигде еще не получила ясного и определенного решения. Именно такая задача и ставится в нашем исследовании. Что же касается описательной и фактической стороны архаического предложения, то автор не может брать на себя в этом деле ответственность, которая лежит на прямых специалистах по этим архаическим языкам. Сейчас мы и укажем несколько работ, по преимуществу советских и вышедших главным образом за последнее десятилетие. Если читателю угодно будет не ограничиваться приводимыми у нас примерами, а рассматривать указанные вопросы более подробно, ему необходимо обратиться к этой литературе.

Основные типы архаического предложения вместе с достаточно ясным их описанием можно найти еще в работе И. И. Мещанинова «Общее языкознание», изданной в 1942 году. Работа того же автора под названием «Члены предложения и части речи» впервые была напечатана в 1945 году<sup>2</sup>.

Отметим еще следующие работы: «Проблемы лингвистической типологии и структуры языка» (отв. ред. В. С. Храковский. Л., 1977); «Принципы типологического анализа языков различного строя» (отв. ред. Б. А. Успенский. М., 1972) (переводы статей иностранных авто-

---

<sup>2</sup> Первая работа переиздана в сборнике И. И. Мещанинова под названием «Проблемы развития языка» (Л., 1975). Вторая переиздана под тем же названием (Л., 1978).

ров); Г. А. Климов. Типология языков активного строя (М., 1977); «Язык и мышление» (отв. ред. Ф. П. Филин. М., 1967); В. З. Панфилов. Взаимоотношение языка и мышления (М., 1971). Работы об эргативном строе будут указаны ниже в соответствующем разделе.

## Инкорпорированный строй

1. **Сущность инкорпорации.** Если бы мы захотели начать с наиболее архаического строя предложения, то нам предстояло бы прежде всего расстаться с нашим обычным синтаксисом, характерным для индоевропейских языков, и окунуться в большую историческую глубину, где предложение даже еще не имеет своих выработанных членов и даже еще не имеет четко выраженных частей речи. Для этого необходимо проанализировать именно палеоазиатские языки и сходные с ними индейские языки Северной Америки, куда должны войти также многие австралийские и африканские языки. Конечно, теоретически можно и нужно предполагать еще более древнюю стадию языкотворчества; но палеоазиатские языки имеют то преимущество, что еще до сих пор сохранились — и притом на территории Советского Союза — их живые представители, которые при всей их малочисленности все же вполне доступны живому изучению. Таковы языки, изучавшиеся нашими советскими лингвистами: унаганский (алеутский), нымыланский (коряцкий), одульский (юкагирский), чукотский (луораветланский) и др.

Эти языки представляют собой очень пеструю картину в смысле исторического развития, отражая в себе явления отнюдь не какой-нибудь одной и отнюдь не наиболее архаической ступени. Тот синтаксис, который можно считать наиболее древним, переплетается здесь с более поздними его формами, так что этот наиболее древний синтаксис имел свою кульминацию, вероятно, в еще более древней человеческой речи, которая в настоящее время уже недоступна непосредственному изучению. С этого наиболее древнего синтаксиса, который можно находить в указанных палеоазиатских и северо-

американских языках в виде более или менее интенсивных архаизмов, мы сейчас и начнем.

Этот синтаксический строй в настоящее время получил название *инкорпорированного* (от латинского выражения *in corpore*, что значит «в целом», «целиком», «без разделения»). Сущность его заключается в том, что речь здесь еще не знает отдельных частей речи и отдельных членов предложения. Предложение строится здесь путем простого комбинирования разных основ или корней без всякого их морфологического оформления, путем простого нанизывания, в результате чего и образующиеся из них предложения являются в то же самое время не чем иным, как одним словом. Инкорпорация есть, таким образом, комплексное слово-предложение.

Так, например, в колымском диалекте одульского (юкагирского) языка мы имеем такую фразу *asayuolso-gotoh*, где *asa* означает «олень», *uol* «видение» и *so-gotoh* «человек». Другими словами, это есть «олень-видение-человек», что в переводе на русский язык означает «человек увидел оленя». Здесь, впрочем, *h*, которым оканчивается слово со значением «человек», является уже именным показателем и тем самым намекает выделение имени как такового. Но лингвисты приводят и такие примеры, где нет ровно никаких именных показателей, где все слова можно одинаково считать и именами и глаголами и где все предложение действительно выражено при помощи только одного и единственного слова. В тундренном диалекте того же одульского языка имеем такое предложение — *koriedilenbu-pil* буквально «волк-олене-убивание», что по-русски означает «волк оленя убивает». В унанганском языке *igya-n* «байдарка» *si* указывает на действие, *ku* — элемент времени. Отсюда возможно такое предложение *igya-si-ku-h* буквально «байдарка-делать-теперь-он», что по-русски означает «он делает байдарку».

Анализируя эти примеры, мы убеждаемся, во-первых, в том, что ни один элемент, входящий в эти предложения, не является тем, что мы могли бы назвать частью речи, так как часть речи, как мы ее понимаем теперь, обладает теми или иными формальными признаками или тем или иным синтаксическим значением. Все элементы инкорпорированного предложения в этом смысле совершенно аморфны, так что один и тот же

звуковой комплекс может обозначать здесь и «убийство», и «убивать», и «убийственный», и т. д. Во-вторых, ни один из элементов этого инкорпорированного комплекса не является также и членом предложения. Единственным синтаксическим принципом является в приведенных примерах только порядок самих элементов, поскольку определяемый предмет (по-нашему — подлежащее) ставится здесь после определения. Поэтому в первом примере «подлежащим» является человек, «сказуемым» — видение и элементом, уточняющим это «сказуемое», так сказать его дальнейшим определением, — олень. Таким образом, для грамматических категорий подлежащего, сказуемого и дополнения здесь не имеется ровно никаких формально-грамматических показателей.

Еще раз напомним, что чистая инкорпорация в известных нам языках есть только архаизм или рудимент и что в палеоазиатских языках, которые доступны конкретному изучению, мы находим, собственно говоря, скорее становление частей речи и членов предложения, чем их полное отсутствие. Так, в нымыланском (корякском) языке специалисты<sup>3</sup> свидетельствуют, что понимаемые нами как суффиксы звуковые комплексы являются в сущности словами или основами слов, что между глаголами и именами весьма трудно провести границу и что эта аморфность существует здесь наряду с весьма развитой морфологической системой. Таков следующий пример из этого языка: *пакопанчанҕоҥвоҥпав* — буквально это значит: «они брюхо выходить начинают (заставлять) их». Русский же литературный перевод — «они потрошат». Здесь: *па* — префикс, указывающий на подлежащее 3-го лица множественного числа («они»); *ко* — префикс настоящего времени; *панча* — основа «брюхо», «живот»; *ҥто* — основа глагола «выходить, вылезать»; *ҥво* — глагольный аффикс, означающий продолжительность действия и одновременно основа глагола «начинать»; *ҥ* — суффикс настоящего времени; *пав* — суффикс глагольного словообразования действительного залога при подлежащем

---

<sup>3</sup> Эти сведения мы берем из издания «Языки и письменность народов Севера» (ч. III, М.—Л., 1934, с. 51 сл.), не являясь специалистами в данной группе языков.



3-го лица множественного числа и дополнении 3-го лица единственного и множественного числа («они» — «их»). Коряцкие префиксы, аффиксы и суффиксы часто внешне осязательно для специалистов являются просто словами или основами слов: *ηvo* — суффикс продолжительности действия — чистый корень глагола *начинать*, *tku* — суффикс перемещающегося действия — чистый корень глагола *кончать*, *tva* — суффикс, придающий глагольное значение предметной основы и одновременно суффикс «обратного действия», корень глагола *быть*, *пребывать* и т. д. Таким образом, инкорпорация здесь уже находится на пути морфологического оформления.

Итак, теперь мы и спросим себя: что же это за мышление, что это за абстрагирующая деятельность и что это за познание, если выражением для всего этого является синтаксис, в котором нет ни частей речи, ни членов предложения, ни даже морфологии, а имеются только непосредственно склеиваемые звуковые комплексы и если единственным намеком на синтаксис является только порядок в расположении этих значимых, но вполне аморфных звуковых комплексов, и если нет даже и слов или предложений, а есть только единое и бесформенное слово-предложение? Из этих поразительных особенностей инкорпорированной грамматики и логики мы и рассмотрим отдельно отсутствие морфологии, отсутствие частей речи, отсутствие членов предложения и порядковый характер постановки определяющего и определяемого. Здесь не только нет склоняемых имен или спрягаемых глаголов, но нет и самого разделения на имена, глаголы и прочие части речи; а уже отсюда само собой вытекает, что здесь не может быть и членов предложения.

**2. Отсутствие морфологии.** Поскольку язык, с точки зрения марксистско-ленинской теории, есть не что иное, как практически осуществленное и действительное мышление, ясно, что отсутствие морфологии, т. е. изменения слов, должно быть результатом и соответствующего мышления. Это значит, что инкорпорированное мышление тоже не содержит в себе никаких изменяемых элементов. А так как мышление, с точки зрения марксистско-ленинской теории, есть не что иное, как один из видов отражения действительности, то, очевидно, для инкорпорированного мышления и действительность ка-

жется состоящей из таких элементов, которые не изменяются в результате своего взаимодействия с другими элементами.

Как же это может быть? Ведь если никакая вещь не рассматривается в своих изменениях под воздействием других вещей, это значит, что в них не фиксируется ясного отличия от прочих вещей и не фиксируется их собственной ясной структуры. Только потому, что вещи мыслятся здесь в виде расплывчатых чувственных пятен, в виде каких-то бесформенных агрегатов, только поэтому мышление и не фиксирует здесь всех четких изменений, происходящих с вещами в контексте их взаимодействия.

Итак, *отсутствие морфологии в инкорпорированном грамматическом строе свидетельствует о том, что инкорпорированное мышление оперирует исключительно только с бесформенными расплывчатыми, неанализируемыми чувственными пятнами.* Это не значит, что человек на данной ступени своего развития совсем не фиксирует никаких различий в вещах, поскольку известного рода различия в вещах и их изменения воспринимает даже животный индивидуум. Но это значит, что изменения вещей доступны здесь только ощущению и восприятию, а никак не мышлению. Мышление здесь еще бессильно разобраться в том множестве чувственных вещей и их изменений, которое подается ему ощущением и восприятием, пусть хотя бы даже и очень острым или очень четким.

Однако эту концепцию размытых пятен инкорпорированного мышления необходимо углубить и уточнить в одном очень существенном отношении.

Именно обратим внимание на морфологию *с точки зрения различия между основой слова и многочисленными оформителями этой основы*, в частности, например, флексией. Основа слова есть то, что в слове не меняется и что составляет его сущность, его исходную семантику; многочисленные же оформители этой основы есть то, что превращает ее в фактическое слово, в его конкретную семантику. Как мы видели, инкорпорированный комплекс, имеющий значение слова, не содержит в себе ни основы слова, ни его оформителей. Слова тут не склоняются, не спрягаются и не входят ни в какие взаимные согласования. Это и есть настоящее отсутст-

вие морфологии, о котором мы говорили выше вообще и о котором сейчас говорим более специально. Эта поразительная особенность инкорпорации, конечно, не может пройти бесследно для мышления; и сейчас мы формулируем такую же поразительную особенность и инкорпорированного мышления.

Что такое отсутствие разницы между основой слова и ее оформителями с точки зрения мышления? Ведь это же есть не что иное, как *отсутствие различия между сущностью и явлением*. Отсутствие морфологии в ином смысле есть отсутствие для мышления этих двух сторон действительности, сущности и явления. Для инкорпорированного мышления все на свете одинаково существенно и одинаково является. Для него не существует признаков существенных и несущественных; и это уже по одному тому, что для него не существует и вообще различия между предметом и его признаками. Для инкорпорированного мышления то, что дано в ощущении, то и на самом деле есть. Для него солнце действительно восходит и заходит; и убивает действительно гром, а не молния; а сердце и легкие действительно есть сама субстанция жизни на том только единственном основании, что без них животный организм не может существовать. Но из этой недифференцированности сущности и явления сейчас же вытекает огромной важности следствие для инкорпорированной картины мира.

Если сущность и явление не различаются, то, очевидно, область явлений должна нести на себе все функции сущности, а сущность должна нести на себе все функции явления. Сущность, например, этого стола не находится в этом столе нигде и в то же время везде в нем присутствует, так что эта «стольность» одинаково находится и в ножках стола, и в его верхних досках, и в его покраске, и в его ящиках. Представим себе теперь, что физическое тело есть в то же время и сущность, т. е. что оно не есть только проявление сущности, но именно сама сущность как некая физическая субстанция. В таком случае наше физическое тело тоже должно находиться сразу в разных местах, тоже может быть таким же невесомым и бестелесным, как и всякая сущность, тоже может охватывать собой сразу множество предметов, находясь в их же собственном месте и насквозь их проникая. Однако если мы всерьез предста-

вим себе такую вещь, то мы не ошибемся, если скажем, что эта вещь есть *чудо*. Все чудесное, все сверхъестественное, все волшебное и чародейское, все магическое и сказочное, что есть в первобытном мышлении, с логической точки зрения возможно только потому, что это мышление не различает сущности и явления, переносит функции сущности на мир явлений и материализует то отвлеченное, смысловое, идейное, что по самому своему смыслу не может быть материализовано и что должно только находиться в материи, но не быть самой материей. Получится точь-в-точь, как у тех позитивистов, которых критиковал Энгельс: «Сперва создают абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают познавать эти абстракции чувственно, желают видеть время и обонять пространство»<sup>4</sup>. И это противоречие для первобытного сознания вполне естественно, поскольку абстрактная мысль здесь уже родилась, но продукты этой абстракции все еще продолжают пониматься чувственно.

Ленин так рисует наше современное научное понимание этого вопроса: «Общественное сознание *отражает* общественное бытие»<sup>5</sup> и «Отражение может быть верной приблизительно копией отражаемого, но о тождестве тут говорить нелепо»<sup>6</sup>. И вот, вопреки современному научному и просто здоровому и нормальному культурному пониманию, первобытный человек прямо отождествляет сущность с явлением, идею с материей, понятие с вещью и сознание с бытием. Для него нет отражения одного в другом, а существует просто только тождество одного с другим. И эта нелепость есть тут основной закон мышления и, значит, основной закон открывающейся для мышления действительности.

Если мы теперь вспомним то, что перед этим говорилось о размытости и бесформенности инкорпорированного мышления, то, очевидно; сюда необходимо будет прибавить и то, что эта размытая бесформенная сумбурная действительность является в то же время еще и чудесной, сверхъестественной, магической, вол-

---

<sup>4</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 550.

<sup>5</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 343.

<sup>6</sup> Там же.

шебной и сказочной. Предмет инкорпорированного мышления — это разлитость по всему миру, по всей природе и обществу, это какое-то бушующее море чудес, в котором нельзя сыскать никаких начал и концов, нельзя найти никаких законов или хотя бы твердых контуров, в котором все построено на сплошной неожиданности, на хаотических возникновениях и исчезновениях, на вечном хаосе и беспринципном пагромождении неизвестно каких вещей. Эта характеристика инкорпорированного мышления дается нами чисто логически и кратко формулируется как отсутствие различия между сущностью и явлением. Но, конечно, подобное мировоззрение, как и всякое другое, отнюдь не определяется только логически, поскольку логика вскрывает в нем только его смысловой скелет, но определяется и по своему содержанию, которого мы здесь специально не касаемся. А если бы и коснулись, то нам пришлось бы говорить о той бесформенной, безличной, всемогущей и в то же время чисто материальной силе, которая охватывает в глазах такого мировоззрения весь мир, всю природу и общество, которая всем управляет, но сама есть ничто и совершенно неотличима от хаоса вещей и которая носит у разных племен самые разнообразные названия. Такова знаменитая мана у мсланезийцев, или оренда у ирокезов, или маниту у алгонкинцев, или вакан у сиуксов — феномены, достаточно хорошо изученные в современной этнографии и фольклоре.

Таким образом, отсутствие морфологии в грамматике, логическая структура мышления и цельное мировоззрение на ступени инкорпорации представляют собой нечто единое, которое вполне доступно для изучения и тому языкознанию, и той логике, которые хотят базироваться на учении о единстве языка и мышления.

**3. Отсутствие частей речи.** В инкорпорированном синтаксисе отсутствует не только изменение слов, но и вообще разделение их на части речи. Часть речи есть языковое выражение и практическое осуществление в речи логических категорий. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть те таблицы категорий, которые всегда составлялись и составляются философами. Здесь фигурируют бытие, субстанция, качество, количество, действие и страдание, отношение и т. п. В этом, конечно, не трудно узнать логический аналог таких частей

речи, как существительное, прилагательное, числительное, глагол, предлог и союз, наречие. Ясно, что *отсутствие частей речи в языке соответствует отсутствию логических категорий в мышлении, а отсутствие логических категорий в мышлении есть отсутствие для такого мышления и в самой действительности подобного же рода противопоставления вещей и их свойств, качественных и количественных, их действий и пр.*

Однако этот тезис требует уточнения. Ведь если в мышлении действительно и абсолютно нет никаких логических категорий, то, очевидно, это уже не есть мышление. Если выражаться более точно, то в инкорпорированном мышлении, конечно, логические категории имеются; но они опять-таки даны здесь *в слитном, нерасчлененном и взаимноотождествленном виде*. При этом отождествление осуществляется здесь не как-нибудь внешне или поверхностно, поскольку здесь нет даже самого противопоставления внешних и внутренних сторон в вещах, их видимой поверхности и их невидимой глубины. Отождествление логических категорий, составляющее основу инкорпорированного мышления, есть отождествление совершенно буквальное, субстанциональное, вещественно-материальное, *нумерическое*. Другими словами, все решительно логические категории действуют тут сразу и одновременно, целиком присутствуя в установленных у нас выше чувственных пятнах и присутствуя, конечно, каждый раз по-разному, чем и объясняется возможность мышления, несмотря на отсутствие в нем отдельных логических категорий.

Теперь отдадим себе отчет в том, что означает это нумерическое тождество категорий. Ведь это значит, что, мысля данную вещь, инкорпорированное мышление никак не отличает ее от ее собственных свойств, действий и проявлений. Это значит, что данная вещь присутствует абсолютно целиком и абсолютно субстанционально решительно во всех своих проявлениях, так что здесь невозможно даже и наметить какого-нибудь различия между родом и видом или между целым и частью. Ведь логические категории — это и есть наивысшие роды действительности. Но если неизвестно, что такое род, то, очевидно, неизвестно и что такое вид; неизвестно и что такое единичность. Здесь, однако, залегает самое основное и самое поразительное свойство инкорпориро-

ванной логики, в котором необходимо отдавать себе самый строгий отчет.

Что значит субстанциальное присутствие целого в своей части? Это значит, что с уничтожением или устранением данной части уничтожается и устраняется само целое. Если это целое действительно присутствует в части как такое, т. е. субстанциально и нумерически, а не только внешне и не только видимо, то, конечно, оно должно погибать вместе с гибелью этой одной части. Однако где же в действительности мы находим такие вещи, которые бы характеризовались подобным взаимоотношением целого и частей? Такие вещи суть только *живые организмы, организмы жизни*. Ведь только в этой области мы находим такое положение дела, что с удалением, например, сердца или легких погибает и тот организм, в котором они находились. Ведь только здесь можно реально говорить о том, что целое присутствует в своей части всей своей субстанцией. Этого нет, например, в картине художника, хотя она и представляет собой тоже органическое соединение целого со своими частями. Как ни пронизывают здесь друг друга целое и части, все же тот или иной кусок картины можно замазать и потом воспроизвести его вновь с той же точностью и без всякого нарушения художественной цельности данной картины. Но удалить совсем сердце из организма — это значит убить организм навсегда. Инкорпорированное мышление во всяком случае мыслит все только *органически*, т. е. только так, что целое и каждая его часть тождественны между собой буквально, вещественно, нумерически.

А теперь мы дадим название той идеологии и той логике, которая вырастает в связи с инкорпорированным строем предложения. Эта идеология и эта логика есть *мифология*. Ведь мифологией мы называем именно понимание всего неживого как живого и всего механического как органического. При этом живой организм есть только тот минимум, который вырастает из нумерического отождествления целого и части или общего и единичного. Сюда же относится, конечно, и одушевление, и личность, и бытие социальное, потому что везде в этих областях мы тоже находим такие цельности, которые гибнут с уничтожением тех или иных своих частей. Поэтому мифология, будучи пониманием нежи-

вой действительности как живой, является также и пониманием неодушевленного как одушевленного, безличностного как личностного и несоциального как социального. Логически все это мифологическое понимание коренится только в нумерическом, вещественно-материальном отождествлении целого и частей; и зарождается оно только на ступени инкорпорированного синтаксиса, так что *всякий миф есть не что иное, как логический аналог инкорпорированного предложения*. Будучи лишенным способности соединять и разделять расчлененные категории, человеческий субъект на ступени инкорпорации компенсирует себе недостаток этой способности переносом ее на объективный мир, в результате чего и оказывается, что для такого мышления сами вещи являются носителями этой способности, осуществляя эту способность так, как они это могут, т. е. вещественно же; а это и значит, что они трактуются здесь как живые и одушевленные организмы.

4. **Вытекающая отсюда система мышления.** Если мы теперь объединим в одно целое то, к чему приводит отсутствие морфологии, т. е. понимание действительности, как размытых чувственных вещей, и то, к чему приводит отсутствие частей речи, т. е. мифологию, то мы и получим первое и пока, правда, еще очень общее представление о самом механизме первобытного мышления на ступени инкорпорации. Очевидно, такое мышление имеет дело исключительно с материально-вещественными и чисто чувственными мифами, т. е. *чувственное и материальное необходимым образом воспринимается здесь как мифическое, а все мифическое исключительно только как чувственное и материальное*. Вникнем в сам механизм или, точнее говоря, в метод такого мышления.

Логические категории здесь, как мы видели, даны слитно и нерасчлененно, даны как абсолютное и нумерическое тождество. Но вся действительность здесь сводится только на чувственные вещи. Следовательно, все субстанции, признаваемые здесь, есть только материально-чувственные; и все качества здесь — только материально-чувственные; и так же — количества и все прочие категории. И, кроме того, это значит, что все слитно данные и нумерически отождествленные категории присутствуют целиком в каждой вещи, но каждый



раз по-разному, ибо иначе вещи для такого мышления ничем не различались бы между собой. Другими словами, говоря вообще, для инкорпорированного мышления *все решительно и целиком присутствует или, по крайней мере, может присутствовать во всем*. Да иначе это и не может быть, поскольку инкорпорированное мышление, с одной стороны, не способно ничего расчленить, т. е. всюду мыслит все, что можно, сразу и одновременно; а с другой — оно не было бы и мышлением, если бы вообще не отличало одной вещи от другой. Отсюда-то и вытекает эта логическая разгадка первобытного мышления на ступени инкорпорации, сводящая его на этот принцип «все во всем».

В самом деле, почему ковер-самолет есть миф? Только потому, что здесь неодушевленной вещи приписано свойство летающих птиц или сделанной человеческими руками вещи — свойство летающих по воздуху облаков и туч. Но что это значит логически? Логически это значит, что здесь отсутствует расчленение категорий живого и неживого или расчленение категорий неживого внутри него самого. Эти категории здесь слитны, нерасчлененны, отождествлены, причем отождествление это дано здесь не внешне, не в виде картины или умственного образа и не в виде подчиненности какому-нибудь общему научному закону (как наука объединяет разные вещи или объединяет части с их целым), но совершенно буквально, вещественно, материально, субстанциально, нумерически. Поэтому-то ковер и мыслится здесь летающим на самом деле, а не только в виде нарисованной картины или метафорически. Когда животные говорят в басне, то здесь отождествление категорий неразумного животного и разумного, обладающего способностью речи существа дается не буквально, не нумерически, а только метафорически, только ради иллюстраций той или иной отвлеченной мысли. Когда же в «Илиаде» Гомера с Ахиллом перед его вступлением в бой заговаривают его собственные кони, то это уже не метафора и не басня, но — миф, потому что коням приписывается здесь в подлинном смысле слова способность речи и разума.

Само собой разумеется, отождествление основных логических категорий в первобытном мифомышлении может быть то более, то менее широким. От этого зави-

сит степень чудесности самого мифа или, так сказать, степень его мифичности. Но сам миф только и возможен как нумерическое отождествление логических категорий, подобно тому как само это отождествление возможно на инкорпорированной ступени только как неспособность соединять и разъединять расчлененные категории, только как необходимость мыслить их в каждом отдельном случае все сразу и одновременно или, по крайней мере, ту или иную их совокупность.

Более подробное исследование, чем наше, должно показать в систематической форме все результаты такой системы инкорпорированного мышления. Но *два таких результата инкорпорированного мышления* настолько ясно и просто из него вытекают, что мы их кратко формулируем уже теперь, пользуясь указанным основным принципом и проводя его в несколько более специальной форме, а именно в виде принципа тождества общего и единичного.

Общее и единичное тождественны. Но существуют только чувственно-материальные вещи. Следовательно, и общее есть не что иное, как только чувственно-материальная вещь, и единичное есть тоже не что иное, как чувственно-материальная вещь. Однако это не значит, что род перестал быть родом и вид перестал быть видом. Необходимо себе представить такую чувственно-материальную вещь, которая, оставаясь именно чувственно-материальной, обладала бы в то же самое время и силой родового понятия, т. е. способностью быть чем-то общим и обобщать, порождать из себя все видовое и единичное. А так как в первобытном мышлении в условиях совершенно нерасчленяемой чувственно-материальной действительности всякое обобщение и всякое порождение единичного всегда является обязательно тоже чувственно-материальным, то, значит, наше общее должно быть какой-то универсальной чувственно-материальной вещью или существом, стоящим во главе всех относящихся сюда единичностей и чувственно-материально их порождающим. Это и есть то, что в науке о первобытном обществе называется тотемизмом. Тотем есть именно та вещь или то существо, откуда первобытный человек ведет существование тех или других родов или племен. Тотем — вполне чувствен и материален, но в то же время он — общее, родовое понятие. Это есть

такое общее, которое представлено как самая обыкновенная материально-чувственная единичность.

Так же просто можно формулировать и единичное, которое мыслится в инкорпорированном мышлении. Что это единичное всегда чувственно-материально, об этом и говорить нечего. Но вот инкорпорированное мышление мыслит всякую единичность только в ее тождестве с ее общим, с ее родовым понятием. Следовательно, эта единичная вещь должна действовать на манер общего понятия, т. е. она должна обладать свойствами, гораздо более общими, принадлежащими либо целому роду таких вещей, либо другим вещам. Такая чувственно-материальная вещь, очевидно, есть фетиш. Чудесные целевые свойства трав, цветов, деревьев или даже просто каких-нибудь камней — это есть наделение физических вещей нефизическими свойствами. Оставаясь вполне физическими, они несут на себе гораздо более общее свойство, далеко выходящее за пределы их непосредственной данности.

Таким образом, *тотемизм* и *фетишизм* есть два наиболее ярких и более всего понятных результата инкорпорированного мышления, возникающего на основе неспособности четко разъединять и соединять расчлененные категории, подобно тому, как эта неспособность лежит в основе неспособности различать части речи, т. е. в основе инкорпорированного строя предложения. На вопрос о том, есть ли тут абстрагирующая деятельность мышления и если есть, то какая, необходимо ответить: да, она тут есть, ибо иначе здесь не существовало бы и самого мышления; но то общее, частное и единичное, что получается в результате такой абстракции, является здесь исключительно только чувственно-материальными вещами, причем от этого, конечно, не страдает никакая степень общности.

Точно так же по вопросу о прогрессе мышления и познания на ступени инкорпорации необходимо сказать, что инкорпорация и в грамматике и в логике была для своего времени *огромным шагом вперед на путях развития от животного к человеку*. Как ни бедно инкорпорированное предложение, все же это есть самое настоящее предложение. Ведь до этого мы имеем только животное сознание, состоящее из бессознательных инстинктов и хаоса чувственных восприятий с некоторыми

приблизительными навыками, и, самое большее, некоторого рода совсем бесформенную речь. Но инкорпорированное предложение и инкорпорированное суждение уже не есть этот чувственный хаос. Инкорпорация есть мышление на основе чувственности и в полной зависимости от нее, но отнюдь не просто только сама чувственность. Инкорпорированное предложение членораздельно произносится сознательным человеком, и это предложение понимается другим таким же человеком. Язык здесь, как и везде, уже есть орудие общения. Поэтому инкорпорация есть результат огромного прогресса мыслительной и познавательной деятельности, конечно, превосходящей все те культурно-социальные перевороты, которые человечество имело в своем предыдущем развитии. Переход от животных криков к членораздельной человеческой речи и к языку как орудию личного и социального общения — это самый великий переворот в истории человечества; и потому инкорпорация свидетельствует о небывалых успехах человеческого мышления и познания, которых до сих пор человек не мог достигнуть в течение сотен тысяч лет. Тотемизм и фетишизм есть убогое и вполне иллюзорное мышление и познание. Однако самое неразвитое достижение у человека несравнимо ни с каким самым развитым достижением у самых развитых животных. Ибо тут царство сознания, познания, мышления, общности, личности и осмысленного строительства жизни.

Теперь перейдем еще к другой основной особенности инкорпорации, связанной на этот раз с отсутствием здесь членов предложения.

5. **Отсутствие членов предложения.** Мы видели, что инкорпорированный строй предложения не знает никаких членов предложения, если не считать порядкового характера подлежащего и сказуемого (о чем мы будем говорить ниже). Это отсутствие членов предложения, как и в случае с частями речи, должно быть уточнено. Именно нельзя сказать в абсолютном смысле, что здесь нет ровно никакого подлежащего или сказуемого, поскольку такое отсутствие было бы равносильно отсутствию самого предложения и, следовательно, отсутствию всякого мышления. Члены предложения здесь, конечно, не отсутствуют; но, скорее, они даны здесь опять-таки в *слитном, нерасчлененном, отождествленном виде*. Сле-

довательно, наш вопрос в данном пункте исследования должен быть сформулирован так: что означает для мышления то обстоятельство, которое состоит в недифференцированности, в отождествленности подлежащего и сказуемого в предложении?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо не повторять того, что мы уже знаем как логический результат отсутствия частей речи. А именно тождество подлежащего и сказуемого не есть просто тождество логических категорий, с которыми мы имели дело выше. Ведь предложение не есть просто совокупность слов, как и суждение не есть просто единство понятий. Предложение есть некое высказывание и предсказывание, а суждение есть некоторого рода и акт мысли, ее смысловое *движение*, ее смысловой *переход* от одного момента к другому. Поэтому речь должна здесь идти не просто о тождестве статически взятых элементов, но о том тождестве, которое получается или, вернее, сохраняется при переходе от одного момента к другому. Другими словами, если мы говорим, что А есть В и в то же время учитываем, что А *перешло* в В, то получается, что А и различно с В, поскольку оно перешло к нему, и тождественно с ним, поскольку оно осталось в этом В самим же собой.

Если бы мы захотели подыскать термин, подходящий для характеристики такого положения дела, то, кажется, мы не могли бы найти лучшего термина, чем термин «превращение». Если А перешло в В и в то же самое время осталось самим же собой, то это значит, что оно *превратилось* в В. Поэтому всеобщее, универсальное и притом абсолютно буквальное и абсолютно не метафорическое *взаимопревращение всего во все* — это одна из самых существенных особенностей первобытного мышления на ступени инкорпорации. *Всеобщее оборотничество* — это та идеология, которая не может не возникать для мышления на ступени инкорпорированного предложения и на ступени инкорпорированной логики. Когда Зевс превращается в быка для похищения Европы, то, превратившись в быка, он несколько не перестал быть Зевсом, и возникший бык является самим Зевсом не в переносном, не в картинном или условном, не в каком-нибудь басенном или аллегорическом смысле, но в самом настоящем и подлинном

смысле, в субстанциональном смысле, так что Зевс и бык в данном случае всшественно и материально одно и то же, одно и то же нумерически.

О том, что мотив превращения характерен для мифологии, это все знают уже из общеизвестного Овидия, труд которого по мифологии так и озаглавлен «Превращения». Но у Овидия это не больше как красивая сказка, являющаяся в таком виде одним из излюбленных жанров формалистической и эстетствующей литературы эпохи эллинизма. Здесь он не был выдуман впервые, но мотив превращения был заимствован здесь из глубокой древности и пересажен в литературу в результате общей, и в частности фольклорной, реставрации. В самой же древности это превращение и это оборотничество было универсальным мировоззрением и основным законом как логики, так и природы. Сами понятия здесь, постоянно превращаясь и постоянно без остатка переливаясь друг в друга, были своего рода оборотнями. И вся инкорпорированная логика есть не что иное, как оборотническая логика; и вся природа здесь не только полна оборотнями, но в ней вообще нет для инкорпорированного мышления ни одной вещи и ни одного существа, которое бы не переходило, не переливалось бы без остатка, не превращалось бы целиком и полностью в любые другие вещи и существа или фактически, или, по крайней мере, принципиально.

Да это и понятно само собой, если только мы вспомним, что инкорпорированное мировоззрение — это есть тотемизм и фетишизм. Ведь если вся действительность состоит из тотемов и фетишей, то, очевидно, и отношение между ними тоже тотемистическое или фетишистское. Но оборотничество — это и есть тотемистическо-фетишистское отношение между вещами или существами. Если основной принцип инкорпорации мы формулировали как «все во всем», то, очевидно, это означает также и то, что все способно и превращаться во все. И это тем более, что, не отделяя в вещи ее внешность и ее сущность, первобытный человек, вообще, не знает ничего устойчивого в вещах, и их взаимная превращаемость оказывается тут наиболее естественной и наиболее понятной картиной мира.

Наконец, принцип мышления, вытекающий из недифференцированности членов грамматического предложе-

ния, получает свое особое заострение и еще с одной стороны.

Дело в том, что взаимопресвращаемость и взаимопроницаемость вещей первобытный человек применяет также и к *взаимоотношению своего собственного «я» с вещами*. Можно сказать, что тут-то по преимуществу и разыгрывается в наиболее острой форме вся эта идеология и вся эта логика, основанная на принципе «все во всем». Удивительно, что и свое собственное «я» первобытный человек ничем не отличает от прочих вещей, т. е. не отличает его больше того, чем вообще могут отличаться вещи друг от друга. Иначе говоря, «я» здесь еще не есть «я», но понимается как «не-я», как одно из многочисленных проявлений этого «не-я», как несущественный атрибут объективной действительности вообще. «Я» мыслит здесь себя не как «я», но как иное себе. «Я» здесь целиком и полностью, без всякого остатка переливается в «не-я»; а «не-я» существует также и расценивается так же, как и человек расценивает свое собственное «я». Однако это обстоятельство совершенно испровергает взгляд почти всех буржуазных ученых на первобытное сознание и на первобытную мифологию, как на чисто умственное построение.

Действительно, если для инкорпорированного мышления характерна, как мы видели, идея взаимопроницаемости вещей, то и самого себя такое мышление тоже находит в состоянии постоянной взаимопроницаемости с вещами. А это значит, что такое мышление мыслит себя вовсе не как чистое мышление, но как некую вещь, как некую вполне материальную вещь, способную целиком и полностью изливаться во всякую другую вещь и превращаться в нее. А это, в свою очередь, значит, что *между мыслящим «я» и мыслимым «не-я» совершается и осуществляется не какое-нибудь теоретическое отношение, но чисто производственное*. «Я», которое, очевидно, в этих условиях неотлично от человеческого тела, находится в чисто жизненных отношениях с «не-я»: человек ест, пьет, спит, охотится, разыскивает съедобные растения или их части, имеет половое общение и т. д. и т. д. Вот эта производственная и производительная основа инкорпорированного мышления и проявляется в грамматическом строе как отсутствие дифференцированных членов предложения, как их спо-

собная превращаемость в другого, как безразличная взаимопронизанность субъекта и предиката. Лучше всего об этой стадии языка говорят классики марксизма-ленинизма.

Вот что читаем мы у Маркса на эту тему: «...люди никоим образом не начинают с того, что «стоят в этом теоретическом отношении к предметам внешнего мира». Как и всякое животное, они начинают с того, чтобы *есть, пить* и т. д., т. е. не «стоять» в каком-нибудь отношении, а *активно действовать*, овладевать при помощи действия известными предметами внешнего мира и таким образом удовлетворять свои потребности. (Начинают они, таким образом, с производства.) Благодаря повторению этого процесса способность этих предметов «удовлетворять потребности» людей запечатлевается в их мозгу, люди и звери учатся и «теоретически» отличать внешние предметы, служащие удовлетворению их потребностей, от всех других предметов. На известном уровне дальнейшего развития, после того как умножились и дальше развились тем временем потребности людей и виды деятельности, при помощи которых они удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам этих предметов, которые они уже отличают на опыте от остального внешнего мира. Это неизбежно наступает, так как они находятся в процессе производства, т. е. в процессе присвоения этих предметов, постоянно в трудовой связи между собой и с этими предметами, и вскоре начинают также вести борьбу с другими людьми из-за этих предметов. Но это словесное наименование лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт, а именно, что людям, уже живущим в определенной общественной связи {это — предположение, необходимо вытекающее из наличия речи}, определенные внешние предметы служат для удовлетворения их потребностей. Люди только дают этим предметам особое (родовое) название, ибо они уже знают способность этих предметов служить удовлетворению их потребностей, ибо они стараются при помощи более или менее часто повторяющейся деятельности овладеть ими и таким образом также сохранить их в своем владении»<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 377—378.



Это понимание человеческим «я» себя самого не как себя самого, но как иное себя, как самую обыкновенную вещь среди прочих физических вещей и этот принцип взаимопревратимости вещей или, что то же, производственная сущность отношений между «я» и «не-я», все это есть не что иное, как та ступень мышления, которая соответствует инкорпорированному строю в языке. Все подобные отдельные элементы первобытного языка и первобытного мышления давным-давно нашли свое место в науке и по отдельности часто находят для себя в науке неплохое описание и объяснение. Однако понять все эти отдельные элементы как некое существенное единство — вещь очень трудная; и раскрыть это единство мы и ставим здесь своей задачей.

Остается сказать несколько слов о последней особенности инкорпорации из тех, которые были констатированы выше.

6. **Порядковый характер постановки определяющего и определяемого в предложении.** До сих пор мы говорили об особенностях инкорпорированного мышления в связи с отсутствием тех или других языковых элементов. Теперь скажем о том единственном положительном принципе, который характеризует собой инкорпорацию. Если поставить вопрос о логическом аналоге этого синтаксического принципа, то с первого взгляда поиски такого принципа кажутся бессмысленными. Ведь в суждении субъект и предикат, какими бы логическими теориями мы ни пользовались, всегда связаны между собой или другим смысловым образом, и они ни в каком случае не характеризуются только одним местом своего положения. Разве может быть принципом суждения или умозаключения простой порядок расстановки тех или иных элементов этого суждения или этого умозаключения?

Порядок расстановки подлежащего и сказуемого в предложении указывает на первенство пространственно-временных отношений в предложении. Однако само по себе пространственно-временное отношение вовсе не такая пустая вещь, чтобы не иметь никакого значения для логического мышления. Современная логика учит о множестве так называемых несиллогических умозаключений, в которых пространственно-временные играют весьма видную роль. В умозаключении: «Если А

находится возле В, а В находится возле С, то и А находится возле С», нет ровно никакого подведения вида под род и даже вообще нет никаких понятий, по логическая операция совершается исключительно только по образцу пространственных отношений. Следовательно, если инкорпорированное умозаключение происходит по принципу пространственно-временной конфигурации, то в этом нет ничего особенного и удивительного, поскольку такого рода умозаключения делаются нами на каждом шагу и в науке, и в обыденной жизни, хотя ни в нашем синтаксисе, ни в нашей логике нет никакого и намека на инкорпорацию.

Удивительное и поразительное заключается здесь не в этом, а в том, что принцип пространственно-временной конфигурации является здесь *единственным и непререкаемым* принципом и вообще всего мышления, и, в частности, всякого суждения и всякого умозаключения. Для неопытного глаза опять-таки кажется, что здесь нет никакого мышления. Нет, это неверно. Здесь есть и мышление, здесь есть и язык, ибо здесь люди между собой общаются и общаются не животным, не инстинктивно, не слепо-чувственно, но разумно, в сознании, со взаимным пониманием. Однако, конечно, суждение здесь находится всецело на поводу пространственно-временного восприятия, и умозаключение покоится здесь всецело на принципе пространственно-временной конфигурации.

Этот основной принцип инкорпорированного мышления можно формулировать так: *что имеет значение для какой-нибудь определенной вещи, то имеет значение и для всяких других вещей, если они достаточно близки к ней в том или ином пространственно-временном отношении.* По этому принципу интерпретируются здесь решительно все прочие категории и принципы логического мышления. Возьмем, например, отношение тождества или хотя бы сходства и подобия. То, что здесь сходно, в то же самое время и тождественно, потому что сходство предметов указывает на их физическую близость. Возьмем логический переход от основания к следствию. Основанием для какого-нибудь предмета является здесь всякий другой предмет, если только он во времени предшествует ему и достаточно близок к нему по месту. То же и в переходе от причины к дейст-

вию. Этот переход и эти две категории вовсе здесь не отсутствуют, потому что, повторяем, иначе здесь не было бы и самого мышления о вещах. Однако переход этот, конечно, понимается здесь всецело как пространственный или как временной, так что та ошибка, которая в современной логике формулируется как *post hoc ergo propter hoc*, оказывается здесь одним из самых центральных принципов и умозаключения и мышления вообще.

Приведем для примера несколько умозаключений, как они строятся в инкорпорированной логике.

Жизнь человека кончается с последним вздохом, и мертвый человек не дышит. Следовательно, причина жизни, или душа, есть дыхание.

Дыхание вылетает изо рта умирающего в виде облачка и летит по воздуху. Птицы тоже летают по воздуху. Следовательно, душа есть птица.

Человек умирает в случае большой потери крови. Следовательно, душа есть кровь.

Убитый враг был очень силен. Но сила жизни, или души, есть кровь. Следовательно, чтобы стать таким же сильным, как убитый враг, надо выпить его крови. Также, если душа есть легкие, сердце или почки, то для тех же целей необходимо есть эти органы убитого сильного человека.

Надо убить врага, но изображение врага на картине или в виде куклы есть сам враг. Следовательно, для облегчения замысленного убийства надо проколоть копьем картину или куклу, изображающую этого врага.

Когда луна отразилась в ручье, собака пила из него воду. В этот момент случилось затмение луны. Следовательно, собака здесь проглотила луну.

Женщина, пройдя мимо одной скалы, почувствовала себя беременной. Следовательно, причиной ее беременности является эта скала и прохождение мимо нее. Следовательно, и всякая другая женщина, желающая забеременеть, должна пройти мимо этой скалы.

Порядковый характер определяемого и определяющего в предложении, лежащий в основе всех подобных суждений и умозаключений, является, конечно, огромным и небывалым прогрессом на путях от животного сознания к человеческому. Тем не менее это пока еще ничтожное и совершенно беспомощное мышление, кото-

рое барахтается в необозримом множестве чувственных ощущений и восприятий, совершенно подавлено ими и очень плохо в них разбирается. Если употребить старинную философскую терминологию, впрочем, использованную Марксом для характеристики взаимоотношения общества и индивидуума в первобытной культуре, то можно сказать, что объективный мир, совершенно хаотический и непонятный, является здесь субстанцией, человеческий же индивидуум осознает себя только ее акциденцией, и притом акциденцией случайной, бессильной и беспомощной, подавленной и только способной быть во всецелой зависимости от своей субстанции. Единственно, чего достиг этот индивидуум периода инкорпорации, это — утверждения себя как вообще некоего «нечто». Ведь и вещей-то, как мы знаем, он еще не различает и не расчленяет в должной мере; и вещи-то у него, как мы об этом тоже говорили, тоже являются какими-то непроанализированными пятнами, различающимися между собой исключительно только по времени и пространству. Себя самого этот индивидуум отличает от вещей не больше того, как он отличает одну вещь от другой. Сам для себя он является именно одной из таких бесчисленных вещей, которыми, вообще, заполнено его чувственное восприятие. Поэтому единственный субъект, который здесь известен, будь то человеческий индивидуум или подлежащее в предложении, — это есть здесь пока еще только нечто. Или, другими словами, тут уже известно, что субъект *есть, существует*; но *что именно* он есть, это пока еще неизвестно.

Впрочем, если говорить о субъекте в собственном смысле слова, то его нужно определять здесь совсем иначе. Ведь под субъектом в наиболее развитом типе предложения, а именно в номинативном типе, мы понимаем настолько большую общность, что он является здесь потенциальным и максимально активным источником и носителем бесконечного числа предикаций. Если мы станем искать такой субъект в инкорпорированном слове-предложении, то, очевидно, это не будет его буквальное подлежащее, которое абсолютно пассивно и неповоротливо и которое по этому смыслу никак не оформлено ни морфологически, ни синтаксически, а узнается только по своему месту в предложении. Та-

ким субъектом, действительно полным и живым, действительно активным, а также источающим из себя бесконечные предикации, оказывается только *та объективная вещь* или *то событие*, которое отражено в инкорпорированном слово-предложении и которое в основном дано только чувственно, а в смысле абстрагирующей деятельности мышления представлено только порядком следования членов предложения. Другими словами, инкорпорация есть нечто вроде нашего безличного предложения, где подлинный субъект не выражен в самом предложении, но предполагается вне его в виде той или иной объективной ситуации, а само предложение только и состоит из предиката. Все инкорпорированное слово-предложение является, в сущности говоря, именно таким предикатом, субъектом которого надо считать объективную ситуацию, зафиксированную в самом предложении. Это свидетельствует о том, что инкорпорированное предложение есть только самый первый шаг абстрагирующей деятельности человеческого мышления, который фиксирует в субъекте отнюдь не всю его полноту и жизненность, но только тот единственный момент, что он есть нечто, т. е. что он есть некая вещь среди прочих вещей и притом неизвестно, какая именно. Какая именно это вещь, об этом говорит в данном случае не мышление, не суждение и не грамматическое предложение, но пока только ощущение, только чувственное восприятие. Суждение же и предложение говорят здесь только о самом факте существования отражаемых здесь вещей, но отнюдь не о самих вещах и не об их осмысленной связи.

Этот безличный характер инкорпорированного предложения будет оставаться еще очень долго и на последующих ступенях развития синтаксиса; и, собственно говоря, только номинативный синтаксис окончательно преодолест это безличие, т. е. это смешение логического суждения и грамматического предложения со спутанным, слепым и безотчетным чувственным восприятием.

Любопытно отметить, что также и человеческое «я», т. е. жизненный человеческий субъект, отличается здесь теми же свойствами плохо расчлененной чувственности и ничтожным развитием абстрагирующей деятельности, поскольку то, что творится в грамматическом предложении и логическом суждении, есть только отражение

жизненного и фактического взаимоотношения человеческого «я» с окружающей средой. Как пассивен и инертен, как бессилен и неоформлен субъект инкорпорированного предложения, как находится он во всецелой зависимости от объективного события, которое он призван выражать в предложении, точно таким же образом бессилен и неоформлен, точно так же пассивен на данной ступени развития и сам человеческий субъект, который далеко еще не есть действующее начало, но оказывается только орудием объективных сил природы и общества. И поскольку грамматический субъект здесь определяется только пространственно-временной конфигурацией, т. е., в сущности, только телесно, только физически, можно вполне точно сказать, что и *человеческий субъект* на данной ступени развития есть не что иное, как *только физическое тело*, находящееся во всецелой зависимости от окружающих стихийных сил и чувствующее себя только слепым орудием в руках тоже слепого хаоса вещей.

Правда, понимая весь инкорпорированный комплекс как предикат объективно действующего субъекта, мы различаем в нем свой собственный субъект, объект и предикат путем их пространственного расположения. Но, если угодно, то же самое первобытный человек находит и в своем теле. Будучи только предикатом объективных стихийных сил, он тем не менее содержит в себе более важные или менее важные органы, когда, например, носителем жизни считаются легкие или сердце. Но такой «субъект» человеческого тела сам вполне физичен и, как это и вытекает из определения субъекта на данной ступени, отличается от других органов или частей тела только своим специальным положением или конфигурацией с другими органами или частями.

Наконец, очень важно не сбиться с правильного понимания в вопросе об общем понимании чувственности. То, что всякое человеческое знание и мышление, даже самое высокое и самое абстрактное, уходят своими корнями в чувственный опыт, это является аксиомой, по крайней мере, для марксистско-ленинской теории. И в этом смысле от чувственности никуда нельзя уйти. Однако научное знание вовсе не есть слепая чувственность, отраженная во всей своей недифференцированности и хаотическом протекании. Наоборот, оно есть ана-

лиз этой чувственности и всегдашнее стремление представить ее в виде закономерного целого и изучить все лежащие в ее основе объективные закономерности. Если же мы будем абсолютизировать самую голую чувственность, не фиксируя в ней никакого ее закономерного упорядочения, то мы не приблизимся к объективной картине мира, но только удалимся от нее. Когда импрессионисты нового времени требовали изображать в искусстве только одни бесформенные краски, в отрыве от всяких вещей и их объективных связей, то, несмотря на выдвижение здесь на первый план чувственности, это было типичнейшей абстракцией, которая обездушивала искусство, лишала его жизненности и удаляла от объективных закономерностей мира. Аналогичным же образом и первобытное мышление, базируясь исключительно на чувственном опыте и не будучи в состоянии отразить лежащие в его основе объективные закономерности, волей-неволей оказывается свособразной абстракцией, волей-неволей вырывает чувственность из цельной системы человеческого знания, односторонне абсолютизирует эту чувственность и пытается чувственно представлять даже те немногие продукты абстрагирующей деятельности человеческого ума, которые на той ступени возможны.

А отсюда по необходимости вытекает и все то *фантастическое* и *сказочное*, чем так богато первобытное мышление, поскольку основой его является стремление чувственно представлять то, что есть только абстракция и не подлжит чувственному представлению.

Огонь можно залить водой и потушить; но понятие огня нельзя залить водой и потушить. И тем не менее такого рода мышление склонно представлять понятие огня как сам огонь, а огонь — как понятие огня. И тогда получается такой реальный огонь, который нельзя затушить, т. е. образуется концепция неугасимого огня, которую можно найти в мифологии почти каждого народа. Конь не может говорить человеческим языком, но конь, везущий героя, образует с ним нечто целое и некую общность, которую ничто не мешает представлять не абстрактно, как это делает современное цивилизованное сознание, но вполне чувственно. И тогда все, что свойственно герою, может перейти и на коня, в результате чего кони, сопровождающие Ахилла у Гомера, и

начинают говорить человеческим языком. И, вообще, то пространственное и временное сближение предметов, которое, как мы видели, заменяет для инкорпорированного мышления логику, только потому и получает здесь логическое значение, что образует из этих сближаемых предметов некую абстракцию, общность, которую первобытный человек обязательно мыслит чувственно. *Вся разгадка первобытной фантастики заключается в этом стремлении представлять продукты абстракции чисто чувственно.* Инкорпорированное слово-предложение, абсолютизация обнаженной чувственности и фантастическая чудесность и сказочность — это, с точки зрения единства языка и мышления, есть решительно одно и то же.

Таким образом, инкорпорированное предложение почти целиком есть еще чувственное ощущение, а инкорпорированное суждение есть почти только чувственное восприятие. Но это «почти» — очень-очень важно. В том, что подлежащее осознано как нечто, и в том, что субъект и в суждении и в жизни уже как-то осознан существующим, — огромная победа человеческого мышления и огромный успех познавательной и мыслительной деятельности человека, огромное достижение абстрагирующего мышления. В этом пункте инкорпорация уже не есть слепое, беспомощное, инстинктивное чувственное ощущение, но есть уже и предложение, и суждение, и определенный синтаксический закон, и определенный логический принцип, и, вообще, проблеск живой мысли, который отныне уже никогда не исчезнет в человеческом сознании и человеческой деятельности.

Последующие ступени грамматического строя будут заполнять это пока еще пустое «нечто» и заменят принцип пространственно-временной конфигурации более содержательными и более действенными принципами.

**7. Инкорпорированный строй как орудие общения.** Только теперь мы можем отдать себе полный отчет во всей недостаточности обычных изложений этого предмета у многих исследователей. Речь идет, конечно, не о простой описательной картине инкорпорированного предложения, которая уже давным-давно открыта в науке и которая в настоящее время может излагаться уже не как исследование неизвестного предмета, но как информация о том, что для науки является азбучной



истиной. Речь идет здесь не об описании, но о способах объяснения инкорпорированного строя и об установлении для него соответствующего логического коррелята. Однако многие изложения предмета все еще остаются в сыром виде и с точки зрения истории логики страдают наивным примитивизмом. Происходит это в результате многих причин, но главная причина здесь — игнорирование данной синтаксической формы как орудия общения, *игнорирование коммуникативной сущности* и назначения этой формы. Понимая связь логики и грамматики только абстрактно-логически, исследователи и излагатели этого предмета не могут извлечь из инкорпорированного строя всех его подлинных логических возможностей и под общим впечатлением весьма яркой специфики этого грамматического строя вводят — и притом, конечно, совершенно некритично — разного рода неожиданные элементы инкорпорированного предложения вне всякой зависимости от конкретных особенностей этого строя. Отсюда возникает не только общая произвольность многих утверждений, как, например, введение какого-то всемогущего «мифологического субъекта» в инкорпорированное предложение, но и пропуск важных логических достижений данного грамматического строя и пропуск его большого значения на путях развития абстрактной мысли, как, например, игнорирование логической природы порядкового характера подлежащего и сказуемого в инкорпорации.

Самое большее, что можно найти в изложениях инкорпорированного строя, заключается в отождествлении вещи и ее свойств, которое выводится из отсутствия здесь морфологии. Но этот вывод звучит очень вяло потому, что отсутствие морфологии не есть просто отсутствие различия между вещью и ее свойствами, но есть различие между основой слова и ее оформителями. Основа слова, как и само слово, и оформитель этой основы не просто вещь и ее свойства, но являются прежде всего *коммуникацией*, предметом сообщения; и потому тождество основы слова и ее оформителей есть не что иное, как тождество *сущности* и *явления* — со всеми вытекающими следствиями. Некоторые излагатели, выводя из инкорпорации, самое большее, только недифференцированность вещи с ее свойствами, получают вместо мифологии трафаретное и обывательское,

вполне мелкобуржуазное, позитивистское мировоззрение, которое, как известно, тоже основывается на изучении явлений с категорическим запретом изучать сущность этих явлений. Но, не умея вывести из отсутствия морфологии и вообще из конкретных грамматических особенностей инкорпорации характерного для этой последней мифологического мышления, многие исследователи вводят в качестве непонятного все разрешающего *deus ex machina* то, что они называют «мифологическим субъектом» инкорпорированного предложения. И было бы бесполезно спрашивать, из каких конкретных грамматических особенностей инкорпорации выведен этот мифологический субъект, в то время как у нас мифология выведена исключительно только из этих последних. И точно так же было бы бесполезно спрашивать, что тут понимается под мифологией, в то время как у нас ей дано точнейшее определение на основе ленинского указания: «Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) есть *отдельное существо*»<sup>8</sup>.

Наконец, не используя конкретного инкорпорированного синтаксиса и лежащей в его основе коммуникации, многие ученые дали своему «мифологическому субъекту» такую большую волю, что инкорпорированное предложение совсем уже теряет всякое место в истории абстрагирующей деятельности человеческого мышления и потому оказывается пассивным привеском «мифологического субъекта», целиком вычеркнутым из истории логики. Вместо этого, исходя из инкорпорированного синтаксиса и используя все решительно его основные элементы, мы дали логическую интерпретацию также и порядковому характеру определяемого и определяющего в инкорпорированном предложении, откуда, как было указано выше, вытекает принцип пространственно-временной конфигурации. Все это диктуется стремлением понимать синтаксис не просто логически, но прежде всего коммуникативно, как орудие общения, и все логические выводы делать только на основе наличной здесь коммуникативной предметности.

Если язык, и в частности та или иная синтаксическая форма, в самом деле есть орудие общения, то и отсутствие морфологии и порядковый характер членов

---

<sup>8</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 329.

предложения тоже есть орудие общения. А это значит, что тут имеется особый предмет, который всерьез утверждается и всерьез сообщается одним человеческим субъектом другому. И в то время как логически все типы предложения совершенно одинаковы и абстрактное суждение совершенно не зависит от того, каким предложением оно выражено, в это самое время не логически, но коммуникативно все типы предложения совершенно различны, поскольку они сообщают разное; и не абстрактное суждение, но коммуникативное тоже везде разное и соответствует разным типам предложения. Поэтому если мы хотим говорить о логике именно в связи с синтаксисом, то это значит, что мы ставим вопрос о таком мышлении, которое не только абстрактно, но и направляется к своему практическому осуществлению, т. е. становится языком. Но тогда имеется и своя особенная коммуникативная предметность, для каждого типа предложения вполне специфическая и всегда связанная с конкретной грамматикой каждого такого типа предложения. Это и есть то, что часто заменяется общими логическими дедукциями и что требует всю работу по изучению инкорпорированного строя начинать сызнова.

## О типах грамматического предложения в связи с историей мышления<sup>1</sup>

### От инкорпорированного строя к эргативному

В нашем кратком наброске нет никакой возможности проследить всю историю предложения со всеми ее бесчисленными оттенками, переплетениями, рудиментами и нагромождениями. Кроме того, множество языков в этом отношении остается в науке еще не изученным. Но в этом нет и никакой необходимости, потому что разыскание логического аналога для многих типов предложения или встречает неодолимые трудности, или дает незначительный эффект. Считая, что инкорпорированный, эргативный и номинативный строй предложения являются наиболее показательными для истории абстрагирующей функции мышления, мы и останавливаемся на них несколько более подробно. Прочие же типы предложения мы будем обсуждать кратко, выбирая из них то, что более показательно для истории исследуемой нами связи языка и мышления.

1. **Двучленная инкорпорация.** Первым таким этапом на путях развития абстрактного мышления после полной инкорпорации является то, что можно назвать двучленной инкорпорацией и что обильно представлено в гиляцком языке. Сущность этой двучленной инкорпорации сводится вот к чему.

Вместо единого инкорпорированного слова-предложения мы здесь имеем две инкорпорации, причем характерным образом одна функционирует здесь как подлежащее, другая как сказуемое. И подлежащее и сказуемое, следовательно, являются здесь целыми комплексами разных слов или основ с характерным для

---

<sup>1</sup> Читалось на кафедре классической филологии МГПИ им. В. И. Ленина в 40—50-х годах.

инкорпорации механическим приклеиванием одного значащего звукового комплекса к другому. Подлежащее и сказуемое и здесь все еще продолжают определяться местом своей постановки в предложении: подлежащее стоит впереди, а сказуемое за ним следует. Но самое интересное здесь то, что сказуемое снабжается в данном случае *специальным показателем сказуемости*, — новостью, которую мы раньше нигде не встречали. Этому показателю сказуемости, конечно, далеко до развитых форм глагола в последующих ступенях языкового развития. Он еще вполне механичен, действуя здесь наподобие всегда одинакового гвоздя, сколачивающего две любые доски. Тем не менее здесь мы находим туманное предвстие будущего богатства предикативных показателей в языках индоевропейской семьи.

Сравнивая эту двучленную инкорпорацию с разобранными у нас выше нерасчлененной и одночленной, мы сразу видим огромный шаг вперед, сделанный языком. Подлежащее и сказуемое являются здесь уже не просто чем-нибудь, т. е. тем «нечто», о содержании которого языку нечего сказать грамматически и которое узнается только по месту своей постановки в предложении. Нет, это нечто *вполне специфическое*, раз для сказуемого имеется здесь свой собственный грамматический признак. Вместе с тем здесь возникает возможность говорить и о подлежащем, как уже именно о подлежащем и о сказуемом как именно о сказуемом. А это значит, что язык пытается здесь выразить и их взаимоотношение. Ведь подлежащее есть определяемое, а сказуемое — определяющее. Подлежащее есть нечто неизвестное, а сказуемое делает его в том или ином отношении известным, так что и само предложение есть некоторого рода переход от неизвестного к известному. Подлежащее есть нечто внутреннее и как бы некоторое основание. Сказуемое же есть нечто внешнее и как бы некоторое следствие, так что все предложение (а значит, и суждение) есть закономерный переход от внутреннего к внешнему и от основания к следствию. Это взаимоотношение подлежащего и сказуемого может быть характеризовано с самых разнообразных сторон, и указываемые нами здесь стороны этого взаимоотношения несколько его не исчерпывают и только приблизительно намечают. Но как бы его ни понимать, оно

как таковое уже найдено в двучленной инкорпорации, уже зафиксировано — пусть механически и не столько грамматически, сколько лексически, пусть топорно и неповоротливо, пусть везде одинаково и без всяких оттенков. Это — огромный шаг вперед потому, что у слепых инстинктов жизни и у слепой животной чувственности отвоевана для мышления еще одна область. В полной инкорпорации мысль отвоевала место, необходимое для постановки субъекта и в предложении и в суждении. В двучленной же инкорпорации отвоевана уже *специфика* этого места и зафиксирована грубым, но уже вполне значащим языковым образом.

Что же это дает для мышления? Поскольку части речи и на этой ступени почти еще не различаются, перед нами тут пока еще безраздельное царство мифологии с теми ее начальными ступенями, которые мы выше называли тотемизмом и фетишизмом. Однако поскольку различие членов предложения здесь прогрессирует, то уже по этому одному *не может не регрессировать та универсальная взаимопревращаемость*, которая характерна для периода полной инкорпорации. Ведь здесь то В, в которое превратилось А, уже не просто рассталось начисто с этим А, но хранит на себе вполне определенный знак своего происхождения из этого А. Следовательно, здесь уже не абсолютная взаимопревращаемость.

Далее, если в предложении уже выражен показатель предикативности, то, следовательно, в мышлении уже намечается различие между определяемым и определяющим, между внутренним и внешним, между основанием и следствием, между смыслом и явлением, между идеей и материей, между законом действительности и самой действительностью. Но чтобы правильно понять эту антитезу на ступени двучленно-инкорпорированного мышления, необходимо иметь в виду, что это определяемое, внутреннее и т. д. и т. д. является здесь тоже чувственно-материальным. *Здесь намечается различие между сущностью и явлением, но и сущность и явление одинаково мыслятся чувственно-материальными.*

Для фетишизма, конечно, это уже некоторого рода трещина, хотя царство его здесь все еще непоколебимо. Если душа представляется как бабочка, то, конечно, бабочка есть существо чувственно-материальное, так же

как чувственно-материально и то тело, сущностью которого является душа, представляемая в виде бабочки. И все же у тела уже имеется своя сущность. Когда покойника в те времена готовили для иного мира, снабжая его разными украшениями и необходимыми для жизни предметами, то этот иной мир мыслился на этой ступени здесь же на земле, только немного подальше от человеческого жилья, или пусть даже и под землей, но опять-таки настолько близко и настолько чувственно-материально, что какой-нибудь Геракл или Орфей доходил до этого «иного мира» за несколько часов.

Таким образом, все тут продолжает быть чувственно-материальным, и вся действительность наполнена фетишами, т. е. опять-таки чувственно-материальными фетишами. Однако здесь уже нет одной и единственной, вполне безразличной реакции на все фетиши. Здесь уже различаются одни фетиши и другие, более важные и менее важные, более сильные и менее сильные, более существенные и менее существенные. А это в дальнейшем прямо поведет к тому, что нужно будет называть уже критикой фетишизма и что поведет также и к гибели всей этой идеологии.

Таков главный результат для анализа развития мышления того прогресса в области синтаксиса, который связан с двучленной инкорпорацией.

**2. Прономинальный строй.** Дальнейший крупный шаг вперед на путях абстрагирующего мышления — лично-местоименное оформление сказуемого. Наряду с инкорпорированными рудиментами оно имсет место в тех же североазиатских и североамериканских языках, как, например, в алеутском. Сводится оно к следующему.

Здесь прежде всего уже большой прогресс в смысле как разделения частей речи, так и разделения членов предложения, хотя преувеличивать это невозможно. *Подлежащее* здесь — уже имя и даже со своим собственным именным показателем (вроде индоевропейского-артикля). Показатель этот отнюдь еще не есть показатель самого подлежащего, и потому падеж этого подлежащего еще не есть именительный падеж позднейшего языкового развития. Любопытно, что этот падеж — тот же, что и падеж дополнения; следовательно, это какой-то общий или абсолютный падеж, так что его и можно называть «абсолютный падеж».

Но что такое тут сказуемое? Прежде всего оно есть тут самое настоящее имя и даже со своим именным показателем; но в нем уже находят для себя выраженные те элементы, которые свойственны глаголу в нашем представлении. Здесь, во-первых, имеются показатели времени и наклонения, хотя синтаксического значения этих элементов не следует преувеличивать уже потому, что, например, показатель времени бывает свойствен здесь также и именам. Самым же интересным является здесь, во-вторых, наличие в сказуемом в том или ином виде личных местоимений, которые уже выделились в особую часть речи и имеют также и самостоятельное хождение. В алеутском языке 1-е лицо такого сказуемого состоит из именной основы, к которой присоединяется 1-е лицо личного местоимения, сливающееся с показателем имени в то, что уже прямо напоминает флексию индоевропейского глагола в 1-м лице. Во 2-м лице алеутского сказуемого личное местоимение 2-го лица прямо присоединяется без всяких изменений. 3-е лицо не содержит никакого личного местоимения и представляет собой самое обыкновенное имя, каковое обстоятельство весьма характерно для отсутствия четкого различия имен и глаголов; а предикативность такого 3-го лица определяется постановкой его в конце предложения.

Это замечательное открытие прономинального характера сказуемого, а тем самым и подлежащего (поскольку сказуемое определяет собой подлежащее), конечно, не может не соответствовать таким же глубоким открытиям и в области *логического мышления*, если только связь языка и мышления не пустые слова. Однако этим огромным открытием и этим огромным прогрессом абстрагирующего мышления все же не нужно увлекаться; и надо отнестись к нему внимательно и с критикой.

Непререкаемым достижением этой ступени предложения и суждения является прежде всего далеко зашедшее вперед различие как частей речи, так и членов предложения. Это уже одно свидетельствует о большом сотрясении всего здания фетишизма и о приближении его гибели. Однако неполнота этого различия в алеутском языке настолько бросается в глаза, что почти не нуждается в установлении. Уже один тот простой факт, что 3-е лицо алеутского глагола ничем не



отличается от имени и что его предикативное значение узнается только по его месту в предложении, достаточно свидетельствует о смещении глагола и имени и, следовательно, о мифологии и даже фетишизме. А если мы возьмем 2-е лицо, то инкорпорированный характер объединения имени и местоимения выясняется здесь сам собой. И, может быть, только в 1-м лице мы действительно имеем нечто вроде флексии, т. е. синтаксический, а не лексический характер согласования сказуемого с подлежащим. Таким образом, характер сказуемого в алеутском языке таков, что он запутывает выдвигаемый здесь личный элемент почти в то же самое непроанализированное и слепое чувственное марево, на котором выростала и инкорпорация.

Интересен также и характер подлежащего и дополнения в алеутском предложении. Если сказуемое снабжается здесь личным показателем, то, очевидно, и подлежащее мыслится здесь прежде всего как некое лицо, как некая личность, как субъект. Но что это за субъект? Тот ли это субъект, которым характеризуется подлежащее в индоевропейских языках? Отнюдь нет. Индоевропейское подлежащее — это та высота абстракции, когда в качестве подлежащего может выступать решительно все, что угодно, и когда его действие понимается в максимально широком смысле слова, а результат этого действия почти фиксируется морфологически. Ничего подобного нет в алеутском подлежащем. И наиболее поразительным является здесь то, что ни для подлежащего, ни для дополнения не выработано отдельных падежей, но *падеж подлежащего* и *падеж дополнения* (если только можно здесь говорить о падежах) *совершенно один и тот же*. Что это значит? Ведь это же значит, что *субъект действия никак не отличается от объекта действия*. Другими словами, когда происходит действие и кто-то или что-то действует на другое, то совершенно неизвестно, кто же собственно и на кого собственно действует. Можно ли в этих условиях говорить о настоящем субъекте действия, о той личности, которая действует в силу своего собственного намерения и произволения?

Ясно, что субъект алеутского предложения и, значит, алеутского суждения, несмотря на то что он уже квалифицируется как живая личность, слишком еще

связан с объективным миром, слишком мало от него дифференцируется и, можно сказать, оказывается чересчур уже живым и полным, чересчур перегруженным бесконечными воздействиями со стороны своего окружения, чересчур мало самостоятельным. Индоевропейское подлежащее не столь буквально живо и отнюдь не является в буквальном смысле слова живой личностью. Абстрагирующее мышление взяло здесь из этой живой личности только общую способность осмыслять предметы и, в свою очередь, быть носителем того или иного осмысления. Алеутское же подлежащее вовсе не есть такой бесконечно гибкий абстрактный субъект, но обязательно только живая личность, да притом еще плохо дифференцированная и в своем бытии, и в своих действиях от всех прочих вещей, ее окружающих.

Необходимо подчеркнуть и то, что при тождестве падежей подлежащего и дополнения в алеутском предложении подлежащее тем самым *не содержит в себе ровно никакого грамматического указания на действие*. На действие подлежащего указывает здесь сказуемое, но само подлежащее об этом действии ровно ничего не говорит; и потому алеутскому подлежащему весьма далеко до индоевропейского именительного падежа, который по самому своему смыслу есть падеж действующего субъекта. Алеутское подлежащее поэтому, можно сказать, совершенно *пассивно*, несмотря на то что оно здесь мыслится и при помощи сказуемого лексически трактуется как действующее. И эта грамматическая категория именительного падежа как падежа действующего субъекта зародится еще очень скоро. Первые намеки на нее проявятся только в эргативном строе, да и то активность здесь будет еще пока неразрывна с пассивностью. Подлежащее же в прономинальном строе, само в себе взятое, грамматически пока еще абсолютно пассивно или, вернее, еще не дошло до самой антитезы актива и пассива. Получается такое положение дела, что действие, о котором говорит здесь сказуемое, принадлежит здесь не подлежащему, но пока еще самой действительности, которая по этому самому в основном все еще остается в виде слепых и спутанных чувственных впечатлений и которая нерасчлененно действует через подлежащее как бы через некоторую пассивную среду.

И все же достижение прономинального строя огромно. Члены предложения здесь уже не есть просто нечто, как в простой инкорпорации, и не есть специфическое нечто, как в инкорпорации двучленной. Здесь подлежащее есть уже *личность, лицо*, а сказуемое уже указывает на действие этой личности. То, что это лицо понимается здесь еще не так абстрактно и всеобще, как в индоевропейском спряжении, это вполне естественно и на данной ступени вполне необходимо. Ведь здесь после инкорпорации впервые члены предложения начинают характеризоваться по своему смысловому содержанию, а не просто только порядком своей постановки в предложении и не просто только элементарными лексическими признаками. И раз сюда допущено уже содержание действительности, то нет ничего удивительного в том, что эта действительность хлынула сюда широкими потоками и на первых порах лишила эти члены предложения способности функционировать в чистом и самостоятельном виде. Хорошо уже то одно, что члены предложения стали тут на синтаксический путь, что для этого понадобился прогресс и в различении частей речи и что, наконец, личное местоимение заняло среди этих развивающихся частей речи особенно четкое место. В переводе на язык мышления здесь мы имеем не просто беспроектный и нераздельный фетишизм и бесконечные превращения одного неустойчивого фетиша в другой, но -- *фетиши уже в качестве живых личностей*, действующих так или иначе на предметы, т. е. *гораздо более абстрактное представление о фетише*, пусть все еще чувственно-материальное, но уже не столь слепое и инстинктивное, не столь лишенное анализа и упорядочения.

Еще два-три шага вперед, и с фетишем уже придется проститься как с физической вещью и придется представлять его сложнее и глубже, что тоже будет иметь огромное значение на путях развития мышления от простой инстинктивной реакции на несомые и непобедимые силы природы к превращению их в разумно устанавливаемую систему их закономерности, в систему законов природы.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, остановимся еще на прономинальном строе в том смысле, что некоторого рода рудименты личной нерасчлененности

можно наблюдать вообще во всех языках номинативного строя. Поэтому нечего удивляться, что в самом прономинальном строе такая нерасчлененность налично. Ее в широких размерах можно наблюдать и в языках индоевропейских, о чем скажем несколько слов.

Возьмем личные местоимения 1-го лица единственного и множественного числа в греческом, латинском, славянских и других индоевропейских языках. Здесь сразу же бросается в глаза отличие именительного падежа от косвенных падежей, образованных от другой основы, т. е. от так называемых супплетивных восполнительных форм. Что означает здесь эта супплетивность косвенных падежей с точки зрения логики? Ясно, что мышление в данном случае почему-то не хочет производить связь лица с окружающей обстановкой от самого лица, не хочет видеть одно и то же «я» и в нем самом, когда оно берется самостоятельно, и в его внешних связях. Получается такое положение дел, что когда я рассматриваю и наблюдаю самого себя, то это вовсе не то же самое «я», когда я вступаю в связь с окружающим миром и фиксирую эти связи. Мышление еще не может отождествить этих двух сторон одного и того же «я». Если рассматривается «я» в его соотношении с окружающим миром, то это «я» нечто совсем другое, чем «я», взятое само по себе. Нам кажется, что «я» как субъект в этих случаях является еще слишком слабым и не способным охватить все внешние проявления этого «я». Если прибавить, что это «я», собственно говоря, не имеет и множественного числа (*мы* — совсем другое слово), то можно прямо сказать, что местоимение *я* есть несклоняемое слово, не имеющее ни своей основы, ни оформителей этой основы на манер древних инкорпорированных комплексов, неся таким образом на себе всю стихию древнейшей размытой фантастики и стихийного фетишизма.

С другой стороны *ты*, *вы* не нуждаются в супплетивных формах падежей. (Правда, эти косвенные падежи все же достаточно здесь своеобразны.) Это и понятно, потому что для внешнего наблюдения самостоятельный субъект и его связь с другими вещами гораздо более поддаются объединению, чем в тех случаях, когда речь идет о местоимениях 1-го лица.

Наконец, полное отсутствие именительного падежа

личного местоимения 3-го лица в греческом и латинском языках ясно свидетельствует, что логика в данном случае не хочет рассматривать это лицо как именно лицо, т. е. не хочет находить лицо и личность в вещах. Очевидно, за лица признаются здесь только «я» и «ты» или «мы» и «вы», но совершенно не признается что-нибудь другое. Это говорит о том, что личность здесь понимается тоже не во всей широте, но ограничена только личным общением живых индивидуумов.

Возьмем такой общий факт в индоевропейских языках, как тождество именительного и винительного падежей в именах среднего рода. Что означает это тождество с точки зрения логики? Ведь именительный падеж есть падеж действующего субъекта, а винительный — страдательного объекта. Получается так, что имя среднего рода обозначает здесь такой предмет, который является сразу и субъектом и объектом, и действующим и страдающим. Значит, для этих предметов все равно — быть субъектом или объектом или быть действующим и быть страдающим. Это та область, где «я» и «не-я» все еще тождественны.

Возьмем такое явление из области индоевропейского глагола, как *verba deponentia*. То, что здесь мы имеем действительное значение при страдательной форме, ясно указывает на то, что действие лица еще не мыслится здесь в чистом виде, но является в то же время и страданием. Когда здесь действует субъект, это значит, что в то же самое время он сам подвергается воздействию откуда-то извне, т. е. сам является, в сущности говоря, чьим-то орудием. Говорить в этих условиях о полной дифференцированности «я» и «не-я», очевидно, никак невозможно.

С другой стороны, в индоевропейских языках имеется сколько угодно активных по форме глаголов с пассивным значением — противоположность отложительным глаголам. Греческий *aoristus passivi* именно есть такая форма. Масса греческих глаголов, активных и по форме и по значению, приобретает в других временах, особенно в будущем, медиальную форму, оставаясь по значению активными глаголами.

Знаменитый оборот *ablativus absolutus* в латинском, или *genetivus absolutus* в греческом, или дательный самостоятельный в старославянском тоже говорит нам

о таком подлежащем, которое стоит не в именительном падеже, т. е. о таком подлежащем, которое еще не является годлиным и самостоятельным исполнителем действия. Когда мы ознакомимся с эргативным подлежащим, то мы убедимся, что латинский *ablativus absolutus* есть свособразный элемент эргативного строя. Также, если мы возьмем другой знаменитый оборот *accusativus cum infinitivo*, то и здесь постановка подлежащего в падеже объекта не свидетельствует о четком различении действующего субъекта и страдающего объекта и восходит к тем отдаленным временам, когда язык и мышление не были способны четко разграничивать субъект и объект, т. е. когда субъект мыслился тоже какой-то вещью, никак не более специфической, чем и всякая другая физическая вещь, от любой другой вещи.

Все эти примеры (число их можно умножать до бесконечности) свидетельствуют о том, что недифференцированность личности от окружающей объективной среды, наблюдаемая нами в прономинальном строе, есть явление чрезвычайно живучее и цепкое, и никакие успехи абстрагирующего и обобщающего мышления так и не сумели преодолеть ее окончательно.

3. **Посессивный строй.** Эскимосские языки и среди них алеутский язык, равно как и другие архаические языки, оформляют сказуемое еще иным способом, а именно путем его притяжательного оформления. В алеутском языке наряду с прочим имеется такая структура предложения: для сказуемого берется имя, и к этому имени присоединяется притяжательная частица, дериват личного местоимения. Подлежащее для 1-го и 2-го лица конкретизируется в самом сказуемом, для 3-го же лица подлежащее ставится в том особом падеже, который указывает здесь на принадлежность ему действия и который поэтому можно было бы назвать родительным падежом, но чтобы не поддаваться здесь ненужным индоевропейским ассоциациям, лучше так прямо называть притяжательным или просто косвенным (поскольку в алеутском языке только и имеется два падежа: указанный выше абсолютный, который можно назвать прямым, и этот притяжательный, который можно назвать косвенным).

Чтобы точнее представить себе этот тип предложе-

ния, можно сказать, что притяжательно оформленное сказуемое до некоторой степени напоминает индоевропейское предикативное или атрибутивное причастие. Однако тут два существенных отличия: притяжательное сказуемое содержит в себе указание, во-первых, на действующее лицо и, во-вторых, на предмет действия, но только на очень общий предмет. Когда в алеутском предложении имеется конкретное дополнение, то здесь употребляется не притяжательное сказуемое, но разобранное у нас выше лично-местоименное. Притяжательное же сказуемое не имеет никакого конкретного дополнения или объекта действия, но указывает на него в самой общей форме.

Возьмем, например, такое предложение на алеутском языке: *K' ax' suk' an k' akux*. Если бы мы захотели передать формально структуру этого предложения, мы могли бы приблизительно сказать так: «Рыба взятое-ее (он) ест». По существу это значит: «Он ест рыбу, взятую мною» или «Он ест рыбу, которую я взял». Вот это «взятое-мое-ее» и есть рассматриваемое нами притяжательное сказуемое, в котором мы отдельно отмечаем и его притяжательность при помощи прибавления *мое*, и его направленность на некий предмет вообще при помощи прибавления слова *ее*. Таким образом, притяжательное сказуемое имеет значение действия, обязательно принадлежащего некоему лицу и переходящего на некий предмет, причем безразлично на какой предмет. Простейший же пример на притяжательный падеж такой: *Ада-м сукү*, буквально: «Отца взятое его» или по-русски: «Отец берет».

С точки зрения прогрессирующей абстракции важно отметить здесь прежде всего остатки архаической нерасчлененности, чтобы прогресс посессивного строя предстал во всей своей отчетливости. Уже то одно, что притяжательное сказуемое есть, в сущности говоря, не глагол, но только имя, хотя и взятое в предикативном смысле, указывает на неполное различение частей речи, т. е. на фетишизм. Также и постановка подлежащего в притяжательном падеже не только свидетельствует о том, что сказуемое здесь не глагол, но имя (почему и понятно, что предмет, которому что-нибудь принадлежит, стоит в родительном падеже), но замечательным образом характеризует и само подлежащее, кото-

рое, очевидно, не столько действует здесь само, сколько является только еще обладателем действия. В логическом смысле слова субъект в таком предложении и в таком суждении еще абсолютно пассивен; и от него, собственно говоря, не исходит ровно никакого действия. Все те действия, которые он фактически осуществляет и которые приписывает ему предикат, с точки зрения грамматической *вовсе не совершаются* им самим, но только ему *принадлежат*. Ведь не все принадлежащее субъекту есть его действие. Например, животному организму принадлежат руки и ноги, но это не значит, что он сам их сознательно создавал. Человеческая абстракция уже дошла тут от безличных размытых и расплывчатых вещей-лятен до понятия субъекта: но этот субъект она понимает здесь все еще достаточно нерасчлененно, понимая его не столько как исходный пункт действия и осмысления, сколько как безмолвное орудие слепых и данных только в не расчлененном чувственном ощущении сил. И если посессивный строй рассматривает такой субъект как *обладателя* и *владельца* тех или иных его действий, состояний и вообще проявлений, то это является огромным достижением, пусть хотя бы ничего кроме этого обладания в нем не указывалось и пусть хотя бы сама его категория, т. е. само его понятие, еще не указывала на него как на субъект действия.

**4. Категория посессивности и посессивное мышление.** Скажем несколько слов о логической и смысловой природе самой этой категории принадлежности, с которой мы сейчас столкнулись, и о ее *семантике*, независимо от целено выработанного посессивного строя.

Прежде всего любопытно уже то одно обстоятельство, что здесь перед нами мышление *впервые* вырабатывает ту категорию, которая относится к области *взаимоотношения вещей*.

Самое большее, что мы имели до сих пор, это пространственно-временное взаимоотношение вещей, отражаемое в инкорпорации. Но это слишком уж внешнее взаимоотношение вещей, которое к тому же еще и не создавало никакой специальной категории в мышлении, поскольку расположение отдельных комплексов в предложении хотя и относится к грамматике, но еще не дорастает ни до морфологии, ни даже до лексики. Кроме



того, с логической точки зрения пространственно-временное отношение, строго говоря, вовсе даже не есть отношение, а только качественно-количественная структура. Помимо же тех типов предложения, которые мы анализировали выше, было только смутно ощущаемое и безотчетно инстинктивно воспринимаемое взаимоперехождение одних вещей в другие, так что тут, собственно говоря, всякая вещь принадлежала всякой другой вещи и потому о принадлежности как о специальной грамматической или логической категории не могло быть и речи.

Совсем другая картина на ступени посессивной логики. Здесь человеческое сознание и мышление всерьез рефлектируют специально над взаимоотношениями вещей, пытаясь четко выделять это взаимоотношение из бесконечного множества спутанно и магически понимаемых материальных связей. Уже это одно говорит об огромном процессе абстрактного мышления и грамматического строя. Тут еще нет причинных связей и тем более связей взаимодействия. Мышлению на первых порах гораздо легче оперировать со свойствами и признаками предметов и судить об их принадлежности тем или другим предметам, чем разыскивать причинные связи одних вещей с другими. И все же здесь мышление впервые приобщается к взаимоотношению вещей и впервые выделяет из их спутанной слитности ту — правда, начальную — категорию из области взаимоотношения, которую мы называли категорией принадлежности.

Другое обстоятельство — не менее важное — это то, что человеческое мышление из всей бесконечной области взаимоотношения явлений выделяет именно *отношение принадлежности*. При этом нетрудно заметить, что делалось это *под несомненным воздействием прогрессирующей общественности*, в которой вопросы принадлежности начинали играть весьма заметную роль. Ведь, как мы знаем из общей теории, первобытное сознание обязательно коллективистично соответственно характеру первобытной общинно-родовой формации. Здесь везде имеет значение не сам индивидуум, но тот коллектив, к которому данный индивидуум относится и воплощением или, по крайней мере, выразителем которого он всегда является. Поэтому вопросы о том, кому

и чему принадлежит индивидуум, к какому коллективу относятся те или другие предметы или вещи, кому и чему тот или иной человек, а также и та или иная вещь *принадлежит* и, кроме того, *как именно* принадлежит, все эти вопросы весьма существенны для первобытного мышления и сознания, так что, может быть, категория принадлежности возникает даже и раньше категории самой личности. Как только для мышления возник вопрос о взаимоотношении вещей (именно для мышления, поскольку для ощущения этот вопрос стоит уже у животных), оно тотчас же переносит на внешний мир коллективистскую практику тогдашнего человека и понимает взаимоотношения вещей в первую голову как отношения принадлежности. Следовательно, это — огромный этап на пути языка и мышления и потому огромный этап также для исторической грамматики и для истории логики. Можно и нужно говорить прямо о посессивном мировоззрении, как языковеды принуждены говорить о возникновении посессивных показателей и даже о целом посессивном строе.

В этой связи отметим также и третье обстоятельство, ярко рисующее всю мощь этой посессивной ступени языка и мышления и состоящее в *необычайной дифференциации тогдашних представлений о принадлежности*. Нам с нашими абстрактными индоевропейскими притяжательными местоимениями это даже трудно и представить. Когда мы говорим *мой, твой, свой*, то здесь выступает та предельная абстрактность мышления, когда эти местоимения оказываются применимыми решительно ко всем бесконечным предметам без всякой детализации. Когда мы говорим *мой нос* и *моя палка*, то местоимение *мой* употребляется совершенно одинаково, несмотря на то что нос — это часть моего тела, а палка, взятая сама по себе, никакого отношения ко мне не имеет. Совершенно иначе мыслили те люди, которые впервые открыли категорию принадлежности и которые сделали эту принадлежность принципом своего мышления.

Р. Кодрингтон и Л. Леви-Брюль (статья Леви-Брюля, 1914 г., «Выражение принадлежности в меланезийских языках» переведена в сборнике «Эргативная конструкция предложения». М., 1950) сделали целый ряд любопытнейших наблюдений в этой области. Оказы-

вается, одной из существенных особенностей меланезийских языков является разделение существительных на два класса (в какой мере здесь можно говорить о существительных, мы оставляем на ответственности этих исследователей). Первый класс отличается особым притяжательным суффиксом и содержит имена, выражающие те или другие части тела, ближайших родственников по крови, ближайшие к данному субъекту вещи и, наконец, вообще всякую органическую часть любого целого. Другой класс имен определяется наличием целого притяжательного слова в начале данного имени и охватывает все прочие предметы, не входящие в первый класс. Так, в языке Нового Мекленбурга *tama* «отец», *tamaga* «мой отец»; *ulu* «голова», *ulum* «твоя голова». Это — первый класс. Но *mal* «одежда», а «моя одежда» это уже *pugu mal*. Следовательно, органическая принадлежность или несотъемлемая принадлежность — это одно, внешняя же и случайная — это здесь уже совсем другое. Имеются некоторого рода исключения, но о них не стоит говорить потому, что они своим количеством только подтверждают правило. Правило это проводится настолько четко, что одно и то же слово, перенесенное из первого класса во второй, получает и новую семантику. В языке фиджи *uluqi* «моя голова» в смысле части моего тела; но *kequulu* «моя голова» уже в смысле принадлежности мне чьей-то головы для моей еды; а *poquulu* «моя голова» в смысле принадлежности мне чьей-то головы для продажи.

Это различие типов принадлежности идет в меланезийских языках гораздо дальше. Второй класс имен делится здесь кое-где и на два и на три, и даже на четыре подкласса. Так, в языке мота мы находим *po* — обозначающее нечто относящееся к внешнему миру и ставшее принадлежностью; *mo* — нечто ставшее принадлежностью в результате изготовления; *ga* — нечто ставшее предметом непосредственной и близкой принадлежности, употребляется обычно, хотя и не всегда, применительно к продуктам питания; *ma* — напиток, ставший принадлежностью (указ. сборн., с. 210). Конечно, это разнообразие представлений о принадлежности свидетельствует не только о богатстве и конкретности мышления в данной области, но также и о его беспомощности, о его неспособности охватить все типы

принадлежности одним общим понятием и одним языковым приемом, о далекости от завершительных индоевропейских абстракций. И все же нельзя не радоваться этому новому открытию в человеческом мышлении и языке, этой категории принадлежности, этим первым восторгам перед открывшимися связями вещей, этому упоению самой категорией принадлежности.

С точки зрения логики тут интересен ряд *весьма глубоких отождествлений*, отчасти нам уже хорошо известных, но функционирующих здесь на новой и более высокой ступени, на ступени логической, а значит, и грамматической рефлексии.

Эта практика меланезийских языков свидетельствует прежде всего об *отождествлении органического и социального*, о тождестве биологического организма и социальной организации. Здесь мы воочию убеждаемся, что наше теоретическое учение о всемогуществе социального бытия как источника формирования сознания отнюдь не является только общей фразой, но что это есть действительно картина подлинного взаимоотношения бытия и сознания. Упомянутые исследователи прямо выдвигают общественный фактор на первый план как то, что наиболее понятно и наиболее близко меланезийцу. Для этого последнее соотношение частей организма и взаимоотношения их с самим организмом есть совершенно то же самое, что и соотношение индивидуумов в обществе и что их взаимоотношение с самим обществом.

Но тут же очень важно и другое отождествление. Меланезийское мышление и меланезийские языки отождествляют органическое и общественное с одной стороны и всякое вообще целое, так что во всех предметах одушевленного и неодушевленного мира части между собой и отдельные части в отношении к целому связаны совершенно так же, как это происходит в животном и социальном организме. Эта живая цельность, органическая и социальная, прослеживается на самых разнообразных предметах; и тут стоит привести те примеры, которые указаны в упомянутой статье Л. Леви-Брюля на основании специальных словарей: край одежды, дно горшка или коробки, острие раковины, скорлупа кокосового ореха; ручка предмета, колючки растений, внутренность предмета; грядка, на которой

посеяны растения; стружки или щепки от куска дерева, кора, мелкие куски предмета, строки стихотворения, длина, ширина, цвет предмета, расстояние между ногами человека, наружная поверхность дома. Здесь очевиднейшим образом подтверждается правильность нашей основной и первоначальной установки в области первобытного мышления, о чем мы говорили выше, а именно, что первобытное мышление исходит из абсолютно органических представлений, распространяемых на всю доступную в те времена область бытия.

Наконец, чрезвычайно важно еще и третье отождествление, лежащее в основе меланезийского мышления и меланезийских языков. Это отождествление *человеческого индивидуума с природой*.

Меланезиец, как и подавляющее множество племен и народов общинно-родовой формации, меньше всего ограничивает свое «я» пределами своего физического организма. Это его «я» составляется также и из многих вещей и предметов окружающего мира, включая одежду, оружие, продукты питания, даже дом и вообще весьма многое из того, что ему принадлежит. Об этом свидетельствует общественный обычай сжигания или вообще уничтожения разных вещей покойника после его смерти, включая иной раз даже близких ему людей и животных. В языках меланезийцев это выражено притяжательными аффиксами или даже словами, сопровождающими все имена упомянутого первого класса существительных. Происходит это точь-в-точь по Ленину: «Инстинктивный человек, дикарь, не выделяет себя из природы»<sup>2</sup>. Когда умирает человек, то здесь, например, сжигают его дом и его жилище как его неотъемлемую часть. Когда у человека похищают его еду, он говорит *меня похитили*. Правда, и мы говорим *я сгорел* в смысле «сгорел мой дом». Но у нас это только метонимия, у меланезийцев же это — реальное отождествление человека и его дома.

При этом необходимо иметь в виду, что на ступени посессивного мышления мы вовсе не находим простого повторения этого исходного тождества индивидуума, общества и природы, или, короче, тождества «я» и «не-я». По содержанию тут, действительно, перед нами

---

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 85.

древнее недифференцированное мировоззрение. Однако эта недифференцированность и слитность фиксируются теперь не в виде смутных ощущений и инстинктов, но в виде дифференцированных и детализированных представлений о принадлежности. «Я» и «не-я» все еще остаются здесь нерасчлененными. Однако эта нерасчлененность дана здесь и грамматически и логически как содержание притяжательных показателей, как материал для представлений о принадлежности. Прогресс абстракции, таким образом, здесь налицо, и он велик. Оставалось только разрушать самое эту слитность «я» и «не-я», чтобы возникло индоевропейское мышление и индоевропейская грамматика. Но для этого нужно было прежде всего отличать имя и глагол, что, однако, произошло не раньше эргативной ступени языка и мышления. То же мы находим и на прономинальной ступени: представление о личности, о субъекте, о субстанции тут уже появилось и логически и грамматически; однако содержание этого выделенного теперь «я» все еще говорит о чрезвычайной перегруженности этого «я», о его полной недифференцированности и от явлений природы, и от общественной организации.

Голландский ученый Х. К. Уленбек (1917) продолжил наблюдения Л. Леви-Брюля и применил их к изучению архаических языков Северной Америки в статье под характерным названием «Идентифицирующий характер посессивной флексии в языках Северной Америки» (тоже переведено в указанном сборнике). Х. К. Уленбек обнаружил ту же картину функционирования представлений о принадлежности в языках Северной Америки, но только картина эта здесь еще пестрее и разнообразнее. Изучение многочисленных североамериканских языков обнаруживает, что посессивная флексия, указывающая на неотчуждаемую, неотъемлемую и органическую принадлежность, есть явление более древнее, как это мы теоретически предполагали и без Уленбека, что в одних языках она здесь еще действующая норма, в других же употребительность ее заметно падает, и значительно сокращается количество подпадающих под нее предметов, что посессивный аффикс постепенно переходит в субъект предложения, конечно, пока еще слабо действующий (ввиду царствующей здесь неразличимости имени и глагола) и пото-

му пассивный (безопаснее было бы говорить «инертный», чтобы не вносить сюда позднейшей залоговой дифференциации). Однако сама неотчуждаемая принадлежность, которая является древней ступенью вообще мышления об отношениях, представлена здесь в самом ярком и не допускающем никаких сомнений виде. Если мы примем во внимание тот, например, факт, что в языке дакота имя, изменяемое по неотчуждаемо-посессивной флексии, получает облик или спрягаемого прилагательного, или, исключая местоименный элемент, вербализованного самостоятельного существительного, то мы не колеблясь должны определить имя с так называемой посессивной флексией как идентифицирующее выражение. Следовательно, такая форма, как *mičante*, означает, собственно, не «мое сердце», как в наших цивилизованных языках, но идентичность меня самого и какого-то сердца, с которым я, а не кто-либо иной, нахожусь в теснейшей связи. Точно так же и инклюзивное *ičiča* означает не столько «ребенок нас обоих», сколько «ребенок, которым мы оба являемся». Другими словами, тут нет сердца вообще или ребенка вообще, но есть только «я-сердце», «ты-сердце», «я-ребенок», «ты-ребенок», «мы-дети», «вы-дети» при полном тождестве данных местоимений с данными именами, т. е. при полном нумерическом единстве каждого из этих двойных представлений.

Так или иначе, но человеческое мышление уже не обходится здесь пониманием субъекта и предиката как только некоторых вещей вообще, хотя бы даже и специфически оформленных. Субъект здесь уже является живой личностью, и этой живой личности уже много всего принадлежит. Здесь не хватало только наделения этого живого владельца таким же действием и живым проявлением себя, каковым он всегда являлся фактически, но каковое приписать именно ему было до сих пор невозможно в силу общей недифференцированности вещи и действия существительного и глагола. Эта способность действовать, лично принадлежащая субъекту, без которой немыслимо ни предложение, ни суждение в чисто грамматическом виде, и будет впервые грамматически зафиксирована в эргативном предложении. И если до сих пор мы имели дело со слепыми, тупыми и безгласными фетишами, в которых еле-еле намеча-

лись какие-то субъекты и которые, выделяясь из общей и нерасчлененной массы чувственных вещей, еле-еле становились какими-то владетелями и собственниками, то такой чувственно-вещевой фетиш погибает с наступлением эргативного мышления и превращается в самостоятельного и уже нематериального демона, в самостоятельную личность, в субъект произвольного действия. Это было переходом от фетишизма к анимизму и торжеством эргативного строя предложения.

5. **Заключение.** В заключение подчеркнем еще раз нашу обычную мысль о том, что не существует таких языков, которые обладали бы тем или другим чистым грамматическим строем. Все указанные выше типы предложения, как и те, которые нам еще остается рассмотреть, представляют собой некое выделение из общей языковой и вполне разнотипной массы, необходимое только лишь в целях изучения. Ознакомление с грамматиками даже одних только, например, палеоазиатских языков обнаруживает в этом отношении пестрейшую картину, которую можно освоить только путем выделения тех или иных грамматических типов. Такое, например, явление, как дифференциация частей речи, происходит исключительно пестро и невообразимо капризно. В этом легко убедиться, просмотрев даже такой краткий очерк грамматики этих языков, как в издании «Языки и письменность народов Севера» (ч. III. М.—Л., 1934). Неразличение имени и глагола паличны здесь очень часто; и путаница притяжательных и личных показателей, направляющих эти глаголо-имена то в сторону глаголов, то в сторону имен, очень велика. Наряду с этим, однако, здесь уже произошла дифференциация имен и глаголов и других частей речи и даже укрепилось подлежащее в своем развитии в направлении позднейшего активного субъекта. То отсутствуют здесь все части речи, кроме имен и глаголов, да и те легчайшим образом превращаются одно в другое (как в юитском, или азиатско-эскимосском, языке; ук. соч., с. 125); то целиком отсутствует грамматический род в именах и выражается теми или иными лексическими прибавками (как в одульском, или юкагирском, языке, с. 164); то целиком отсутствуют союзы (в том же языке, с. 179); то целиком отсутствуют всякие личные окончания в глаголе (как в нивхском, или гилацком, языке,



с. 207); то в замечательном противоречии с индоевропейскими языками последовательнейшим образом проводится зависимость не дополнения от сказуемого, но сказуемого от дополнения, причем эта зависимость проводится различным способом и для одушевленных или неодушевленных предметов, выраженных в дополнении, и для их рода и для их числа, и для случая, когда дополнением является личное местоимение (такова практика кетского, или енисейско-остяцкого, языка, с. 236).

При толковании всех этих грамматических приемов как форм мышления получаются самые разнообразные оттенки мифологии, то выделяющей отдельные предметы, то не выделяющей их, то фиксирующей субъекты действительности, то неспособной фиксировать их, то ставящей действие субъекта, а следовательно, и самого субъекта, в глубочайшую зависимость от объектов (как только что указанный грамматический строй кетского языка) и т. д. и т. д. Анализировать все эти бесконечные оттенки мифологического мышления для целей настоящей работы нет никакой необходимости. И потому мы прямо переходим к новой, очень яркой и типичной, весьма распространенной и в логическом смысле удивительно выразительной ступени грамматического строя, а именно к эргативному строю.

Для облегчения знакомства с эргативным строем напомним еще раз то противоречие, которое лежит в основе прономинального и посессивного строя. Противоречие это заключается в том, что мышление и язык уже вырабатывают на этой ступени различного рода местоименные показатели, личные или притяжательные, но, с другой стороны, по своему содержанию все эти *я, ты, мы, вы, мой, твой, наш, ваш* все еще оказываются слишком слитными со всякими неличными предметами. Выделяемые здесь логически и грамматически «я», «ты» и т. д. по содержанию своему все еще слиты с «не-я», и вообще все личное еще плохо дифференцируется от природного и от общественного. Вот это противоречие и пытается разрешить эргативная конструкция предложения, хотя она еще и не делает этого вполне совершенно. На очереди стояло отличие «я» от «не-я» и по их содержанию. Для этого в первую очередь нужно было очистить «я» от всякого стихийного

становления и противопоставить его этому становлению. «Я» должно было стать *субъектом действия*, а не просто пассивным обладателем действия, не просто тем субъектом, которому действие и бездействие принадлежали вполне инертно. Только когда возникло противопоставление субъекта и его действия, тогда только он стал действительно субъектом действия для логики и грамматики и только тогда это действие могло приписываться этому субъекту со всей логической осознанностью и со всей грамматической выраженностью этого приписывания.

Это значит, что наступила очередь *различения имени и глагола* и наступила очередь различения *переходности действия от субъекта на объект и его непереходности*. Эргативный строй как раз и базируется, с одной стороны, на различении имен и глагола, а с другой — на различении переходных и непереходных глаголов. На этой базе он пытается укрепить значение субъекта и делает это глубоко и выразительно. Правда, действительность субъекта он еще не понимает в чистом виде, ставя условием для нее, как мы сейчас увидим, также и пассивную его зависимость от других предметов. Тем не менее о реальной действительности субъекта, грамматической и логической, впервые говорит только эргативный строй. А это значит, что он впервые заговаривает и о *причинных связях вещей*, т. е. о их гораздо более глубоких отношениях, чем то отношение, которое мы встречали до сих пор, т. е. отношение принадлежности. В сравнении с причинными связями посессивность является не только чем-то внешним и поверхностным, но и чем-то плоским, плоскостным, нерельефным, зависящим от характерного для древних времен примата чувственных ощущений над логическим анализом. С эргативным строем впервые появляется на сцену человеческой истории причинное мышление и логика действующего субъекта в противоположность более вялым, спутанным и перегруженным, не анализируемым формам субъекта на предыдущих ступенях языка и мышления.

1. **Общие замечания.** Для нас в настоящей работе тоже нет ни возможности, ни надобности рассматривать эргативную конструкцию во всей ее сложнейшей истории и со всем разнообразием ее деталей и оттенков. Для нас важен только сам ее принцип, на котором мы и остановимся<sup>3</sup>.

Эргативное предложение является гораздо более совершенным типом предложения, чем рассмотренные нами выше. Оно имеет место и в североазиатских языках (чукотский, коряцкий, камчадалский), но особенное развитие получило оно в иберийско-кавказских языках как картвельской группы (грузинский, сванский, мегрелочанский), так и горской группы (абхазский, даргинский, лезгинский и др.), а также и в языке басков; равным образом имеется оно и в архаических языках Северной Америки, Азии (Индокитай), Австралии и Меланезии.

Ради примера приведем грузинскую фразу: *схепи gaqida tatat*, по-русски — «лошадь продал отец». Слово, обозначающее здесь «отец», стоит в особом, так называемом эргативном падеже; «лошадь» же — отнюдь не винительный падеж, но тоже особый падеж, который можно назвать неоформленным или абсолютным. Или — другой пример из чукотского языка: *гымнан гыт ты-пэляркыне-гыт*, что значит по-русски «я тебя покидаю». При буквальном же переводе это значит: «мною ты я-покидаю-тебя». Подлежащее, или действующее лицо, тоже стоит здесь в орудийном, или эргативном, падеже, дополнение же — в абсолютном падеже.

Возьмем фразу из языка басков: *gison-a-k ikusten du*. Это можно перевести: «человек видит его» или «человеком виден он». Подлежащее здесь — *gisonak* «че-

<sup>3</sup> По этому вопросу существует большая научная литература, с резюме которой читатель может познакомиться по изд.: Эргативная конструкция предложения. Сборник составил Е. А. Бокарев. Вступительная статья проф. А. С. Чикобава. М., 1950. См. также: Мещанинов И. И. Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967; Климов Г. А. Очерк общей теории эргативности. М., 1973.

ловек» или «человеком», где а — постпозитивный определенный член и к — показатель эргативного падежа в единственном числе. В тибетской фразе pas khyod gdun, обозначающей «я ты бить», т. е. «я бью тебя» или «ты избиваем мною», подлежащее pas тоже стоит в эргативном падеже, который по-русски можно перевести либо «я», либо «мною». Дополнение во всех этих примерах стоит в неоформленном падеже.

В чем же заключается сущность эргативного подлежащего, сказуемого и дополнения? Повторяем, что речь пойдет у нас не о конкретных примерах, но о типовой конструкции предложения.

2. **Сущность эргативного предложения.** Подлежащее ставится здесь в том особом и оригинальном падеже, который ввиду его оригинальности пришлось наименовать особенным образом, именно «эргативным». Это есть падеж подлежащего, однако вовсе не в смысле нашего именительного падежа. Он выражает орудие действия, почему до некоторой степени он близок к нашему творительному падежу. Но это ни в каком случае не творительный падеж. Дело в том, что он одновременно выражает и субъект действия, и орудийное понимание этого субъекта. Подлежащее здесь прежде всего *активно действующий субъект*; и в этом — небывалая новость эргативного строя в сравнении с указанными у нас выше, поскольку даже посессивное предложение содержало в себе не столько субъект самого действия, т. е. его исполнителя, сколько пока еще только обладателя этого действия и потому в сущности своей еще совершенно пассивного.

Эргативное подлежащее *безусловно активно*, и тут решительный шаг вперед к подлежащему в безусловно активном смысле, т. е. к номинативному строю. Но, с другой стороны, этот эргативный субъект является здесь и *безусловно пассивным*. Как доказывает сам смысл эргативного падежа, он в то же самое время является просто орудием каких-то других сил, не выраженных в самом предложении, подобно индоевропейским безличным глаголам, при которых, конечно, не может не мыслиться субъект, но что это за субъект, совершенно неизвестно.

*Сказуемое эргативного предложения* прежде всего является *переходным глаголом*. Это обстоятельство

чрезвычайно важно по тому же самому, а именно оно подчеркивает активность эргативного субъекта и понимает этот эргативный предикат как действительно перенос действия субъекта на лежащий перед ним объект.

Далее, очень важно и то, что этот предикат если не всегда и не везде фактически, то во всяком случае принципиально *согласуется как с подлежащим, так и с дополнением*. То, что сказуемое согласуется здесь с подлежащим, это лишний раз подчеркивает активность подлежащего, которая заявляет здесь о себе самыми разнообразными способами. Но то, что сказуемое согласуется здесь также и с дополнением, это решительно никак не мирится с индоевропейскими представлениями. Получается такое впечатление, что как будто бы то, что мы сейчас назвали дополнением, есть не столько дополнение, сколько само подлежащее.

3. **Диалектическое единство актива и пассива.** Некоторые языковеды так и понимают эргативное предложение: то, что мы сейчас назвали дополнением, они считают подлежащим и даже называют именительным падежом, а сказуемое понимают пассивно, так что эргативный падеж оказывается уже не подлежащим, а только косвенным дополнением или даже наречием. Такое понимание, по-видимому, не имеет под собой прочных оснований. Кое-где, как, например, в аварском языке, для него имеются некоторые подтверждения. Но другие языки из указанных нами выше совершенно не подходят под схему.

Ведь, собственно говоря, такое понимание эргативного предложения есть просто выход за его пределы и привлечение совсем других языковых норм, а именно номинативной конструкции, поскольку тут мы имели бы самый обыкновенный индоевропейский страдательный оборот. Кроме того, наименование падежа эргативного дополнения именительным падежом совершенно путает все дело, поскольку именительный падеж есть падеж подлежащего, а подлежащее стоит здесь в эргативном падеже.

Гораздо более правильно поступают те языковеды, которые называют этот падеж дополнения в эргативном предложении *неоформленным*, или *абсолютным*, *падежом*. То обстоятельство, что с ним согласуется ска-

зуемое, не может в данном случае говорить о его субъектности, но говорит только о неразвитых формах объекта, компенсиремых здесь особыми показателями в предикате.

Другими словами, сама сущность эргативной конструкции и вся ее замечательная оригинальность как раз и заключаются в *нерасчлененности актива и пассива*, хотя в то же самое время эта нерасчлененность и эта совокупность обоих залогов уже является здесь той почвой, на которой в дальнейшем произойдет и грамматическое различение актива и пассива. Раньше для этого разграничения не было даже и почвы, потому что субъект в разобранных у нас выше типах предложения либо вовсе не квалифицировался как субъект, либо, квалифицируясь как таковой, оказывался самое большее только обладателем каких-то свойств или действий, но нисколько не исполнителем самих этих действий, если иметь в виду грамматическую выраженность в нем самом этого выполнения. Выполнение действий субъектом в наиболее развитом до сих пор посессивном строе выражалось предикатом, но не самим субъектом. Не грамматически, но только лексически и только контекстом предложения выражалось здесь то, что субъект есть именно исполнитель действия и что он сам по себе активен. В противоположность этому эргативное предложение *выражает активность субъекта уже вполне грамматически*, так как здесь существует специальный падеж для выражения именно активности субъекта. И вот оказывается, что эта активность субъекта предписана ему извне, что в своем произвольном действии он есть не больше, как только чье-то орудие, что его активность и его пассивность диалектически слиты в одно неразличимое целое. Но лишь бы пришла к жизни эта неразличимость — различимость не замедлит в дальнейшем появиться. Раньше не было даже и этой неразличимости актива и пассива. А в эргативном предложении она уже есть; следовательно, скоро появятся и оба эти залога в своем полном и четком расчленении.

Это диалектическое единство актива и пассива сказывается решительно во всех членах эргативного предложения. То, что оно имеет место в подлежащем, это достаточно свидетельствуется специальным падежом, не

сводимым ни к именительному, ни к творительному. То, что оно имеется также и в сказуемом, об этом свидетельствуют многочисленные споры, происходящие в науке о залоге эргативного сказуемого.

Одни ученые доказывают активность этого сказуемого. Но в полном смысле актива здесь не может быть уже потому, что подлежащее стоит не в именительном, но в эргативном падеже; да и дополнение является здесь отнюдь не таким членом предложения, которым сказуемое управляло бы (оно ведь стоит здесь только в абсолютном падеже, не имеющем ничего общего с винительным падежом, кроме некоторых намеков в северокавказских языках).

Другие думали, что эргативное сказуемое стоит в страдательном залоге. Но тогда как же быть с эргативным подлежащим и на каком же основании превращать тогда абсолютный падеж дополнения в падеж именительный?

Единственный выход, который представляется нам понятным, — это понимание эргативного сказуемого как *залога одновременно активного и пассивного*, как такого сказуемого, которое в той же мере активно и в той же мере пассивно, как и само эргативное подлежащее. Но эту совместность актива и пассива надо находить также и в эргативном дополнении, которое, конечно, не есть здесь ни именительный падеж, ни винительный падеж (подобное понимание есть только результат индоевропейских привнесений), но тот падеж, который одновременно и активен, или, по крайней мере, является совершенно самостоятельным и независимым ни от какого управления, и пассивен. Что он активен, это явствует как из согласования с ним сказуемого, так и из его положения в случае непереходного сказуемого, когда он является не больше и не меньше как падежом подлежащего. Но он, несомненно, также и пассивен, поскольку в нем нет совершенно никаких грамматических показателей активности и субъектности и по смыслу своему он в этом предложении, безусловно, играет роль дополнения. Он также является здесь чем-то более общим, чем исполнитель действия и чем объект действия, подобно эргативному подлежащему и эргативному сказуемому.

Итак, диалектическое единство актива и пассива

есть безусловное достояние и подлежащего, и сказуемого, и дополнения в эргативном предложении.

Конечно, могут найтись лица, которым это слияние актива и пассива покажется непонятным, как находится еще до сих пор много лиц, не понимающих того, что такое диалектика и что такое единство противоположностей. Не имея в виду развивать здесь основы диалектики, мы все же укажем, что это совмещение актива и пассива, правда, в других смыслах, имеет место и в современных языках и обычно ни у кого не вызывает сомнения. Возьмем, например, то, что называется возвратным залогом, например *умыться, одеваться, бриться*. Спросим, что это: актив или пассив? Поскольку умываю себя именно я, это актив; поскольку же я умываю именно себя, это пассив. Возьмем так называемый средний залог — *я иду, я сплю*. Где тут актив и где тут пассив? Возьмем так называемые глаголы состояния — *мне больно, мне холодно*. Ясно, что совмещение актива и пассива в современных языках — трафаретнейшая вещь, знакомая и понятная даже учащимся. Почему же это совмещение не может быть в более древних языках? Вопрос, конечно, вовсе не в этом совмещении актива и пассива, но в характере и типе этого совмещения.

С другой стороны, актив и пассив есть уже результат очень глубокой абстракции; и совершенно невозможно предполагать, чтобы эти залоговые существительные в полной своей раздельности с самого же начала. Начинать с них историю грамматического строя было бы так же антиисторично, как и находить уже в самом начале языкового развития расчлененные понятия субъекта, предиката и объекта. Было время, когда не различались между собой части речи или когда не были дифференцированы члены предложения. Поэтому если мы сейчас наталкиваемся на такой тип предложения и на такой тип глагола, где не проводится различия между действительным и страдательным залогом, то это вполне естественно, иначе и быть не может. Перед тем как различиться активу и пассиву, существует такой залог, в котором оба они еще не различаются. Так оно и должно быть: и этот нерасчлененный активопассив и есть эргативный залог. Можно к этому добавить, что глагол и в современных языках часто стоит



В таком залоге, в котором актив и пассив перемешаны в самых разнообразных и причудливых дозах и пропорциях, в самых невероятных типах и направлениях, в отношении чего чистый актив и чистый пассив являются только крайними полюсами.

4. **Эргативное мышление.** Если мы теперь поставим вопрос о природе того мышления, которое соответствует эргативному строю, то уже заранее можно предполагать большую новизну и оригинальность этого мышления в сравнении с предыдущей историей, поскольку чрезвычайно оригинален и сам эргативный строй.

Первое, что тут бросается в глаза, — это грамматическая выраженность активности подлежащего. Морфология эволюционировала здесь настолько далеко, что грамматическое выражение активно действующего субъекта уже не представило трудностей. Для этого попросту создан особый падеж. Но из предыдущего мы уже хорошо знаем, что отсутствие морфологии или ее слабое развитие свидетельствует о размытости и смутности фиксируемых здесь мышлением пятен-вещей. В противоположность этому морфология четко рисует взаимоотношение имен, а также и взаимоотношение глаголов, и соответствующее этому мышление четко расчленяет вещи как внутри них самих, так и в их отношениях с другими вещами, ликвидируя расплывчатость, слепоту и непроанализированность вещей, как они представляются инстинктивному сознанию высших животных и низшего человека. Эргативная морфология уже порывает с таким расплывчатым чувственным маразмом и анализирует отдельные вещи в их свойствах и действиях.

Что в чувственных и спутанных, слепых и расплывчатых фетишах имеются некоторого рода постоянные и устойчивые субъекты как носители и обладатели всех их свойств и действий, такое мышление возникло, как мы знаем, уже значительно раньше — по крайней мере, на ступени посессивного строя. Но чтобы этот субъект был еще и активным деятелем, для этого понадобились новые усилия человеческой абстракции. Для этого понадобился эргативный строй. Что же, однако, представляет собой такой постоянный и устойчивый субъект фетиша, являющийся и носителем и активным исполнителем всех реальных функций этого фетиша? Разве он

может оставаться теперь тем же тупым и слепым, безгласным и безвольным камнем или деревом, которым он был до сих пор? Разве он не превращается теперь в некоторую личность, несущую в себе и определенным образом функционирующий ум, и волю, и чувство, и разного рода влечения, стремления и намерения? И не значит ли это, что тут уже произошло *отделение такого активного субъекта от вещи*, с которой он раньше был неразличим и в которой он раньше действовал как тождественная с ней магическая и безличная сила?

Да, это — конец абсолютного фетишизма. От вещей-фетишей здесь уже отделилось то, что можно назвать душой вещи, духом вещи, ее идеей или жизненной силой. Тут можно привлечь очень много разного рода терминов, имеющих хождение в этой области. Но мы употребим здесь тот термин, который наиболее принят в науке о первобытном обществе и который наиболее точно выражает собой мировоззрение тогдашнего человека. Именно этот субъект вещи, отделившийся от самой вещи, есть *демон*. Демонизм, демонология, полидемонизм — это те термины, которые обычно привлекаются для характеристики первобытного мышления и которых не можем миновать и мы. Мы только обратили бы внимание на то важное обстоятельство, что полидемонизм ни в каком случае не является начальной ступенью первобытного мировоззрения. Демон — это уже очень высокая ступень абстракции, предполагающая способность человека отличать идею вещи от самой вещи. Этой абстракции предшествуют тысячелетия, когда человек, целиком перенося на неживую природу свои живые социальные отношения, еще не имеет никакого представления о различиях между субъектом и объектом, подобно тому как этого различения он не имеет еще и в своей жизни; и в условиях такой неспособности различать субъект и объект или идею вещи и самое вещь не может быть никакого и разговора о демонах как о самостоятельных субъектах, отделенных от вещей и управляющих этими вещами. Только эргативное мышление впервые производит эту абстракцию, и только с него начинается в человеческом мышлении период демонологии.

Это важно иметь в виду еще и потому, что буржуазная наука часто начинает историю человеческого миро-

воззрения прямо с анимизма, минуя фетишизм как нечто незначительное и несущественное. Это — грубейшая ошибка или, даже хуже того, грубейшая попытка насильственно спиритуализировать всю человеческую историю и фальсифицировать целые тысячелетия, прошедшие в человечестве под знаком чисто материального и вполне чувственного фетиша. Демон — это как-никак уже некоторого рода дух, а всякий дух и вторичен и гораздо более абстрактен. Эта абстракция появилась также не сразу, как не сразу появилось эргативное мышление. При этом демонизм есть только начало огромной анимистической эпохи, последующим этапом которой будет политеизм, поскольку боги политеизма есть еще более высокая абстракция, чем даже демон в период полидемонизма. Таким образом, под анимизмом мы понимаем в настоящей работе не то всеобщее одушевление материи, которое имеет место в фетишизме и которое для него-то, собственно говоря, и наиболее характерно, но признание живого демона или бога как уже отделившихся от материи и ею управляющих. В таком виде анимизм есть, конечно, позднейшая абстракция в сравнении с фетишизмом, и существует он только в то тысячелетие, которое прошло от эргативного до номинативного мышления.

На основании предложенного выше изложения эргативного строя можно дать и несколько более углубленную характеристику мышления, возникающего на основе эргативных категорий. Именно было бы очень важно получить более конкретную характеристику демона на основе наблюдения того, как эргативный строй полимает подлежащее. Было бы очень важно подсмотреть те случаи, когда это подлежащее является здесь в наиболее свободном и в наиболее самостоятельном виде, не только в активно-пассивном значении, какое несет с собой эргативный падеж. Таких наблюдений, надо полагать, можно привести немало. Но мы остановимся на одном.

Именно вспомним то беглое замечание, которое проскользнуло у нас выше по поводу подлежащего *при сказуемом в виде непереходного глагола* в языках эргативного строя. Это — любопытнейшая вещь. Оказывается, что наше эргативное предложение имеет свою силу только при переходном глаголе в качестве ска-

зуемого (причина этого была указана выше). Если же сказуемое выражено здесь при помощи непереходного глагола, то подлежащее теряет свой эргативный падеж и ставится в том падеже, который мы назвали абсолютным и с которым мы встретились также и в эргативном предложении, где при его помощи выражается дополнение. При этом непереходность глагола в таком предложении как раз говорит о наибольшей сосредоточенности субъекта в самом себе, о невыходе его действия к другим предметам, об обращении действия субъекта к самому же субъекту, т. е. как раз о той самой наибольшей самостоятельности и независимости субъекта, о той самой его сосредоточенности в себе, которая как раз нам сейчас важна для выяснения оригинальной природы самого этого субъекта.

Что же это значит? Это значит, что стоило нам только подсмотреть эргативный субъект в том его виде, где он максимально свободен от пассивности и где он, по смыслу предложения, является активным и только активным, как вдруг пропала сразу вся его морфология, из эргативного падежа он перешел вдруг в падеж никак не оформленный и тем самым стал вполне тождественным с тем дополнением, которое в эргативном предложении тоже стоит в неформальном, абсолютном падеже. Но ведь мы уже хорошо знаем, что значит отсутствие морфологии. Отсутствие морфологии в языке соответствует расплывчатому, бесформенному и вполне стихийному пониманию чувственных вещей. Значит, наш демон, отделившийся от вещей, если бы мы стали его рассматривать в его полной самостоятельности, сохраняет решительно всю ту стихийность, всю ту бесформенность, всю ту расплывчатость и слепоту, чем характеризовался и сам фетиш в период своей нерасчлененности. Но на то ведь он и называется демоном. Демон — это, несмотря на свою отделенность от вещей, есть личность и субъект; но самое любопытное здесь то, что в то же самое время он является и существом стихийным, бесформенным, злым, аморальным и алогическим, совершенно безличным, действующим всегда слепо и неизвестно по каким побуждениям, далеким от всякой человечности и даже от всякой какой бы то ни было системы. В этом, как показывает анализ эргативного строя, он совершенно тождествен с объектами,

вещами, которые представляются тогдашнему человеку и непонятными, и злыми, и всемогущими, и непобедимыми. Таким демон будет не всегда. Уже на стадии олимпийского бога он станет совсем другим. Но сейчас, в период эргативного мышления, он — *стихийная, слепая, аморальная сила*, в образах которой сказался весь древний ужас беспомощного и незащищенного человека перед неизвестными силами природы. Этот ужас у человека был, конечно, и раньше, и исчезать он стал только в связи с решительными успехами в его борьбе с природой и в овладении ее силами. Но на этой эргативной ступени, ввиду впервые возникшей самостоятельности демона, этот ужас сказался наиболее ярко и дал в мифологии наиболее яркие следы в виде разного рода чудовищ, страшилищ и фигур, составленных из разного рода человеческих и животных элементов.

Это само собой вытекает из того, что субъект переходного глагола стоит в том же неформальном виде, что и объект при переходном глаголе. Это значит, что выделившийся демон — субъект по своему внутреннему содержанию ничем не отличается от стихийности, безличия, слепоты и вечной хаотичности вещей, каковыми они представлялись тогда, в период донаучного сознания. Такова общая картина эргативного мышления, насколько ее можно заметить на основных особенностях эргативного языкового строя.

**5. Принцип эргативного умозаключения.** В мышлении самым главным является то, как оно производит свои умозаключения, как оно приходит к тем или иным выводам. Но во всяком умозаключении всегда можно рассмотреть его принцип и метод, ту исходную конфигурацию вещей или понятий, которая является для него образцом, в конце концов тот жизненный опыт, который является тут наиболее понятным и убедительным и который властно направляет цепь понятий или образов в известную сторону и тем самым превращает ее в умозаключение. Если подойти с этой стороны к набросанной нами сейчас картине эргативного мышления, то ее придется специфицировать, уточнить, выдвигая в ней только наиболее центральные и логически значимые построения.

Этот принцип эргативного умозаключения можно формулировать самым разнообразным способом. Эрга-

тивное мышление настолько богато и глубоко, что стоило бы продумать целиком всю его систему; и — здесь, несомненно, получилась бы целая логическая система со своими собственными и вполне оригинальными принципами и аксиомами, со своими собственными законами мышления и со своей вполне оригинальной системой умозаключений, доказательств и методов. Делать это, однако, можно было бы только в специальном исследовании, и не стоит заниматься этим в нашем кратком наброске. Но в целях исключительно только обнаружения всей оригинальности эргативной логики целесообразно наметить этот принцип эргативного умозаключения и в нашей работе. Мы выдвинем несколько тезисов, которые с разных сторон и в разном смысле, с разной степенью обобщения и приближения будут пытаться охватить этот принцип и оттенить его своеобразие.

*Всякое действие есть страдание, и всякое страдание есть действие.* Этот принцип есть не что иное, как почти только повторение основного активно-пассивного принципа. Здесь только надо не запутаться в сопоставлениях эргативного умозаключения с тем, которое мы имеем в современной науке. Ведь современная наука тоже строится на том принципе, что всякое действие имеет свою причину. Мы в настоящее время тоже думаем, что если произошло какое-то действие, то за этим действием стоит достаточная причина, которая его вызвала и которая тоже превращает его из действия в пассивное орудие. Это сопоставление двух систем мышления правильно только формально. По существу же современная наука основывается на обследовании цепи причин одинаково реальных и материальных, одинаково подлежащих научному исследованию и одинаково подпадающих под те или иные законы природы, пусть не всегда еще открытые. Эргативное же умозаключение предполагает пассивность всякого действия совсем в другом смысле. То, что делает здесь всякое действие пассивным, не есть другая такая же причина, но — демон. Этим демонизмом эргативное умозаключение резко противоположно всякому научному представлению о том, что нет действия без причины. В каком-то смысле демон, созданный человеческим мышлением для объяснения происходящего, есть отдаленное предшествование научных законов, тоже создаваемых для объясне-

ния существующего, и есть какая-то смутная греза о точных научных объяснениях всего существующего. Но из-за этого формального сходства нельзя упускать из виду бьющей в глаза разницы этих двух умозаключений по существу.

*Все, что совершается, совершается predetermined.* Этот тезис также не слишком сильно отличается от основного эргативного принципа активно-пассива. Здесь только звучит некоторый момент фатализма, и это мы делаем вполне намеренно. Несомненно, эргативное умозаключение основано на фетишизмс. Если всерьез каждое действие, как бы оно ни было активно, вложено демоном и если этот демон в своих действиях не поддается никакому учету и не подчиняется никаким правилам логики, морали, эстетики, права и справедливости и вообще никаким законам человеческого общежития, то, как нам кажется, это есть самый настоящий фатализм. В нижеследующих примерах из греческого эпоса выступает очень отчетливо эта диалектика свободно действующего человеческого индивидуума и вложенности в него всех мыслей, чувств и поступков. Можно, конечно, не называть это фатализмом, ибо дело не в словах. Однако эта диалектика свободы и необходимости на основе predetermined каждого действия со стороны другого, демонического, агента есть непрерываемый факт и мировоззрение, которым проникнуты такие яркие для истории народов произведения, как так называемые поэмы Гомера.

Скептики и позитивисты могут затрудняться тем положением дела, что в эргативном предложении мыслится некоторый особый субъект, прямо не выраженный в самом этом предложении, и что соответственно во всяком эргативном умозаключении тоже мыслится некоторый вышестоящий субъект действия, буквально в самом этом умозаключении не выраженный. Это, однако, является предрассудком, который легко устранить простым указанием на аналогичные факты в современных общеизвестных языках.

Разве такие предложения, как *Светаег, Смеркаегся, Вечереет* (а это, конечно, отнюдь не отдельные слова, но именно целые предложения), не содержат в себе своего подлежащего, без которого они и не могли бы быть предложениями? Конечно, это подлежащее здесь

есть; и некоторые языки, как, например, немецкий, даже их лексически выражают, используя личное местоимение среднего рода (*es regnet*). А французский язык ставит это безличное подлежащее даже в мужском роде личного местоимения (*il pleut, il neige*). Еще дальше того идет древнегреческий язык, который выражает наличие дождя словами: *Dzeys hyci*, что значит буквально «Зевс дождит». Здесь, можно сказать, раскрыты все карты мифологического мышления, которые в новых языках запрятаны под местоимениями 3-го лица. Так оно и есть на самом деле. Подлинный субъект безличного предложения для древнего мышления есть демон, который все еще мыслится слепо-чувственно, животнo-инстинктивно, недифференцированно, который все еще остается на ступени чувственно-воспринимаемого предмета, еще не отражается полностью в мышлении, а только предполагается им безотчетно и потому не именуется и даже не может именоваться. Да и по-русски не будет ошибкой сказать, что в предложении *Светает* подлежащим является *оно*. В самом предложении это *оно* не выражено; и даже неизвестно, чем именно является это *оно*. Это — какой-то неопределенный, безличный, стихийный, неизменчивый и даже ускользающий от всякого наименования субъект. В предложении *Светает* под ним можно понимать небо, воздух, все окружающие предметы, все то, для чего имеет значение свет и освещение, и даже нечто более глубокое, чем просто эти предметы, поскольку светают, собственно говоря, не сами они, но что-то другое, в них находящееся и их захватывающее в процессе появления света и освещенности. Даже и нам теперь во всеоружии современного научного мышления, современной логики и языкознания, не так легко сказать, что это за субъект в бессубъектном предложении. Однако нет никакой возможности сомневаться в его существовании, поскольку о нем вызывает сама морфология, само личное окончание глагола в 3-м лице так называемого безличного предложения. Он есть, он требуется и грамматически и логически; но совершенно неизвестно, что он такое. И нам кажется, что таким же бесспорным фактом, таким же необходимым и грамматически и логически является и тот субъект, который стоит за пределами эргативного предложения, но который предполагается



здесь логически и требуется грамматически эргативным падежом, поскольку всякое орудие действия, выраженное в этом последнем, предполагает активного деятеля, пользующегося этим орудием.

Конечно, и здесь надо учитывать ту бездну, которая отличает наше мышление от эргативного. Употребляя свои безличные предложения, мы не думаем ни о каких демонах, которые были бы их подлежащими. И тем не менее формальное сходство здесь настолько велико, что всякий, понимающий современное безличное предложение, должен считать столь же понятным и наличие еще особого субъекта за пределами эргативного субъекта, того, в отношении которого сам эргативный субъект есть только орудие. Само собой разумеется, аналогия между эргативным предложением и современным безличным не исчерпывается для нас сейчас только одним, указываемым здесь моментом.

*Всякая причина есть в то же самое время и основание; или, другими словами, все, что совершается, совершается закономерно и оправданно.* Закономерно совершается здесь все потому, что для всего есть закон, и этот закон — демоническая беспринципность. А оправданно все потому, что последние и наиболее ответственные деятели в жизни и во всей действительности — демоны — это есть здесь последняя правда, выше которой нет ничего. Такова история. И даже таковы целые тысячелетия, прошедшие в человеческой истории. Ведь для того чтобы критиковать какую бы то ни было действительность, нужно иметь для этого критерий. Но когда последним критерием является безличный, стихийный и аморальный демон, то, очевидно, любое безобразие, творящееся в жизни, является оправданным и целесообразным. Тут некому такую действительность критиковать, и нет критерия для такой критики. Для той эпохи все это только естественно и нормально.

Противоестественность, ненормальность и уродство такого миропонимания непонятны нам только потому, что мы слишком уверенно переносим в древность свои личные и общественные идеалы, а также потому, что мы слишком отделяем личность, общество и природу от первобытной истории, тем самым модернизируя эту последнюю и фальсифицируя ее примитив. На самом же деле человеческий индивидуум отличает себя в те вре-

мена от природы очень слабо и очень слабо отличает он также и общество от той же природы. Поэтому для него естественно, что личность и общество в значительной мере подчиняются безличным стихийным процессам природы. Из этих же соображений делаются вполне понятными такие явления первобытного общества, как людоедство или человеческие жертвы. Раз было слабо чувство самостоятельности и незаменимости человеческого индивидуума, то нет ничего удивительного и в том, что этот индивидуум то и дело подпадал под общий хаос вещей и даже сам считал это законным.

Можно было бы сказать, что эргативное умозаключение основано на принципе такого содержания: все совершается логически. Это совершенно правильно и вполне характерно для эргативного мышления. Но ведь мы здесь хотим только впервые определить, что такое эргативная логика. Поэтому такой принцип эргативного умозаключения был бы только тавтологией. Но если мы всерьез согласимся, что всякая причина есть в то же время и основание и что все происходящее происходит оправданно, то, конечно, мы должны сказать и то, что *для эргативного умозаключения любое соединение любых причин с любыми действиями — совершенно логично* и что, следовательно, ничего нелогичного вообще здесь не существует.

Вообще говоря, здесь творится то же самое, что мы видели и в инкорпорированном мышлении. Ведь там тоже последним абсолютom была слепая, спутанная, стихийная, безличная и совершенно хаотическая действительность. Но в порядке восходящей абстракции человек там уже выделил в этой действительности способность вещей распределяться в том или ином пространственно-временном порядке. Это было первым приступом к овладению действительностью, первой ступенью абстрагирующего мышления. И вот эта пространственно-временная конфигурация и легла в основу тогдашнего мышления, стала образцом и принципом всякого умозаключения вообще. Другая картина на эргативной ступени. Исходя из такой же смутной и слепой действительности, человеческое мышление уже сумело различить в каждой вещи и внешнюю и внутреннюю ее стороны, ее материю и ее смысл, ее чувственную картину и ее идею, закон. Но это мышление, дойдя до такой

новой абстракции, не смогло тут же, в этой отделенной от вещи идее вещи тоже произвести те или иные абстрактные разделения и дойти до того понимания идеи вещи, которое было бы свободно от безличной стихийности и хаотической спутанности самих вещей. На первых порах, отделив идею вещи от самой вещи, закон вещей от их конкретного протекания, человек продолжает наделять эти идеи и эти законы тем же стихийным сумбуром, которым являются для него и сами вещи. Отсюда и зарождается демонология. Но отсюда вытекает также и тот принцип умозаключения, который требует от любого действия, как бы оно активно ни было, переходить к его демонической причине. Здесь, таким образом, только новая ступень абстрагирующего мышления; но и здесь, и на ступени инкорпорации — одинаково упор на то, что мышление нашло для себя ясным и понятным в хаотической действительности. Раньше — абсолютизация пространственно-временных отношений, а теперь — абсолютизация причинных отношений.

Других аспектов эргативного мышления мы здесь не касаемся.

Для того чтобы все эти наши рассуждения не показались слишком теоретическими, приведем ряд наглядных и живых примеров того, как совершается эргативное умозаключение на основании указанных принципов и как некогда люди всерьез и на самом деле от активности человека и от действия любой вещи делали выход к тому демону, который стоит за этой активностью и за этими действиями и является как бы внутренней стороной, внутренне видимой изнанкой всякой активности и всякого действия, всякого свершения в человеческой и природной действительности.

Мы хотим обратить внимание читателя на два памятника мировой литературы, в которых эргативное мышление играет не только большую роль, но буквально пронизывает собой все. Это «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Здесь содержатся более древние и более поздние слои первобытной идеологии. К более ранним слоям надо относить те многочисленные места у Гомера, где упоминается некий «демон», не имеющий никакого имени, внезапно нападающий на человека и внезапно приводящий его к новой ситуации или даже к катастрофе.

Этих мест мы не будем приводить потому, что человек здесь изображается абсолютно пассивным, так что подобная идеология скорее относится еще к доэргативным типам мышления. То же, что действительно связано с эргативным мышлением, говорит уже о большой активности человека, о человеке в качестве реального исполнителя того или иного действия. Но, как мы видели, вся специфика эргативного мышления сводится к установлению внутренней стороны этой активности индивидуума, и сторона эта есть его одновременная страдательность, одновременная с выполняемым им действием детерминация со стороны некоего высшего субъекта, вполне неопределенного и потому неминуемого. Обе поэмы Гомера пересыпаны такими положениями, которые рисуют, с одной стороны, самую настоящую активную и даже сознательно активную деятельность человека, а с другой стороны, вложенность всех этих действий и даже всех мыслей и чувств свыше со стороны богов, демонов и судьбы.

Это не есть просто вмешательство высших сил в жизнь человека. Такое вмешательство у Гомера тоже постоянно имеет место; и с ним люди то согласны, то не согласны, то они подчиняются ему, то они борются с ним. Мы говорим здесь о другом. Мы говорим здесь о том, что самое внутреннее в человеке, самые интимные и заветные его мысли, чувства, мечты, намерения и действия — все это оказывается вложенным в него богами, так что этот активнейший и сознательнейший герой, свободно действующий по своему свободному решению, в то же самое время и без всякого нарушения его свободы оказывается предопределенным во всех своих мельчайших поступках, *он как бы предопределен на свободу*. И это есть та мудрость, которую принесло с собой эргативное мышление. Это — эргативная мудрость.

Аполлон насылает язву на преческий лагерь («Илиада», I 8—10). Афина сдерживает разгневанного Ахилла от нанесения раны Агамемнону (I 188—200). Фетида ходатайствует перед Зевсом за Ахилла (492—533). Зевс посылает Агамемнону обманное сновидение (II 1—40). Афродита обманным путем спасает Париса, побежденного в поединке с Менелаем (III 374—382). Афина побуждает троянца Пандара нарушить только

что заключенное перемирие и бросить стрелу в Менелая (IV 50—104), хотя сама же она не дает этой стреле прикоснуться к Менелаю (129 сл.). В начавшейся после этого битве Арес и Аполлон воспаляют сердца троянцев, Афина же вдохновляет ахейян (422—456). Когда Пандар ранит Диомеда, последнего немедленно исцеляет Афина, и Афина же побуждает его ранить Афродиту (V 120—132). Афродита уносит с поля сражения раненого Диомедом Энея (311—318). Аполлон доставляет его в Трою (445 сл.), несколько раз защищает от нападения Диомеда (436—443), а Артемида, Лето и Феба его исцеляют (447). После этого и Аполлон (449 слл.) и Арес (461 слл.) вновь возбуждают людей сражаться, и к ним потом присоединяются Гера и Афина, причем первая голосом Стентора вдохновляет всех ахейцев, а вторая натравливает Диомеда на Ареса (778—863). Потом и сам Зевс бросает молнию (VIII 75 сл.) в знак поражения ахейцев, действуя так на основании предопределения судьбы, указанного им из взвешивания на весах жребиев троянцев и данайцев (69—71). В дальнейшем он снова воодушевляет троянцев (335), чем вызывает негодование Геры и Афины, уже готовых помогать данайцам, но их Зевс удерживает через свою посланницу Ириду (350—437).

Новое сражение опять начинается с мощного клича Эриды, вдохновляющей ахейцев к новым подвигам (XI 1—14); и стоило только Зевсу отвести свои взоры от Трои, как Посейдон одобряет и воодушевляет ахейцев (XIII 1—124). Зевс в дальнейшем опять помогает троянцам (347 сл.), что Посейдону не мешает поддерживать ахейцев (351. XIV 135—152); и эта поддержка его еще усиливается после знаменитого «обольщения Зевса» (352—401). Проснувшись, Зевс при помощи Ириды удаляет Посейдона с битвы, а при помощи Аполлона восстанавливает Гектора (XV 56 слл.. 143—280). Аполлон действительно теперь вертит Гектором как хочет (318 слл., 355 сл.), и троянцы приближаются опять к ахейским кораблям. Гера убеждает Сарпедона выступить в бой, предоставив себя судьбе, но дело кончается тем, что его убивает Патрокл (XVI 419—490); его тело спасает Аполлон (уже по повелению Зевса), а Сон и Смерть переносят в Ликию (656—683). Аполлон, устрашая Патрокла, не дает ему ворваться в город (684—

711); и в конце концов если кто доводит Патрокла до полного изнеможения и готовит его гибель, то это опять-таки Аполлон (783—805); после этого уже ничего не стоило Эвфорбу и Гектору расправиться с ним окончательно (806—867). Опять-таки Аполлон научил Гектора снять доспехи с убитого Патрокла (XVII 75—81), а Зевс, все время вдохновляющий троянцев на бой, вдруг почему-то предрекает близкую гибель Гектора (201—208). Гера посылает Ириду к Ахиллу с повелением выйти на бой для отмщения смерти Патрокла и спасения его тела (XVIII 170—201); она же повелевает Солнцу закатиться в этот день раньше обычного (239—242). Гефест по просьбе Фетиды изготавливает Ахиллу его знаменитый щит (428 слл.), который она и доставляет своему сыну (XIX 1—27). Афина (по повелению Зевса) подкрепляет нектаром и амброзией страдающего Ахилла (338—348).

В «битве богов» Гера, Афина, Посейдон, Гермес, Гефест сражаются на стороне ахейцев, Арес же, Аполлон, Артемида, Афродита, Лето и Ксанф — на стороне троянцев (XX 31—74). Энеся опять спасает бог, на этот раз Посейдон (293—350), так что об этом обмане уже догадывается Ахилл. Когда же сходятся Ахилл и Гектор, Аполлон последнего спасает (375—380); и когда Гектор, горя мстью за убитого Ахиллом брата своего Полидора, опять хочет сразиться с Ахиллом, то Аполлон и тут покрывает его темным облаком (419—454). Самому Ахиллу опять-таки помогают Посейдон и Афина, когда река Ксанф начинает его одолевать (XXI 284—297), а Гера посылает ему на помощь еще Гефеста, хотя все же не дала этому последнему уничтожить Ксанфа (330—384). Дальше начинается общая битва богов (385—513). Больше всех и здесь подвизается Аполлон. Он не возвращается на Олимп, как прочие боги, но идет защищать Трои, потому что Ахилл гонит троянцев уже к самому городу (515—517). Потом — для отвлечения внимания Ахилла от Трои — выставляет против него Агенора (545—549), потом удаляет Агенора и уже сам лично в образе Агенора заставляет Ахилла преследовать себя и тем самым удаляться от Трои (595—611). В дальнейшем Ахилл догадывается об этом обмане и возвращается к городу (XXII 1—24). Но и Аполлон действует только в силу предопределения

судьбы: когда Зевс при помощи золотых весов узнал о близкой гибели Гектора, то и Аполлон оставляет его (213); и появляется вновь Афина, которая внушает мужество Ахиллу и, явившись Гектору в образе его брата Деифоба, натравливает его на Ахилла (213—247). Скоро Гектор убеждается в коварстве Афины и, потеряв коня, уже с отчаяния нападает на Ахилла с мечом, но тот пронзает его кольцом (273—330).

При помощи специально вызванных ветров Ахилл сжигает труп Патрокла (XXIII 192—225), как об этом просила его тень Патрокла (59—107), в то время как труп Гектора охраняется Афродитой и Аполлоном (184—191). Аполлон до последнего конца все еще продолжает защищать троянцев, то охраняя тело Гектора (XXIV 18 сл.), то ходатайствуя за них в прениях на Олимпе и тем вызывая новые приступы гнева у Геры (55—63). Но Зевс через Фетиду велит Ахиллу возвратить тело Гектора его родичам (64—142). Ирида передает повеление Ахиллу прекратить надругательство над телом Гектора, а Приаму — схватить к Ахиллу с выкупом и просить возвратить тело Гектора (143—188). С помощью Гермеса Приам достигает палатки Ахилла (331—467) и выкуп совершается (468—676). Приам возвращается домой опять-таки с помощью Гермеса, который будит его утром, запрягает ему коней и провожает его до реки (678—694).

Здесь не место заниматься детально историко-литературным и фольклорным анализом поэм Гомера. С нашей, например, точки зрения эта чрезмерность в изображении божественного вмешательства и эта слишком бьющая в глаза вложенность в человека всех его мыслей и поступков свыше плохо мирится с большим развитием индивидуума и огромным прогрессом цивилизации, нашедшим себе отражение в поэмах Гомера. Для нас это является скорее сознательным поэтическим приемом и реставрацией давно уже отживших форм идеологии. Но доказывать все это никак не может входить в задачи нашей работы, как не может входить и вообще та или иная характеристика Гомера. Для нас важно только одно: где-то, когда-то, при каких-то условиях человеческое мышление понимало и сам человеческий субъект и, следовательно, субъект логический и грамматический как одновременно и действующий и

страдающий; всякое действие такого субъекта расценивалось как вложенное со стороны другого, гораздо более высокого субъекта. Это есть эргативный грамматический строй и эргативная логика. И блестящие образцы такой эргативной логики — у Гомера. Все же дальнейшее, что касается проблемы происхождения этой эргативной логики у Гомера, никак не может входить в задачи нашего исследования и должно рассматриваться в специальных трудах по Гомеру.

6. **Эргативный строй как орудие общения.** Оставляя весь этот круг наших мыслей об эргативном строе, необходимо напомнить и подчеркнуть, что эргативный строй, как и все прочие грамматические строи, рассматривается нами в первую очередь как орудие общения, а следовательно, и как орудие развития и борьбы, т. е. рассматривается не абстрактно-логически, но коммуникативно.

Повторяем, абстрактно-логически все типы предложения представляют собой нечто одно, а именно то логическое суждение, которое в своей предельной общности не зависит ни от каких отдельных типов предложения и может быть выражено любым таким типом предложения. От этого абстрактно-логического суждения всякий тип предложения отличается своей спецификой, выражающей то, на что именно из абстрактного суждения обращено внимание в данном типе предложения, какая сторона из него выдвинута, с какой точки зрения *понято* абстрактно-логическое суждение и что из него взято *для сообщения*.

Эту коммуникативную специфику эргативного типа предложения мы формулировали выше как оригинальное слияние актива и пассива в одно нераздельное целое; и, исходя из нее, мы построили и специальный тип самого эргативного мышления. Многие исследователи, у которых мы находим описательную картину эргативного строя, этой описательной картиной и ограничиваются; и когда они начинают делать свои логические заключения об эргативном строе, то эта описательная картина остается в стороне, и выводы делаются на основании не коммуникативной значимости данного типа предложения, но на основании его общелогического содержания. Однако общелогическое содержание эргативного предложения есть только кричащее противоре-



чие актива и пассива и больше ничего. А потому сейчас же начинаются тут споры о том, активно ли эргативное подлежащее или пассивно, и на актив ли сводится эргативное сказуемое или на пассив. Между тем, как бы ни рассуждать тут абстрактно-логически, коммуникативно эргативный субъект обязательно активен уже по одному тому, что он есть подлежащее, и пассивен уже по одному тому, что эргатив указывает на орудийность. Если всерьез брать коммуникативную предметность эргативного предложения как таковую, т. е. формулированное у нас выше слияние актива и пассива, то необходимо признать, что она как раз и есть здесь то самое, что выражено; то самое, в свете чего понято абстрактно-логическое суждение. Но в таком случае коммуникативная предметность эргативного предложения есть нечто твердое и определенное, нечто оригинальное и своеобразное, нечто содержащее в себе свою внутреннюю логику, свой внутренний принцип развертывания в некую систему мышления, в некую идеологию. Этот логический принцип коммуникативного развертывания мы и старались сформулировать выше, откуда и получилась у нас целая эргативная идеология.

Наконец, как и все другие грамматические строи, эргативный строй не только содержит сам в себе определенный логический принцип своей внутренней структуры, но и взятый в целом со всей своей структурой, взятый как таковой, он тоже не есть неподвижная и изолированная субстанция, но рассматривается нами только как принцип бесконечного семантического множества эргативных предложений в разных языках и странах, предложений, то более, то менее выражающих этот принцип и содержащих в себе бесконечно разнообразные семантические оттенки и элементы.

7. Эргативный строй с точки зрения общесторических категорий. В заключение мы хотели бы выразить существо эргативного строя терминами общесторического развития. Это общесторическое развитие явно еще не выходит здесь за пределы общинно-родовой формации. Ведь где человеческая личность больше всего связана с обществом, как не в эти бесконечные по длительности периоды общинно-родовой формации? Вначале человеческая личность вообще не чувствует себя как таковую. В этом первобытном коллективизме и труд,

и средства производства, и орудия производства — все находится в абсолютном ведении только самой же общины ближайших родственников. Самоощущение человеческой личности является результатом лишь огромного исторического прогресса и является скорее предзнаменованием уже разложения первобытной родовой общины. Но даже когда появилось это личное самоощущение, оно все еще находилось в полной внутренней зависимости от общины. В результате экономического и технического развития, в результате усложнения погребностей отдельного человека и, вообще говоря, в результате развития производительных сил рано или поздно, но индивидуальный человек начинает уже ощущать себя самого как такового. И тем не менее на протяжении весьма длительного периода он все еще творит волю своей общины. Он теперь выступает как отдельный индивидуум, но в этом отделении себя от родовой общины он еще далеко не порывает с ней, отличается от нее, но не отделяется от нее. Наоборот, сначала этот индивидуум, отличающий себя от общины, не имеет ровно никаких мыслей и чувств внеобщинного характера.

То, что в традиционной науке называется веком героизма, как раз и является такой эпохой, когда отдельный индивидуум уже выделился на фоне родовой общины, но все еще живет ее интересами и все еще наделен ее коллективистским могуществом. Таковы именно общеизвестные эпические герои вроде Ильи Муромца или вроде Ахилла. Эти герои действуют самостоятельно, обладают огромной волевой инициативой, и в них пока еще нет ничего узколичного или мелкоэгоистического. Все их мысли, их чувства и воля все еще вложены в них родовой общиной, от которой они хотя себя и отделяют, но с которой все еще органически слиты воедино. Правда, начальный героизм тоже все еще близок к стихийным силам природы; и свое окончательное, уже чисто человеческое оформление, лишенное участия демонических сил, он получает только в значительно более позднее время.

Есть все основания думать, что эргативный строй мысли, в котором актив и пассив слиты в одну неразличимость, является отражением как раз таких зрелых периодов общинно-родовой формации, когда вся лич-

ная жизнь человека пока еще определяется интересами общины, почему он и пассивен, но когда вся эта внутренняя и внешняя жизнь человека переживается им уже как свое личное достояние, как своя интимнейшая потребность, как акт свободного произволения. Ясно также и то, что в сравнении с необозримыми тысячелетиями матриархата, да и в сравнении с последним и уже довольно коротким периодом патриархата эргативный строй языка и мысли не может претендовать на такую же необъятную универсальность. Это скорее копец всей общинно-родовой формации. Но копец этот поразительным образом специфичен и достиг в свое время огромного территориального распространения, часто оставаясь нетронутым даже в те периоды мысли и жизни, которые вышли далеко за пределы общинно-родовой формации.

### От эргативного строя к номинативному

1. **Аффективный строй.** На подступах к номинативному строю весьма немаловажное значение имеет то, что теперь называется в науке аффективным строем. Этот строй богатейшим образом представлен на Кавказе, а именно в языке картвельской группы, и сводится к следующему.

*Подлежащее* стоит на этот раз не в том псевдородительном падеже, который мы находим в посессивном предложении, и не в том псевдотворительном, с которым мы столкнулись на эргативной ступени, но в самом настоящем дательном падеже. Сказуемое же по преимуществу является здесь глаголом, выражающим состояние и чувственное восприятие, и согласуется с подлежащим. Наконец, объект стоит в абсолютном падеже, и сказуемое согласуется также и с ним. Так, в грузинском языке мы имеем: *m-e-sm-i-s* «мне слышится то», где *m-e* «мне», *-sm-i* «слышится», *s* «то»; *m-sur-s* «мне желается то», где *m* «мне», *-sur* «желается», *-s* «то». В грузинской фразе *ma-ma-s u-kvar-s tvili*, буквально «отцу ему-любим-он сын», т. е. «отец любит сына» (или «сын любим отцом», или «сын любит отца»). *Ma-ma-s* — дательный падеж от слова *отец*. Сказуемое же согла-

совано и с подлежащим (*и*, что мы перевели как «ему»), и с объектом (через конечный звук *os*).

Чтобы отдать себе отчет в структуре такого предложения, необходимо прежде всего обратить внимание на дательный падеж подлежащего, указывающий тоже на несамостоятельность фиксируемого здесь субъекта. Считать, однако, это не подлежащим, а дополнением, как думают некоторые, никак нельзя, поскольку с тем, что мы называем здесь подлежащим, согласуется сказуемое. Значит, подлежащее здесь есть подлинно действующий субъект, подлинно исполнитель действия. Но только одновременно с этим он еще есть и восприимчик действия, о чем здесь и говорит дательный падеж. Считать это подлежащее только восприимчиком действия и только пассивным субъектом никак нельзя, поскольку это противоречит самому смыслу подлежащего; а то, что оно есть именно подлежащее, это, как мы сейчас заметили, удостоверено грамматически.

Другими словами, мы опять имеем здесь дело с таким субъектом, который и *активен* и *пассивен*, чему вполне соответствует и семантика такого типа предложений, выдвигающая на первый план значение состояния. Ведь во всяком состоянии, конечно, есть и действие и страдание. Когда мы говорим *мне весело, мне грустно, мне холодно*, то, с одной стороны, здесь утверждается какое-то действие, производимое на субъект, но, с другой стороны, также и активная реакция субъекта на это действие. Если бы мы захотели взять чисто пассивный субъект, то это было бы в таких предложениях, как *меня везут*, или *меня бьют*, или *меня кормят*, где на самом деле не выражено никакой реакции субъекта на испытываемое им действие. Предложения же, выражающие состояние, уже одной своей семантикой говорят об активно-пассивном значении субъекта. Но тогда возникает вопрос, какая же разница между аффективным активно-пассивом и эргативным активно-пассивом.

Здесь-то и залегает та логическая новизна, ради которой мы заговорили об аффективном строе. Ведь в эргативном предложении активный сам по себе субъект испытывает действие *со стороны* и тем самым является одновременно и пассивным. Аффективный же субъект, будучи активным, совершенно не испытывает никакого

действия со стороны, но только *от самого же себя*. Он и активен и пассивен одинаково *внутри же себя самого*. Он уже не зависит от какого-то демонического агента, стоящего над ним самим; но зависит он исключительно от себя же самого. Он действует; по это действие возвращается на него же самого, испытывается им же самим.

Теперь спросим себя: разве отсюда нельзя заключить *о большом прогрессе самостоятельного субъекта* в аффективном предложении в сравнении с эргативным? И разве действие и страдание не вращаются здесь *внутри самого же субъекта*, в то время как эргативный субъект был активен только от себя самого, а пассивен благодаря воздействию на него совсем другого объекта? Несомненно, самостоятельность субъекта здесь прогрессирует, она уже почти не нуждается ни в чем другом.

Очень важно отметить, что это *отнюдь не означает замкнутости аффективного субъекта в себе*. Это подтверждается и тем, что употребление такой конструкции в картвельских языках далеко вышло за пределы той узкой семантической группы, которую можно назвать глаголами чувственного восприятия или состояния. Ею пользуются, например, все времена перфективного вида независимо от семантики. Но отсутствие этой замкнутости субъекта в самом себе важно даже по той краткой характеристике аффективного предложения, которую мы дали выше. Действительно, у этих глаголов состояния, оказывается, есть то, что мы на языке современной грамматики должны назвать дополнением. Ведь в нашем примере отец не просто испытывает чувство любви, но указан и тот объект, к которому это чувство направляется. И, любопытное дело: с одной стороны, сказуемое стоит здесь в 3-м лице, как будто бы *швили* было подлежащим в именительном падеже, т. е. ясно, что сказуемое здесь пассивно, как будто бы была фраза *сын любитя отцом*; но, с другой стороны, мы же отлично знаем, что настоящий исполнитель действия здесь вовсе не сын, а отец, да и *швили* невозможно считать именительным падежом в чистом виде, поскольку этот «падеж» вовсе не имеет никакого падежного показателя. Таким образом, аффективный субъект вполне ориентирован в объективном мире и

находится с ним в таких же активно-пассивных отношениях, в коих он находится и с самим собой, так что само название «аффективный» здесь, очевидно, слишком узко и говорит просто о совмещении актива и пассива.

Нечего и говорить о том, что мышление, возникающее в связи с аффективным строем предложения, оперирует с *гораздо более свободным представлением о человеке* и требует существенного ограничения всякого инородного вмешательства в жизнь человеческого индивидуума. Мы не будем здесь говорить о каком-нибудь специфическом этапе мифологии, так как одного аффективного строя, может быть, было бы для этого недостаточно. Однако ясно, что тот беспринципный, аморальный, слепой и безличный демон, о котором мы говорили выше и без которого раньше человек не мог ступить и шагу, не может не становиться в условиях аффективного синтаксиса и аффективной логики *гораздо более аккуратным, гораздо менее назойливым и, мы бы сказали, гораздо более гуманным*. Ясно, что если иметь в виду античную мифологию, то здесь должна идти речь о переходе архаических безобразных демонов в светлых, разумных и прекрасных Олимпийских богов. Повторяем, одного аффективного строя речи для этого недостаточно. Но нельзя сомневаться в том, что аффективный строй языка и мышления является одним из выразителей исторических путей человеческого мышления от полидемонизма к политезизму подобно тому, как само это мышление есть отражение и выразитель соответствующих путей социального развития.

В заключение мы приведем весьма глубокую характеристику инверсивного (т. е. меняющего субъект и объект местами) языкового строя у проф. А. С. Чикобава, который как раз очень метко говорит о переходе от архаической демонологии, когда человек пассивен, к другому, более активному состоянию человека, когда демонология уже начинает исчезать.

Определяя инверсивный глагол как такой, в котором реальный субъект представлен объективным префиксом, реальный же объект, наоборот, субъективным аффиксом (в чанском диалекте *mǝn* «я имею», буквально «имеется у меня то»), проф. А. Чикобава пишет: «Инверсивность форм глагола представляет собой

в высшей степени интересное явление с точки зрения истории мысли: в отдаленном прошлом субъект глагола мыслился и в реальности субъектом, объект глагола — реальным объектом: *pašk' uḡni* значило не «я испугался», а «страх вселился в меня», причем реальным субъектом мыслился «страх», «я» же представлял собой объект воздействия «страха». С течением времени изменяется взгляд на реальное положение вещей: то, что признавалось за субъект действия (страх), превратилось в объект, бывшее же реальным объектом лицо (я) выступило в роли субъекта; конструкция же глагола осталась старинная: первоначальный прямой строй оказался инверсивным»<sup>4</sup>.

2. **Локативный строй.** Среди разных типов предложения на подступах к номинативному строю стоит отметить также локативное предложение. Сказуемое в нем, как и весьма часто на предыдущих ступенях, согласуется и с подлежащим и с дополнением. Но подлежащее стоит здесь в падеже, обозначающем место, с которым так или иначе связаны лицо или вещь подлежащего. В предложении из аварского языка: *dux чу буго*, что значит по-русски «я имею лошадь», подлежащее стоит в локативном падеже, так что вся фраза, собственно говоря, значит «лошадь возле меня». В предложении *ida чу бихула*, что значит «я лошадь вижу», тоже локативный падеж подлежащего в значении «на мне лошадь видна». В ительменском (камчадалском) подлежащее, помимо еще одного способа, выражается тоже при помощи местного падежа: *кзохепк прасхпизсеп пепекесх* «собака укусила ребенка», где слово *кзохепк* «собака» стоит в местном падеже.

Ясно, что здесь перед нами еще одно усилие человеческой мысли в ее поисках самостоятельного субъекта. Казалось бы, всякий субъект попросту и есть он сам, так что никакой его самостоятельности не нужно и выражать, настолько она очевидна. Но мы видим, как не сразу и с какими большими усилиями человеческое мышление приходило к той простой установке, что А есть А. Ведь установить такое простое тождество

---

<sup>4</sup> Чикобава А. Грамматический анализ чанского (лазского) диалекта. Тбилиси, 1936, с. 220 (книга на грузинском языке с русским резюме).

это значило уметь изолировать каждую отдельную вещь из смутного и стихийного потока слепых и беспорядочных вещей, установить ее сущность и твердо противопоставить эту последнюю всем бесконечным и чисто случайным признакам, качествам и изменениям данного А. Во всех предыдущих типах предложения субъект предложения выступал в каких угодно видах, но только не как сам он. Локативная конструкция тоже не достигает этого вполне. Но она уже близка к этому.

Вместо того чтобы сказать, что данный субъект есть именно он сам и больше ничего, она указывает на то место, которое занимает этот субъект. Этого мало для полной самостоятельности субъекта. Однако здесь вполне заметно само усилие мыслить эту самостоятельность. Ведь место, которое занимает данная вещь, хотя оно и не есть сама вещь, все же чрезвычайно близко к ней, сливается с ней, почти тождественно с ней. Локативный строй в этом отношении весьма близко подошел к номинативному строю, несмотря на всю свою ограниченность.

А ограниченность эта видна не только на локативном оформлении подлежащего, но и на согласовании сказуемого с дополнением. Сказуемое здесь еще *не управляет* дополнением, т. е. еще не имеет над ним семантического превосходства и смыслового приоритета, но, наоборот, само подчиняется ему, т. е. действие субъекта все еще подчиняется здесь в значительной мере внешним для него вещам. Но, повторяем, стремление создать концепцию вполне самостоятельного субъекта все же дало здесь весьма ошутительный результат.

**3. Мировая роль грузинского и других картвельских языков.** Переход к номинативному строю в самой яркой форме происходил в картвельских языках. Уже беглое ознакомление с грамматикой грузинского языка показывает, какая героическая роль принадлежит грузинскому языку в смысле преодоления эргативной системы и достижения номинативной. Ни в каких других языках не видны в столь яркой форме мощные усилия человеческого языка и мышления преодолеть эргативные и другие типы, а также связанную с ними мифологию и перейти к номинативному строю, этому выразителю и закрепителю уже чисто научного подхода к действительности. Конечно, очень хорошо и похвально поль-



зоваться плодами великой победы, как это происходит в индосвропейских языках, где мы даже забыли и думать, каким замечательным открытием является именительный падеж в качестве падежа субъекта. Но трижды величественнее та героическая мощь, которая была проявлена для достижения этой победы. То, что в аористических временах в языках картвельской группы все еще царит эргативная конструкция, а в презентальных утвердилась номинативная; то, что на языках этой группы (но на этот раз и в других кавказских языках) весьма ощутительно назревание номинатива, постепенно вырастающего из эргатива, становление активного и пассивного залога, замена абсолютного падежа дателью-винительным, уже зависящим от сказуемого, а не главенствующим над ним, — все это представляет собой прекрасную картину борьбы человеческого духа за точные грамматические категории и тем самым за научное мышление, за высшее человеческое сознание, за преодоление темных и беспомощных воззрений на природу и, значит, в конце концов за овладение самой природой. Изучение картвельских языков с этой стороны весьма эффективно; и жаль, что размеры нашей работы не позволяют привести здесь все эти замечательные факты из картвельской грамматики.

**4. Переход к номинативному строю.** В чем же заключается сам этот переход к номинативному строю? Как мы увидим ниже, сущность номинативного строя сводится к тому, что субъект предложения впервые был осознан здесь не как узкий, односторонний или вообще какой-нибудь специфицированный субъект, т. е. не как живое лицо (он мог быть и неживым), не как обладатель действия, не как активный или пассивный исполнитель действия, но именно просто как таковой, просто как субъект. Именительный падеж и есть падеж субъекта, когда субъект мыслится как субъект же. Это — та высочайшая ступень абстракции, дальше которой человечество в своих языках и мышлении пока не пошло и появление которой по ее общечеловеческой значимости можно сравнить только с появлением осмысленной членораздельной речи.

Нетрудно заметить, если читатель был внимателен к нашему предыдущему изложению, что все типы грамматического строя в этом смысле являются только под-

готовкой номинативного строя. Все эти типы предложения никак не могут конструировать субъект в его предельной общности. Все они понимают его односторонне, сужая его привнесением тех или иных остатков слепой и непроанализированной смутно-инстинктивной чувственности. А это всегда означало то, что грамматический субъект по самому своему смыслу и по самому своему грамматическому выражению обязательно предполагал над собой еще какого-то другого, уже вполне реального и материального субъекта, причем этот последний большей частью и оказывался главным деятелем в том действии, о котором говорило предложение с данным грамматическим субъектом. Это особенно было заметно на эргативном субъекте. Эргативный падеж по самому своему смыслу свидетельствует о субъекте, действующем в эргативном предложении, как об орудии. Пусть даже мы не будем доискиваться до того, что это за деятель, который пользуется данным орудием. Все равно сама семантика эргатива указывает на эту орудийность. Но в той или иной мере это можно сказать и о всех рассмотренных выше типах грамматического строя. Даже и локативное предложение все еще базирует субъект не на самом же субъекте, но на том пространственном месте, которое он занимает. И только номинативный субъект впервые овладел самим собой, только номинативная абстракция сумела впервые отдельно представить грамматические и логические категории, только номинативное мышление впервые создало достаточно гибкие методы, чтобы не путаться и не подавляться случайными и слепо-инстинктивными ощущениями, но осмысленно разбираться в них и открывать отраженные в них закономерности природы и общества.

К этому номинативному строю мы сейчас и перейдем.

## Номинативный строй

**1. Формальное определение.** Труднее всего анализировать и формулировать очевидное и общеизвестное. То, что номинативный строй является грамматическим строем современных европейских языков, как раз и создает большие трудности для исследования, являясь источником разного рода иллюзий и самоуверенности

для исследователей. Думают, что такая, например, категория, как именительный падеж, понятная уже всякому школьнику, вовсе не требует объяснения, а если и требует, то самого простого и незатейливого. На самом же деле труднее всего поддается определению как раз максимально привычное и общедоступное. И поэтому на разъяснение номинативного строя нам придется потратить больше всего времени и внимания вопреки установившейся легкомысленной традиции ходячих воззрений и распространенных учебников и руководств. Это разъяснение мы начнем с того формального или фактического описания этого строя, которое можно найти в любом изложении и которое является частью недостаточным, частью совершенно неверным.

Номинативное предложение, фигурирующее в индоевропейских, семитических, тюркских, угро-финских языках, характеризуется особым типом подлежащего, сказуемого и дополнения.

Подлежащее ставится здесь в том новом падеже, которого не знает ни один из разобранных выше грамматических строев, в так называемом *именительном* падеже, сущность которого сводится к ответу на вопрос: кто, что? Именительный падеж есть поэтому выражение того предмета, о котором идет речь в предложении, о котором здесь что-нибудь высказывается или которому что-нибудь приписывается. Кто делает или совершает что-нибудь, — это и есть тот вопрос, на который отвечают именительный падеж и подлежащее в этом падеже. По этому именительному падежу, номинативу, получил название и сам номинативный строй.

Сказуемое есть глагол действительности, страдательного или того или иного смешанного залога, отвечающий на вопрос: что делает или совершает подлежащее? Оно согласуется с подлежащим в лице, числе и роде, причем согласование это — только принципиальное и фактически оно в тех или иных формах глагола часто и не выражается.

Дополнение, т. е. выражение прямого результата действия сказуемого, ставится тоже в особом и специальном, так называемом *винительном*, падеже, который получает свое управление от сказуемого.

Эти трафаретные истины, может быть, и не вызвали бы никаких сомнений, если бы речь шла о педа-

гогических приемах и о способах наилучшего и наиболее доступного изложения этого предмета для детей. Для точной же науки эти школьные истины являются и недостаточными, и частью просто негодными.

2. **Номинативное подлежащее.** Начнем с подлежащего. Когда говорят в наших школах, что именительный падеж отвечает на вопросы: кто или что делает что-нибудь? — то, очевидно, основную функцию именительного падежа находят в назывании предмета. На самом же деле именительный падеж или не имеет никакого отношения к называнию предметов, или это называние является для него третьестепенной и вполне периферийной функцией. Несравненно точнее будет сказать, что именительный падеж противостоит всем косвенным падежам как падежам, выражающим отношение имени к имени или к глаголу. Косвенные падежи говорят об отношении данного имени к тому или иному окружению, более или менее отдаленному. Именительный же падеж говорит об отношении данного имени к нему же самому, а не к чему-нибудь иному, или, конкретнее говоря, о *тождестве* данного имени с ним самим, т. е. о *тождестве обозначаемого им предмета с ним самим.*

Вещи, составляющие предмет нашего чувственного и вообще жизненного восприятия, даны в спутанном, неясном, текучем и неопределенном виде. Большое достижение, увидев или ощутив ту или иную вещь однажды и столкнувшись с ней в другой раз, *узнать эту вещь*, отдать себе отчет в том, что это есть именно та самая вещь, с которой мы уже имели дело, отождествить вновь воспринятую вещь с воспринятой раньше. Установление этого тождества и констатирование того, что А есть А, отнюдь не есть пустое занятие праздного ума и не есть бессмысленное упражнение в схоластической логике. Отдавать себе отчет, что А есть А, есть начало всякого познания этого А и есть принцип мышления этого А. Стоит только забыть, что данное А есть именно А, как оно тут же рассыпается на множество дискретных частей, ничем между собой не связанных, и тем самым исчезает как предмет мышления и познания. Что бы мы ни говорили о данном А, мы уже предполагаем, что оно есть именно оно, а не что-нибудь другое, и что оно как таковое чем-нибудь отличается

от всего прочего. Вот почему тот язык и то мышление, которые не расплываются в ползучем эмпиризме, которые не смешивают все вещи в их бесконечных переходах одной в другую, которые хотят познавать и мыслить предметы как таковые, предметы в их существе, в их необходимом содержании, такой язык и такое мышление не могут обходиться без именительного падежа. Именительный падеж не есть просто название предмета. Это было бы только первоначальным указанием на существование данного предмета. Именительный падеж есть выражение данного предмета именно как данного предмета, обозначение всякого данного А именно как А, а не как чего-то другого, не как связанного с чем-то другим, не как зависящего от чего-то другого и не как воздействующего на что-то другое. Здесь А есть просто А и больше ничего. В то время как дательный падеж выражает предмет, к которому направляется какой-нибудь другой предмет, винительный же падеж указывает на данный предмет как на результат действия другого предмета, а родительный падеж выражает тот предмет, в сферу которого как в некую родовую область вступает другой предмет, в это самое время именительный падеж отсекает всякое представление о всяком другом предмете, кроме данного, отсекает все эти представления о направлении, о воздействиях, о включениях и прочих процессах, предполагающих кроме данного предмета еще другие предметы или действия. Именительный падеж имеет своей единственной функцией только отождествлять данный предмет с ним самим, рассматривать его как именно его, констатировать, что данное А взято как таковое, в своей самостоятельности, в своем самодовлении, в своем существенном и оригинальном содержании.

Однако обобщенность номинативного подлежащего идет, собственно говоря, еще дальше, т. е. дальше даже именительного падежа — правда, не в смысле самого характера обобщения и не в смысле его широты (шире идти нельзя), но в смысле охвата имен и *всех других частей речи*. Номинативное подлежащее, выражаясь логически, отражает прежде всего ту или иную субстанцию и потому является грамматическим именем, ставя это имя в именительном падеже, но все дело в том, что подлежащим может быть в номинативном строе

отнюдь не только имя и выражать оно может отнюдь не только субстанцию. Инфинитив в роли подлежащего — трафаретное явление во всех индоевропейских языках. Ничто не мешает иметь подлежащим и предлог, и союз, и наречие. В предложении *Против есть предлог, требующий родительного падежа* подлежащим является предлог *против*. Даже междометие сколько угодно может быть подлежащим (*далече грянуло ура*). Следовательно, не только субстанция, но и все качества, все действия и страдания, всякое состояние, любые отношения могут быть подлежащим, т. е. быть каким-то несклоняемым существительным и стоять, так сказать, в именительном падеже. Это не есть еще дальнейшее расширение той общности подлежащего, которую мы получили из принципа его самотождества (повторяем, шире идти некуда). Но это, несомненно, есть расширение тех логических категорий, которые первоначально мы представили грамматически только в виде имени. И это тоже огромное достижение.

Если мы твердо станем на эту позицию, мы сможем в самой яркой и ощутительной форме убедиться, насколько номинативное подлежащее шире и глубже всех рассмотренных у нас выше типов подлежащего, насколько *огромное обобщение и какая максимальная абстракция* достигнута здесь языком и мышлением, насколько номинативный субъект свободнее и активнее всех прочих субъектов. Обсуждая выше прономинативный строй, мы видели, как едва-едва начинает намечаться в нем то, что мы теперь называем подлежащим, и как оно здесь ограничено в своем содержании. Оно здесь является живым субъектом, который перегружен жизненным содержанием, который еще плохо отличается от природы и общества, который, можно сказать, слишком уж переполнен бытием и слишком мало дифференцирован. В противоположность этому номинативный субъект не есть обязательно только живое «я» и даже не обязательно только что-нибудь живое. Он может быть и любым «не-я», может быть и всякой неживой вещью. Точно так же посессивный субъект, как мы видели, был только субъектом принадлежности, т. е. таким субъектом, которому что-нибудь принадлежит. Однако номинативный субъект выше и этой принадлежности, потому что, когда мы говорим, что А есть А,

то ни о каком конкретном содержании этого А мы ровно ничего не говорим, и это содержание может быть любым, посессивным и непосессивным. Далее, разве нужно специально говорить о связанности или ограниченности эргативного субъекта? Ведь эргативный субъект — это вовсе не есть субъект вообще, но только тот, который действует и который все это действие совершает под влиянием постороннего фактора. Номинативный же субъект, во-первых, необязательно всегда действует, потому что в страдательном обороте подлежащее указывает здесь как раз не на действие, а на страдание; а во-вторых, в том случае, когда он действует, то вовсе не действует обязательно всегда только под влиянием постороннего фактора. Номинативный субъект выше всякого действия и всякого страдания, выше всякого смещения действия со страданием. Ведь все это относится только к содержанию данного А; а номинативный субъект как раз не касается никакого содержания данного А, но говорит только о том, что какое бы ни было данное А по своему содержанию и по своей форме, оно есть только А, данное А и больше ничего. В сравнении с этой широтой и с этим общением аффертивный и локативный субъекты тоже слишком узки и ограничены, трактуя то ли о субъекте переживания, то ли о местонахождении субъекта, но вовсе не о субъекте как таковом.

Таким образом, номинативный субъект есть *предельное обобщение всяких возможных субъектов* и есть *максимальная абстракция*, которой только может достигнуть мышление и познание тех или иных предметов.

Теперь, имея в виду предельную обобщенность номинативного субъекта, мы получаем полное основание утверждать, что только номинативный субъект впервые оказывается *полным и адекватным отражением вещей и событий*, из которых состоит действительность. В самом деле, всякая вещь действительности, как бы мала и ничтожна она ни была, всегда бесконечна по своим возможностям и всегда является источником неисчислимого количества разнообразных определений. Самая ничтожная вещь, если только она не абстрактная, но живая вещь реальной действительности, допускает необозримое количество разнообразных к себе подходов и может освещаться и определяться с бесконечных то-

чек зрения. Не только мир бесконечен, но бесконечна и каждая ничтожная его часть. Это хорошо понимают математики, утверждающие, что как бы ни были близки друг к другу две точки на прямой, между ними всегда можно поместить еще третью точку. Поэтому каждая вещь обязательно является источником и носителем бескопечных определений и признаков и есть потенциальный и максимально активный источник и носитель бесконечных предикаций. Да иначе Ленин не сказал бы: «Познание есть вечное, бесконечное приближение мышления к объекту»<sup>5</sup>. И вот, пока язык и мышление не выработали категории именительного падежа, до тех пор ни язык, ни мышление не были способны отражать живые вещи действительности в их реальном виде, т. е. как потенциальных источников и вечно активных носителей бесконечных предикаций. Пока субъект грамматического предложения и логического суждения был укорочен, сужен, пассивен и вообще частичен, до тех пор не могло возникать и речи о полном отражении действительности. Номинативный субъект, т. е. субъект предельно обобщенный и предельно абстрактный, не оторвался от действительности, но только впервые подошел к ней вплотную. Он оторвался только от отдельных частных, только от отдельных специфических сторон действительности. Но зато тем самым он оказался в состоянии охватить всю действительность и отражать реальные вещи как потенциальных и максимально активных носителей бесконечных определений. «Мышление, восходя от конкретного к абстрактному, не отходит — если оно *правильное...* от истины, а подходит к ней»<sup>6</sup>. «...*Стоимость* есть категория, которая *entbehrt des Stoffes der Sinnlichkeit\**, но она *истиннее*, чем закон спроса и предложения»<sup>7</sup>. Номинативный субъект и есть такая лишенная чувственности абстракция, которая гораздо ближе к чувственной действительности, чем все другие, гораздо более чувственные и гораздо менее абстрактные субъекты.

Благодаря этому полному исключению слепой и безответной чувственности из сферы номинативного субъекта

---

<sup>5</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 177.

<sup>6</sup> Там же, с. 152.

<sup>7</sup> Там же, с. 154 (\* лишена вещества чувственности).



екта возникает еще одно его замечательное свойство, которым он резко отличается от всех предыдущих грамматических строев. В предыдущем мы уже не раз замечали, что рассматриваемые нами типы предложений были бессильны исключить слепую чувственность целиком, что и заставляло их в значительной степени содержать в себе элементы чувственных ощущений и восприятий. Не только субъекты доэргативных типов предложения, но даже и эргативный субъект по самому своему смыслу содержал указание на некий слепой и именуемый субъект, находящийся вне самого предложения и орудующий эргативным субъектом как своим инструментом. Это делало решительно все доминативные предложения, собственно говоря, *безличными* предложениями. Ведь когда мы говорим *морозит* или *светает*, то, несомненно, эти предложения указывают на некий действующий субъект вне самих предложений; но указать этот субъект в ясной и отдельной форме, а следовательно, и наименовать его нет никакой возможности. Да так оно и должно быть, потому что этот субъект выступает здесь только как предмет слепого и недифференцированного чувственного восприятия и еще не дошел до мыслительного охвата, не отразился в мысли и потому не может быть назван своим собственным именем. Вот такого же рода слепые и именуемые субъекты содержатся во всех типах доминативного предложения, то более сильно, то более слабо управляя всем предложением и в той или иной форме превращая фиксированные в самом предложении субъекты только в свое собственное орудие. Исключение всякой слепой и именуемой чувственности из номинативного субъекта, полное и всецелое отражение чувственности в мышлении, превращение субъекта в предельную обобщенность чувственного восприятия и максимальное достижение абстрагирующей мысли приводят к тому, что номинативное предложение впервые во всей истории мышления и языка *перестает быть безличным предложением*, впервые становится предложением, в котором субъект целиком отражен в мышлении так, что в нем ничего не оставлено слепо-чувственного, животного-инстинктивного и недифференцированного. Правда, номинативные языки содержат в себе и так называемые безличные предложения. Но эти предложения представ-

ляют собой сравнительно небольшую группу, и они вполне приспособились к номинативному строю и морфологически и синтаксически. Кроме того, это, конечно, рудимент древнего безличия, потерявший здесь все свое мифологическое и вообще идеологическое значение. Победа «личного» предложения в номинативном строе колоссальна и несравнима с ничтожными остатками древнего безличного предложения.

Вместе с тем предельная обобщенность и абстрактность номинативного субъекта *отнюдь не обозначают того, что все фактические подлежащие во всех фактических предложениях обязательно должны быть максимально обобщенными*. Предельная обобщенность номинативного субъекта указывает только на бесконечные масштабы и на возможность вообще обобщений. Но это, конечно, не означает того, что подлежащее в предложении не может быть частным, конкретным, единичным. Фактическое подлежащее в номинативном предложении сплошь и рядом является и частным, и единичным, и чувственно-конкретным. Важно только то, чтобы это подлежащее, какую бы малую и незначительную вещь оно ни отражало, всегда и при всех условиях оставалось бы потенциальным и активным источником бесконечных определений.

Исходя из этого, мы также едва ли ошибемся, если скажем, что впервые только номинативное мышление и номинативный строй языка являются способными охватывать предметы *в их существе, по их смыслу*, в их несводимой ни на что другое оригинальности, в их четком отличии от всех других предметов. Существо и оригинальный смысл всякого данного А не суживаются здесь его связями с другими предметами, не ослабляются воздействием на него этих других предметов, не растекаются в бесконечных и безбрежных потоках, превращающих его во что-нибудь другое и разрушающих его самостоятельность и устойчивость. Если мы раньше говорили о взаимопревращаемости вещей, как они представляются инкорпорированному мышлению, о зыбкости, неустойчивости и расплывчивости их границ, их контуров, их формы и самого их существа, то на ступени номинативного строя и номинативного мышления человечество впервые вырабатывает такое орудие мышления и познания, которое способно устоять перед всеоб-

щей текучестью вещей, не потонуть в безбрежном становлении бытия и ухватывать любые вещи в их существе и в их оригинальности. Но рядом с этим возникает ещё одна особенность номинативного субъекта.

Будучи любимым А в его отождествлении с ним самим и потому будучи устойчивым в становлении, он тем самым является и *принципом закономерности самого становления этого А*. Вся А не теряется здесь ни в каком своем становлении и остается самим собой решительно во всех моментах этого последнего. Но ведь это значит, что становление всякого данного А не сумбурно, не случайно, не пусто и не есть нагромождение неизвестно чего в неизвестном направлении. Ведь любое становление нашего А совершается именно с ним, с этим нашим А. В каждый новый момент мы видим, что случилось с нашим А и каким оно стало, какое направление в изменении этого А и каков результат этого изменения. Другими словами, при таком подходе к этому А мы получаем возможность находить *закономерность* в становлении и в любых изменениях нашего А. Номинативный субъект не только есть отправной пункт для познания сущности и существенного содержания любого А. Но это всегда есть также еще и *принцип закономерности* в любых изменениях данного А.

Итак, подлежащее номинативного предложения есть *всякий предмет, рассмотренный как таковой в своем тождестве с самим собой, в своем существенном содержании и притом как принцип закономерности для любых изменений этого предмета*. Такой именительный падеж, как соотношение имени с самим собой, логически, конечно, вытекает уже из наличия других падежей, выражающих соотношение имени с другим именем или действием. Раз есть взаимоотношение с иным, то тем самым требуется и взаимоотношение с самим собой. Однако впервые только номинативный строй достиг этого простого вывода и впервые только он конструировал этот падеж самосоотнесенности и тем самым завершил тысячелетнее стремление человеческого языка и мышления к предельной широте и к предельному обобщению.

**3. Номинативное сказуемое.** Такой же предельной обобщенностью отличаются и номинативные сказуемые и дополнение.

Номинативное *сказуемое* выражается здесь глаголом. Но сказать это — значит очень мало сказать. Точно так же и сказать, что *сказуемое* всегда отвечает здесь на вопрос: что делает подлежащее? — тоже является недостаточным и ошибочным. Ведь всем известно, что *сказуемое* может быть выражено в страдательном залоге, и тогда оно будет отвечать на совсем другой вопрос: что делается с подлежащим, что делают с ним самим? Уже то одно, что *сказуемое* в номинативном предложении может быть выражено и глаголом в активе, и глаголом в пассиве, свидетельствует о том, что это *сказуемое* выше активности и пассивности и является для них родовым понятием. Если мы говорим «я пишу письмо» и «письмо пишется мною», то, очевидно, *сказуемое* по своей обобщенности *выше актива и пассива*, выше действия и страдания, точно так же, как и номинативное подлежащее тоже выше действующего, бездействующего и страдающего субъекта.

Выше мы видели, что в языках постепенно стала вырабатываться переходность глагола, восходящая к пассивному строю, и непереходность глагола, восходящая к прономинальному строю. Одним из огромных достижений эргативного строя является четкое различие переходности и непереходности глагола, возникшее здесь в связи с действенным пониманием субъекта и в связи с тенденцией четко различать имя и глагол. Важно и то, что переходность и непереходность глагола в эргативном строе определялись уже не внешними формальными компонентами предложения и его членов, как в прономинальном и посессивном строе, но значением самих глаголов. И все же эргативный предикат чрезвычайно узок и ограничен, поскольку он связан либо только переходным глаголом (при эргативном падеже подлежащего), либо только непереходным глаголом (при подлежащем в абсолютном падеже).

Впервые только *сказуемое* номинативного предложения оказывается способным свободно пользоваться и не пользоваться как переходными, так и непереходными глаголами в качестве *сказуемого*. Другими словами, впервые только номинативное *сказуемое* становится *выше переходности и непереходности* глагола. В предложении *я пишу* и субъект и предикат выражают действие, и *сказуемое* выражено при помощи переходного

глагола. Но в предложении *я сплю* субъект выражает бездействие, а предикат тоже выражает не действие, но только его состояние и пользуется переходным глаголом. И тем не менее и *пишу* и *сплю* являются тут грамматически совершенно в одинаковой степени сказуемыми, и как и бездействующий субъект является подлежащим в одинаковой степени с действующим субъектом, это значит, что номинативный предикат выше переходности и непереходности, ибо он их охватывает и может быть как тем, так и другим.

Нужно ли, далее, доказывать, что номинативное сказуемое гораздо выше также и противоположности бытия и небытия, выше противоположности утверждения и отрицания? Может быть, интереснее обратить внимание на то, что номинативное сказуемое выше истинности и ложности. Тут мы встречаемся с тем закоренелым предрассудком, который очень часто имеет место в рассуждениях о языке и мышлении, о предложении и суждении. Из совершенно правильного марксистско-ленинского учения о языке как отражении действительности очень часто делают вывод, что всякое предложение тоже отражает действительность. Но как же это может быть? Ведь всем известно, что люди очень часто лгут, и свою ложь выражают при помощи суждений и предложений. Если мы, например, скажем, *все быки летают*, то с точки зрения объективной действительности это будет ложь, ибо какую же действительность может отражать такое предложение? Но с точки зрения грамматической это будет совершенно правильно построенное предложение. Говорить, что предложение есть отражение действительности, — это значит либо считать, что все действительное есть тем самым уже абсолютная истина, т. е. утверждать платонизм, либо считать, что не существует ложных суждений и предложений. В противоположность этому необходимо думать, что действительность содержит в себе и истину и ложь и что предложение тоже может быть и истинным и ложным. Причем это несколько не значит ни того, что истинность предложения есть обязательно отражение истинности действительности (ибо существуют истинные предложения о ложной действительности), ни того, что ложность предложения есть отражение ложной действительности (ибо существуют ложные

предложения об истинной действительности). Таким образом, предикат предложения может выражать и истину о субъекте предложения, и ложь о нем, и потому он сам по себе выше истинности и ложности, он охватывает их и является чем-то общим и более абстрактным.

Чтобы усвоить эту предельную обобщенность номинативного сказуемого и достойным образом ее формулировать, необходимо принять во внимание еще два обстоятельства.

Во-первых, поскольку сказуемое есть то, что «сказывается» о подлежащем, а сказываться о нем, как мы только что видели, может все, что угодно, то для изображения этого предельно обобщенного отношения между подлежащим и сказуемым в номинативном строе необходимо подобрать и термин, который бы соответствовал этому по своей общности. Тут не подойдет ни «высказывание» или «приписывание», потому что и во всех прочих грамматических строях, где есть подлежащее и сказуемое, сказуемое тоже «высказывается» о подлежащем или приписывается ему, ни «действие» или «совершение», потому что номинативное сказуемое, как мы видели, может и не выражать действия. Надо подобрать такой термин, который охватывал бы любые смысловые связи, могущие возникнуть между подлежащим и сказуемым; и действие, и страдание, и причинные отношения, и вывод, и пространственно-временные связи, и действительные отношения, и возможные, и условные, и необходимые, и недействительные, и невозможные. Нам думается, что таким термином может явиться «функция», конечно, освобожденная от своего специфически-математического, т. е. чисто числового, содержания. Сказуемое есть функция подлежащего, понимая под функцией любое отношение, возникающее между подлежащим и всем предложением, или вообще любые связи, на которые только способно подлежащее. Так как дополнение, объект, является тоже необходимой составной частью предложения, то, сказав, что в предложении *объект есть выраженная в предикате функция субъекта*, мы выразим подлинный смысл номинативного предложения, и в частности подлинный смысл номинативного предиката.

Во-вторых, предельная обобщенность номинативного

сказуемого, в сущности говоря, делает это сказуемое прежде всего именно грамматической *категорией*, но обязательно конкретной грамматической формой. Точно так же, как и номинативное подлежащее настолько широко, что оно шире даже имени, и номинативное сказуемое — выше и шире отдельных глагольных форм. Многие глаголы в тех или иных временах или лицах не меняют своей формы, но, являясь сказуемым, вполне выражают собой свое предикатное значение. Мы говорим *я был, ты был, он был* или *я имел, ты имел, он имел*. Здесь сам глагол не меняется по лицам. И тем не менее он вполне четко является сказуемым в соответствующих предложениях. Предикатность выражается здесь не столько формой глагола и не столько спецификой его согласования с данным подлежащим, сколько просто его семантикой. Это определяется тем, что номинативный предикат есть максимально обобщенная функция, за которой не могут угнаться конкретные глагольные формы. Такое положение дела отнюдь не означает того, что сказуемое перестает и тут быть грамматической категорией, но это обозначает то, что грамматическая категория сказуемого достигла здесь наивысшего, предельного обобщения и что она определяется здесь не в каком-нибудь своем узком, одностороннем и чересчур конкретном, частном виде, но по самому своему *смыслу*, по своей сущности, определяется как самостоятельное и оригинальное *понятие*.

Теперь скажем несколько слов о номинативном дополнении.

**4. Номинативное дополнение.** Дополнение в номинативном предложении в связи с особенностями этого последнего тоже дается в *максимально обобщенном* виде. Оно тоже не связано здесь никакой ограниченной семантикой и имеет своей единственной целью выражать *результаты функционирования подлежащего*. Ведь если имеется аргумент и имеется функция от этого аргумента, то мы вправе ожидать и результата этого функционирования. Само собой разумеется, что этот результат должен вытекать из самой этой функции и должен управляться ею. Это *управление* по необходимости оказалось и грамматическим термином. Глагол-сказуемое по самой своей сущности, т. е. по самой своей семантике, требует после себя того предмета, ко-

торый является его результатом, требует объекта, управляет им, имеет его своим предметом. То обстоятельство, что для этого понадобился специальный *винительный* падеж, говорит само за себя и является вполне естественным результатом основного смысла номинативного предложения. Ведь если существует субъект и он как-то функционирует, то ясно, что должен быть и тот объект, который появляется в результате функционирования, такой же обобщенный, как и сам субъект и его функционирование, и в то же время терминологически и формально-грамматически закрепленный как определенная языковая категория. Это и есть *винительный* падеж, падеж самого прямого и самого непосредственного результата функционирования субъекта.

Этот термин античных грамматистов не все понимают так, как нужно. И греческий и латинский термины, обозначающие винительный падеж, как и их славянский перевод «винительный», указывают на вину, т. е. на причину или, точнее, на подведение под причину. Винительный падеж значит падеж «подводящий под причину» или, так сказать, «опричинивающий». Винительный падеж выражает поэтому тот предмет, который возникает в результате действия субъекта. Или, короче, это результативный падеж. Конечно, речь тут шла у нас о переходных глаголах, поскольку непереходный глагол-сказуемое имеет своим результатом сам же субъект, возвращается на сам субъект, так что сам же субъект является здесь дополнением.

Ко всему этому мы должны прибавить, что, как и в случае с подлежащим и сказуемым, предельная обобщенность дополнения тоже приводит нас здесь не столько к специальным флексиям винительного падежа в языках номинативного строя, сколько прежде всего к самой *категории* дополнения, освобожденной здесь от всякого ограниченного, одностороннего и случайного оформления и вскрываемой в данном случае только со стороны своего *смысла*, со стороны своего *понятия*. Даже в тех случаях, когда винительный падеж сходен с именительным (как в именах среднего рода в индоевропейских языках), даже в этих случаях винительный падеж не перестает быть падежом прямого дополнения и не перестает изображать собой результат действия субъекта.



Таким образом, специфика номинативного дополнения та же, что и специфика подлежащего и сказуемого в номинативном строе. Специфика эта есть предельная обобщенность категории. По этой же причине в языках номинативного строя сказуемое уже никак не может зависеть от дополнения, как это мы видели выше в других грамматических строях. Ведь там субъект и объект вообще различались слабо, и одна и та же грамматическая форма свободно могла обслуживать там и субъект и объект. В условиях четкого различия субъекта и объекта, сказуемого и дополнения, дополнение, как того требует сам его смысл, впервые ставшее на ноги, уже никак не может подчинять себе сказуемое, а, наоборот, может только зависеть от него, может только управляться им. Другими словами, дополнение в дономинативных строях попросту еще не было настоящим дополнением, как и подлежащее в них еще не есть подлежащее вообще, а всегда только то или иное его частное проявление, и сказуемое не есть сказуемое вообще, а только тот или иной его случайный или конкретный вид. Если прямое дополнение выражается в языке разными падежами, это значит, что оно еще не есть здесь прямое дополнение вообще; оно здесь все еще барахтается в разных отдельных и односторонних проявлениях. Только когда для прямого дополнения как для выражения результативности действия субъекта был создан специальный падеж, только тогда это дополнение целиком осуществило свое понятие и грамматически достигло своего собственного, ничем случайным уже не затемняемого смысла.

Равным образом по самому своему смыслу дополнение не может стоять при непереходном глаголе-сказуемом, поскольку в данном случае объектом действия субъекта является сам же субъект или его состояние, но в языках, например, проаминального или посессивного строя дополнение может стоять и при том звуковом комплексе, который мы теперь понимаем как непереходный глагол. Это тоже свидетельствует о том, что в дономинативных языках дополнение еще не стало дополнением и что только номинативный строй впервые понял дополнение как именно дополнение.

В итоге при таких обобщенных членах номинативного предложения и само номинативное предложение

должно обладать такой обобщенностью, чтобы охватывать все бесконечные отдельные типы взаимоотношения между субъектом и объектом. Из предыдущего ясно, что такой *формулой предложения* может быть только «А — функция В». С этой точки зрения предложение не есть «словесно выраженная законченная мысль», как это мы постоянно читаем у лингвистов. Ведь в таком определении неясно ни одно слово, и оно оказывается определением неизвестного через неизвестное. Что такое «словесно»? Привносят ли здесь что-нибудь слова в сравнении с «мыслью» или они оставляют «мысль» как она есть и ничего не привносят нового? Неизвестно, что такое «выраженная» и что такое «мысль». Ведь известно, что предложение может выражать и бессмыслицу. Если мы скажем *железо деревянно*, то это, несомненно, будет предложение, но какую же мысль оно выражает? Точно так же невозможно сказать, что предложение есть выражение действительности. Всем известно, что существуют предложения, не выражающие никакой действительности. Нам кажется, что формула «А — функция В» является наиболее общей и наиболее точной, выражающей как раз природу номинативного предложения.

Итак, та специфика, которой отличаются все номинативное предложение и отдельные его члены, подлежащее, сказуемое и дополнение, есть *предельная обобщенность и наибольшая свобода от всего частного, от всякого рода специальных, узких и ограниченных проявлений*.

Утвердившись на этой позиции предельной обобщенности предложения и его членов, перейдем к тем выводам, которые непосредственно отсюда вытекают и которые еще глубже обосновывают эту позицию.

**5. Разделение логических и грамматических категорий и их единение.** Поскольку номинативное предложение ввиду своей обобщенности впервые пользуется грамматическими категориями в их собственном и непосредственном виде, в их завершенности и выработанности, чрезвычайно важно провести сравнение этих категорий с логическими и тем самым открыть путь для систематической увязки номинативного синтаксиса с формами мышления вообще. Сделать это сейчас целесообразно еще и потому, что лингвисты большей частью только

и анализируют номинативное предложение; а представители логики вообще не знают никаких доминативных грамматических строев и не знают того, что предметом их обсуждения является номинативное мышление и что сами они пользуются номинативным языком и мышлением, подобно мольеровскому герою, не знавшему, что он говорит прозой. Если крупнейшие языковеды (тот же Шахматов или Пешковский) не выходят за пределы номинативного синтаксиса и если традиционная логика тоже есть логика номинативная, то, перейдя в нашем изложении к номинативному строю, мы, очевидно, достигнем того пункта исследования, где как раз удобно заговорить об отношении грамматических и логических категорий и иметь в виду как раз современных языковедов и логиков.

Прежде всего мы хотели бы отвергнуть ложные и недостаточные позиции в этом вопросе, хотя, конечно, нет ни возможности, ни надобности в нашем кратком очерке проводить эту критику обстоятельно. Мы только укажем на три наиболее устойчивые и наиболее злостные теории.

Одна теория — это теория *отождествления* логических и грамматических категорий. Это наиболее ходовое представление. Здесь думают, что всякое грамматическое предложение есть в то же самое время и логическое суждение и что грамматический субъект или предмет суть в то же время и логический субъект или предикат. Думают, что если существуют предложения *грачи улетели, пошли грибы, лес обнажился, поля опустели, белеет парус одинокий*, то они же являются и логическими суждениями, так что *грачи, грибы, лес, поля* и т. д. есть грамматический и логический субъект и соответственно предикаты.

Эта теория неверна или, во всяком случае, неполна уже по одному тому, что указанные предложения вовсе не есть логические суждения, но являются только знаком чувственного опыта, выражением тех или иных физических фактов, так что если это вообще не суждения, то здесь нет никаких и логических субъектов или предикатов. Иначе пришлось бы логизировать весь чувственный опыт и считать все чувственно-воспринимаемые вещи логическими категориями. Конечно, можно дать более широкое понятие логического, но тогда

с этого и надо начинать, а не декретировать, что всякий грамматический субъект есть в то же время и логический субъект.

Некоторые пытались под логическим субъектом и предикатом понимать не отдельные слова, но целые группы слов в предложении, объединенных одной смысловой интонацией. Но, очевидно, грамматическое и здесь отождествляется с логическим, поскольку такой логический субъект отличается от грамматического только своей словесной сложностью и распространенностью, а не своим существом. Это, кратко говоря, распространенное грамматическое подлежащее, а не элементарное, состоящее из одного слова, и распространенный предикат, состоящий из многих слов, а не из одного. Кроме того, с точки зрения марксистско-ленинской теории, язык есть конкретное, практическое, осуществленное, действительное мышление, в то время как само мышление есть деятельность значительно более абстрактная и самостоятельно без языка не существующая. Если же мы будем считать отдельные слова грамматическим субъектом или предикатом, а целые группы слов в грамматическом предложении субъектом логическим, т. е. логическое будет отличаться у нас от грамматического только большей распространенностью и сложностью и большей конкретностью, вмещающей в себя даже всю интонационную выразительность, то логическое мышление окажется и самостоятельней и конкретней языковой выразительности, т. е. абстрактное мышление окажется конкретнее самого языка. Очевидно, подобная теория противоположна марксистско-ленинской.

Другая теория взаимоотношения логики и грамматики — это теория *параллелизма*. Нечто параллелистическое есть уже и в первой теории, поскольку в каждой грамматической категории она видит уже и логическую категорию. Но там это было простым отождествлением логики и грамматики. Что же касается теории параллелизма, то в ней проповедуется не простой перенос членов предложения на место членов суждения; но суждению приписываются свои, вполне специфические функции, по своему смыслу отнюдь не сводящиеся на грамматическое предложение, и только утверждается, что между этими вполне специфическими языковыми

и этими вполне специфическими мыслительными функциями существует обязательный и абсолютный параллелизм. На самом же деле о параллелизме языка и мышления или грамматики и логики можно говорить только в смысле *очень сложного функционального отношения*, такого сложного, разнообразного и часто неожиданного, что иной раз одному языковому аргументу соответствует нулевая мыслительная функция или множество разнообразных мыслительных функций, и очень значительному мыслительному аргументу иной раз тоже ничего не соответствует в языковой функции или соответствует нечто несоразмерное и даже неожиданное. Разумется, в истории языка и мышления можно подобрать такие моменты, когда параллель между тем и другим выявляется в самой яркой и ощутительной форме. Такие моменты мы главным образом и подбирали в предыдущем изложении, поскольку нашей единственной задачей и являлся анализ этого соответствия синтаксиса и логики. Однако утверждать, что решительно во все мельчайшие моменты истории и что на каждом шагу обыденной жизни язык и мышление или грамматика и логика обязательно и нерушимо связываются одно с другим и механически отражают друг друга — это было бы невероятным искажением марксистского учения о единстве языка и мышления и давало бы искаженную картину взаимоотношения категорий логики и грамматики.

Наконец, такой же уродливой теорией является и теория *независимости* языка и мышления, хотя она очень распространена во всей истории философии. Можно сказать, что почти всякая идеалистическая система философии в прошлом, не дожившая до развития теории языка, бессознательно предполагала, что мышление не зависит от языка и что язык необязательно связан с мышлением. Однако не будем кивать только на философские системы прошлого. Современная формальная логика пользуется исключительно только грамматическими категориями, но пользуется ими, совершенно не отдавая себе в этом никакого отчета. Следовательно, никакого абстрактного логического мышления она не знает и потому, в сущности, тоже проповедует самостоятельность и независимость от языка логического мышления. Эта теория независимости языка и мышле-

ния едва ли заслуживает критики, но если и заслуживает, то, конечно, не в нашем кратком очерке. Для нас важно в данном случае только устранить ложь в изучаемой области, и это мы сделали.

Чтобы перейти теперь к положительным утверждениям, необходимо отдать себе отчет в том, что указанные три теории, даже если бы они и содержали в себе частичную истину, недостаточны уже ввиду своего формализма. Дело ведь не только в том, что язык и мышление тождественны или нетождественны, параллельны или непараллельны, самостоятельны или несамостоятельны. Все подобные утверждения предполагают уже известным, что такое мышление и что такое язык. А между тем эта-то сторона, т. е. сторона существенного, а не формального взаимоотношения языка и мышления, и является здесь самой интересной, если прямо не единственно интересной. Поэтому сначала надо установить, каково отношение языка и мышления по их существу, а уже потом судить о том, как это отношение фактически осуществляется.

Когда мы начинаем подыскивать самую общую формулу для языка, нам приходит на ум только тот общеизвестный принцип, что язык — это *орудие общения*. Если мы упустим из виду этот принцип, то лучше будет не заниматься ни языком, ни грамматикой, потому что вне этого принципа язык и наука о языке — грамматика попадают в разряд, самое большее, естественнонаучных дисциплин. Но если это так, то грамматика, будучи наукой о языке, является и наукой о языковых орудиях общения. Каждый грамматический закон и каждое грамматическое правило имеет своей целью сразить стихию языка как стихию разумного человеческого общения, и так как речь тут идет не о каком бы то ни было общении, но только об общении словесном, языковом, а язык неразрывно связан с мышлением, то общение здесь является, конкретно говоря, *номинальным* и орудие общения является здесь орудием понимания. *Грамматические категории суть орудия понимания*. К сожалению, этот непосредственный вывод из указанного общего принципа делается пока очень редко; и замечательное учение о языке как об орудии общения остается еще, в сущности, без всякого применения к реальной грамматике. А вместе с тем, разумеется,

падает и учение о языке как о социальном явлении. Итак, фундамент, на котором мы будем рассматривать отношения логических и грамматических категорий, есть теория языка как орудия общения и, следовательно, учение о грамматических категориях как категориях понимания.

Но если таково грамматическое, то что же такое логическое? Здесь мы приведем другой принцип, выраженный на этот раз в известном месте «Немецкой идеологии»: «Язык так же древен, как и сознание; язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми»<sup>8</sup>. Другими словами, сознание есть только абстрактная, теоретическая сторона разумного человеческого общения, самостоятельно не существующая, но тем не менее не сводимая на язык. Язык есть осуществленное сознание и мышление, а сознание и мышление суть неосуществленный язык, его абстрактная и теоретическая смысловая, обобщенно-смысловая сторона.

Вооружившись этими двумя принципами — о грамматических категориях как о категориях понимания и о логических категориях как о категориях отвлеченного смысла, — попробуем теперь доказать такие три тезиса: различие между грамматикой и логикой есть различие между пониманием и мышлением, конкретные грамматические категории суть категории понимания и номинативный строй впервые дает ясное разделение логических и грамматических категорий и впервые создает также четкие формы их ясного и раздельного объединения.

Итак, во-первых, что такое мышление и что такое понимание? *Мышление* как абстрактная деятельность есть всегда процесс различения и отождествления, а тем самым и процесс объединения и разъединения, а тем самым и процесс обобщения и ограничения, а тем самым и процесс систематизации; кроме того, мышление есть нахождение противоречий и их разрешение, нахождение оснований и выведение из них следствий, а пото-

---

<sup>8</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 29.

му и вообще отдельный и обоснованный переход от неизвестного к известному, от незнания к знанию. Отсюда делается ясным, что мыслить предмет — значит представлять его существо при помощи четких и отдельных и, самое главное, обоснованных категорий.

Совсем другой процесс — *понимание*. Понимание уже предполагает, что есть тот или иной предмет, что этот предмет имеет то или иное существо и что это существо так или иначе обоснованию мыслится. Понимание не контролирует этого предмета в мысли только впервые, но уже пользуется той или иной мыслительной картиной этого предмета. И понимание выбирает из данного предмета те или другие его элементы, выдвигает их как основные и центральные, отодвигая в то же самое время другие его элементы на задний план, подчиняя их первым и рассматривая их в свете первых. Это и значит, что язык есть конкретизация и практическое осуществление мышления.

Так, например, логическое понятие человека сводится к мысли об одушевленном и разумном существе. Понимание же этого человека может быть разным. Римляне, назвав человека *homo*, выдвинули в нем момент земли, земной персти, потому что *homo* имеет тот же корень, что и *humus* «земля». Немцы, наоборот, увидели в человеке нечто интеллектуальное, поскольку назвали его *Mensch*, т. е. словом того же корня, что и латинское *mens* «ум». Логическое понятие человека — одно, а пониманий его может быть бесконечное число.

Докажем теперь, что конкретные грамматические категории суть категории понимания, а не мышления.

Обычно думают, что имя существительное есть выражение субстанции вещей, имя прилагательное — качества вещей, имя числительное — их количества, глагол — их действия, предлог — их отношения и т. д. Однако субстанция, качество, количество и т. д. есть только логические категории, и простое словесное обозначение этих логических категорий отнюдь еще не делает их грамматическими категориями. Такое сведение грамматических категорий на логические есть логизация грамматики, превращение языка из орудия общения в абстрактное глухонемое мышление и подпадение под ту или другую ложную теорию из трех указанных у нас выше.



На самом же деле существительное вовсе не есть обозначение субстанциальности, но оно есть понимание (и, следовательно, выражение) *чего бы то ни было как субстанции*; и глагол не есть обозначение действия как такового, но он есть *понимание* (и, следовательно, выражение) *чего бы то ни было как действия*.

Когда мы употребляем существительные *человек, собака, дерево*, то в качестве субстанции мы выражаем здесь то, что и по существу своему является субстанцией, по своему логическому смыслу является субстанцией. Но когда мы говорим *хождение, делание, гуляние, обучение*, то здесь в виде субстанции мы понимаем отнюдь не то, что и по существу своему является субстанцией, но то, что по существу своему является действием. Когда мы говорим *вожатый, участковый, фланговой, слепой, глухой*, то в качестве субстанции мы выставляем здесь тоже не субстанции вещей, но их качества. *Единица, двойка, тройка, десяток, дюжина, сотня* тоже отнюдь не есть просто обозначение количества, но это есть понимание количества как субстанции. И вообще субстантивироваться может любая категория, кроме субстанции; и все это указывает на то, что существительное вовсе не есть обозначение субстанции, понимание чего бы то ни было как субстанции.

Точно так же любую логическую категорию можно понять в свете категории качества, для чего и употребляется грамматическая категория прилагательного. Прилагательное тоже вовсе не есть только обозначение качества, что сводило бы каждое прилагательное на отвлеченно-логическое понятие качества, но есть понимание какого угодно предмета как качества, так что и в нем, как и во всех грамматических категориях, по крайней мере два разных семантических слоя; предметный, охваченный логически, с одной стороны, и понимаемый, т. е. так или иначе понимаемый, интерпретируемый, с другой стороны. Если *красный, большой, здоровый* есть обозначение как качества того, что и по существу своему является качеством, то *отцовский, ремесленный, трудовой* являются обозначением в виде качества того, что отнюдь не есть качество, а есть субстанция. *Первый, второй, третий* есть понимание как качества того, что по существу своему есть количество; а глаголы *отцовствовать, ученичествовать, плотничать*,

*столярничать, немотствовать, слепотствовать* есть выражение в виде действия вовсе не действия, а субстанции или качества. *Ахать, охать* есть понимание в виде действия тоже вовсе не действия, но междометия. Таким образом, все эти бесчисленные факты субстантивации, адъективации, вербализации, адвербализации, препозиционизации и т. д. ясно свидетельствуют о том, что грамматические категории частей речи отнюдь не являются отражением и выражением логических категорий, но, будучи предназначенными для целей общения, они указывают определенную точку зрения на предмет, хотят выставить предмет в определенном свете для его специального понимания и потому содержат в себе, по крайней мере, два семантических слоя. Один — предметно-логический и другой — так или иначе понимаемый — интерпретативный, назначенный для сообщения данного предмета другому сознанию. То же самое необходимо сказать, например, и о формах глагола. Настоящее время глагола тоже ни в каком случае не есть только простое и непосредственное обозначение настоящего времени. *Делаю, читаю, сплю* — это, конечно, есть настоящее время и в предметном смысле, и в смысле понимания предмета. Но весьма распространенный во всех языках *praesens historicum* есть понимание в виде настоящего времени такого действия, которое в предметном смысле является не настоящим, а прошедшим. В предложении *Завтра я обязательно еду в Москву* настоящее время глагола тоже отнюдь не обозначает настоящего времени как такового, но есть интерпретация как настоящего времени такого времени, которое в предметном смысле есть будущее. *Я просидел, я проспал, я прогулял* суть предложения со сказуемыми в аористе, понимая под аористом прошедшее время в виде одной точки, одного момента, одного мгновения. Но, конечно, аорист в этом смысле и в греческом, и в русском языке отнюдь не есть просто обозначение одной мгновенной точки в прошлом, а опять-таки есть понимание чего бы то ни было в виде одной мгновенной точки в прошлом. Я мог просидеть за работой, например, три часа, но эту длительность в «три часа» я хочу понять как одно мгновение в прошлом и тогда я должен употребить аорист. Можно сказать *Август процарствовал 44 года*; и в предметном смысле действие здесь

длится 44 года, а в смысле понимания этой большой длительности и, следовательно, грамматически, здесь перед нами только один момент. Конечно, никто не мешает аористу быть пониманием и такого момента в прошлом, который не только в смысле нашей интерпретации, но и предметно, объективно, исторически был тоже не чем иным, как именно только одним моментом прошлого. Но это значит только то, что даже и в данном конкретном случае грамматическая категория указывает не на сам предмет, а на ту или иную его интерпретацию.

Не будем умножать этих примеров, считая, что и приведенных достаточно. Они с полной очевидностью свидетельствуют о том, что всякая грамматическая категория не есть категория предметного мышления, но категория общения и понимания, т. е. категория выставления предмета в том или ином свете, с точки зрения той или иной смысловой подачи, категория специализации и конкретизации предмета, предпринимаемой в целях сообщения этого предмета другому сознанию. Обычно думают, что предмет сам по себе и предмет сообщаемый есть одно и то же, но это значит сводить конкретное общение людей к отвлеченной мыслимости предметов, уничтожать самое специфику общения и разрушать основную для языка коммуникативную функцию. На самом же деле акт общения и понимания есть специфический акт, отличный от простого акта полагания предметов. И если коммуникативная функция на самом деле, а не только на словах есть нечто специфическое, то необходимо указать, чем отличается коммуникация от простой и отвлеченной мыслимости и чем конкретно отличается в языке предмет объективно-мыслимый и предмет сообщаемый, предмет так или иначе понимаемый.

В-третьих, только теперь мы можем поставить вопрос о подлинном размежевании логических и грамматических категорий в номинативном предложении. Как очевидно, это размежевание впервые делается здесь возможным потому, что грамматические категории впервые только здесь избавляются от своего частного вида и частичного функционирования, впервые становятся общими, охватывающими все частности и потому впервые становятся самими собой.

Пока части речи различались очень плохо и пока члены предложения не были вполне дифференцированы, трудно было говорить о законченном предложении. Даже в эргативном строе, не говоря уже о предшествующих строях, эргативный падеж — подлежащее многие толкуют как дополнение, а глагол — сказуемое, в котором не различаются залогов, в сущности очень мало похож на глагол в теперешнем понимании и тоже весьма близок к имени. Ведь если строение имеет активный смысл, а «строенность» — пассивный, то «строй» не имеет ни активного, ни пассивного смысла, а есть существительное беззалоговое. Несомненно, к этим беззалоговым именам и приближается эргативное сказуемое. В локативном строе подлежащее тоже почти неотличимо от наречия, а в аффективном — от косвенного дополнения и т. д. и т. д. Таким образом, только в номинативном предложении подлежащее есть именно подлежащее и ничто другое, а сказуемое есть именно сказуемое и ничто другое.

Прибавим к этому, что не только в смысле обобщенности грамматические категории становятся здесь самими собой, но и в смысле своей интерпретативности. Если мы говорили, что в именительном падеже А рассматривается именно как А, то это мы говорили здесь не о чем ином, как именно о понимании: в именительном падеже А *понимается* как А. И если мы говорили о самотождестве объекта в номинативном предложении, то теперь уже ясно, что мы здесь имели в виду именно понимание объекта как объекта.

*Эти моменты обобщенности и интерпретативности предложения как раз и есть то, что ограничивает предложение от суждения* и что является их пограничной линией, их водоразделом. Если мы определили предложение как «А — функция В» (т. е. предложение *Человек строит дом* есть выражение постройки дома как функции человека), то, в сущности говоря, эта же формула есть и формула суждения с той только разницей, что логическое мышление развивает эту формулу логически и мыслительно, а грамматическое предложение развивает ее интерпретативно.

Действительно, поскольку всякое логическое мышление есть переход от основания к следствию, эта формула «А — функция В» может явиться суждением толь-

ко в том случае, если в ней мыслится или, по крайней мере, предполагается то или иное обоснование. Если суждение *Человек строит дом* есть действительно логическое суждение, а не просто указание на чувственно-материальный факт, то оно должно содержать в себе тот или иной принцип своего собственного обоснования или быть принципом для своего собственного функционирования. Тут могут мыслиться разного рода технические процессы строительства с их трудовым, экономическим, материально-строительным, технологическим, архитектурно-строительным, математическим и всякими иными обоснованиями. Если это суждение не несет в себе никакого подвижного и развивающегося смысла, если оно ни на чем не обосновано и само не является принципом обоснования, то оно вообще не есть суждение, а есть только обозначение слепого, изолированного и никак не осмысленного факта.

Можно сказать и так. Что является предметом или субъектом суждения *Человек строит дом*? Конечно, отнюдь не *человек*, поскольку в данном суждении мы мыслим не только человека, но и построение им дома. Другими словами, в логическом смысле субъектом является здесь все суждение целиком. Но если мы спросим себя, что же мы именно говорим здесь о субъекте, что именно ему приписываем, т. е. спросим о самом содержании предмета, которое мы тут к нему примышляем или, попросту говоря, спросим о предикате этого суждения, то совершенно ясно, что этим предикатом суждения окажется опять-таки само же суждение. Все суждение, взятое целиком, есть и свой собственный субъект, и свой собственный предикат. Поэтому либо в логическом суждении вообще нет никакого субъекта и предиката, либо они различаются между собой только как этапы обоснования, как разные степени логической оформленности и конкретности, как разные этапы логического развертывания некоего одного логического принципа. Предикат *строит дом* логически развертывает то, что содержится в субъекте *человек*. Предикат *человек строит дом* логически развертывает и оформляет то, что содержится в субъекте *построение дома человеком*. Этот же последний субъект, в свою очередь, является предикатом для дальнейшего субъекта, который является выразителем, например, совокуп-

ности тех или иных строительно-технических приемов и т. д. и т. д.

Другими словами, в поисках подлинного субъекта и предиката суждения, если только действительно имеется в виду суждение, мы уходим в бесконечность. Так что и здесь, и даже здесь-то по преимуществу, имеют значение знаменитые слова В. И. Ленина о бесконечности предмета познания и о постоянном приближении к нему фактического человеческого знания<sup>9</sup>. Поэтому *подлинным субъектом всякого суждения является то неизвестное  $x$ , которое есть вечно потенциальный субъект исходящих из него бесконечных предикаций, так что при помощи этих последних он становится все более и более известным, входя тем самым в постоянно становящуюся систему человеческого познания.*

Совсем другое дело — грамматическое предложение, которое в своей последней обобщенности тоже формулируется, как и логическое суждение «А — функция В», но которое развивается отнюдь не в направлении мышления, мыслительных связей и бесконечной цепи обоснований, а в направлении *понимания* и *сообщения* понимаемого в направлении произвольного выбора из того, что дает мышление, и произвольного его комбинирования. Если воспользоваться приведенным примером, то для логического субъекта *человек* могут фигурировать в качестве грамматического субъекта *строитель, рабочий, плотник, архитектор, человеческий ум, человеческий гений* и т. д. Все это будут разные *понимания* логического субъекта. Логический предикат *строит* можно понять как «создает», «созидает», «сооружает», «сколачивает» и пр. *Дом* можно понимать как «сарай», «конюшня», «амбар», «магазин», «дом для жилья», «кров», «угол», «школа», «театр» и пр. Вместо *человек строит дом* можно сказать *дом строится человеком* или *происходит постройка дома человеком* и пр. Все это есть бесконечные *понимания* одного и того же логического суждения *человек строит дом*. Это суждение, далее, можно выразить и поэтически, и прозаически, и вдохновенно, и безразлично, и торжественно, и обыденно, и восторженно, и вяло. Можно сказать *Огонь Прометея горит в душе и творчестве архитектора*

<sup>9</sup> См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 177.

музыкой сооружений и скульптурой зодческих видений, и логический смысл этого витиеватого предложения будет только один — «человек строит дом».

Само собой разумеется, что логическое суждение на иной вкус гораздо бледнее, абстрактнее, мертвее всякого реально высказываемого предложения. Но ведь так оно и должно быть, потому что мышление в сравнении с языком есть только несамостоятельная абстракция, а язык есть его конкретное выражение, есть его практическая действительность. А кроме того, для другого вкуса эта абстракция не так уж лишена интереса.

Ведь все законы природы только потому и являются наукой, что они суть общие законы мыслительности, отражающие не какое-нибудь одно слепое и изолированное явление, но бесконечный цикл явлений данного рода.

Другими словами, грамматическое предложение не преследует логических связей понятий, не выражает логический вывод предиката, как следствия из субъекта, как основания, и не является принципом и законом мышления в области того или другого предмета. Но оно соединяет субъект и предикат совершенно независимо от их логической взаимосвязанности и часто даже вопреки этой последней. Предложение *Я еду завтра в Москву* логически бессмысленно, потому что *еду* указывает на настоящее время, а *завтра* — на будущее. Точно так же логически бессмысленно предложение *Вчера иду я по улице и вдруг вижу пожар*. В предложении *Ты бы покушал* использовано сослагательное наклонение, а логически выражает пожелание или просьбу. И тем не менее не вопреки этому расхождению грамматики и логики, но именно благодаря ему грамматическое предложение и обладает своей выразительностью, выполняет свою функцию специфически понимать и сообщать понимаемое. Мы видим, что каждое логическое суждение есть принцип для бесконечного ряда других суждений, обосновывающих друг друга. Но теперь мы убеждаемся, что и грамматическое предложение тоже есть принцип для бесконечного ряда всяких других предложений, которые, однако, уже не обосновывают друг друга, а возникают только по произвольному почину сознания, пользуясь ими

как для общения с другими сознаниями. Из бесконечного пучка суждений, зажатых в каждом данном суждении, можно извлекать и самые разнообразные суждения, и самые разнообразные комбинации субъектов и предикатов для того, чтобы так или иначе понять его и так или иначе сообщить его другому.

Это не значит, что понимание всегда субъективно — в противоположность объективности логического мышления. Но это значит, что всякая живая вещь действительности, будучи потенциальным субъектом исходящих из нее бесконечных предикаций, может и должна рассматриваться тоже с бесконечных точек зрения, выступая каждый раз все в новом и новом виде. Однако это также не означает и того, что всякое понимание обязательно объективно. Если что объективно в человеческом сознании, то это, конечно, научное мышление, которое, отражая закономерную действительность, и само тоже закономерно и логически развивается. Логическое мышление, если оно действительно логично, т. е. научно, не может быть чем-то субъективным и не может быть ложным. Ложное мышление вовсе не есть мышление, и ложный закон природы вовсе не есть закон. Но грамматическое предложение, которое является тем или иным пониманием действительности, сколько угодно может быть и истинным и ложным, и от этого номинативное предложение нисколько не перестает быть предложением. В предложении, повторяем, может быть выражена любая ложь, самая дикая фантазия, самый дикий бред или глупость; и от этого оно нисколько не перестает быть предложением.

Логическое суждение, будучи существенным отражением наличных в бытии связей, *конститутивно* для того предмета, который оно обсуждает; грамматическое же предложение, будучи отражением не самого бытия, но того или иного его понимания, не конститутивно для этого последнего, а только *коммуникативно*, причем эта коммуникация либо целиком соответствует своему предмету, либо соответствует ему лишь отчасти, либо находится в прямом противоречии с ним как ложное и искаженное.

Наконец, это не означает и того, что грамматическое предложение само по себе обязательно бессмысленно, а осмысленно только логическое суждение. Пред-



ложение всегда осмысленно, даже и самое глупое, самое ложное, самое бредовое. Только осмысленность его совершенно специфическая. Это не есть осмысленность самого логического процесса мысли, самих связей, следствий с их основаниями. Грамматическое предложение сначала комбинирует элементы в их фактической, вполне материальной, а потому часто и вполне случайной связи и уже потом смотрит на тот смысл, который получается из этого комбинирования. Ведь язык же есть, как мы давно установили, практическая действительность мышления. Следовательно, и связь субъекта с предикатом в предложении есть прежде всего не логическая, но фактическая, не обязательно обоснованная, но только материальная, практическая, хотя тут же возникает и особый смысл этих фактически связанных элементов. В логике — сначала понятия и смысл и в дальнейшем тоже понятия и смысл. В грамматике же сначала фактическая связь понятий или вообще смысловых элементов, а уже потом — смысловая картина установленных здесь связей.

Если *Человек строит дом* есть действительно логическое суждение, а не знак чувственного восприятия, то *человек* и *построение дома* должны быть связаны между собой логически, т. е. *построение дома* должно логически вытекать из *человека* или обратно. Если же это есть грамматическое предложение, то *человек* есть одно, а *построение дома* — совсем другое, ничем логически не связанное с человеком и не имеющее никакого к нему логического отношения, и впервые только из фактического объединения этих двух элементов здесь возникает их общий смысл и притом совершенно другой, чем их чисто логическая связь в суждении. Но если взять хотя бы предложение *Человек есть царь природы* или *Человек — это звучит гордо*, то здесь совершенно ясно, что *царь природы* ни в какой мере не вытекает из *человека* логически, поскольку логически *человек* есть только физическое одушевленное разумное существо; и если тут есть какая-нибудь связь между этими двумя понятиями, то связь только фактическая, материальная, историческая, поскольку исторически человек развивался так, что он стал царем природы. Следовательно, объединение человека с царем природы отнюдь не есть только логическая связь, но она уста-

навливаются нами сначала просто фактически, так что связываются здесь между собой элементы, в сущности не имеющие никакого отношения один к другому. И весь смысл грамматического предложения возникает только на основе этой нелогической, чисто фактической, чисто исторической связи элементов, ибо логически не связанные между собой элементы, но объединенные для целей того или иного их понимания, того или иного их освещения и сообщения другому сознанию, дают совершенно свой особенный, свой новый смысл, за которым не может угнаться и никакая чисто логическая связь этих элементов в суждении.

В заключение этого рода мыслей приведем замечательное рассуждение А. А. Потебни, являющееся в значительной мере резюме также и наших размышлений.

«Грамматическое предложение вовсе нетождественно и непараллельно с логическим суждением. Названия двух членов последнего (подлежащее и сказуемое) одинаковы с названиями двух из членов предложения, но значения этих названий в грамматике и логике различны. Термины «подлежащее», «сказуемое» добыты из наблюдения над словесным предложением и в нем друг другом незаменимы. Между тем для логики в суждении существенна только сочетаемость или несочетаемость двух понятий, а коготорое из них будет названо субъектом, которое предикатом, это для нее вопреки существующему мнению должно быть безразлично, ибо в формально-логическом отношении, независимо от способа возникновения и словесного выражения, все равно, скажем ли *лошадь — животное*, *лошадь не собака* или *животное* включает *лошадь* (в числе животных есть лошадь), *собака не лошадь*. Категории предмета и его признака не нужны для логики, для которой и то и другое — только понятия, совокупности признаков. Тем менее возможно вывести из логического суждения прочие члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение»<sup>10</sup>.

Таким образом, уже А. А. Потебня прекрасно понимал всю разнородность логического суждения и грамматического предложения, чисто логическое взаимоот-

---

<sup>10</sup> Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. I — II. М., 1958, с. 68—69.

ношение субъекта и предиката в суждении и потому их взаимопереставимость, а с другой стороны, чисто фактический характер связи субъекта и предиката в предложении и потому недопустимость их перестановки без перехода данного предложения в совсем другое.

6. **Номинативное мышление.** Сущность, явление и закономерный переход между ними. С особенностями номинативного мышления мы волей-неволей уже не раз встречались выше в анализе номинативного предложения. Попробуем теперь сказать об этом специально.

Очевидно, мы должны начать с той основной особенности номинативного предложения, которая заключается в именительном падеже, как падеже подлежащего. Поскольку номинативное подлежащее фиксирует всякое А как тождественное самому себе, здесь не может не вырастать и соответствующая особенность мышления. Номинативное мышление впервые оказывается способным *мыслить предмет именно как таковой*, узнавать его в смутном и смешанном потоке вещей, *отождествлять его с ним же самим* вопреки текучести и спутанности всего ощущаемого и воспринимаемого. Несомненно, многим покажется эта способность слишком элементарной и слишком детской, чтобы стоило о ней специально говорить в логике или в грамматике. Но такое легкомысленное отношение к одной из величайших способностей человеческого мышления должно развеяться у всякого, кто хотя бы одним глазом посмотрит на тысячелетнюю и мучительнейшую борьбу человеческого мышления за овладение именительным падежом и за умение отождествлять предметы с ними самими. Сейчас мы формулируем значение этой способности для номинативного мышления, и мы убедимся в грандиозности этого завоевания человеческого ума.

В самом деле, фиксировать А как именно А, не значит ли вообще делать возможным *познание самого существа* этого А, его сущности и его смысла? Пока это А безразлично вливалось во всякое не-А и не имело с ним никаких четких границ, можно ли было говорить о познании такого А? Мы ведь знаем из анализа предыдущих грамматических строев, что даже самые совершенные из них не обладали способностью отражать всякий данный предмет как таковой, не отражали его в его спутанной соотнесенности со всякими другими

предметами. Даже при эргативном подлежащем обязательно примышляется какой-то другой субъект, который и является подлинным совершителем действия, так что эргативный субъект оказывается в сущности только его орудием. Такое эргативное подлежащее, очевидно, не говорит об А как именно об А, но говорит о таком А, которое является орудием для некоего не-А. Только номинативное мышление впервые обладает способностью мыслить А как именно А, *в его сущности*, и только номинативное познание впервые способно познавать всякое А *в его подлинном отличии* от всякого не-А.

Далее, поскольку номинативное мышление ставит своей первой задачей мыслить предметы в их самоидентификации независимо от того или иного содержания всякого данного А, постольку *номинативное мышление впервые освобождает человеческую мысль от скованности и ограниченности теми или иными односторонними и ограниченными областями действительности*. И тем самым впервые освобождает как от фетишизма, так и от мифологии вообще. Ведь всякая мифология возникала на почве того или иного одушевления природы, что требовалось специфическим строением мышления в зависимости от таких же специфических особенностей тогдашней общественной практики. Номинативное же мышление по самой своей природе, по самой своей структуре таково, что оно прежде всего отождествляет мыслимый предмет с ним самим и тем самым рабски не зависит ни от какого содержания этого предмета; а это значит, что оно не зависит и ни от какого специального типа или области действительности, предоставляя открытие и исследование этих типов и областей свободному творчеству человеческого гения и человеческой практики. Вот почему номинативное мышление впервые оказывается таким мышлением, которое не заинтересовано в мифологии, хотя на первых порах оно и совмещается с мифологией, будучи совместимо вообще с любым видом бытия.

Точно так же только номинативное мышление впервые освобождает человеческую мысль от той жуткой и мрачной логики, которая, как мы видели, характерна решительно для всего первобытного мышления вплоть до самых последних его ступеней. Это — логика

оборотничества или, лучше сказать, оборотническая логика, возникающая на почве всеобщей текучести и взаимопроницаемости вещей в связи с первобытной неспособностью фиксировать существенные признаки вещей и в связи с опорой исключительно на слепой и текучий чувственный опыт. Если номинативное мышление умеет фиксировать всякое А как А, т. е. умеет различать в нем существенные признаки, то уже никакая текучесть этого А и никакая спутанность его с другими не-А не заставит такую мысль утратить это А, влить это А в какое-нибудь не-А без остатка, тем самым превратить его в некоего оборотня. Номинативное мышление *впервые преодолевает логику оборотничества*, подобно тому, как оно впервые же преодолевает и всякую мифологию, и делает оно это без всякой опасности подчиниться какой-нибудь новой мифологии или новому типу оборотничества, поскольку оно по самой своей природе и структуре вообще не фиксирует никакой специальной действительности, а только отождествляет всякую, любую, какую только можно себе представить, действительность в ее самотождестве.

Идем дальше. Если номинативное мышление впервые фиксирует сущность предметов или, как говорят, их существенные признаки, то можно ли вообще говорить о сущности предметов, не говоря об их *явлении*? Само собой разумеется, что если зашел разговор о сущности, то тем самым не может не зайти разговор о явлении. Ведь это же понятия, коррелятивные как верх и низ, правая и левая сторона, плюс и минус и т. д. Естественно, что номинативное мышление впервые оказалось также и способным мыслить во всей четкости и ту сторону действительности, которую мы теперь называем явлением в отличие от сущности. Раз фиксируется сущность, то тем самым фиксируется и явление.

И так действительно и обстоит дело в номинативной морфологии и синтаксисе. Ведь уже одно то, что здесь имеется развитая морфология в противоположность предыдущим грамматическим строям, уже это одно отчетливейшим образом свидетельствует о различении здесь сущности и явления. Когда мы можем точно фиксировать основу имени и четко отличать от нее и флексию вообще, и отдельные падежные флексии, то это и значит, что мы отличаем сущность данного имени

от его многочисленных конкретных явлений. То же самое и в развитом спряжении в глаголах. Отсутствие морфологии, как мы нашли раньше, есть внешнее выражение неспособности мышления различать сущность и явление; и четкая морфология номинативного строя есть отражение и выражение противоположной способности мышления, способности различать сущность и явление.

Но что это значит? При обсуждении инкорпорированного строя мы видели, что это неразличение сущности и явления приводило к пониманию всякого явления как нагруженного самой же сущностью, к материализации сущности, т. е. ко всеобщей чудесности. Если теперь сущность и явление различаются, и всякое явление есть только проявление сущности, но не сама сущность, то тем самым, очевидно, отпадает необходимость безусловной и универсальной чудесности и вместо этого возникает вопрос о *закономерном* и отчетливом для мышления переходе от сущности к явлению.

Действительно, развитая номинативная морфология есть языковое выражение той центральной особенности номинативного мышления, которая состоит в разыскании *закономерностей*, в определении закономерных переходов между сущностью и явлением или, попросту говоря, в разыскании и установлении *законов природы и общества*. На тех ступенях языка и мышления, когда сущность и явление не различались, решительно всякое явление расценивалось как чудо, поскольку ему было свойственно все то, что относится к самой сущности; когда же установилось различие между сущностью и явлением, то возник вопрос о переходе между сущностью и явлением; и так как сущность предмета для номинативного мышления есть совокупность отчетливо мыслимых существенных признаков, то и переход от сущности к явлению для номинативного мышления тоже оказался совокупностью тех или иных отчетливо мыслимых процессов, т. е. оказался вполне закономерным переходом. То же самое происходит и в самой морфологии номинативного строя, т. е. в склонении и в спряжении, где одни и те же смысловые проявления слова фиксируются, по большей части, одними и теми же грамматическими формами. *Если язык дошел до четкой номинативной морфологии, это значит, что со-*

*ответствующее мышление дошло до способности устанавливать четкие закономерности в природе и обществе.*

Это является существенным дополнением к тому принципу самотождества, который мы выше находили в основе номинативного мышления и синтаксиса. Ведь когда мы говорили об этом самотождестве и выводили отсюда незаинтересованность номинативного мышления ни в каком частном виде действительности и, напротив того, заинтересованность в способности отражать любую действительность, то могло показаться, что номинативное мышление слишком уж отрывается от действительности и является слишком уже отвлеченным. Правда, отрыв от скованности отдельными частными областями действительности и от рабского служения тем или другим ее специфическим областям отнюдь не есть отрыв от всей действительности, а только отрыв от ее ограниченных областей, односторонняя абсолютизация которых может только затемнить и исказить общую картину действительности, взятой в целом. И тем не менее все же возникает ощутительная потребность характеризовать отражаемую в номинативном мышлении действительность и как-нибудь положительно, поскольку само номинативное мышление слишком богато своими онтологическими возможностями. Вот это положительное содержание номинативной действительности мы и находим в тех закономерностях, которые устанавливает номинативное мышление в природе и обществе, в тех *законах природы и общества*, которые возникают здесь на месте мифологии, этого мировоззрения всех дономинативных ступеней. в развитии мышления и языка.

Необходимо иметь в виду, что и с точки зрения марксизма-ленинизма *всякая правильно и нормально образованная общность обязательно содержит в себе те или другие элементы закономерности* и что поэтому номинативный строй языка и мышления является одним из правильных и нормальных обобщений человеческого опыта. У Ленина читаем: «Образование (абстрактных) понятий и операции с ними *уже* включают в себе представление, убеждение, *сознание* закономерности объективной связи мира. Выделять каузальность из этой связи нелепо. Отрицать объективность понятий, объективность общего в отдельном и в особом, невоз-

можно... Как простая форма стоимости, отдельный акт обмена одного, данного, товара на другой, уже включает в себе в неразвернутой форме *все* главные противоречия капитализма, — так уже самое простое *обобщение*, первое и простейшее образование *понятий* (суждений, заключений etc.) означает познание человека все более и более глубокой *объективной* связи мира». «...Родовое понятие есть «сущность природы», есть закон...». «Идея есть *познание* и стремление (хотение) [человеча] ... Процесс (преходящего, конечного, ограниченного) познания и действия превращает абстрактные понятия в *законченную объективность*»<sup>11</sup>.

К этому необходимо заметить, что номинативное мышление, конечно, далеко не сразу переходит к установлению законов природы и общества. Сначала оно работает в пределах мифологии. Однако номинативная мифология уже не может быть такой стихийной, безотчетной, такой сумбурной и хтонической, как мифология прежних типов мышления. В мифологический мир номинативное мышление вносит порядок и соразмерность, систему и закономерность всех явлений. Мы едва ли ошибемся, если скажем, что выражением такой номинативной мифологии является па греческой почве олимпийская мифология с ее вечными богами, этими принципами закономерного протекания всех явлений космоса и человеческой жизни, с упорядочением и пластическим оформлением всех старинных ужасающих и диких демонов, этих символов отдельных явлений природы, и, наконец, с тем героическим веком, когда впервые выступило самостоятельное человеческое «я», разумное и волевое, вместо аморальных, алогических, стихийных и несоразмерных образов прошлого.

В проблеме соотношения номинативного мышления с мифологией необходимо соблюдать тщательно проводимую точность. Именно хотя номинативный строй мышления и освободил мышление от обязательного мифологизирования, необходимо помнить, что номинативное мышление отличается предельно обобщенной природой; и потому здесь как можно быть (и притом впервые) свободным от мифологии, так можно иметь в виду любую мифологию. Правда, мифология, если

---

<sup>11</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 160—161, 240, 177.



она возникает в условиях номинативного мышления, уже не является тем ужасом, которым объята вся первобытная мифология. Номинативная мифология есть в сущности только такая мифология, которая доведена до разумной системы, до системы разума. Поэтому будет большой неточностью говорить, что номинативное мышление исключает вообще всякую мифологию. Гораздо точнее будет сказать, что номинативное мышление, во-первых, возможно без всякой мифологии, а во-вторых, если оно доходит до мифологии, то мифологию эту оно строит и понимает не стихийно, но как систему универсального разума.

Размеренное, умиротворенное, уравновешенное, эпическое мироощущение основано как раз на идее вечного возвращения, на отсутствии всего мелкого, отдельного, индивидуального и на приобщенности всего частного общему мировому целому. Это и есть апофеоз закономерности в той мифологической области, которая перед тем состояла из сплошной демонической анархии, из всякого рода стихийных неожиданностей и из чудовищных, уродливых и кричащих своей несообразностью форм.

Однако ни мифология, ни какая-нибудь вообще специальная обработка действительности, как мы видели выше, не связана с самим номинативным мышлением; оно выше всяких отдельных областей действительности. Поэтому когда приходит конец мифологии, то номинативное мышление не может возражать против этого конца. Ведь сущность его заключается в установлении законов. И когда была мифология, номинативное мышление, не возражая против нее самой, вносило, однако, в нее закономерную структуру и упорядоченность. Когда же погибла мифология и наступила очередь изучения немифологической природы, номинативное мышление и здесь продолжало свою линию закономерности, в результате чего вместо мифологии зародилась натурфилософия. С гибелью этой ранней натурфилософии появлялись и всякие другие методы осмысления природы и общества. Но там, где сохранялось номинативное мышление, там везде, какое бы содержание действительности ни мыслилось, номинативное мышление всегда устанавливало те или иные закономерности, те или иные законы действительности.

7. **Номинативное мышление** (характер закономерности). Поскольку установление закономерностей является одной из самых основных особенностей номинативного мышления, попробуем всмотреться в сам характер этой номинативной закономерности.

Прежде всего необходимо отдавать себе отчет в глубочайшем своеобразии этой номинативной закономерности в сравнении с предыдущими ступенями мышления и языка. Ведь как постепенно подготавливался сам номинативный строй, так же постепенно намечалось и функционирование принципа закономерности. Мы видели, что в некотором виде этот принцип уже наличен и в инкорпорированном и в эргативном мышлении, причем первое из них абсолютизировало пространственно-временные связи, второе же — причинные. Однако номинативная закономерность резко отличается от всех ее предыдущих типов тем, что она осуществляется в условиях *раздельности сущности и явления* и в условиях *рационального объединения* этих двух сторон действительности. Поскольку этого разделения и объединения не было раньше в четком виде, постольку всякая закономерность осуществлялась в условиях абсолютизированной действительности вполне мифологического характера. Явление, неся на себе несвойственные себе самому функции сущности, во всех дономинативных строях по необходимости так или иначе абсолютизировалось, в результате чего и появлялось то, что пространственно-временная близость уже трактовалась как логическая связь (в инкорпорации), а все причинно обусловленное понималось как логически неизбежное и потому всецело оправданное (в эргативном строе).

Полную противоположность этому представляет закономерность номинативная.

Номинативное мышление устанавливает свои закономерности в природе и обществе в условиях четкого разделения сущности и явления и в условиях их рационального объединения. Это значит, что причинные отношения здесь отнюдь не абсолютизируются, но являются только методом познания и мышления всякой действительности. Устанавливая ту или иную закономерность бытия, номинативное мышление знает, что уже один факт существования области явлений всегда может привести устанавливаемую закономерность к

тому или иному ограничению. Эта закономерность может, например, не охватывать тех или иных явлений, еще не принятых во внимание мышлением и познанием. Но даже когда она охватывает и достаточно широкую область явлений, она всегда может претерпеть известное ограничение и даже совсем не осуществиться ввиду возникновения других закономерностей, появление которых в данной области более или менее случайно. Можно, например, предсказать то или иное движение небесного светила и появление его в строго определенном месте неба в строго определенное время; но этого может не произойти ввиду неожиданного отклонения данного небесного тела от своего пути в результате воздействия на него других небесных тел, оказавшихся на достаточном для этого расстоянии от него, или попросту данное небесное тело может в силу тех или иных причин сгореть и не появиться там, где его ожидала точная наука. О менее точных науках, чем астрономия, и говорить нечего.

Другими словами, номинативная закономерность *учитывает всю стихию случайности явлений* и потому никогда не является чем-то абсолютизированным. Законы материи отнюдь не есть сама материя. Они осуществляются в материи, но они ни в каком случае не есть сама материя и не могут ее заменить. Иначе всю мировую науку и всякую вообще возможную науку нужно было бы с самого же начала обвинять в том, в чем Ленин обвиняет махистов, у которых сама материя исчезла, а остались одни только уравнения. Нет, наука не есть обязательно махизм. Наука исходит из факта материальной действительности, и самый этот факт она ни в каком случае не может сводить ни на уравнения, ни на какие-нибудь закономерности, ни на вообще понятия и числа. Однако все научные закономерности осуществляются именно в материи; они отражают наличные в материи связи и отношения и являются методом мышления и познания материи и методом ее переделывания. Такое здоровое научное понимание закономерностей возникло только на путях номинативного мышления, с точки зрения которого необходимо говорить, что всякое действие имеет свою причину, но с точки зрения которого никакая причинность и никакая закономерность еще не является сама по себе абсолют-

ным фактом, но развивается как вместе с самой действительностью, так вместе и с прогрессом самого мышления и познания. Это есть не что иное, как результат того же самого уже много раз формулированного у нас принципа независимости номинативного мышления ни от каких частных видов действительности и принципа самотождественной фиксации любых вообще видов действительности.

Тот же самый основной принцип номинативного мышления определяет собой соответствующую закономерность еще и с другой стороны. Как только мы ясно представим себе, что номинативное мышление исходит не из частных свойств и связей какого-нибудь А, но только из тождества данного и всякого иного А с самим же собой, то станет ясно и отношение номинативного мышления как к *диалектике*, так и к *метафизике*.

Многие, исходя из указанного основного принципа номинативного мышления, подумают, что номинативное мышление в корне противоречит диалектике, поскольку эта последняя исходит из единства противоположностей. Конечно, ничто не мешает взять основной принцип номинативного мышления и вместо того, чтобы понимать его как орудие мышления и познания, превратить его в особого рода бытие, где всякое А было бы только самим собой и ничем другим и где, таким образом, вся действительность распалась бы на неподвижные и дискретные монады, идеи или субстанции. Такая метафизика конструировалась в истории философии не раз, и она часто была характерна даже для целых периодов мышления и науки. Но ведь совершенно же ясно, что это есть только одно из бесчисленных применений номинативного мышления и само номинативное мышление в этом совершенно не виновато.

Номинативное мышление выставляет только одно — это принцип самотождества всякого А как орудия мышления и познания этого А. Если кроме этого мы станем доказывать, что наше А есть в то же самое время и не-А, например, какие-нибудь В, С или D, то, очевидно, само номинативное мышление против этого ничего возразить не может. Оно требует признавать только одно: если вы что-нибудь говорите о данном А (например, что оно есть не-А) и вообще что-нибудь ему приписываете, то делать это вы можете только в

том единственном случае, когда ваше  $A$  вы поняли именно как  $A$ , а не как что-нибудь другое, и когда, приписывая что-нибудь вашему  $A$ , вы хорошо знаете, что продолжасте иметь дело все с тем же  $A$ , пусть хотя бы тысячу раз измененным; и как только вы утратили это  $A$  и забыли, что все его изменения совершаются именно с ним самим, то бесполезно вам и говорить об этих изменениях, ибо чему же тогда вы будете приписывать эти изменения? Если  $A$  есть в то же время и не- $A$ , то доказывающий это, конечно, учтет, что  $A$  есть в то же самое время и оно само, т. е. тем самым он и останется на почве номинативного мышления. Если же он забудет, что  $A$  есть  $A$ , то этим самым он, конечно, уже выйдет за пределы номинативного мышления, но зато тем самым он и потеряет возможность и утверждать что бы то ни было о данном  $A$  и, в частности, что оно есть какое-нибудь не- $A$ .

Таким образом, номинативная закономерность есть мыслительное и познавательное орудие, но никак не метафизика и потому не противоречит и никакой диалектике. Таков, конечно, сам смысл номинативных закономерностей. Но что этот смысл мог извращаться в ту или другую сторону, метафизическую или вообще онтологическую, что такими извращениями полна история философии, об этом и говорить нечего.

Далее, можно рассмотреть поподробнее и тот путь, который проходит номинативное мышление *от принципа самотождества к принципу установления закономерности*. Нетрудно сообразить, что это и есть тот самый путь, который в традиционной логике характеризуется *законами мышления и научными законами*.

Действительно, традиционная логика в изложении законов мышления начинает с так называемого закона тождества. Мы не будем здесь анализировать все бесчисленные неточности, допускаемые авторами исследований и руководств по логике в проблеме законов мышления, и в частности закона тождества, и не будем предлагать здесь свои собственные формулировки. Для нашего исследования это излишне. Однако совершенно ясно, что традиционный закон тождества имеет своим предметом ту же самую установку, которую мы называем принципом самотождества в номинативном мышлении. Точно так же вопреки традиционной неяс-

ности и сумбурности в понимании единства законов мышления необходимо указать, что если закон тождества удобно связывать с субъектом суждения, то закон исключенного третьего удобно связывать с его предикатом. Ведь то, что между «быть» и «не быть» не может быть ничего третьего, есть такой же запрет сплошного становления, растворяющего в себе всякое А без остатка, как и закон тождества, с тем только отличием, что закон тождества связывается прежде всего с субъектом суждения, а закон исключенного третьего — с его предикатом. Точно так же если бы мы захотели закрепить голое иррациональное становление и в признаке предиката, то нужно было бы запретить одновременное приписывание данному А и признака В, и признака не-В. А это есть то, что обычно носит название закона противоречия. Но если бы мы захотели выйти за пределы суждения и говорить о логической связи нескольких суждений, то и эта логическая связь должна была бы трактоваться как таковая, а не иная, т. е. она должна была бы быть тоже чем-то определенным, а именно самой же собой, но не чем-нибудь иным. Тут нетрудно рассмотреть так называемый закон достаточного основания. А если бы мы захотели провести принцип самождества и в отношении тех или других групп умозаключений и доказательств, приводящих уже к установлению закономерностей, к формулировке тех или иных законов природы и общества, то мы пришли бы к той неизменности законов, которая лежит в основе всякой научной теории. Конечно, в условиях правильно проводимого номинативного мышления эта неизменность законов не абсолютна, но относительна, поскольку номинативное мышление, как мы хорошо знаем, говорит не столько о самом бытии, сколько об орудиях его мышления и познания.

Таким образом, взяв традиционную схему: понятие, суждение, умозаключение, доказательство, научная теория, мы видим, что основной принцип номинативного мышления легко проводится по всем этим формам мышления и представляет собой то, что фактически только и обсуждается в исследованиях по логике, но ввиду непонимания единой номинативной основы современного научного мышления обсуждается безотчетно, слепо, разбросанно и сумбурно.

Наконец, нечего и говорить о том, что принцип закономерности, внесенный в мышление его номинативной ступенью, является и предпосылкой для *научного овладения* природой вместо прежнего, более или менее пассивного следования за всеми стихиями природы и общества. Ведь только владея теми или иными закономерностями природы и общества, можно направлять эти явления в нужную сторону и использовать их для укрепления человека и возрастания его мощи. С другой стороны, и сами эти закономерности природы и общества открываются и исследуются в связи с постоянным человеческим стремлением к самоутверждению, в связи с борьбой человека против стихии и внедрением разумного начала в темный хаос животной жизни.

«Как естествознание, так и философия до сих пор совершенно пренебрегали исследованием влияния деятельности человека на его мышление. Они знают, с одной стороны, только природу, а с другой — только мысль. Но существеннейшей и ближайшей основой человеческого мышления является как раз *изменение природы человеком*, а не одна природа как таковая, и разум человека развивался соответственно тому, как человек научался изменять природу»<sup>12</sup>. В этом смысле номинативное мышление с его принципом закономерности есть продукт величайшей победы человека над природой и результат величайшего самоутверждения человека наперекор мрачному и стихийному хаосу животной и социальной жизни первобытного общества.

### Сводка предыдущего и попытка социально- исторического объяснения

Сделаем теперь сводку всего предыдущего исследования и резюмируем отношение синтаксиса и логики на разных ступенях человеческого развития.

Присоединим к этому также и некоторые социально-исторические объяснения, не гонясь за окончательными формулами, но скорее указывая лишь некоторые социально-исторические тенденции, поскольку оконча-

---

<sup>12</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 545.

тельное социально-историческое объяснение синтаксиса и логики при современном состоянии науки еще не может быть задачей сегодняшних исследований.

1. **Социально-историческая основа первобытного языка и мышления.** Что касается самой социально-исторической основы первобытного языка и мышления, то, к счастью, она в настоящее время может быть формулирована вполне точно и научно. Уже классики марксизма-ленинизма много потрудились над выяснением этой основы и формулировали ее с большой глубиной еще до современных этнографических и археологических исследований. Непререкаемо установлено, что первобытное общество вырастает на основе *коллективизма*, когда и средства производства и в значительной мере орудия производства и распределение труда, и распределение продуктов труда принадлежат родовой или племенной общине, так что здесь перед нами общество доклассовое, основанное ввиду примитивного развития производительных сил и невозможности изолированно-индивидуального существования на первом и наиболее естественном коллективе, а именно на коллективе ближайших родственников.

Второе, что также установлено с непререкаемой ясностью и точностью, — это вытекающая из первобытного коллективизма *безусловная зависимость отдельного индивидуума от стихийных сил природы и общества* и соответствующая примитивная степень его сознания. «Никакого золотого века позади нас не было, и первобытный человек был совершенно подавлен трудностью существования, трудностью борьбы с природой»<sup>13</sup>. Марксу и Энгельсу принадлежит в «Немецкой идеологии» целое рассуждение о первобытном сознании и языке<sup>14</sup>, которое мы не будем здесь приводить целиком и которое только резюмируем. Это первобытное сознание, говорится здесь, есть не больше, как сознание только своих животных инстинктов. Но уже и в этом виде человек вступает в то или иное отношение к природе и обществу, в то время как животное вообще ни с чем не вступает ни в какое отношение. Это первобытное отношение человека к окружающей среде —

---

<sup>13</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 5, с. 103.

<sup>14</sup> См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 29—30.



ограниченное, поскольку индивидуум здесь задавлен окружающими стихийными силами, почему он и представляет их себе в виде всемогущих и неодолимых сил, чувствуя себя перед ними абсолютно беспомощным, как скот.

Не будем углубляться в дальнейшую характеристику первобытного общества, а остановимся пока на этих двух принципах, представляющих собой твердое и прочное достижение марксистско-ленинской теории. Уже этих двух принципов достаточно для понимания первой ступени языка и мышления, по крайней мере для их общего понимания.

Ясно прежде всего, что в логическом суждении и грамматическом предложении этого древнейшего периода мышления и языка самую большую и прямо-таки колоссальную роль должны играть *внешний объект или события*, та объективная ситуация, в отношении которой ориентируется этот впервые начинающий осознавать себя инстинктивный человек. Но эта роль объективной вещи или события здесь не абсолютна. Если бы она была абсолютна, то ей человеческое сознание не противостояло бы и оно не находилось бы с ней ни в каких отношениях. Другими словами, человеческое сознание уже не было бы человеческим, но животным; и состояло бы оно только из инстинктов, но не из их осознания; и оно бы функционировало только как ощущение, как чувственное восприятие, решительно без всяких намеков на какую бы то ни было абстрагирующую и обобщающую деятельность мышления.

Роль объективной вещи или события для этого типа суждения и предложения, сказали мы, колоссальна и потому такое суждение и предложение едва отличается от чувственного восприятия. И все же оно не есть просто чувственное восприятие. В этой стихии чувственности человеческое сознание уже улавливает некоторого рода абстрактный и потому обобщающий элемент, без которого не возникло бы и самого суждения, самого предложения. «Всякое слово (речь) уже *обобщает...*»<sup>15</sup>.

Этот первоначальный элемент абстракции, превращающий чувственное восприятие в суждение и живот-

<sup>15</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 246.

ный крик в предложение, есть на первых порах фиксация только *самого факта* окружающих вещей и событий. Сами эти вещи и события все еще продолжают восприниматься чувственно, инстинктивно, жизненно-производственно и слепо, и для мышления, для языка они отсутствуют, вследствие чего мышление воспроизводит их расплывчато, текуче, в виде неопределенных пятен, а предложение тоже еще не оформлено ни морфологически, ни синтаксически и определяет свои субъекты и предикаты только одним взаимным расположением соответствующих звуковых комплексов.

В таком логическом суждении и в таком грамматическом предложении нетрудно прочесть социальную историю начальных периодов первобытного общества, с тем их низким уровнем производительных сил, когда человек живет только собирательством и охотой, когда он способен присваивать только готовый продукт и когда он по этому самому чувствует себя в абсолютной зависимости от окружающей среды, понимая свое собственное «я» только как некоторый факт, неизвестно какой и притом являющийся, самое большое, только несущественным придатком окружающих субстанций, только их акциденцией, только их случайным атрибутом и временным предикатом.

Отсюда-то и зарождается тот строй языка и мышления, который мы называем инкорпорированным.

**2. Инкорпорированный строй.** На этой ступени отсутствует вся мифология, отсутствует различение частей речи, а также еще нет членов предложения. Отдельные звуковые комплексы, понимаемые нами в настоящее время как слова, вовсе еще не есть слова с определенными основами и определенными оформителями этих основ. Каждое слово можно понимать и как существительное, и как прилагательное, и как глагол, и вообще как любую часть речи. Подлежащее и сказуемое определяются исключительно только местом данного звукового комплекса в предложении. Все предложение, таким образом, является, в сущности, только одним словом.

Отсутствие морфологии указывает на отсутствие в мышлении четко фиксируемых предметов и четкого их взаимоотношения. Вещи различаются между собой и имеют определенные контуры только для ощущения,

для чувственного восприятия. Для мышления же они являются только размытыми и бесформенными пятнами. Кроме того, поскольку здесь отсутствует различие между основой слова и ее оформителями, постольку в мышлении отсутствует различие сущности и явлений. А это значит, что явление здесь не есть только проявление сущности, как это мы думаем, в настоящее время, но сама же сущность, т. е. оно нумерически тождественно с ней. Из этого же вытекает, что явлениям приписываются здесь все функции сущности, а сущности — все функции явления. А отсюда — необходимость толкования всего происходящего как фантастического, чудесного, волшебного, сказочного, магического, чародейского.

Поскольку, далее, здесь не только отсутствует морфология, но отсутствуют вообще и части речи, мышление оказывается здесь лишенным дифференцированных логических категорий. Но все категории в слитном и недифференцированном виде присутствуют сразу везде, откуда — основной принцип первобытного мышления «все во всем». Так ведь оно и должно быть уже по одному тому, что первобытный человек, которого Ленин называет «инстинктивным» и который, по Марксу, ко всему относится только производственно и потребительски, везде и во всем видит только предмет своего потребления, так что принцип «все во всем» есть, в сущности, только другое выражение для собирательно-охотничьего понимания производительных сил тогдашней экономики. В силу этого каждая вещь может оказаться носителем свойств и всякой другой вещи, что и делает ее наделенной различными сверхъестественными для нее силами, т. е. делает ее мифом. В частности, неразличение общего и единичного заставляет понимать это общее как физическую единичность; а это есть то-тем. Физическая же единичность, наделенная всеми свойствами общности, есть фетиш. «Идеализм первобытный: общее (понятие, идея) есть *отдельное существо*. Это кажется диким, чудовишно (вернее: ребячески) нелепым. Но разве не в том же роде (*совершенно* в том же роде) современный идеализм..? ...Раздвоение познания человека и *возможность* идеализма (=религии) даны уже в первой, элементарной абст-

рации — «дом» вообще и отдельные дома.»<sup>16</sup> Отсюда — тотемизм и фетишизм есть наиболее яркие формы инкорпорированного мышления, соответствующие в языке неразличению частей речи.

Не будем удивляться тому, что у первобытного человека при столь незначительном развитии мысли проявляется столь необузданная фантазия. Необузданная фантазия как раз больше всего и проявляется там, где имеется незначительное развитие мысли. Кроме того, инкорпорированное мышление, как и всякое мышление, есть уже некоторого рода абстракция, а относительно абстракции как исходного пункта фантазии имеется следующее замечательное рассуждение Ленина: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (=понятия) с нее *не есть* простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный, раздвоенный, зигзагообразный, *оключающий в себя* возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность *превращения* (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в *фантазию* (in letzter Instanz\* = бога). Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) *есть* известный кусочек фантазии»<sup>17</sup>. Здесь Ленин говорит о самой обыкновенной, вполне позитивной абстракции. Что же в таком случае надо думать об абстракциях первобытного мышления?

Далее, неразличение членов предложения приводит в мышлении к неразличению субъекта, предиката и объекта. А так как мышление есть всегда форма движения, т. е. переход, то здесь оказывается, что субъект, переходя через предикат в объект, остается самим же собой. В переводе на язык вещей или живых существ это есть оборотничество. Отсюда неразличение членов грамматического предложения равносильно в мышлении принципу оборотничества, так что для такого мышления все вещи и все существа целиком и полностью решительно без всякого остатка могут превращаться одно в другое. Это представление о всеобщей

---

<sup>16</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 329—330.

<sup>17</sup> Там же, с. 330 (\* в последнем счете).

превращасмости всего во все, являющейся только развитием указанного выше принципа «все во всем», или этот принцип оборотничества мышления и жизни и даже всего бытия вообще есть основной принцип и закон всей инкорпорированной логики.

Далее, порядковый характер подлежащего и сказуемого в инкорпорированном предложении свидетельствует о том, что для этого мышления в субъекте и объекте единственно понятно только их местоположение, их пространственно-временная конфигурация, что вполне соответствует первобытному пониманию всякого «я» как физического тела. Субъект еще не мыслится здесь как субъект, но мыслится пока лишь как место, им занимаемое. Отсюда и человеческое «я» понимает здесь себя не как «я», но как некую вещь, отличную от других вещей не более того, чем вообще отличаются вещи одна от другой. Другими словами, «я» мыслит здесь себя как «не-я», как несущественный и притом очень слабый, прямо-таки ничтожный атрибут и придаток объективной действительности. Так оно есть и на самом деле, потому что первобытный человек, живущий примитивной охотой и собирательством готового продукта, находит себя во всецелой власти окружающих его всемогущих и совершенно ему непонятных сил природы, которыми он никак овладеть не может, которые вселяют в него постоянный ужас и страх за существование и жалким игралищем которых он постоянно является.

Здесь ровно то же положение дела, что и в инкорпорированном слове-предложении. Подобно тому, как человеческое «я» чувствует себя и фактически оказывается здесь только придатком или предикатом объективных и стихийных сил природы и общества, подобно этому настоящим «я» и подлинным субъектом инкорпорированного слова-предложения является отнюдь не то его «подлежащее», которое можно отличить от его «сказуемого» только по занимаемому им месту, но та живая объективная вещь или событие, о котором говорит инкорпорированное слово-предложение, которое воспринимается во всей своей стихийной полноте и притом чисто чувственно и производственно, и по отношению к которому весь инкорпорированный комплекс целиком является не больше, как только предикатом. На этом фоне всемогущей, слепой и инстинктивной чувст-

всности единственное завоевание абстрагирующей мысли — это фиксация субъекта как просто некоего нечто, как некоего места и пункта, неизвестно чем занятого и такого же расплывчатого, как и все вещи объективного мира. Это, конечно, несомненный прогресс, потому что раньше того, т. е. в животном сознании, не было и этого, т. е. не было нахождения себя субъектом даже и как просто физической вещи.

Этот инкорпорированный строй начинает шататься с того момента, когда рост производительных сил делает человека способным к борьбе со стихийными силами природы и общества и когда он в связи с этим начинает относиться к ним не столь уже слепо и инстинктивно, когда начинает также заметно расти абстрагирующая и обобщающая деятельность его мышления.

**3. Пути дальнейшего развития.** Не гоняясь за точным соответствием этих последующих двух структур в грамматике и логике тем или иным социальным структурам, — это соответствие еще ждет своего исследования, — мы можем дать ему некоторую общую и ограниченную характеристику, но зато вполне точную и не вызывающую сомнения. Такая характеристика ограничивается указанием только *общей тенденции* в развитии той и другой структуры, того общего направления, в котором развивается как логика с грамматикой, так и общественная практика.

В области общественной практики растет разделение труда, приводящее к гибели всю первобытную собирательно-охотничью экономику и к возникновению производящего хозяйства, основанного на изготовлении или разведении сознательно запланированного продукта, к выделению скотоводства, земледелия и ремесла в виде особых и специфических отраслей. Непреступная крепость стихийных сил природы и общества постепенно расшатывается от их непрерывного штурма человеком и человеческим трудом; и вместо своего слепого, стихийного и всемогущего характера они начинают приобретать более дифференцированный, более понятный и потому легче овладеваемый характер. Можно спорить о деталях, о разных более или менее крупных ступенях общественного развития; но сама тенденция, указанная здесь нами, само направление развития пер-

вобытного общества не могут вызывать никакого сомнения, по крайней мере для марксистско-ленинской теории.

Но что же иное может происходить в логике и грамматике? Ведь и здесь единственный путь развития — это дифференциация, происходящая и в логическом суждении, и в грамматическом предложении. Раньше не было морфологии. Ясно, что теперь на очереди развитие морфологии, а вместе с ней возникновение необходимости различать сущность и явление, что ведет уже к убыли фантастики и к прогрессу четкого различения вещей. Раньше не различались части речи. Ясно, что дальнейшее развитие языка и мышления должно было приходиться к установлению этих частей речи, а вместе с тем и к постепенному ослаблению принципа «все во всем», который был оплотом первобытного размытого и расплывающегося мифологического мышления. Раньше не различались члены предложения. Ясно, что теперь очередь за этим различением; а вместе с этим последним расшатывается и вся первобытная оборотническая логика, и мышление постепенно переходит на рельсы более реалистического отражения объективного взаимодействия вещей. Наконец, субъект и предикат выступали раньше только своим местоположением, своей конфигурацией и расположением в предложении. Ясно, что теперь наступила очередь за другой, более глубокой и более оформленной оценкой субъекта и предиката в суждении и предложении. В результате всего этого слепой и недифференцированный объект, бывший предметом суждения и предложения и фиксируемый в них только как некоторый факт, неизвестно какой и неизвестно чего, начинает дифференцироваться; и в нем начинают выступать те или иные контуры, те или иные смысловые признаки и выступать не слепо и инстинктивно, а мыслительно, сознательно и выразительно, выступать уже действительно в виде субъекта и предиката в разумно построенных суждениях и предложениях. Таким образом, если в общественной практике ведущая роль принадлежит разделению труда, то в мыслительной практике ведущая роль тоже принадлежит дифференциации мыслительного труда, а также и прогрессирующей отдельности продуктов этого мыслительного труда.

4. **Прономинальный и посессивный строй.** Если мы теперь спросим себя, какую категорию естественнее всего ожидать дальше в порядке дальнейшего абстрагирования, после того как уже усвоена категория самого факта вещи или ее бытия, то такой категорией, конечно, прежде всего должна явиться сама же вещь, но уже как *носитель* разного рода свойств и признаков. Раньше абстрагирующее мышление в беспросветно-спутанном, чувственном опыте заметило и отразило в себе только сам факт вещи, но не ее содержание, не ее качества и свойства. Теперь же мышление начинает замечать в вещах разницу между элементами более устойчивыми и менее устойчивыми, между элементами постоянными и временными, между элементами существенными и несущественными. Теперь уже фиксируется в вещах некоторого рода их основа, которая является носителем их свойств, как бы некоторого рода постоянным стержнем, вокруг которого располагаются все их свойства и признаки. Эту основу, этот стержень и этого носителя в позднейшем философском языке стали называть подставкой, *субстанцией*. Этот термин будем употреблять и мы. Ясно, что раз уже замечен факт существования вещи, то в дальнейшем естественнее всего и ближе всего заметить также и то, что этому факту принадлежит.

Поэтому не будем удивляться тому, что после инкорпорированного строя наступает очередь строя прономинального и посессивного. Так представлял себе движение человеческой мысли Ленин: «С одной стороны, надо углубить познание материи до познания (до понятия) субстанции, чтобы найти причины явлений. С другой стороны, действительное познание причины есть углубление познания от внешности явлений к «субстанции»<sup>18</sup>.

Прономинальный строй, взятый в чистом виде, все еще не знает разделения частей речи. Но, несмотря на это, языки, лишенные разделения частей речи, вдруг почему-то начинают вводить лично-местоименные показатели в свои глаголы-имена и тем самым приближать эти слова к глаголам, постепенно вырабатывая в них из этих показателей флексии и вообще спряжения.

<sup>18</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 142—143.



В других случаях именно для 3-го лица такой лично-местоименный показатель отсутствует. Но семантика соответствующих слов в данном контексте предложения тоже меняется в том же направлении. Поссесивное предложение вместо лично-местоименных показателей выдвигает притяжательно-местоименные, причем для 3-го лица в виде префикса появляется даже нечто вроде родительного падежа, указывающего на лицо, которому что-нибудь принадлежит. Ясно, что эти местоименные показатели указывают уже на прогрессирующее разделение частей речи и облегчают наступление в языке периода склонения и спряжения, т. е. возникновения морфологии.

Прономинальный и поссесивный строй выдвигают новую категорию в языке, или, вернее, две новые категории — *субстанцию* и *принадлежность* ей свойств. Субъект предложения и суждения указывает здесь уже не просто на факт вещи и потому определяется уже не просто своим местом в предложении и суждении, но он обладает показателями его субстанциальности и показателями принадлежности ему свойств, к нему относящихся.

Но эти две категории получают тут же и свое, вполне понятное и тоже весьма естественное углубление, становясь показателями *индивидуума*, *личности*. Индивидуум — это все та же самая субстанция, т. е. «подставка» для известного рода свойств, но только подставка специфическая.

Сейчас мы скажем, почему в языке столь рано появляются местоименные показатели и почему вначале им принадлежит ведущая роль в дифференциации частей речи.

С точки зрения марксистско-ленинской теории, если состояние производительных сил отвечает на вопрос о том, какими орудиями производства производят люди необходимые для них материальные блага, то состояние производственных отношений отвечает уже на другой вопрос: в чьем владении находятся средства производства, в распоряжении всего общества или в распределении отдельных лиц, групп, классов, использующих их для эксплуатации других лиц, групп, классов. Поэтому «...ни о каком производстве, а стало быть, ни о каком обществе, не может быть речи там, где не су-

шествует никакой формы собственности...»<sup>19</sup>. Таким образом, категория собственности есть одна из самых ранних категорий и общественной практики, и, следовательно, мышления; и нет ничего удивительного в том, что также и язык раньше всего вырабатывает показатели лица, которое чем-нибудь владеет, и показатели принадлежности ему тех или иных предметов. Социально-исторически — это тоже одна из довольно прочных истин советской науки о первобытном обществе. Как весь прогресс производственных отношений связан с историей собственности, так и прогресс древнего грамматического предложения после начальной нерасчлененности связан прежде всего с развитием местоименных показателей, личных и притяжательных.

В связи с этим усложняется абстрагирующая деятельность человеческого мышления и в отношении самого продукта этого мышления. Если раньше, на ступени инкорпорированного строя, человеческое мышление способно было фиксировать только сам факт существования вещей, а не их постоянные или непостоянные свойства и соответственно предметный мир представлялся такому мышлению в виде абсолютизированных фактов вещей в условиях сплошной текучести и слепой неразберихи качеств этих вещей (тотемизм и фетишизм), то теперь, на ступени проминального и посессивного строя, начинает упорядочиваться для человеческого мышления и предметный мир: здесь начинают различаться более или менее постоянные свойства вещей и свойства непостоянные; начинают намечаться различие сущности вещей и их явлений; возникают фетиши с определенными свойствами вместо прежнего текучего сумбура, и этим фетишам начинает принадлежать нечто определенное. Сами фетиши распределяются по тем или иным родам с более или менее твердым кругом собственности, т. е. относящихся к ним предметов.

Сама категория субстанции тоже заметно растет. Сначала она еще довольно плохо размежевывается с другими субстанциями; и выступавшие здесь «я», «ты», «мы», «вы» во многих отношениях еще попросту тождественны со многими другими вещами и лицами, со-

---

<sup>19</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 12, с. 714.

ставляющими их ближайшее окружение. Первое «я», несомненно, еще чисто коллективно и свидетельствует о всемогуществе рода или племени и о полной подчиненности ему всякого индивидуума, подобно тому, как на стадии инкорпорации человеческий индивидуум тоже зависел от окружающей среды и ощущал себя ее несущественным придатком. Язык показывает, что на место этих непреодолимых и стихийных сил природы и общества, по необходимости представляемых в виде тотемов и фетишей, все больше и больше выступают общественный коллектив, родовая и племенная община, которая и оказывается первым «я», первой субстанцией, какую открывает человеческое мышление с тем, чтобы в дальнейшем дать место для развития и отдельных индивидуумов, для отдельных «я» и «ты», для прогрессирующего освобождения личности и личной инициативы.

Таким образом, прономинальный и посессивный строй оказываются весьма прочно увязанными с развитием общественной практики в первобытные времена, хотя в настоящее время и необходимо отказываться от подыскания точных социально-исторических соответствий, чтобы не оказаться во власти тех преждевременных и насильственных схем и того вульгаризма, которыми так прославились многие писавшие на эту тему.

**5. Эргативный строй.** После того как абстрагирующая деятельность человеческого мышления уже овладела вещами, и в отношении их устойчивых носителей, и в отношении принадлежащих этим носителям тех или иных качеств и свойств позволительно спросить себя: чего же еще теперь не хватает грамматическому субъекту, а значит, с известной модификацией и логическому субъекту? Нам кажется, является вполне очевидным то, что ни один из предыдущих грамматических строев не умел выразить *действующего* субъекта, не умел при помощи специальных грамматических категорий и форм выражать действия и причины. В самом деле, что же это за субъект, если он никак не действует? А ведь даже прономинальное предложение, не говоря уже об инкорпорированном, ровно ничего об этом не говорило и говорило только об одном, о том, что субъект есть некий индивидуум, что субъект есть индивидуальный носитель тех или других свойств. Ни о каком действии

субъекта не говорило и посессивное предложение. Если как-нибудь и говорилось здесь о действии, то говорилось исключительно только лексически, да и то в этой лексике еще далеко не сразу появилось более или менее определенное размежевание имен и глаголов. Самое большее, о чем говорит субъект посессивного предложения, это только о владении каким-то действием. Какое-то действие принадлежит ему, и он является его собственником. Но тут нет ни малейшей активности самого субъекта. Действие принадлежит ему так же, как может ему принадлежать белый цвет, большой рост и т. д., т. е. оно принадлежит ему вполне пассивно. Сам этот субъект, т. е. взятый именно сам по себе, абсолютно инертен, как и субъекты прономинальный и инкорпорированный. Вместо этого необходимо, чтобы возникла в самом языке, в самой его структуре и категория действия, и грамматическая форма, выражающая действие.

В прономинальном и посессивном предложении действие в основе своей все еще плохо отличимо от самой вещи, и потому все еще с трудом различаются имя и глагол, хотя различие это здесь определенно прогрессирует. Вместо этого на очереди должно было оказаться прежде всего более четкое различие имени и глагола (т. е. вещи и действия вещи), снабжение субъекта показателями действия и четкое различие переходного и непереходного глагола (без чего невысказано было выражение действия субъекта на объект). Это и есть сущность эргативного предложения.

Эргативное предложение прежде всего выражает подлежащее не только при помощи имени, но и при помощи орудийности падежа этого имени, указывающего как раз на действие субъекта. С другой стороны, эргативное предложение оперирует очень четкой категорией переходного глагола, в виде которого выступает здесь сказуемое. Этим вполне обеспечивается та новая роль, в которой выступает субъект, а именно роль действующего лица.

Вместе с тем, однако, действие субъекта не могло мыслиться с самого же начала совершенно свободным. Эта свобода и самостоятельность грамматического и логического субъекта были на первых порах так же ограничены, как и свобода самого человеческого инди-

видуума в тогдашней социально-исторической обстановке. Человек уже начинал чувствовать себя действующим началом, а не просто только пассивным орудием в руках неведомых, непреодолимых и вполне стихийных сил природы и общества. Но человек не мог с самого же начала не ставить свои действия в зависимость от этих окружающих его сил. Он и продолжал ставить себя в зависимости от этого; но все же тут была безусловная новизна, а именно его *сознательное* и *намеренное* действие, которого раньше человек в себе не замечал, приписывая всякое свое действие неведомым причинам. Неведомые причины все еще оставались, но теперь они детерминировали человека не на пассивность, но на активность; и человек, чувствуя свою зависимость от высших сил, все же чувствовал в себе одновременно и способность действия. Это и выражено эргативным падсжом подлежащего, которое в этих условиях, очевидно, мыслится настолько же действующим, насколько и страдающим. Субъект тут и действует и является орудием высших сил.

Такая новая ступень языка и мышления была огромным завоеванием человеческого гения и в грамматике, и в логике, и в идеологии. Ведь теперь ввиду указанного прогресса абстрагирующей деятельности мышления в объективном мире вместо текучего сумбура стали мыслиться действующие субъекты, пусть ограниченные в своих действиях, но зато уже не пассивные фетиши, скованные собственным физическим телом. Если уже субъект просто, индивидуум сам по себе и субстанция как носитель свойств в достаточной мере были богаче тупой и слепо-инстинктивно воспринимаемой чувственной вещи, то эргативный субъект, т. е. субъект действующий, прямо-таки должен был уже противопоставляться простому физическому телу как игралищу внешних для него сил. Этот действующий субъект уже отделялся от вещи или тела, уже не отождествлялся с ними; и они становились для него скорее только местом его пребывания или кругом его деятельности, но уже не могли просто отождествляться с ним. Другими словами, если человек стал теперь действующим субъектом, способным сознательно и активно воздействовать на природу и общество (пусть хотя бы это воздействие на первых порах и было детерми-

нированным), то и объективный мир стал теперь представляться человеку тоже состоящим из этих действующих субъектов, а не из фетишей, тоже состоящим из демонов и духов, пусть наличных в вещах, но уже не тождественных с ними. Короче говоря, эргативный строй языка и мышления явился выразителем той новой идеологии, которую мы называем *анимизмом* и которая, очевидно, отнюдь не есть исконное достояние человеческого сознания, как представляют себе многие буржуазные ученые, но есть продукт весьма развитой общественности, продукт скорее конца первобытного общества, чем его начала.

Кажется, нетрудно указать на те материальные основы первобытной жизни, которые создали эту новую идеологию, анимизм; а вместе с тем и эту новую ступень языка и мышления, ступень эргативную. Энгельс в «Происхождении семьи, частной собственности и государства» придает огромное значение переходу первобытного человека от собирательства и охоты, т. е. от присвоения готового продукта, к производящему хозяйству, т. е. к намеренному, сознательному и планируемому производству и разведению продуктов, необходимых для жизни. Развитие первобытного общества постепенно пришло к признанию негодности первого способа добывания материальных благ и к необходимости применить второй способ, основанный на знании конструктивной идеи вещи и умеющий на основании этого знания создать и самое вещь. Сюда и относится возникновение скотоводства, земледелия и ремесел как ведущих методов хозяйственной жизни, для чего понадобилось также и соответствующее разделение труда.

В «Немецкой идеологии» читаем: «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. С этого момента сознание *может* действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем сознание существующей практики, что оно может *действительно* представлять себе что-нибудь, не представляя себе чего-нибудь действительного, — с этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию «чистой» теории, теологии, философии, морали и т. д.»<sup>20</sup>. Из этого рассуждения

<sup>20</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 30.

видно, что основоположники марксизма-ленинизма вполне четко увязывали анимизм с определенной формой разделения труда. А в «Происхождении семьи» Энгельс, как и современные советские историки, этнографы и археологи, начинает этот период разделения труда с неолита, впервые открывшего широкие возможности для планомерного земледелия и скотоводства и в дальнейшем для такого же развития и ремесла.

Поскольку анимизм есть вера в самостоятельно действующих духов, хотя и связанных своим общемировым коллективом, постольку эргативный строй языка и мышления есть выражение в грамматике и логике именно этой идеологии. Однако в конечном счете это означает еще и то, что и сама эта идеология и ее грамматическое и логическое выражение имеют источником своего формирования ту ступень материальной жизни первобытного общества, когда зародилось планируемое производящее хозяйство и когда сама жизнь требовала отделять идею вещи от самой вещи для того, чтобы человек был в состоянии сознательно и шамеренно, планомерно и активно создавать эту вещь.

Таково огромное социально-историческое значение эргативного строя.

**6. Номинативный строй и подступы к нему.** Опять спрашиваем себя после того, как абстрагирующее мышление уже овладело бытием, субстанцией и причиной вещей: чего тут еще не хватает для полноценности субъекта и предиката в предложении? Что еще имеется в жизни, кроме вещей, их субстанций и причин? Здесь само собой приходит мысль о *внутреннем состоянии* всех этих субстанций, об их *сознании*, об их чувствах, мыслях и т. д. Ведь до сих пор речь шла только о внешней стороне действительности; и не ставилось никакого вопроса о внутреннем состоянии тех индивидуумов, из которых состоит общественная действительность. Оно ведь тоже должно найти свое отражение в мысли, тоже должно абстрагироваться от нерасчлененного потока исторической действительности и тоже должно найти для себя необходимое обобщение.

На этих путях, между прочим, и возникает так называемый *аффективный* строй, создающий предложение в зависимости от *verba sentiendi* (а потом и в более широком смысле), где на первом плане именно со-

*стоящие* субъекта. Большой прогресс аффективного строя в сравнении с эргативным заключается уже в том, что подлежащее здесь не стоит в том орудийном падеже, который превращает действующего субъекта в орудие внешних сил; но это подлежащее стоит здесь в дательном падеже, выражающем обсуждаемый в предложении субъект уже как субъект состояния. Этим аффективный субъект не только эмансипируется от всякой внешней детерминации, но и превращается в нечто самодовлеющее, или, во всяком случае, в нечто такое, что берется не в его соотносительности с другим (как в предыдущих грамматических строях), но в его соотносительности с самим же собой. Тут еще нет полной эмансипации логического и грамматического субъекта от внешних, слепо-чувственных ощущений. Однако, несомненно, здесь очень серьезный подступ к этой эмансипации.

Идем дальше.

Сначала субъект был просто бытием вещей. Потом он стал их субстанцией. Потом он стал их причиной, потом он стал их внутренним состоянием. Кажется, тем самым мы перебрали уже все возможные категории субъектов, чего же тут еще недостает? Действительно, все главные черты субъекта этим в значительной мере исчерпываются. И все же мы до сих пор еще не получили субъекта в грамматике и логике в его полной самостоятельности и обобщенности.

Именно позволительно спросить себя: а где же тут сам-то субъект? Ведь то бытие или существование, о котором говорит инкорпорированный строй, не есть ведь еще *сам* субъект, но только *относится* к субъекту, есть *бытие субъекта*. Так же и субстанция, о которой говорит прономинальный строй, отнюдь еще не есть весь субъект целиком, но только *относится* к субъекту, составляет его необходимый *момент*, входит в него. То же самое надо сказать и о посессивном субъекте как обладателе свойств, и об эргативном субъекте как выполнителе действия, и об аффективном субъекте как о субъекте состояния. Все эти моменты — обладания, действия, состояния — так или иначе *характеризуют* субъект, относятся к нему, составляют ту или иную его ступень, дают его *в том или ином виде*. А где же сам-то субъект, т. е. тот самый субъект, который вме-



щает в себя и свое бытие, и свою субстанцию, и принадлежащие ему свойства, и свое действие, и свое состояние, и, может быть, еще много всяких других элементов, если прямо не их бесконечное число? Где тот субъект, который является не бытием, субстанцией и пр., а просто *самим же собой, самим же субъектом*? Где этот субъект как потенциальный носитель бесконечных свойств, вечно проявляющих его, но никогда не могущих его исчерпать до конца?

«Стакан есть, бесспорно, и стеклянный цилиндр и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствований» со всем остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его цилиндрической или не совсем, и так далее и тому подобное.

Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т. п. Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с трещиной в дне или даже вовсе без дна и т. д.

Логика формальная, которой ограничиваются в школах (и должны ограничиваться — с поправками — для низших классов школы), берет формальные определения, руководясь тем, что наиболее обычно или что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом берутся два или более различных определения и соединяются вместе совершенно случайно (и стеклянный цилиндр и инструмент для питья), то мы получаем эклектическое определение, указывающее на разные стороны предмета и только.

Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли

дальше. Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения. Это во-1-х»<sup>21</sup>. И В. И. Ленин, продолжая это замечательное рассуждение, дает в дальнейшем на примере стакана целое диалектическое построение, из которого видно одно: стакан, как и вообще всякая вещь, не только состоит из бесконечного ряда свойств, но есть еще и он сам, не сводимый и не делящийся на все эти свои бесконечные свойства.

Так вот и наступила очередь того грамматического строя, который обеспечил субъекту его предельную обобщенность и абстрактность, когда он охватывает решительно все, что ему принадлежит или может принадлежать, когда он уже не выступает только в том или ином частном виде, но когда он является самим собой и, следовательно, *отождествляется с самим собой*. Это и есть тот именительный падеж, по которому получил название и весь грамматический строй, так называемый номинативный, и который является здесь падежом подлежащего, потому что если прочие падежи говорят о соотносительности субъекта с другими субъектами, предметами или действиями, то именительный падеж говорит специально о *соотносительности субъекта с самим собой*. Именно только здесь субъект явился потенциальным носителем бесконечных исходящих из него предикаций. И этого не могло достигнуть даже локативное предложение, поскольку оно отождествляло субъект не с ним самим, а только с занимаемым им местом. Это было подходом к номинативному строю, но не самим номинативным строем.

А отсюда и все прочие замечательные свойства номинативного предложения. Его субъект, его предикат и его объект выше всяких частных и случайных свойств, выше действия и страдания. Это понимание субъекта как тождественного с самим собой впервые обеспечивает полную возможность улавливать его среди смутно текущих вещей, определять его существенные признаки и противопоставлять их несущественным признакам и вообще четко различать в вещах их сущ-

<sup>21</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 42, с. 289—290.

ность и их явление и открывать закономерные переходы между этими сущностями и этими явлениями. А вместе с принципом закономерности номинативное мышление впервые оказывается способным открывать и формулировать законы природы и общества, закономерности всей действительности, так что здесь впервые на месте фетишей и демонов мыслятся те или иные закономерности. В сравнении с этим фетишизм и анимизм, в которых мы выше увидели две основные ступени первобытного мышления, оказываются принципами какой-то сплошной беспринципности, поскольку дономинативный ум, лишенный самой идеи закономерности, везде в окружающем мире находил только нечто анархическое, аморальное и даже алогическое. И, как мы видели, иначе и не могло быть в тот период, когда человек считал себя бессильным и беспомощным среди безбрежного хаоса всемогущих и ему непонятных стихийных сил природы и общества. Номинативный строй языка и мышления с этой точки зрения является величайшей победой человеческого разума над неразумными стихиями и первым реальным шагом к открытию в них закономерности и, следовательно, первым реальным шагом к переделыванию жизни путем использования этих ее закономерностей.

Можно и точнее сказать о социально-историческом происхождении номинативного строя. Мы утверждали, что эргативный строй стал возможен только в эпоху производящего хозяйства и не был возможен раньше, когда жизнь еще продолжала довольствоваться присвоением готового продукта. Язык и мышление номинативного строя, очевидно, отражают дальнейший прогресс производящего хозяйства. И если в них речь заходит о самостоятельности человеческого индивидуума, то, очевидно, в пределах общинно-родовой формации мы должны здесь искать ту эпоху, когда отдельный индивидуум, при всех своих внутренних и внешних связях с общинным коллективом уже начинал играть заметную экономическую роль. А это, очевидно, и появилось в истории вместе с появлением *патриархата*, когда жизнь потребовала отделить общественные, и в частности организационные, функции от функций биологических, каковое совмещение и находило для себя место в матриархате. Власть отца и отцовский род полу-

чили теперь перевес, что не замедлило сказаться и в мифологии, в которой теперь наступил так называемый *героический век* вместо прежнего, колоссального по своей длительности периода фетишизма и демонологии. Об общественно-экономической природе патриархата в сравнении с матриархатом много и глубоко говорит Энгельс в своем труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства»; и мы не будем здесь пересказывать эти общие истины, широко вошедшие в нашу учебную литературу по первобытному обществу.

Итак, номинативный строй языка и мышления едва ли мог появиться в первобытном обществе раньше патриархата, т. е. раньше бронзового века; и отражал он собой укрепление в первобытном обществе отдельного индивидуума (и индивидуальной семьи), правда, на первых порах все еще органически связанного с общинным коллективом. На первых порах номинативный строй по этому самому еще не исключает мифологии, а только ее коренным образом реформирует, и реформирует, конечно, в направлении принципа закономерности, т. е. упорядочивает первобытный анархический фетишизм и демонологию, превращая фетишей и демонов в мудрых, вечных и всегда одинаково действующих богов античного классического политеизма. В дальнейшем, в связи с разложением самой общинно-родовой формации (а ее разложение уже коренится в отцовском праве), падает и сама мифология, бывшая не чем иным, как пресецированием общинно-родовых отношений в природу. Индивидуальный субъект, выступивший в период патриархата в своей органической связанности с общинно-родовым строем, скоро начинает чувствовать на себе путы в этом последнем и скоро переходит к той новой, рабовладельческой формации, когда основной общественно-экономической силой был уже не общинный коллектив родственников, но государственный коллектив рабовладельцев. Вместе с этим и мифология отходила в туманное прошлое и заменялась более рациональным мировоззрением, и в частности греческой натурфилософией. Ясно, что и этот период был возможен только благодаря номинативному строю языка и мышления, требовавшему всюду и везде установления закономерных связей, будь то в мифологии и религии, или в позитивном знании, или в политике,

или в общественном и культурном строительстве. Номинативный строй впервые в должной мере обеспечил для человеческого мышления искание и нахождение закономерных связей в безбрежных просторах действительности.

**7. Основная линия предложенного исследования.** Теперь в заключение, когда уже реально осуществлен план, намеченный в начале этой работы, можно уже на деле, а не только на словах, не только декларативно и в виде намерения формулировать основную линию исследования, тщательно отличая ее от всяких других близких и далеких точек зрения.

Предложенное исследование стремилось отмежеваться от разного рода буржуазных подходов к нашей науке, и прежде всего от буржуазного описательства, которым отличается подавляющее большинство исследований буржуазных ученых, даже и в тех случаях, когда эти исследования содержат ценные материалы. Описательная методика дает изображения не самих вещей, но только их внешнего вида, их образа. А это мы считаем идеализмом. Все предыдущее исследование направлено на его опровержение. Каждый грамматический строй, во-первых, извлекался нами из гущи социально-исторического процесса, через который он и находил у нас свое объяснение. А во-вторых, все основные грамматические строи в результате нашего изучения оказались расположенными в таком ряду, по которому видно само направление движения грамматического и логического строя человеческой речи. А это тоже есть уже объяснение, а не просто описание, и притом такое объяснение, которое пытается установить известного рода внутреннюю закономерность грамматического и логического развития.

Далее, настоящее исследование заострено также и против тех реакционных методов буржуазной науки, которые не ограничиваются простым формализмом или абстрактным идеализмом, но страдают явным или скрытым расизмом и дискриминацией малых или отстающих народностей. С точки зрения большинства буржуазных исследователей самым ценным достижением человеческого языка и мышления является индоевропейский язык и индоевропейское мышление, в сравнении с которым прочие народы являются только му-

сором или, самое большое, только лишь почвой, более или менее плодородной, для индоевропейской семьи. То, что под этим кроется национализм и империалистическая политика колониальных захватов, это у нас все хорошо понимают.

И поскольку не существует никакой науки без политики, необходимо противопоставить этому учение о языке и мышлении, которое бы воочию показало, что история отнюдь не является перегибом народов для одной привилегированной расы, но что каждый народ и каждый язык вносил свой большой или малый дар в общую сокровищницу человеческой культуры и что все эти дары не отброшены, но сохранены и претворены в высших достижениях человечества. Номинативный строй бесспорно был огромным завоеванием человеческого языка и мышления. Но, согласно нашему исследованию, он стал возможен только потому, что человечество использовало разнообразные частичные подходы при построении языка и мышления и потом обобщило все эти подходы в единой концепции, где они не пропали, но полноценно выполняют свое назначение и по настоящий день. Номинативный строй языка и мышления есть работа и достижение всего человечества.

Кроме того, даже и без перехода на ступень номинативного строя многие дономинативные языки уже давным-давно переосмыслили свои древние элементы, связанные с первобытной идеологией и великолепно служат современному делу общечеловеческой культуры. Так, безличное предложение уходит своими корнями в мифологию, но кто же сейчас при употреблении безличного предложения думает о мифологии? То же самое надо указать и об эргативном предложении. Интонация тоже один из древнейших лексических и синтаксических приемов.

Таким образом, наше исследование языка и мышления хочет служить делу общечеловеческой солидарности, но не делу общечеловеческого антагонизма.

Далее, став на точку зрения социально-исторических объяснений, наше исследование тщательнейшим образом избегало тех ошибок, в которые впали Н. Я. Марр и его ученики. Марр ведь тоже стремился объяснить язык и мышление из общественной практики. Но для этого он пускал в ход совершенно не критические пред-

ставления о классовой борьбе, расширяя и сужая понятие класса до таких размеров, что оно не только выходило за пределы марксизма, но и превращалось в прямую его противоположность. Напротив того, в течение всего нашего исследования мы ни разу не столкнулись с таким положением дела, где было бы необходимо говорить о каких-нибудь классах. И это произошло потому, что мы твердо стоим на марксистско-ленинском учении о доклассовости всего первобытного общества, т. е., конкретно говоря, общинно-родовой формации. В противоположность Марру, находившему классы чуть ли уже не в первобытном стаде, мы внимательнейшим образом прослеживаем назревание классового общества только в период развала всей общинно-родовой формации, так что, например, на греческой почве о классах можно говорить никак не раньше второй четверти I тысячелетия до н. э. Язык есть явление общественное. Но язык никак не есть явление классовое; а тем более было бы неразумно говорить о классовой структуре языков периода общинно-родовой формации.

Однако даже если миновать марровский классовый вульгаризм, то и этим еще не исчерпывается все отмежевание от вульгарной социологии. И это обстоятельство важно потому, что в общинно-родовой формации нет классов, но во всяком случае имеется общественно-экономический базис или ряд базисов и соответствующие надстройки. Некоторые нечетко мыслящие философы и историки могут сбиться на этом обстоятельстве и незаметно для самих себя все же проводить вульгарную точку зрения, подыскивая для языков этой формации общественно-экономические базисы. Нет, язык не есть и надстройка над базисом, и для языков общинно-родовой формации не следует подыскивать общественно-экономических базисов.

Действительно, производство есть гораздо более широкая деятельность человека, направленная на изыскание материальных благ, в то время как базис каждый раз является очень сложным оформлением и направлением производства, к тому же весьма преходящим, всегда обслуживающим тот или иной момент в истории общества и те или иные элементы этого общества. Вместо того чтобы говорить о базисах, мы говорили,

например, о собирательстве и охоте, или о земледелии, скотоводстве и ремесле, или о матриархате и патриархате, или о роде, племени и семье. Все это вовсе не есть общественно-экономический базис, но только весьма широкие по своим масштабам виды человеческой деятельности, из которых, правда, возникали те или другие общественно-экономические базисы, но из которых они могли и не возникать. Взятые сами по себе, эти области человеческой деятельности не имеют никакого отношения ни к собственности, ни к производственным отношениям, ни к способу производства. Как же при этих условиях можно находить в них какой-нибудь экономический базис в том строгом смысле этого слова, как это понимает марксистско-ленинская теория? Мы обосновывали язык и мышление именно этой широкой деятельностью человека, производственной и всякой иной; и нам нигде не пошадобилось прибегать к тому специфическому и преходящему оформлению этой деятельности, которая в марксистско-ленинской теории носит название общественно-экономического базиса.

Далее, к основной линии предложенного исследования относится разыскивание не общелогических, но специально коммуникативных значений синтаксической формы. Если подходить ко всем типам предложения чисто логически, то для логического суждения совершенно неважно, каким типом предложения оно выражено. В этом отношении тождественны не только эргативный и номинативный строй, но даже и инкорпорированный с номинативным. Для того чтобы отразить специфику синтаксической формы, мы в своих логических заключениях исходили только из ее семантики, т. е. старались понять специально ей присущий коммуникативный смысл. А так как орудие общения предполагает то, что именно сообщается, то синтаксическая форма, будучи орудием общения, обязательно указывает и на тот предмет, который сообщается и в сфере которого происходит общение. Этот предмет не есть просто общелогический предмет, но представляет собой выборку из этого последнего, известную его смысловую перестройку и содержит в себе свою собственную внутреннюю логику, принцип своей собственной внутренней структуры. Эту логику каждого основного типа предложения и принцип его структуры, принцип его внут-



ренного и внешнего развертывания мы и ставили своей целью раскрыть. Тогда и выяснилось, что, например, инкорпорированный строй предполагает мышление с отождествлением сущности и явления или общего и единичного, причем это отождествление происходит здесь не просто только познавательно или мыслительно, не просто только примерно или переносно, но в самом буквальном смысле слова, в смысле вещественного и субстанциального отождествления, что и приводило здесь к мифологии. Такого же рода оригинальная коммуникативная предметность формулировалась нами и во всех других синтаксических строях, чем наше исследование резко отличается как от простого метода описания буржуазной науки, так и от метода априорных дедукций у марристов.

Далее, наше исследование исходило из понимания синтаксиса и мифологии не как случайных явлений человеческого сознания и не как внешних его придатков, которые могли быть и могли не быть. Синтаксический строй и связанная с ним в первобытные времена мифология является у нас *органическим, неизбежным, совершенно необходимым продуктом первобытного мышления*; и эти формы языка и мышления так же здесь необходимы, как и воспитавшая их социально-историческая почва.

Мы исходим из двух совершенно элементарных и вполне очевидных утверждений, являющихся аксиомой для передовой советской науки: 1) мифология есть некоторого рода вполне определенный тип мышления, вырастающий на определенных ступенях социального развития; 2) синтаксис также всегда есть вполне определенный тип мышления, тоже вырастающий на определенных ступенях социального развития. Если согласиться с этими двумя положениями, то ясно, что между мифологией и синтаксисом устанавливается некоторого рода общность, подлежащая специальному изучению. Именно, говоря кратко, и мифология есть мышление и синтаксическое связывание есть также мышление. Мышление есть то общее, в чем мифология и синтаксис объединяются, и есть та общая почва, на которой то и другое вырастает. Ступени развития мифологии могут не быть ступенями развития синтаксиса, и ступени синтаксиса могут не быть ступенями ми-

фологии. Однако это не значит, что между теми и другими ступенями существует полный разрыв и что не может возникнуть проблемы о связи между теми и другими ступенями. Ступени развития мифологии необходимым образом связаны со ступенями развития синтаксиса, хотя эта связь может и должна быть очень сложной. Эту связь мы и хотели обследовать в данной работе.

Далее, наше исследование не просто говорит о языке как явлении общественном, но и воочию показывает эту общественную стихию на самом грамматическом строе языков и, даже конкретнее того, на взаимоотношении субъекта, предиката и объекта в грамматическом предложении, а в связи с этим и в логическом суждении. Не на словах, но на деле мы показали взаимоотношение «я» и «не-я» в истории грамматических и логических строев, памятуя вышеприведенные слова Ленина об отражении конкретной жизни человеческого субъекта во взаимоотношении субъекта и объекта в суждении. Мы показали, как это человеческое «я» на ступени инкорпорированного строя ощущает себя только несущественной прибавкой к объективным стихиям природы и общества, как оно уже осознает себя владельцем и собственником определенных свойств на прономинальной и посессивной ступени, как оно превращается в активно действующего субъекта при эргативном строе, как оно ищет самообоснования на ступени аффективной и локативной и как, наконец, находит его на ступени номинативного мышления. Вместе с тем у нас было показано, что и картина мира существенно менялась при переходе человеческого «я» от одной ступени к другой. Было исследовано, почему первобытное мышление необходимым образом есть тотемизм, фетишизм, оборотничество, чудесная фантастика и вообще мифология. Было показано, как с укреплением человеческого общества и индивидуума росло овладение природой, разрушался фетишизм и анимизм, открывались закономерности природы и общества и использовались для их перестройки и создавались основы науки на развалинах древнего мифологического мышления.

Наконец, и еще одна идея, вдохновлявшая настоящее исследование и оправдывающая большую затрату времени на столь отдаленные от современности пред-

меты. Эту идею хорошо выразил Энгельс в следующих словах: «...эта «седая древность» при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития, потому что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а своим содержанием — преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным людям»<sup>22</sup>. В связи с этим историю грамматического строя и логического мышления мы рассматривали не как отдаленное прошлое, навсегда превзойденное и безвозвратно ушедшее, но как элементы, вошедшие и в современную культуру и навсегда оставшиеся свидетелями мировых побед человеческого гения. Кроме того, на этих победах древнейшего периода истории как раз больше всего видно, что «язык есть важнейшее средство человеческого общения»<sup>23</sup>.

Выразим надежду и на то, что в ближайшее время будут подвергнуты обследованию внутренние связи синтаксиса и логики также и для позднейшего языкового развития, т. е. для языков с письменной литературой.

---

<sup>22</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 118.

<sup>23</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 258.

# Проблема вариативного функционирования поэтического языка<sup>1</sup>

## Предварительные замечания

Несмотря на существование огромной литературы по теории стилей языка и литературы, целый ряд основных терминов в этой области остается невыясненным, и решение многих проблем приходится откладывать на неопределенное будущее. Поэтому такие термины, как «поэзия», «живопись», «образ», мы оставляем в данной статье без определения и сознательно становимся на путь нескритического мышления. Определение всех таких терминов можно найти в очень многих других работах, и в частности в работах автора предлагаемой статьи. И тем не менее дожидаться окончательного определения всех этих категорий — это значило бы для нас преградить самим себе путь плодотворного поэтически-языкового и стилистического анализа. Мы хотели бы обратить здесь внимание только на одну проблему, а именно на функционирование живописной образности в поэзии, и рассуждать об этой области более или менее критически, не подвергая, однако, научно-критическому анализу указанные выше основные термины.

Первое, на что мы хотели бы обратить внимание, — это чрезвычайная тонкость, чрезвычайное разнообразие и часто неуловимо функционирующий тот или другой тип наличия живописной образности в поэзии. Тут тоже дело находится в состоянии, очень далеком от окончательного решения проблемы, так что и предлагаемые у нас ниже соображения могут претендовать только на сугубо предварительный характер.

Только две предпосылки мы считаем для себя обязательными в настоящей работе.

---

<sup>1</sup> Читалось в виде докладов на кафедре классической филологии МГПИ им. В. И. Ленина.

Первая предпосылка сводится к тому, что всякое суждение о живописи предполагает плоскостную конструкцию образности, т. е. создание образа на каком-нибудь твердом материале плоскости, будь то, например, холст или стена. Это значит, что живописный образ богат прежде всего конструкциями светотени, цвета и фигуры предметов, а также улавливаемой глазами композиции всех такого рода физических материалов. Это не значит, что на плоскости не может быть изображено трехмерное тело. Однако все трехмерное, включая бесконечные дали и горизонты, дается в живописном образе только при помощи плоскостной трактовки света, тени, цвета и фигуры изображаемого предмета. При другом понимании живописного образа возможно и другое понимание функции этого образа в поэзии. Но ради определенности темы мы будем исходить только из указанной сейчас чисто рабочей предпосылки.

При этом мы должны заметить, что, понимая живописный образ как плоскостной, мы выразились только приблизительно и совсем не точно. Дело в том, что живописное изображение можно рисовать не только на плоскости в узком смысле слова, но также и на любой кривой поверхности, например на цилиндре, когда имеется в виду стакан, на эллипсоиде, когда имеется в виду, например, яйцо, на вазах, шарах, мячах, складках одежды, куполах и т. д. Плоскость в этом смысле является только частным случаем поверхности, т. е. поверхностью двумерной. Поэтому живописный образ может быть не только плоскостным, но и вообще поверхностным. И называть его надо или просто поверхностным, или поверхностно-плоскостным, или просто плоскостным, но уже в условном смысле термина.

Вторая предпосылка используется нами для того, чтобы избежать слишком уж большой разбросанности разных типов живописной образности в поэзии. Мы хотели бы остаться здесь на позициях учета исключительно только непосредственной данности этой живописной образности. Но как раз учет этой непосредственной данности образа повелительно требует распределять всю эту образность с точки зрения разных степеней образной выразительности. Уже первый непосредственный подход к живописной образности поэзии

заставляет распределять ее по разным степеням ее интенсивности, ее насыщенности и ее самостоятельности. Мы будем предпочитать распределять все эти степени образности в порядке их нарастающей интенсивности, в порядке их прогрессирующей насыщенности. Это и есть наша вторая предпосылка. Невозможно говорить просто и вообще о живописной образности в поэзии. Обязательно нужно говорить о разных степенях живописной образности в поэзии, и эти степени мы будем распределять в прогрессирующем порядке.

Однако для той пестроты при описании живописной образности, которая обычно фигурирует в учебниках, в литературной критике и даже в литературоведении, имеются некоторые основания в самом предмете. Дело в том, что живописную образность нельзя представлять себе как-нибудь неподвижно, как-нибудь неизменно и чересчур устойчиво. Живописная образность в художественной литературе чрезвычайно зависит от литературного контекста, от намерений автора и от всяких других причин, которые даже трудно исчислить. Живописное изображение всегда меняется, всегда плывет или наплывает, всегда становится. Правда, это становление может осуществляться только между твердо установленными вехами, так как иначе окажется неизвестным, что же именно становится, в каком направлении становится и к каким результатам приходит. Такое функционирование живописной образности мы называем вариативным (*varius* по латыни значит «разнообразный»). Живописная образность непрерывно течет и меняется, и изображение ее в виде такой изменчивой текучести мы и называем вариативным.

### Рабочее определение живописности на основе непосредственно данных сознания

Выше мы отказались давать определение живописности на основах систематической проблематики, эстетики и литературоведения в их логически точном построении. Здесь мы решили оставаться на позиции непо-

средственно данных сознания и исходя только из обычных и некритических представлений. Однако это не значит, что мы совершенно ничего не должны знать о живописной образности. В условиях такого абсолютно-го агностицизма нельзя будет вообще ничего говорить, поскольку говорить всегда означает говорить о чем-нибудь. Это вполне только еще рабочее представление о живописной образности мы сейчас и хотим развить несколько подробнее.

**1. Живописность и декоративность.** Первая дистинкция, без которой мы не можем обойтись, заставляет нас резко противопоставлять живописность декоративному принципу. Декоративность по самому смыслу этого термина является не чем-то первичным, а скорее чем-то вторичным, которое и призвано обслужить исходную первичность, а не быть центром художественного внимания. Так, декорация в театре есть некоторого рода украшающее или вообще дополняющее обстоятельство, в то время как первичным является здесь сама драма, само драматическое представление. Театр и в античности и еще при Шекспире создавал драматические представления с минимальным использованием декоративных приемов. Декоративную образность нужно отличать от живописной, как то или иное внешнее украшение в сравнении с конструкцией самой живописности. Живописность есть определенного рода конструкция, в то время как декоративность есть только некоторый фон и несущественная детализация исходного конструктивного образа.

**2. Поверхностно-плоскостная конструкция.** Исходя опять-таки из общеизвестной и очевиднейшей позиции, мы можем сейчас ответить и на вопрос о том, какой именно является живописная конструкция и чего именно она есть конструкция. Всякий скажет, что живопись есть не что иное, как искусство разрисовки плоскости. Это не значит, что на картине не могут быть изображены трехмерные тела или временная длительность со всей свойственной ей ритмикой или что невозможна живопись понятийно-выраженных сюжетов. Однако для трехмерной телесности существуют свои особые искусства, а именно архитектура и скульптура; для выражения чисто временных соотношений имеется такое искусство, как музыка; а понятийно-выраженные струк-

туры характерны для поэтических сюжетов. И тем не менее живописная образность переводит все эти внеплоскостные принципы на язык только поверхностной или плоскостной. Как изобразить уходящие в даль предметы или как изображать на картине, например, бесконечные горизонты, — это уже дело самого живописца. Мы только должны констатировать, что решительно все существующее вне плоскости может быть и должно быть изображаемо также и на плоскости. Об этом говорит уже сам элементарный художественный опыт. Итак, живописная образность всегда есть в первую очередь поверхностно-плоскостная конструкция.

3. Зрительный характер живописной образности. Из всего сказанного и притом опять-таки с полной очевидностью вытекает то, что плоскостная конструкция воспринимается нами в первую очередь зрительно. Конечно, изображаемые на картине морская буря или сражение на войне вызывают у нас и всякого рода слуховые ассоциации, а изображение флоры может вызывать также и обонятельные ассоциации. Однако все эти незрительные ассоциации при рассматривании картины играют только второстепенную роль. Ассоциативные факторы, равно как и внеживописные, имеют для живописной образности тоже только вторичное значение. Всякие подобного рода внеплоскостные ассоциации опять-таки не имеют для картины конструктивного значения. Все незрительное получает для живописности конструктивный смысл только в том случае, когда оно пересведено на язык зрительно-плоскостной образности.

Из этого можно сделать тот антиисторический вывод, что настоящая и подлинная живопись — это только конструкция красок или цвета. Конечно, такого рода чисто цветную живопись не только можно себе представить, но она была иной раз даже ведущим принципом для творчества как отдельных художников, так и для целых направлений и даже эпох. Тем не менее живопись, состоящая только из сочетания красок, есть нечто абстрактное и в историческом процессе недолговременное. И это именно потому, что красочность есть только максимально-обобщенный принцип живописи, но не характеристика живописи в целом, для которой принцип цвета необходим, но не является единствен-



ным, поскольку живописная образность может иметь и всякое другое, неживописное, содержание, но только в условном переводе всякого такого содержания на язык поверхностно-плоскостной образности.

**4. Выразительный характер живописной образности.** Последние два принципа, которые мы должны сейчас сформулировать с позиций описания непосредственных данностей художественного сознания, относятся уже не специально к живописной образности, а характерны вообще для всякого художественного образа и для всякого искусства. Тем не менее если ничего не сказать об этих двух принципах, то можно вызвать несоответствующее действительности представление о слишком формальном описании живописного образа. Поэтому ко всему предыдущему еще необходимо кое-что добавить.

Во-первых, всякий живописный образ есть выражение. Он выразителен. Но надо отчетливо себе представлять, что такое художественное выражение. Всякое художественное выражение имеет внутреннюю сторону, т. е. ту или иную внутреннюю жизнь, недоступную для наших внешних органов чувств, имеет внешнюю сторону, т. е. то, что воспринимается нашими внешними органами чувств, и имеет третью сторону, в которой внутреннее и внешнее совпадают, так что мы одними только физическими глазами наглядно и отчетливо воспринимаем то, что творится в духовной жизни изображаемого предмета. Пейзаж может быть веселым или грустным, а портрет может передавать и внутреннюю жизнь изображаемого на нем человека в какой-нибудь отдельный период или момент его жизни и повествовать о целой биографии данного человека, о результатах этой биографии. Все эти психологические настроения и биографические подробности, вся эта духовная жизнь как с ее обыденностью, так и с ее возвышенными моментами — словом, вся эта внутренняя и недоступная физическому глазу жизнь становится в условиях живописной образности только зрительно-плоскостным предметом и больше ничем другим. Итак, зрительно-плоскостная живописная образность всегда выразительна<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Выражение (или выразительность) как фундаментальная категория всего эстетического и художественного рассмотрена нами в ст. «Эстетика» в «Философской энциклопедии» (т. V. М., 1970).

**5. Самодовлеюще-созерцательный характер живописной образности.** Это второй принцип, который тоже не содержит в себе ничего специфически живописного. Но он заслуживает хотя бы простого упоминания, чтобы наше рабочее определение живописности не было слишком формальным. Дело в том, что всякая художественная образность всегда является предметом некоторого рода любования и всегда более или менее длительного, поскольку изображенная на картине внутренняя духовная жизнь человека, как бы просто и наивно она ни воспринималась нашими физическими глазами, всегда заставляет вдумываться в нее, углубляться в нее, а иной раз даже и восторженно упиваться ею. Для тех, кто мало размышлял на эти темы, заметим, что такая созерцательная влюбленность в художественное произведение отнюдь не означает того, что данное художественное произведение только и создано для созерцательного любования с целью оторвать нас от практической жизни. Такие художественные произведения, которые ставят своей целью оторвать нас от практической жизни, конечно, всегда были и существуют еще и теперь. Но это вовсе не есть принцип их художественности. Шляпа может быть сколько угодно красивой; и ею можно сколько угодно любоваться, как будто бы она вовсе не была предметом обыденной практики человека. И если она, кроме того, еще и удобна для ношения, сделана из хорошего и добротного материала, а также отличается прочностью и другими бытовыми качествами, то это не только всегда возможно, но, пожалуй, делает ее еще более красивой. Таким образом, принцип красивой выразительности, заставляющей внимательно и с любовью к ней присматриваться, вовсе не противоречит принципу утилитарной значимости. То и другое может вполне совпадать, но может и вполне не совпадать.

**6. Итог предыдущего.** В заключение подведем итог. Исходя из данных непосредственного опыта, избегая всякой теоретически-систематической проблематики и ограничиваясь рамками только предварительного и рабочего представления, без которого осталась бы непонятной сама тема предлагаемой нами сейчас работы, можно сказать следующее. Живописная образность есть поверхностно-плоскостная конструкция, которая привле-

кает наше внимание как вполне самостоятельная и самодовлеющая данность и которая всегда является высшим чувственным выражением той или иной внутренней данной духовной жизни.

Этим мы ограничимся при формулировке того рабочего задания, которое мы сейчас себе ставим, а далее, при переходе к обзору конкретных соотношений живописной и поэтической образности мы вспомним и свою вторую предпосылку, а именно принцип разнообразной насыщенности живописного образа, поскольку при современном развитии литературоведения и вообще искусствоведения никакие отвлеченные принципы, как бы они ни были существенны, не могут применяться к художественной действительности только в своем отвлеченном виде. В той художественной действительности, с которой мы фактически имеем дело, охарактеризованный нами принцип живописной образности всегда выступает по-разному и с разной степенью своей насыщенности. Эта насыщенность бывает порой настолько сложна, что становится невозможным определить сам переход от одной степени насыщенности к другой. Тут, конечно, возможны разные споры. Но нам представляется вполне очевидной и бесспорной сама проблема этой разностепенной насыщенности.

## Образность нулевая или близкая к нулю

Если мы теперь перейдем к анализу указанного предмета в более или менее критическом смысле, то сначала бы мы хотели указать не на присутствие живописного образа в поэзии, но на такое его присутствие, которое близко к нулю, т. е. на отсутствие живописного образа в поэзии. На это мало обращали внимания.

1. Теория Д. Овсяннико-Куликовского. Но мы должны отдать дань справедливости одному из видных литературоведов и языковедов прежнего времени Д. Овсяннико-Куликовскому. В своих работах<sup>3</sup> этот автор ха-

<sup>3</sup> См.: Овсяннико-Куликовский Д. Теория поэзии и прозы. М.—Пг., 1923, с. 8—12, 46—54; Он же. Лирика как особый вид творчества.— В кн.: Вопросы теории и психологии творчества, под ред. Б. А. Лезина, т. II, вып. 2. Спб., 1910, с. 182—226.

характеризует лирику как такой вид художественного творчества, который в основе совершенно лишен всякой образности, что, однако, не мешает иногда присутствовать в ней этой образности. Д. Овсяннико-Куликовский в этих своих работах, несомненно, часто увлекается и часто противоречит сам себе. Некоторые его утверждения производят прямо-таки поверхностное впечатление. Так, например, он делит лирику, или, по его выражению, область лиризма, на лирическую поэзию в собственном смысле, песню, музыку и танцы. Нам кажется, что это в логическом отношении очень слабая классификация: песня есть тоже музыка, а танцы в гораздо большей степени характеризуются фигурами и движениями танцующих, т. е. именно образностью, а вовсе не только одним лиризмом. Кроме того, при таком широком и неопределенном понимании лирики ее можно находить решительно везде. Прощание Гектора с Андромахой в «Илиаде» Гомера есть не лирика, но эпос, хотя и с весьма сильным лирическим направлением. Известные пьесы А. П. Чехова всегда считали полными лиризма, но в основе это все-таки драмы. И вообще в этих наблюдениях Д. Овсяннико-Куликовского очень много непродуманного и противоречивого.

2. **Образность и лиризм.** Однако не ради этого мы сочли необходимым сослаться на указанного почтенного автора. Самое главное в теории Д. Овсяннико-Куликовского — это базирование лирики на чистых эмоциях и понимание этих лирических эмоций как ритмизованных аффектов. Сами по себе взятые радость, печаль, грусть, тоска, сожаление, жалость и пр. ничего лирического в себе не содержат. Но, говорит Д. Овсяннико-Куликовский, если все эти аффекты обработаны ритмически, они уже становятся лирическими переживаниями. Такого рода рассуждения, на наш взгляд, имеют весьма глубокий смысл. Во всяком случае они помогают отделять чисто лирическую поэзию от поэзии образной. Только тут нельзя употреблять все эти психологические и эстетические категории в слишком дискретном виде, в их абстрактно-метафизической разделенности. Каждая такая категория для современной диалектики является, конечно, принципом становления и потому может трактоваться, начиная от своего пре-

дельного наполнения и кончая своими близкими к нулю функциями.

Как указывалось выше, мы исходим здесь не из каких-нибудь абстрактных, теоретических и критически обработанных категорий поэтического творчества. Мы пытаемся исходить здесь из того, что можно было бы назвать непосредственной данностью художественного сознания. И с точки зрения такой непосредственной данности лирика, взятая сама по себе, конечно, есть только эмоция, а не образность, как бы фактически не перемещивались между собой принцип лиризма и принцип живописной образности. Такую лирику, и притом не только лирику, но и многое другое в поэзии, мы можем назвать, употребляя греческий термин «икон» («образ»), а иконической поэзией, т. е. безобразной поэзией. Наше непосредственное художественное сознание во всяком случае говорит об этом весьма настойчиво, так что указанная теория Д. Овсяннико-Куликовского в основном даже и не является теорией, а есть только овидетельство простой и совершенно непосредственной данности художественного сознания. Однако тут же мы начинаем замечать и нечто другое, тоже основанное на непосредственной данности.

Именно эту аниконичность мы наблюдаем в поэзии не только в безусловном и неподвижном смысле, но обязательно в виде становления, в виде разной степени напряженности. Попробуем сформулировать несколько таких степеней.

3. **Полный аниконизм.** Прежде всего мы наталкиваемся на такую аниконическую поэзию, где действительно и в самом серьезном смысле слова нет ровно никакой образности и уж тем более нет никакой живописной образности. И это вовсе не какая-нибудь плохая поэзия. Часто это даже весьма высокая поэзия. Из всех литератур можно привести огромный список такого рода лирических стихотворений.

Возьмем такое безусловно высококачественное стихотворение, как лермонтовское «И скучно, и грустно...». Ведь и в самом деле, *скука* или *грусть* вовсе не есть образы, а самые настоящие абстрактные понятия. В словах *и некому руку подать*, правда, шевелится кое-какая образность, но образность эта уже чересчур ба-

нальна, и ее художественная роль здесь близка к нулю. Слова *в минуту душевной невзгоды* тоже выражают собой исключительно только абстрактные понятия, и все это стихотворение состоит либо попросту из аниконических выражений, либо содержит некоторые изречения или тезисы, тоже весьма далекие от какой-нибудь живописи. И кончается это стихотворение двумя строками, тоже в основном аниконическими. *Жизнь* — это абстрактное понятие. *Холодное внимание* — едва ли есть образ. В самом крайнем случае, чтобы к нам не придирались, мы можем сказать, что *холод* здесь является некоторого рода образом. Но, как нам кажется, всякий согласится, что образ этот достаточно бессодержателен и чересчур затааскан. Едва ли ему принадлежит здесь какая-нибудь существенная художественная роль. И наконец, в выражении *такая пустая и глупая шутка* и слово *пустая*, и слово *глупая*, да и слово *шутка* являются тоже гораздо более абстрактными понятиями, чем художественными образами. Конечно, понимание жизни как шутки, рассуждая теоретически, есть метафора. Однако если прислушаться к нашему непосредственному ощущению, то эта метафора звучит у Лермонтова вовсе не только метафорически. Она чересчур насыщена мыслительным содержанием и предметно-онтологической оценкой жизни, чтобы оставаться только метафорой. Ведь в метафоре важны именно сама образность и картинное сопоставление каких-нибудь двух разноплановых областей. Едва ли, однако, Лермонтов услаждается в этом стихотворении метафорическим пониманием жизни. А главное, это почти насквозь аниконическое стихотворение Лермонтова неизменно производит на нас глубокое впечатление. Это — весьма высокая по своему достоинству поэзия и глубоко впечатляющая лирика. Нас тут же спросят: а какими же средствами создается здесь лирическое произведение? Но все такого рода вопросы, как мы сказали сейчас, вовсе не входят в нашу задачу. Ответа на этот вопрос надо искать у тех исследователей, которые изучают лирику как таковую. Что же касается нас, то термин «лирика» берется нами здесь не научно и не критически, а лишь с точки зрения лежащих под ним непосредственных данностей сознания. А эти данные упорно гласят, что в лирическом произ-

ведении живописная образность может либо целиком отсутствовать, либо присутствовать в виде третьестепенного по своей художественной ценности момента.

В стихотворении Пушкина «Я помню чудное мгновенье» образность тоже либо отсутствует целиком и заменяется абстрактными понятиями, либо играет далеко не первую роль.

Если человек что-нибудь *помнит*, в этом еще нет ничего ни поэтического, ни, в частности, лирического. *Мгновенье* — понятие, фигурирующее в механике, физике, технике и, конечно, в повседневной человеческой жизни. Однако едва ли здесь есть что-нибудь в существенном смысле образное. *Чудное* — это и вообще бытовой язык. *Явилась ты* — тоже бытовое выражение. Слово *виденье* тоже не указывает ни на какой живописный образ; и если разнообразных видений может быть сколько угодно и не говорится, какое именно видение здесь *является*, то, само собой очевидно, слово это, взятое в таком неконкретном смысле, есть лишь родовое понятие.

И далее, когда поэт говорит: «В душе настало пробужденье», то ведь мы пробуждаемся каждое утро; и в этом нет ничего ни лирического, ни вообще поэтического. «Для нее воскресли вновь» — даже и не метафора, да и вообще относительно образности этого слова в данном стихотворении едва ли может всерьез идти речь. А кончается это знаменитое стихотворение перечислением исключительно абстрактных понятий: «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь». Едва ли здесь всерьез идет речь о божестве. С некоторой натяжкой можно считать это метафорой. Но тогда *божество* должно быть образом, т. е. представлять собой какую-нибудь живописную картинность. Но какую же картинность имеет здесь в виду поэт? Мы знаем многочисленных Аполлонов, Артемид, Аресов и т. д. Но в античных источниках они всегда являются в виде тех или иных образов и характеризуются иной раз целыми биографиями. Что же это за божество, о котором говорит здесь поэт? Это просто есть указание на что-то высокое и всемогущее. Но все такие указания, взятые сами по себе, являются именно абстрактными понятиями. *Жизнь* — тоже не образ. *Слезы*, если угодно, можно считать образом. Но какие именно слезы поэт име-

ет здесь в виду, неизвестно. Слезы могут быть от страдания, от радости и еще от тысячи причин. Скажут: но ведь у поэта еще в самом начале говорится: «как гений чистой красоты». Позвольте, какой же это гений? Тут, правда, у нас копошится воспоминание о гениях в римской мифологии. Но в нашем современном сознании слово *гений* настолько связано с представлением о психических способностях человека, что о римской мифологии, кажется, здесь никто не вспоминает. А что касается выражения *чистая красота*, то оно и вполне прозаично, и тоже звучит обывательски.

И вот перед нами творится здесь какая-то очень сложная и неожиданная метаморфоза: лирическое стихотворение либо не содержит никаких образов, либо этим образом принадлежит совсем внехудожественная роль; и при всем том перед нами здесь не только замечательное стихотворение, но, можно сказать, мировой шедевр лирического творчества. Как же это так случилось, что на аниконической основе возник шедевр художественной лирики? Но за решением подобного рода вопросов обращайтесь к теоретикам литературы, которые построят свой предмет и научно и критически. В других наших работах мы тоже не раз задавались такими систематически научными целями. Однако в данной нашей работе мы сознательно не используем никакой теоретико-литературной системы, так как иначе пришлось бы давать целое рассуждение и о том, что такое поэзия, и о том, что такое лирика, и о том, что такое образность, и о том, что такое живописная образность. В данной работе мы размышляем только в плоскости непосредственной данности художественного создания, а она упорно гласит, что чистый лиризм совершенно аниконичен. Конечно, тут мы стоим у самого начала литературоведческой науки. Но дальше этого в настоящей работе мы сознательно не идем. Мы просим только признать, что чистый лиризм аниконичен.

Дальше, стоя на той же методологической позиции, мы сталкиваемся уже и с разными степенями этой аниконичности, или, что то же, с разными степенями самой иконичности.

**4. Неполный аниконизм.** Прежде всего мы сталкиваемся здесь с огромной областью тех иконических элементов, которые являются результатом потускнения



в основе своей всегда образных корней любого слова. Это — пока еще настолько слабая образность, что можно вполне пока ограничиться термином «аниконичность». Когда мы употребляем слово *тоска*, то кроме ученых-этимологов сейчас уже никто не сопоставляет этого слова с такими, например, словами, как *тиски*, *тискать*. В слове *тоска* лежащий в его основе образный корень уже забыт. При употреблении слова *печаль* едва ли кто-нибудь сейчас станет вспоминать о печах или печении. При употреблении слов *жаль*, *жалеть*, *сожалеть* в настоящее время едва ли кто-нибудь представляет образ пчелы, которая действительно жалит. То же самое нужно сказать и о словах *жаловать* или *жалование*. Никто не думает о дыхании, когда употребляются такие слова, как *душа* или *дух*, хотя этимологически в основе тут лежит, несомненно, образ дыхания. Это — потускневшая или совсем исчезнувшая этимологическая образность, которая как образность почти равна нулю. Это — почти чистая аникония.

Кто теперь пользуется словом *понятие* согласно с его образным корнем *по-яти* «взять»? Понять какой-нибудь предмет согласно образному корню данного слова попросту значит взять данный предмет. Этот образный оттенок взятия еще присутствует в таком слове, как *понятой* (по «Словарию русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова — это «лицо, привлечаемое органами власти для присутствия в качестве свидетеля при производстве обыска, описи имущества и т. п.»). Зато слово *понятой* ничего общего не имеет с логическим термином «понятие». То же самое нужно сказать и о слове *понятный*.

## Образ-индикатор

Затем следует множество слов и словосочетаний, которые определенно опираются на какую-то уже без труда узнаваемую образность, причем из цельного образа берется только его фактическое наличие, а не все его картинное содержание. Поэтому образность здесь получает только условный смысл и никак не больше того.

1. **Принцип индикации.** Когда мы говорим *подошва горы*, то мы на этот раз имеем в виду цельный и понятный для нас образ подошвы. Но из этого образа подошвы мы берем только сам факт существования подошвы, т. е. сам факт нижней части чего-нибудь. Мы здесь, например, отвлекаемся от того, что наша бытовая подошва всегда подшита и не к чему-нибудь, а именно к обуви. Вместо цельного образа подошвы мы берем здесь только факт наличия в предмете его нижней и опорной части. Таковую образность необходимо называть указующей только на факт картины, а не на самое картину. Это — индикаторный образ и притом условно-индикаторный. То же самое в таких выражениях, как *ножка стола, головка лука, дверная ручка, дверной глазок, носик чайника, игольное ушко, бородка ключа, горлышко бутылки, этот прекрасный цветок говорит сам за себя, желудочек* (в смысле части сердца), *весна идет, наступает праздник, пуп земли, язык пламени, душа уходит в пятки* и т. д. и т. п.

2. **Развитие принципа индикации.** Здесь, однако, необходимо отчетливо проводить ту методологию, которая очень часто отсутствует не только в учебниках, но иной раз даже и в исследованиях, посвященных теории или истории литературы. Дело заключается в том, что в той литературной теории или истории, которую мы считаем в настоящее время очередной задачей, не могут быть употребляемы какие-нибудь неподвижные и слишком тяжеловесные категории, неспособные ни к какому становлению или развитию. Мы сейчас сказали об индикаторной образности. Но этот образ-индикатор, если брать живой литературный текст, оказывается всегда подвижным, всегда текучим, всегда способным развиться в ту или иную, уже самостоятельную образность. Правда, образу-индикатору еще очень далеко не только до полноценной метафоры, но даже и до полноценной аллегории. И все же стоит иной раз чуть-чуть изменить контекст, и уже простое указание на факт начинает превращаться в ту или иную разрисовку этого факта.

3. **Четыре степени индикации.** Установим такие четыре степени напряженности индикаторной образности в поэзии. Прежде всего это действительно указание только на простой факт существования како-

го-нибудь предмета, как это мы находим в приведенных только что примерах. Во-вторых, образ-индикатор может указывать не на один предмет, а на известное множество предметов и даже на их движение. В-третьих, образ-индикатор, не становясь метафорой, свидетельствует уже об известной направленности предмета, выходящей далеко за пределы чисто чувственной данности, В-четвертых, наконец, образ-индикатор может свидетельствовать о той или другой ценности предмета, на который он указывает, например моральной, психологической или общественной. Повторяем, эти четыре значения знака-индикатора являются только абстрактно установленными вехами на путях нарастающей интенсивности образной сферы. Между ними, если брать живой литературный текст, существует множество разнообразных оттенков, которые повелительно трактуют о непрерывности перехода от одной вехи к другой, несмотря на четкость, взаиморазличия самих вех. В некоторых случаях значение такого образа-индикатора подходит весьма близко к самой настоящей метафоре. Но метафора имеет уже самостоятельное значение, и с служебности входящих в нее образов мы будем говорить ниже только в специальном смысле. Здесь же, пока идет речь об образе-индикаторе, все эти значения являются по самой своей сущности служебными. Они настолько часто употребляются в речи, что даже в тех случаях, где они близки к метафоре, сама эта их метафоричность вовсе не фиксируется как таковая и не рефлектируется как преднамеренный поэтический прием.

**4. Примеры.** Для ясности приведем соответствующие примеры.

Начнем с индикаторного употребления частей или органов человеческого тела. *Висеть на волоске* означает весьма сложное состояние, которое самое меньшее необходимо относить к третьей, а может быть и к четвертой группе индикаторных значений. Мы уже указали выше на *головку лука*. Слово *лобастый* уже может указывать не только на большую величину лба, но и на ум человека, на его способность хорошо мыслить. Такой же выход за пределы первого из указанных у нас выше значений образа-индикатора мы находим и в таких словах, как *узколобый* или *лоботряс*. То *лобовое стекло*, о котором говорится при описании автомо-

бия, еще близко к первому значению, но *лобное место* наделено таким множеством исторических, психологических и общественных значений, что его нужно относить к нашей третьей или четвертой группе. Вместо *поставить вопрос принципиально* у нас говорят *поставить вопрос в лоб*. Это скорее еще наше второе значение образа-индикатора.

*Глазастый* — не только тот, кто имеет слишком большие глаза, но и тот, кто умеет высматривать незаметное для других. *Глазеть* — вовсе не только пользоваться глазами, но пользоваться ими интенсивно и притом бесплодно. Говорят *делать* или *строить глазки* о кокетливой женщине. Это явно уже наше третье значение, а может быть даже и четвертое. Критика *не в бровь, а в глаз* говорит о меткости критики. *Видеть соринку в чужих глазах и не видеть бревна в своих глазах* — значит поступать весьма придирчиво и эгоистически. *Горящие глаза, острый взгляд, мутные глаза, ясные глаза, чистые глаза, пронизательные глаза, меткий глаз, сглазить, глазник, бросаться в глаза, колоть глаза, впиваться глазами, томный взор*. Удивительным образом сюда же относятся такие слова и выражения, как *точка зрения, обозрение, воззрение, подозрение, прозрение, презрение, без зазрения совести*, научные и другие *взгляды, зрелище, зритель, подозрительный* (о человеке), *незримый, беспризорник, смотритель, смотр, недосмотр, пересмотр, просмотр, высмотреть*. Все эти слова и выражения нетрудно распределить по нашим четырем группам или указать их место между какими-нибудь двумя группами, как и выражения *водить за нос* или *мозолить глаза*. *Глаза и уши* государевы — так в старой литературе говорилось о разведке. Тут, конечно, выступает наша четвертая группа.

От слова *ухо* мы имеем выражения *наострить уши, держать уши на макушке, держать ухо востро, слушаться, заслушивать, заслушиваться, послушник, ходят слухи, ослиные уши, наушничать, хлопать ушами, затыкать уши, ушник* — с отнесением к нашим разным группам, в то время как *игольное ушко, ушастый, наушник* в радиоприемнике, *шептать на ухо* относятся только к нашей первой группе образов-индикаторов.

*Зубцы пилы, визг пилы, зубчатое колесо, зубило, зубные звуки* в фонетике, *зубная щетка, зубной поро-*

*шок, зубной элексир* и другие зубные средства — это наша первая группа. Но *зубник* в смысле зубного врача, *зубастый* в смысле умения остро критиковать, *ядовитый зуб, попасться на зубок, зубоскалить* — это уже не первая группа. *Вынюхивать, подслушивать, ляскать зубами* — это тоже наша вторая или третья группа.

*Острый язык, яркий или серый язык, сильный язык, языкастый, подлизываться, богатый языком, смелый язык, лизоблюд, язвить* относятся, вероятно, к нашей четвертой группе.

*Горланить, брать на горло, брать за горло, голосить, петь с чужого голоса* — вторая и третья группы, в то время как *гортанные звуки* в фонетике — несомненно, первая группа, а *голосовать, в рот положить, проглотить обиду* — несомненно, четвертая группа. Более элементарные выражения *наличник, наличность, лицезрение, плевать на что-нибудь* в смысле отрицания или отвержения. *Дать по башке, давать в шею, башковитый, знать в три шеи, висеть на шее, сидеть на шее, гнуть спину, захребетник, горный хребет, иметь руку* в смысле использования более сильных людей, *нагреть руки, загребать жар руками, взять себя в руки, дать по рукам, отбиваться от рук, развязать руки, кусать локти, распахивать локтями, смотреть сквозь пальцы* — все это наши третья и четвертая группы, а также промежуточные между ними оттенки.

*Сердечный друг, доброе, мягкое, чистое, горячее, страстное, ласковое* и прочие многочисленные контексты со словом *сердце* — это наши третья и четвертая группы. Сюда же — *достать до печени, сидеть в печенках, перемывать косточки, поставить вопрос ребром, бок о бок* (ср. *душа в душу*), *костяк* какого-нибудь дела или произведения, *идти в ногу* с кем-нибудь или с чем-нибудь, *ноги его здесь уже не будет, наступить на ногу, идти в колее, след простыл, идти во след, оставить след, искать по горячим следам, замечать следы*.

В заключение этого примерного обзора индикаторной образности в поэзии необходимо сказать, что такого рода образность пронизывает собой не только всю поэзию, но и всю вообще языковую стихию человека. И так как представление об этом типе образа, как мы надеемся, получилось у читателя уже достаточное, то

на этом можно и покончить с обрисовкой данной образной ступени. Тут важно только не забывать, что эта образная ступень, в какой бы яркой форме она не выступала, раз и навсегда характеризуется тем, что в поэзии и в речи вообще она специально никак не фиксируется, специально никак не рефлектируется и уж тем более не рефлектируется художественно. Когда мы говорим в просторечии *конец — делу венец*, то никто из нас не думает, что здесь мы на кого-то или на что-то возлагаем действительно какой-то венец в настоящем смысле этого слова. Это — в основе своей пока еще только индикаторная образность. В ней, конечно, залегает возможность и чисто художественного образа — аллегии, метафоры, символа и даже целого мифа.

Но для всех этих типов поэтической образности необходима преднамеренная конструкция этих образов, их специально фиксируемая нами предметность или как мы сказали бы в самой общей форме, их художественная рефлектированность. Как раз этого и не хватает образу-индикатору, в какой бы яркой и выразительной форме он ни выступал в речи. Ясно, что сейчас открывается перед нами огромная область именно этой, специально фиксированной образности, когда она получает уже ту или иную самостоятельность, не проскакивает в речи как-нибудь незаметно и действительно является подлинным предметом художественного творчества.

Правда, и здесь необходимо установить разные ступени самостоятельности, если только внимательно прислушиваться к непосредственно данным живописно-поэтической образности.

Заметим, что и здесь самая насущная необходимость заставляет нас резко ограничить свою задачу. И поэтому мы постараемся в дальнейшем давать только некоторые вехи живописной напряженности поэзии, избегая многого другого, что в иных условиях и для автора настоящей работы, и для ее читателя представлялось бы и необходимым и интересным.

## Аллегория, олицетворение и метафора

С аллегорией и метафорой мы входим в ту область, в которой живописная образность уже получает самостоятельное значение, в которой она специально рефлектируется, т. е. намеренно создается и сознательно воспринимается, и притом рефлектируется художественно. Эти две теоретико-литературные категории изучаются и излагаются довольно часто, и во многом тут достигнута уже достаточная ясность. Это обстоятельство позволяет нам давать уже не столь подробный анализ этих категорий, и часто тут оказывается достаточным приведение некоторых примеров. Но дело в том, что все рассматриваемые в этой работе категории рассматриваются не отдельно, но с применением специального метода, а именно метода нарастающей живописной образности; поэтому для нас далеко не безразлично, в каком порядке анализировать эти категории. И если мы после индикаторной образности переходим сначала к аллегорической образности, а потом к образности метафорической, то это делается нами по требованию определенной литературно-живописной методики. Кроме того, и сам анализ этих категорий тоже предъявляет нам свои требования, которые вовсе не обязательны при другом подходе к предмету.

1. **Общая черта аллегории и метафоры.** Прежде чем заговорить о существенном различии аллегорической и метафорической образности, укажем сначала на то общее, что их объединяет. Их объединяет одинаковое противоположение с той образностью, которую мы выше называли индикаторной. Индикаторная образность вовсе не фиксируется как таковая, а проскакивает в живой речи совершенно незаметно наряду с прочими прозаическими приемами, ровно ничем не выделяясь из обыденной прозы вообще. В противоположность этому аллегорическая и метафорическая образность создается вполне намеренно и воспринимается читателем вполне сознательно, с более или менее резким выделением ее из потока прозаической речи вообще. На аллегорическую и метафорическую образность

специально обращается внимание и поэтом и читателем, оба эти вида образности всегда так или иначе оцениваются; и они бывают характерными или для данного литературного жанра, или для данного поэта, или для данного периода его развития, а иной раз, может быть, и для целого исторического периода или для какого-нибудь направления в поэзии и в искусстве. Словом, в противоположность образу-индикатору и аллегорическая и метафорическая образность есть определенного рода художественный предмет, намеренно создаваемый и оцениваемый или специально фиксируемый, специально и методически и притом всегда художественно рефлектируемый.

2. **Основное различие аллегорической и метафорической образности.** Указанное у нас сейчас различие аллегории и метафоры с индикаторной образностью достаточно рисует художественную самостоятельность и метафорической и аллегорической образности. Но самостоятельность эта опять-таки может быть разной. С точки зрения проводимой у нас в данной работе разноступенной художественной насыщенности образа аллегория, как это можно читать во всех учебниках, в художественном, и в частности в живописном, отношении, безусловно, насыщена гораздо менее, чем метафора. Однако эта меньшая живописная насыщенность аллегории отнюдь не всегда формулируется с надлежащей точностью.

Возьмем самый простой, наглядный и максимально безупречный пример аллегорической образности — басню. В этом литературном жанре мы весьма часто находим самые настоящие живописные образы. Животные в баснях говорят человеческими голосами, вступают друг к другу в чисто человеческие отношения, любят, ненавидят, обманывают друг друга, завидуют друг другу, один другого восхваляет или унижает, наставляют друг друга или друг у друга учатся. И все такого рода картины животного мира обладают в прямом смысле слова художественной ценностью, и их можно рассматривать вполне самостоятельно, как предмет самого настоящего художественного удовольствия.

Однако тут же оказывается, что вся эта художественная картина, наличная в басне, как эта картина ни самостоятельна и как она ни интересна в художест-



венном отошении, все же создается баснописцем отнюдь не ради ее самой, отнюдь не ради ее художественной ценности. Оказывается, что она создана им только как пример и только как иллюстрация для чего-нибудь другого, что вовсе не обладает никакой образностью и не имеет никакого отношения к художеству. И если сказать точнее, то между той отвлеченной мыслью, иллюстрацией для которой является басенная картинка, и самой этой картинкой имеется только одно и единственное сходство, вернее сказать, тождество, а именно тождество структурное, но отнюдь не субстанциональное. По своей субстанции все эти муравьи или стрекозы, вороны и лисицы не имеют ничего общего с человеком, не обладают человеческим языком и не пользуются языком как орудием общения. Однако в структурном отношении стрекозе действительно можно приписать легкомыслие и беззаботность, а муравью — трудолюбие и дальновидность; вся сущность этой басни о стрекозе и муравье заключается в чисто моральном, чисто рациональном и ни в каком отношении не художественном наставлении, а именно в том, что все надлежит заготавливать своевременно.

Приведем еще два-три примера. И. А. Крылову захотелось иллюстрировать неудачу такого дела, участниками которого оказываются люди совсем разного поведения и разных взглядов. Рисуется забавная картинка, как лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду, вследствие чего воз, который они тянут, остается стоять на том же месте. Картинка эта вполне живописна, но в то же время и вполне аллегорична.

Когда тому же баснописцу захотелось изобразить бездарных и самоуверенных критиков искусства, он, во-первых, весьма художественно изобразил пение соловья:

Тут соловей являть свое искусство стал:  
Защелкал, засвистал  
На тысячу ладов, тянул, переливался;  
То нежно он ослабевал,  
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.

И впечатление от этого пения соловья продолжается еще и далее. Оказывается, соловью внимает вся природа:

Внимало все тогда  
Любимцу и певцу Авроры:  
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,  
И прилегли стада.  
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался  
И только иногда,  
Внимая соловью, пастушке улыбался.

Во-вторых, однако, оказывается, что судьей относительно пения соловья изображен осел, который, снисходительно оценивая пение соловья, рекомендует ему поучиться у петуха. И опять живописное и даже музыкально-живописное пение соловья и оценка этого пения ослом, идеалом для которого является петух, вовсе не имеет в басне самостоятельного значения, а есть только иллюстрация грубой критики тонкого и проникновенного искусства.

Такого рода басен русских и зарубежных баснописцев можно было бы привести сколько угодно. Гораздо важнее логически точно формулировать специфическую особенность аллегории.

**3. Структурно-схематический и потому только потенциальный тип аллегорического образа.** Эта особенность заключается в том, что аллегорическая образность, как бы она ни была красочна и какое бы художественно-самостоятельное значение она ни имела, все же является и для баснописца и для читателя только иллюстрацией какой-нибудь абстрактной мысли; и потому в конечном счете она имеет значение не сама по себе, но только в своем абстрактном контуре, только в своей абстрактной обрисовке животных, поскольку все человеческое в них отбрасывается, а берется только то, что необходимо для иллюстрации какой-нибудь определенной абстрактной мысли. Но это и значит, что вся живописная картина поведения животных берется вовсе не в том субстанциальном виде, когда петух, например, заговорил бы, действительно, человеческим голосом, а только структурно. Тождество животных в басне с проводимой в ней абстрактной мыслью есть, таким образом, тождество структурное, но никак не субстанциальное.

Можно сказать еще и так. Если художественная картинка, даваемая в басне, достаточно красочна, а для баснописца из всей этой картинки важна только ее отвлеченная структура, соответствующая обсуждаемому в басне абстрактному тезису, то ясно, что басенная

художественная образность имеет только потенциальное, а не актуальное значение. В басне актуален только иллюстрируемый ею абстрактный тезис. Художественная же образность, привлекаемая для этого, может расцениваться, рассуждая теоретически, как угодно широко и как угодно узко. В басне она использована только структурно. Но, рассуждая теоретически, ничто не мешает нам и отвлечься от доказываемого в басне абстрактного тезиса. И в этом случае вместо своей потенциальной значимости она может трактоваться вполне самостоятельно, т. е. вполне автономно и вполне актуально. Таким образом, аллегорическая образность есть только вспомогательная, или структурно-потенциальная, образность. В этом аллегория совершенно противоположна метафоре.

**4. Общехудожественное значение аллегорического образа.** Ничто из сказанного нами выше не может доказывать какую-нибудь бессодержательность или ненужность аллегории для поэзии. Аллегорический образ — это весьма важный способ художественного мышления. Им никогда не брезговали самые крупные поэты, и он ни в какой степени не может считаться чем-то бессодержательным. Если взять для примера хотя бы одного Пушкина, то художественный аллегоризм мы будем находить у него почти на каждой странице; и это несколько не снижает поэтической логики Пушкина, а скорее дополняет ее и, следовательно, углубляет. Кроме того, необходимо помнить, что для аллегорического образа вовсе не обязателен слишком уж элементарный тезис, иллюстрацией которого этот образ является; и вовсе не обязательны тоже слишком уж элементарные образы свиней, мосек или петухов. Здесь возможна и всякая другая образность — при условии только структурно-схематического использования.

Стихотворение Пушкина «Сапожник» есть самая настоящая басня, не хуже крыловской «Осел и соловей». Весьма популярные во всей мировой литературе образы соловья и розы в логическом и теоретическом смысле являются самой настоящей басней, но басней высокого содержания и высокой художественной значимости. Пушкин в стихотворении «Соловей и роза» рисует образ непонятности поэтического творчества вообще для всего постороннего; а Фет в стихотворении на ту же

тему высказывает мысль о том, что «только песне нужна красота, красоте же и песен не надо». В «Арione» Пушкин живописует неудачу декабрьского восстания при помощи образа морской катастрофы, а в стихотворении «Анчар» говорит о жестокости тирана и бессилии раба в тонах настолько ярких, что тут можно допускать не только аллегорию, но и самую настоящую символику. В стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума...» тоже полуаллегорическая, полусимволическая трагедия самостоятельно мыслящего и самостоятельно чувствующего поэта. Весьма содержательна аллегорическая картина смутного и приподнятого состояния поэта при слушании песен ямщика в стихотворении «В поле чистом серебрится...». В басне Крылова «Волк на псарне» достаточно ярко рисуется хитрое и страшное поведение хищника. Но если принять во внимание, что басня эта написана в связи с французским нашествием 1812 года, то она уже перестает быть аллегорией, а становится весьма значительной исторической и даже идеологической символикой.

**5. Замечания об олицетворении.** Прежде чем перейти к метафорическим образам, сделаем небольшое замечание об олицетворении, необходимое ради системы мысли. Нетрудно убедиться в том, что живописная часть аллегории содержит в себе гораздо больше всякого живописного материала, чем это необходимо для иллюстрации абстрактного тезиса аллегории. Все эти сценки и разговоры среди животных в басне, взятые сами по себе, свидетельствуют о такой чувственной зарисовке, которая в своем целом виде вовсе не нужна для иллюстрируемого абстрактного тезиса, а нужен из нее только ее общий контур, ее общая структура, ее общая схема. Конкретно-образное содержание аллегории явно перевешивает здесь ее основную абстрактную мысль. Частное и единичное явно перевешивают собой ту общность, иллюстрацией которой они являются. Совсем обратное этому происходит в так называемом олицетворении.

Этой теоретико-литературной категории у нас тоже весьма не везет. В обычных изложениях олицетворение дается в весьма спутанном виде, когда оказывается трудным отличить олицетворение от аллегории, от метафоры, от символа и от мифа. Ведь все эти категории

тоже содержат в себе олицетворение в том или ином виде. Чтобы покончить с этой путаницей, условимся понимать под олицетворением только такое олицетворение, где абстрактное понятие становится лицом, личностью, но уже с перевесом значимости именно этого абстрактного понятия. Когда в драмах средневековья и Возрождения появлялись такие фигуры, как Удовольствие или Наслаждение, Грех, Порок, Благоразумие, Воздержание и т. д., то, очевидно, в противоположность аллегории смысловое ударение ставилось здесь именно на какой-нибудь абстрактной мысли, на какой-нибудь абстрактной общности, в то время как живописное действие, совершаемое такими фигурами, отступало вполне на второй план. Здесь мы не будем входить в теорию такого олицетворения, а укажем на него только как на художественную структуру, в которой не единичности и частности берут верх над общим, а, наоборот, это общее берет верх над всем единичным и особенным. Тут полная противоположность аллегории. И в аллегории и в олицетворении конструируется существенное неравновесие между абстрактным и конкретным. В аллегории берет верх конкретное, в олицетворении же — абстрактное.

И вот только теперь мы сможем формулировать художественную специфику метафорической образности, которая в противоположность полному неравновесию абстрактного и конкретного в аллегории и олицетворении характеризуется именно полным равновесием того и другого. Иллюстрируемое здесь не больше и не меньше иллюстрирующего; а иллюстрирующее здесь не шире и не более узко, чем иллюстрируемое. Составляющие метафору образы в этом отношении вполне равноценны. Только так и можно понять существенное равновесие общего и единичного в метафоре, а ради этого мы и сочли необходимым сделать небольшое замечание об олицетворении.

**6. Сущность метафоры.** Итак, в двух отношениях метафора вполне противоположна аллегории. Во-первых, в аллегории выражается неравновесие двух элементов — абстрактно мыслимого тезиса и картинно привлекаемой образности в целях иллюстрации этого тезиса. Что касается метафоры, то те два момента, из которых она состоит, вполне равноправны. И это

равноправие доходит до того, что два момента образуют нечто целое и неделимое. В этом целом и неделимом, чем и является метафора, даже нет никакого смысла противопоставлять два составляющих ее элемента — объяснимый и объясняющий. В подлинной метафоре невозможно сказать даже и того, какой момент является в ней пояснением и какой — поясняющим. И таким образом, оба эти момента метафоры одинаково автономны; и автономны они не только в структурном отношении, но и вполне существенно.

7. **Отличие метафоры от мифа.** Назвать, однако, эту единораздельную автономность субстанцией никак нельзя, потому что метафора «уж небо осенью дышало» перестала бы быть чисто поэтической метафорой, а превратилась бы в утверждение, что *небо* есть действительно какое-то живое существо, а *осень* доподлинно превратилась бы в воздух, которым *небо*, как гласит метафора, действительно и по-настоящему *дышало* бы. Поэтому объясняемый и объясняющий моменты метафоры, хотя они и вполне равноценны и вполне автономно (а не только структурно) и вполне актуально значимы, все же являются поэтическим феноменом, а не картиной настоящих живых существ, которая делала бы их не просто поэзией, а уже мифом.

Итак, метафорическая образность есть такая автономно-актуальная образность, которая еще не доходит до своего субстанциального воплощения, а создается только в виде чисто феноменального изображения жизни и бытия.

8. **Примеры метафор.** Одной из любимейших метафор у поэтов является представление зари как некоторого пламени или воспламенения. Так, читаем у Полонского:

Зари догорающей пламя  
Рассыпало по небу искры.

Мей пишет: «Догорело пламя алое зари». Так же и у Кольцова:

Пламенея, горя, золотая заря  
Занимается.

То же и у Голенищева-Кутузова: «Прощальным заревом горит закат багряный». Во всех такого рода мета-

форах восходящее или заходящее солнце сравнивается с воспламенением или с затуханием и даже с пожаром, но совершенно невозможно сказать, заря ли поясняется пожаром или пожар — зарей. Оба образа даются в полном равновесии, и здесь невозможно сказать, что является более общим, а что—более частным. Пламенеющая заря является здесь единым и нераздельным образом, в котором теоретически можно различать отдельные моменты, но практически и эстетически здесь перед нами единый и неделимый живописный образ.

Прекрасным примером метафоры является пушкинская «Туча», где «последняя туча рассеянной бури» наделяется разными свойствами живого существа, но сам поэт вовсе не хочет утверждать, что свойства эти реально, т. е. субстанциально, присущи последней туче после бури. А иначе это была бы уже не метафора, но был бы самый настоящий миф. Природа постоянно наделяется у поэтов свойствами и признаками живых существ, что известно всякому школьнику. Однако далеко не все отличают метафору и миф, особенно теоретики, трактующие, как мы сказали выше, олицетворение и метафорически, и символически, и мифологически. В этом отношении лермонтовские картины природы часто обладают вовсе не только одной чисто метафорической структурой, но они весьма часто являются символом гордой и одинокой, почти всегда скорбной и страдающей души поэта. Когда мы читаем у Лермонтова:

Потом в раскаяньи бесплодном  
Влачил я цепь тяжелых лет;

или когда поэт скорбно вещает нам:

Пускай толпа растопчет мой венец,  
Венец певца, венец терновый;

или:

В очах людей читаю я  
Страницы злобы и порока;

или:

Мы пьем из чаши бытия  
С закрытыми глазами,—

то во всех такого рода образах нельзя находить только одну метафору в том смысле, как мы ее обрисовали

выше. Перед нами здесь уже не метафоры, но символы. Пламенеющая заря в приведенных выше примерах ни на что другое не указывает, кроме как только на самое себя. Мы всматриваемся в такого рода метафорические образы и — дальше этих образов никуда не идем. Что же касается приведенных примеров из стихотворений Лермонтова, то наличные в них образы вовсе не имеют самодовлеющего значения, а являются символами одинокой и страдающей гордой души поэта. Точно такую же в структурном отношении художественную образность необходимо находить и в таких стихах Пушкина:

И над отечеством свободы просвещенной  
Взойдет ли наконец прекрасная заря!

Здесь мы тоже погружаемся не в созерцание самой, зари, но трактуем ее как символ «просвещенной свободы» страны.

**9. Метафорическая колористика.** Сказать отдельно об этой импрессионистической метафоре необходимо вот почему. Во-первых, те метафоры, которые обычно приводятся в теоретико-литературных работах, обладают слишком общим характером; и в них далеко не всегда выставляется на первый план именно живописная образность. Цвета и разные комбинации цветов, конечно, не отсутствуют в такого рода метафорах. Но чтобы иллюстрировать именно живописную образность метафоры, в этих случаях бывает необходимо применять специфические способы наблюдения. Но если мы возьмем те метафоры, которыми пользовались поэты-импрессионисты, то как раз такого рода специфически живописная образность метафоры бросается здесь в глаза сама собой. Во-вторых же, импрессионистическая образность приучает нас понимать метафору не только поэтически, но именно живописно. Большой частью импрессионистические метафоры есть самые обыкновенные метафоры, но только с подчеркиванием живописного элемента. Но если подходить к делу формально, то часто в этой импрессионистической колористике даже и нет метафоры в узком смысле слова. И все же комбинации разных оттенков света и тени, равно как и неожиданные комбинации цветов, настолько здесь оригинальны и специфичны, что такого рода



колористика сама делается чем-то метафорическим. Везде и во всякой метафоре комбинируются два или несколько образов, не имеющих ничего общего между собой в субстанциальном смысле слова, и тем не менее эта комбинация образов повелительно требует своего признания хотя и не в субстанциальном, но во всяком случае в феноменально-зрительном смысле слова. То же самое весьма часто происходит и в импрессионистической колористике. Если здесь иной раз и нет метафоры в узком смысле, то во всяком случае есть метафора в зрительном и чисто живописном смысле слова.

Здесь мы хотели бы воспользоваться одним произведением американской литературы 20-х годов, где рисуется в натуралистических тонах поведение трех американцев, завербовавшихся на первую мировую войну. Писатель этот — Джон Дос Пассос. Его роман «Три солдата» кроме весьма натуралистических зарисовок содержит интересную и методически проводимую импрессионистическую колористику. Эта колористика здесь настолько интересна, что для нашей общей характеристики живописной образности в литературе ее, может быть, и будет достаточно<sup>4</sup>.

«Вечер обливал багрянцем кучи угольного шлака» (7). «Белое, как бумага, лицо и зеленоватый оттенок его лысого черепа» (9). «Смотрели бы на темно-пурпуровую гавань... из своих квадратных огненно-красных иллюминаторов» (10). «Маленький человек с серовато-красной щекой» (16). «День уже окрашивался янтарем заката» (30). «Их (негров) темные лица и груди блестяли... как черный янтарь» (33). «На фоне неба, затянутого светло-серыми, серебристыми и темными серо-багровыми облаками с желтоватыми отблесками по краям» (36). «Огромные, зеленые, мраморные волны» (39). «Пурпурные сумерки» (45). «Бледное маленькое солнце... низко висело на красновато-сером небе. ... Желтые тополя ... стройно подымались к небу вдоль берега черной блестящей речки» (56). «Темные массы деревьев кружили ... ветвями, убранными желтой и коричневой листвой, выплетая черные кружева на красно-

---

<sup>4</sup> См.: Пассос Д. Д. Три солдата. Пер. с англ. В. А. Азова. Л., 1924. Приводимые нами ниже примеры сопровождаются указанием страниц этого издания.

вато-сером небе» (57). «Старуха с серым лицом и похожими на осколки черного янтаря глазами» (60). «Слабый румянец вечереющего дня» (78). «Пар, позолоченный светом лампы» (83). «Ящик, полный желтых и зеленовато-белых сыров» (86). «Гроздь колбас ... красных, желтых и пестрых» (86). «День был свинцовый». «...Где в ясном сиянии утра ярким оранжевым пятном горела мокрая глина» (98). «Золотисто-желтая трава» (105). «Пушистые лиловые облака». «Голубые тени тополей». «С неба, залитого желтым янтарем и сиреневыми огнями». «Аспидные крыши и розовато-серые улицы города». «Маленькие лоскутки садов горели зеленою изумруда». «Пурпурно-серая колокольня церкви» (106). «Лилово-серые облака» (108). «Небо было полно маленьких красных, пурпурных и желтых брызг». «Ключья бледно-голубого тумана» (109). «Белая лента дороги» (114). «Кусок тяжелого серого неба» (122). «Отражение зеленовато-серебристого неба» (129). «Среди пучков желтой травы» (130). «В зеленоватой полутьме» (131). «Голубое небо с розовато-белыми облаками» (134). «Луна ... точно большая красная тыква» (139). «Гряды облаков в бледно-голубом небе ... отливали малиновым цветом и золотом» (143). «Зеленое небо» (147). «Омлет, бледный, золотисто-желтый с пятнами зелени» (193). «Огромный, серо-розовый город» (196). «Фиолетовые глаза» (198). «Красновато-фиолетовые пятна лесов» (200). «Тяжелый желтовато-коричневый свет» (201). «Они ... пронеслись по улицам, где при тусклом солнечном свете серовато-зеленоватые и серо-лиловые тона смешивались с синими пятнами и бледными отсветами, как сливаются краски в перьях на груди голубя. Они увидели реку, тускло-зеленую, как нефрит» (234). «Розовые, желтые, синевато-лиловые тона цветов словно обостряли туманную желтизну и сероватую лазурь зимнего освещения и мрак улиц» (236). «Небо было залито лиловыми, ярко-пурпурными и розовыми тонами» (240). «Бледное облако коричневого тумана» (247). «Утро было серое, с легким желтоватым туманом в воздухе» (249). «Коричневый старик ... размешивал желтую жидкость в своем стакане» (258). «Розовато-серые когти» (у кошки) (259). «Около пруда, бледно-голубого, янтарного и серебряного» (271). «Синевато-серая ночная мгла» (276).

1. **Природа символического образа.** Термин символ по разного рода причинам потерял в настоящее время всякое ясное содержание, почему большое терминологическое исследование в этом отношении еще предстоит<sup>5</sup>. Здесь мы ограничимся только наиболее понятной и наиболее простой установкой.

Почему метафора не есть символ? Скажут, например, что *небо* у Пушкина, которое *дышит осенью*, тоже есть символ определенной поры года. На это мы должны ответить, что всякая метафора имеет значение сама по себе; и если она на что-нибудь указывает, то только на самое же себя. Она не указывает ни на что другое, что существовало бы помимо нее самой и что содержало бы в себе те же самые образные материалы, из которых состоит метафора. Символическая образность в этом отношении гораздо богаче всякой метафоры; и богаче она именно тем, что вовсе не имеет самодовлеющего значения, а свидетельствует еще о чем-то другом, субстанциально не имеющем ничего общего с теми непосредственными образами, которые входят в состав метафоры. Об этом нам уже пришлось говорить мельком в целях уточнения термина «метафора». Сейчас мы прибавим к этому немного, но зато введем символ в число вариативных функций живописной образности и именно в качестве дальнейшей, более насыщенной, чем метафора, живописной образности.

Возьмите такое стихотворение Лермонтова, как «Туча», которое начинается словами «Тучки небесные, вечные странники!» Был бы весьма плох тот теоретик литературы, который здесь увидел бы только картинку природы, пусть хотя бы даже метафорическую. Здесь перед нами не метафора, но символ, а именно символ одинокой и страдающей личности, которая не может удовлетвориться бытовыми интересами. Возьмите стихотворение того же поэта, которое начинается словами

---

<sup>5</sup> Попытку разобраться во всей этой терминологической путанице автор настоящей статьи предпринял в специальном исследовании (см.: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976). Однако изыскания, нашедшие для себя место в этой книге, для настоящей работы будут слишком сложны и излишни, поскольку ее проблематика более узка и проста.

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...». Здесь тоже дело не ограничивается какой-нибудь метафорой, но развивается символ того же содержания, что и в предыдущем стихотворении. В стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» концепция грезящего сна, которой оно заканчивается, тоже не метафора, а символ — по тем же самым причинам. Точно так же и прекрасные картины природы в такой, например, поэме Лермонтова, как «Мцыри», конечно, тоже не являются самоделирующими, но продиктованы настроениями гордой личности, презревшей трафареты обыденной жизни.

2. **Разная насыщенность символа.** Ясно, что символическая живописная образность гораздо богаче простой метафорической образности, поскольку в смысловом отношении она содержит в себе еще и указания на то или другое свое инобытие. Но и в пределах символа нетрудно проследить разные степени символической насыщенности. Так, приведенные нами выше примеры символической живописи в поэзии отличаются более простым и одномерным, более частным и элементарным характером. Гораздо сложнее, например, такие символы, при помощи которых поэты изображают все основное содержание своей поэзии и всю ее многоликую направленность. Очевидно, поэтическая живописность будет здесь гораздо более насыщенной.

Прочитаем начало одного стихотворения Вячеслава Иванова, где дается яркая живопись, но живопись эта здесь особого рода:

Снега зарей одеты  
В пустыне высоты,  
Мы — вечности обеты  
В Лазури красоты.  
Мы — всплески рдяной пены  
Над бледностью морей.

Дальше эта живописная образность углубляется еще более. Однако сейчас было бы для нас излишне анализировать все это стихотворение целиком. Сейчас важно лишь то одно, что указанная у нас сейчас живопись стихотворения вовсе не есть метафора, в которой поясняемым моментом было бы *мы*, а поясняющим *снега, одетые зарей* или характерная поверхность моря. Это — не метафора, но символ. А чего именно это символ, сказано в самом названии этого стихотворения «Поэты

духа». Только весьма некритически настроенный читатель такого стихотворения может увидеть здесь простую и несамодовлеющую образность, какую-нибудь простую и самодовлеющую метафору или такой символ, который никакого обогащения или нового насыщения не вносит в предлагаемую метафору. Но для нас в данном случае важна не просто живопись сама по себе, хотя бы даже и поэтическая, но такая живопись, которая является той или иной степенью смыслового насыщения.

В стихотворении И. Анненского «Поэзия» тоже развивается символ широчайшей общности. Здесь говорится, что поэт должен любить *туман лучей поэзии над высью пламенной Синая* и, оставив позади себя поклонение традиционным кумирам, поэт так должен предаваться своему творчеству,

Чтоб в океане мутных далей,  
В безумном чаяньи святынь,  
Искать следов Ее сандалий  
Между заносами пустынь.

*Ее* здесь значит «поэзии». Едва ли содержание сводится здесь только к метафоре и едва ли даже к какому-нибудь однозначному и одномерному символу.

3. **Символическая живопись в поэзии.** Раньше, на примере одного американского писателя, мы иллюстрировали ту поэтическую живописность, которая основана на оригинальном комбинировании красок, в обыкновенной речи с трудом совмещаемых. Но там шла речь о колористике метафорической. Чтобы привести примеры колористики уже символического характера, воспользуемся богатым наследием И. Анненского. У этого писателя почти каждое стихотворение является развитым символом в указанном у нас выше смысле слова. Но интересно, что вся эта символика пронизана весьма оригинальной и, можно сказать, вполне импрессионистической трактовкой цветных, т. е. чисто зрительных, конструкций<sup>6</sup>.

«В кругу эмалевых минут» (65). «Там в дымных топазах запястий» (67). «За розовой раной тумана» (67). «По розовым озерам» (73). «И шум зеленый я

---

<sup>6</sup> Далее приводятся примеры из книги И. Анненского «Стихотворения и трагедии» (Л., 1959) с указанием страниц.

люблю» (73). «Упившись чарами луны зеленолицей» (78). «Два мучительно-черных крыла» (81). «Цепи розовых минут» (83). «По снегам бежит сиреневая мгла» (97). «Как эти выси мутно-лунны!» (100). «Желтый сумрак мертвого апреля» (103). «Лишь мертвый брезжит свет» (110). «Холодный сумрак аметистов» (110). «Влажный и розовый зной» (112). «Златошвейные зыби» (119). «Воздушно-черный стан растений» (123). «Лунно-талые дали» (123). «Сиреневый снег» (126). «Горящее золото фонтана» (129). «Над серебряною чашей алый дым и темный пыл» (132). «Желт и черен «Розовый отблеск зимы» (147). «Я люблю на бледнеющей шири в переливах растаявший цвет...» (147). «И мой огонь» (134). «Лиловый разрыв полутьмы» (147). «огней нетленные цветы я один увижу голубыми...» (149). «Вы — гейши фонарных свечений» (149). «Пурпур дремоты поблек» (149). «Мерцанья замедленных рук» (151). «Мучительно-черный стручок» (153). «Только томные по окнам елки светятся» (154). «Розовая истома» (157). «Есть слова — их дыханье, что цвет, так же нежно и бело-тревожно» (158). «С розовой думой в очах» (159). «Синий пламень полудня» (165). «Вихри мутного ненастья тайну белую хранят...» (166). «Мерцающие строки бытия» (167). «В белом поле был пепельный бал, тени были там нежно-желанны» (170). «Золотые лохмотья надежд» (175). «Жидкий майский блеск» (180). «Где грезы несбыточно-дальней сквозь дымы золотятся следы...» (181). «О, тусклость мертвого заката» (190). «Бледная нега» (192). «Среди полуденной истомы покрылась ватой бирюза...» (195).

4. **Предельная обобщенность символа.** В добавление ко всему тому, что мы выше говорили о символе, необходимо сказать, что мы везде имели в виду не полный и предельно обобщенный символ, а символ более или менее частичный, т. е. символ, относящийся к той или иной ограниченной области. Однако можно и нужно мыслить символ также и в его максимально обобщенной форме. Такого рода ограниченные символы обычно именуется типами. Так, например, гоголевские герои, все эти Собаксвичи, Ноздревы, Маниловы и др., обычно трактуются именно как литературные типы. Это, конечно, не просто типы, но самые настоящие символы. При этом на вопрос о том, чего именно эти гоголевские ге-

рой суть символы, ответил сам же Гоголь названием своего произведения. Все эти Собакевичи, Ноздревы и Маниловы являются символами мертвых душ. А что эти символы ограничены определенным временем и местом и определенными социальными причинами, то это ясно само собой. Но вот возьмем такие литературные символы, как Дон Кихот, Дон Жуан или многие персонажи шекспировских трагедий. Эти чрезвычайно обобщенные литературные символы будет уже не очень удобно называть просто типами. Они слишком широки, возможны в любое время и при любых обстоятельствах; и их фактическое функционирование в литературе, можно сказать, бесконечно разнообразно. Такого рода предельно обобщенные типы мы склонны были бы называть символами в настоящем смысле слова, поскольку символ, согласно нашему определению, есть такая образная конструкция, которая может указывать на любые области инобытия, и в том числе также на безграничные области. Конечно, где кончается символ в узком смысле слова и где начинается символ в максимально обобщенном смысле слова, — на этот вопрос можно отвечать по-разному. И это даже очень хорошо, что нельзя провести границу между конечным и бесконечным символом, поскольку это как раз и свидетельствует о том, что категория символа везде и всегда, с одной стороны, конечна, а с другой — бесконечна.

## Миф

Сейчас мы подошли к тому предельному понятию живописной образности в поэзии, которое предельно противоположно нашему первоначальному понятию живописности, с которого мы начинали наше вариативное исследование. Именно в самом начале мы констатировали наличие таких конструкций в области поэзии, которые или совсем не содержат в себе никаких образов, или образы эти имеют несущественное, третьестепенное значение. Нулевая образность в поэзии — это один, крайний предел. Другой крайний предел — это бесконечная символика, которая, как мы сейчас покажем, оказывается еще более богатой, когда символ становится мифом. Такого рода мифологическими образами

наполнены решительно все литературы, и древние, и новые, и новейшие. Мифологические методы литературы необходимо считать чрезвычайно живучими, чрезвычайно разнообразными и всегда претендующими на безусловно реалистическое отражение жизни. Само собой разумеется, в нашем настоящем и чрезвычайно кратком изложении теория мифологической образности в литературе может быть представлена почти только в тезисной форме.

1. **Сущность мифа.** Миф отличается от метафоры и символа тем, что все те образы, которыми пользуются метафора и символ, понимаются здесь совершенно буквально, т. е. совершенно реально, совершенно субстанциально. Когда поэты говорят, что солнце поднимается и опускается, что утренняя и вечерняя заря есть какое-то горение, пламя, пожар и т. д., до тех пор им достаточно употребляемых метафор или символов. Но когда древний грек думал, что солнце есть определенного рода живое существо, а именно бог Гелиос, который на своей огненной колеснице поднимается на востоке, царит в зените, опускается на западе и ночью совершает свое тоже круговое путешествие под землей, с тем, чтобы на другой день опять появиться на востоке, то это была уже не аллегория, не метафора и не просто символ, но то, что мы сейчас должны назвать особым термином, а именно это был миф. Таким образом, то, что входит в аллгорию, метафору и в символ в качестве феноменально данной живописи, трактуется в мифе как существующая в буквальном смысле слова или как совершенно не зависящая от человеческого субъекта объективно данная субстанциальность. В этом разгадка того, что мифология всегда трактует о чем-то сверхъестественном. Но когда говорят просто о сверхъестественности мифа, то здесь имеется в виду только бытовое и обыденное представление об естественном и сверхъестественном. Необходимо, однако, даже в условиях кратчайшего изложения, давать логически-смысловое определение этой естественности. И это определение заключается в том, что все, феноменально и условно трактованное в аллгории, метафоре и символе, становится в мифе действительностью в буквальном смысле слова, т. е. действительными событиями и во всей своей реальности существующими субстанциями.



Нечего и говорить о том, что мифологическое понимание действительности и тем самым вся мифологическая образность еще гораздо более насыщена, чем все рассмотренные у нас выше степени живописного насыщения. Поскольку типов живописной образности мифа существует в литературе чрезвычайно много, перечислим хотя бы некоторые из них.

2. **Чисто эстетическая образность мифа.** Овидий в своих «Метаморфозах», являясь весьма эмансипированным поэтом и почти атеистом, чрезвычайно влюблен в своих богов и демонов и рисует их с большим увлечением, реализмом и даже с какой-то лаской. Из множества мифов у Овидия упомянем миф о Пигмалионе (X 243—299), где Венера по просьбе художника Пигмалиона оживляет сделанную им статую и делает ее женой Пигмалиона. Таков же у Овидия, например, и миф об Орфее, который выводит свою жену Эвридику из Аида, и от его пения замолкает вся природа (X 1—105), или миф о Филемоне и Бавкиде, где Филемон превращается в дуб, а Бавкида в липу, причем оба дерева растут из одного корня (VIII 611—724). И весь этот эллинистический жанр превращений по самому существу своему тоже мифологичен и рассчитан на чисто эстетическое удовольствие.

Однако чисто эстетическая и индифферентная точка зрения на мифологию у Овидия не выдерживается до конца. В XV книге «Метаморфоз» Овидий доказывает или, вернее, пытается доказать, что Цезарь действительно бог и что Август действительно потомок богини и тоже бог. Едва ли это официальное благочестие можно считать искренним.

Несомненно, целями чисто эстетического характера занят был А. Н. Островский, когда писал свою «Снегурочку» (1873). Называя сам себя рационалистом, известный русский композитор Н. А. Римский-Корсаков написал на эту тему красивейшую оперу, в которой он вовсе не хотел выразить свою подлинную веру в изображаемые им мифологические образы, а наслаждался ими как композитор народнического направления. Таким же эстетическим отношением к мифологии отличался и П. И. Чайковский в своих музыкальных сценах на те же темы.

Сергей Городецкий в сборниках «Ярь» и «Церун»

(оба 1907 г.) дает насыщенное изображение славянской языческой старины не без некоторых языческих элементов; Александр Грин в многочисленных повестях «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923), «Бегущая по волнам» (1928) тоже создаст чисто эстетическое впечатление от мастерски рассказанных сказочных материалов.

Везде здесь перед нами не субъективная и не объективная трактовка мифа, но миф здесь радует нас сам по себе, т. е. исключительно художественно.

**3. Субъективная структура мифа.** Миф, далее, может привлекаться для живописания субъективных настроений литературных героев. Таковы Тень отца Гамлета, тоскующая от Гамлета мести, или ведьмы в «Макбете», предсказывающие Макбету и его близким королевскую власть. В этих трагедиях Шекспира не просто психическая галлюцинация и не просто буквальная вера в призраки, но предельное напряжение личности Гамлета, понавшего после Виттенберга в невыносимый мучительный кровавый водоворот событий, и экзальтированная идея Макбета о всемогущей королевской власти и об уничтожении всех своих врагов.

Черт Ивана Карамазова изображен у Достоевского с постоянным подчеркиванием субъективистического характера такого рода мифа, граничащего с прямой галлюцинацией Ивана. Иван говорит: «Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду. Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак... Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых». «Браня тебя, себя браня, — опять засмеялся Иван, — ты — я, сам я, только с другой рожой. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не в силах сказать мне нового». «Нет, ты не сам по себе, ты — я, ты есть я и более ничего! Ты дрянь, ты моя фантазия!» То, что это галлюцинация, подчеркивается у Достоевского тем, что стакан, брошенный Иваном в черта, оказывается благополучно стоящим на столе, а мокрое полотенце, которым Иван хотел успокоить свое воспаленное состояние, оказалось сухим, неразвернутым и лежащим на своем месте. С другой стороны, однако, этот миф о черте, формально будучи галлюцинацией Ивана, по существу оказывается все-таки подлинной ре-

альностью, а именно реальностью его низкой и озлобленной души. «Это не сон! Нет, клянусь, это был не сон, это все сейчас было!» — говорит Иван вошедшему Алеше.

4. **Объективная структура мифа** представлена в эпосе всех народов. В своей специальной поэме «Теогония» Гесиод рисует грандиозную картину космических потенций, из которых Гея-Земля порождает из себя Урана-Небо, а от брака с Ураном порождает титанов, циклопов и сторуких («Теогония», 126—153). Один из титанов Кронос низвергает своего отца Урана и начинает царствовать над миром (168—181). Но сын Кроноса Зевс тоже низвергает своего отца Кроноса и тоже становится владыкой мира (452—491), одерживая к тому же свою космическую победу над титанами (629—725) и над стихийным стоголовым детищем Земли Тифоном (821—868). Такого же рода обработку мифологии в виде объективных событий можно найти в германской песне о Нибелунгах, французской песне о Роланде, англосаксонской о Бсовульфе (победа над чудовищем и над драконом), в скандинавской Эдде (в Старшей Эдде — целая космогония). Все эти произведения — весьма древнего происхождения, восходящие к периоду переселения народов, имеющие свою историю и разные напластования и записанные большей частью в XII—XIII веках.

5. **Субъективно-объективная структура мифа.** Это наиболее актуальная и наиболее эффективная мифологическая структура, всегда игравшая в литературе наибольшую роль, что объясняется тем, что и сам первобытный миф тоже не различал субъекта и объекта, а в истории литературы также часто бывали моменты синтетического характера, когда возникала потребность использовать миф во всех его структурных возможностях. Поскольку диалектическим синтезом субъекта и объекта является личность, которая одновременно и объект и субъект, и поскольку личность получает свое окончательное выражение только в обществе, то эту структуру мифа можно назвать также общественно-личностной. Менее ясно можно говорить здесь и вообще о синтетической мифологии.

6. **Субъективно-объективная структура мифа на основе рационалистических моделей.** В наиболее яркой

форме это нашло для себя выражение в классицизме XVII—XVIII веков, и прежде всего во французском классицизме. В основе такой мифологической образности лежит картезианское учение об отвлеченном рассудке, который объявляется также и строением всего общества и даже всего мироздания, так что жить по законам этого рассудка означало жить и по законам природы, поскольку сама природа мыслилась как рассудочное целое. А это значит, что всякое уклонение от законов разума и природы должно было беспощадно подавляться и уничтожаться. Возникла концепция борьбы души и чувственности, и в свете такой концепции конструировалась и мифология. Федра Расина (1677) есть именно такой герой античной мифологии, который перенесен в картезианскую среду и идет к катастрофе в силу невозможности объединить высокую нравственную идею и настойчивую непреодолимую страсть. Идея конфликта человеческой личности и государственности проведена в другой трагедии Расина — «Ифигения в Авлиде» (1675).

7. Субъективно-объективная структура мифа на основе бытовых и даже натуралистических моделей — полная противоположность рационализму предыдущей категории. Незабываемы картины повестей раннего Гоголя. В «Пропавшей грамоте» (1831) герой повести по совету шинкаря пробирается в лес, где встречается со всякой чертовщиной и среди прочих чудес во время игры в карты тайком крестит свои мелкие карты и получает туза, короля и валета козырей, чем побеждает ведьму, которая перед этим его шестерку превратила в даму. После этого с ведьмой начались корчи, и тут же появилась пропавшая шапка с грамотой. Такого же характера и другие повести Гоголя — «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством», «Страшная месть», «Заколдованное место». В повести «Вий» (1835) весьма натуралистически изображенный семинарист Хома Брут принужден долго бегать с ведьмой на спине, а в церкви умершая ведьма сама не может переступить заколдованной черты вокруг Хома Брута, а переступают ее только Вий, призванный ведьмой, и другая нечисть, почему Хома Брут и падает на своем клиросе бездыханным от ужаса. Вий и вся эта нечисть изображены чрезвычайно натуралистически.

Среди других подобных повестей Гоголя можно назвать «Портрет» (1835), «Нос» (1842). В «Шинели» (1842) после максимально реалистического рассказа об Акакии Акакиевиче и его шинели повествование кончается изображением того, как мертвый Башмачкин нападал в Петербурге на разных людей и снимал с них шинели и как в конце концов напал он на «значительное лицо», отказавшее Башмачкину в просьбе о разыскании шинели, сдернул с него шинель и притом зимой, подойдя к его саням сзади. После этого грабеж шинелей в городе прекратился. Характерна такая бытовая и юмористическая подробность: когда трое будочников захватили Башмачкина, то он так чихнул, что сразу заплевал лица всех троих; и пока они приходили в себя от этого чоха, мертвец скрылся.

**8. Субъективно-объективная структура мифа на основе индивидуалистических моделей.** Яркой индивидуальностью в конструировании мифа является Байрон в поэмах «Манфред» (1817) и «Каин» (1821). В «Манфреде» герой действует в чисто мифологической обстановке, подчиняет себе духов природы, но не может стать полным господином над ними, будучи к тому же вполне оторванным от общества. В «Каине» герой борется не только с богом, но также и со всеми авторитетами, хочет, но не может быть полезным народу и остается изолированным индивидуалистом.

Лермонтов в «Демоне» (1829—1841) тоже рисует образ гордого индивидуалиста, который соперничает с самим богом, все ненавидит и ко всему равнодушен, а интересуется только монашенкой Тamarой, овладеть которой он тоже не сумел, и в конце концов остается, как и прежде, гордым индивидуалистом, признающим только самого себя.

**9. Субъективно-объективная структура мифа на основе моралистических моделей.** Здесь можно привести в качестве примера «Портрет Дориана Грея» (1891) Оскара Уайльда. Герой романа погружен исключительно в бесконечные эстетические наслаждения (вкусы, запахи, драгоценности и пр.). Но было бы преувеличено и неверно считать Уайльда только эстетом. Все аморальные и антиморальные наслаждения Дориана отражаются на его портрете, нарисованном в чистых, возвышенных и благородно-поэтических тонах, каким был

сам Дориан в молодости. Этот портрет достигает такой степени безобразия, что его не выносит сам Дориан и начинает полосовать его ножом, в результате чего сам падает обезображенным покойником, а портрет начинает сиять первозданной чистой красотой.

Ту же самую мифологическую модель мы находим и в сказках Уайльда. В «Счастливом принце» статуя самого принца действительно изображена в преувеличенно-эстетских тонах. Но все последующее изложение есть прямое ниспровержение такого эстетизма. Так, любящая его ласточка умирает у его ног от холода, а его с виду каменное сердце попадет в рай, где Господь доставляет ему вечное блаженство.

10. Субъективно-объективная структура на основе социально-исторических моделей. Таковы Аполлон, Эринии и Афина Паллада в «Орестее» Эсхила; Аполлон — представитель патриархата, Эринии — матриархата, Афина Паллада, учредительница Ареопага и председательница на нем, — символ государственности и гражданственности в демократическом смысле.

В «Железной дороге» Некрасова покойники — и символ угнетения трудящихся, и воззвание к их освобождению.

«Буревестник» Горького — пророчество грядущей революции.

11. Субъективно-объективная структура мифа на основе космологических обобщений. Наконец, своей максимальной обобщенности мифология в художественной литературе достигает там, где даются изображения натурфилософского и космологического характера. К сожалению, здесь нет возможности анализировать этого рода мифологию, так что мы ограничимся только указанием на три величайших произведения мировой литературы, где этот тип мифологии проведен последовательно с начала и до конца. Это — «Божественная комедия» Данте, «Фауст» Гёте и «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера. Между прочим, мифологический анализ этого последнего произведения не так давно проводился автором данной работы<sup>7</sup>. Огромной обобщающей

---

<sup>7</sup> См.: Лосев А. Ф. Проблема Вагнера в прошлом и настоящем в связи с анализом его тетралогии, «Кольцо Нибелунга». — В кн.: Вопросы эстетики, вып. 8. М., 1968, с. 67—196.

силой обладает мифологическая образность в трагедиях И. Анненского «Меланиппа-философ» (1901), «Царь Инсион» (1902), «Лаодамия» (1906) и «Фамира — кифарэд» (1913). Таковы же трагедии Федора Сологуба «Дар мудрых пчел» (1913), Вячеслава Иванова «Тантал» (1905) и «Прометей» (1919), Валерия Брюсова «Протесилай умерший» (1914) и Марины Цветаевой «Ариадна» (1965, ранее напечатано в Париже в 1927 г. под названием «Тезей») и «Федра» (опубликовано там же в 1928 г.).

12. **Символико-мифологическая колористика.** Поскольку свет и цвет являются важнейшими элементами живописи в литературе, выше мы уже имели случай говорить о метафорической и символической колористике. Сейчас остается сказать только о мифологической колористике, которую часто бывает трудно отделить от колористики только символической. Из этой огромной и малоизученной области мы напомним бы только о двух попытках разобраться в колоризме русских писателей. Первая попытка принадлежит Л. В. Пумпянскому<sup>8</sup>, который весьма убедительно рассуждает о колоризме Державина и Тютчева в связи с некоторыми предшествующими явлениями в зарубежной литературе. Вторая попытка принадлежит Андрею Белому, который кратко, но очень метко говорит о восприятии природы у Пушкина, Баратынского и Тютчева<sup>9</sup>. Особенно же ярко и подробно Белый анализирует эволюцию зрительной образности у В. Иванова<sup>10</sup> с приведением таблиц для указания количества текстов по отдельным зрительным образам и по отдельным книгам В. Иванова.

Что касается нас, то из бесчисленного количества символико-мифологической колористики в литературе мы привели бы разве только следующие тексты И. Анненского:

Неустанно ночи длинной  
Сказка черная лилась,  
И багровый над долиной  
Загорелся поздно глаз.

---

<sup>8</sup> См.: Пумпянский Л. В. Поэзия Ф. И. Тютчева.— В кн.: Уралия. Тютчевский альманах. 1803—1928. Л., 1928, с. 36—41.

<sup>9</sup> См.: Белый А. Поэзия слова. Пг., 1922, с. 7—19.

<sup>10</sup> Там же, с. 20—105.

Видит: радуг паутина  
Почернела, порвалась,  
В малахиты только тина  
Пышно так разубралась.

Видит: пар белесоватый  
И ползет, и вьется ватой,  
Да из черного куста

Там и сям сочатся грозди  
И краснеют... точно гвозди  
После снятого Христа. (80)

Приведем еще такое стихотворение:

Серебряным блеском туман  
К полудню еще не развеян,  
К полудню от солнечных ран  
Стал даже желтее туман,  
Стал даже желтей и мертвей он,  
А полдень горит так суров,  
Что мне в этот час неприятны  
Лиловых и алых шаров  
Меж ключьями мертвых паров  
В глаза замелькавшие пятна. (140)

И наконец, приведем еще такой третий пример:

Когда, сжигая синеву,  
Багряный день растет неистов,  
Как часто сумрак я зову,  
Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи  
Сжигали грапи аметиста,  
А лишь мерцание свечи  
Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,  
Чтоб уверяло там сиянье,  
Что где-то есть не наша *связь*,  
А лучезарное *слиянье*... (110)

Уже на этих трех примерах каждый может ощутить, что такое мифологическая и символично-мифологическая живопись в литературе. Притом речь, идет, конечно, не только об общей художественной значимости мифа и символа, но и о том точном структурно-смысловом определении этих терминов, которое дано нами выше во избежание традиционной путаницы терминологии в обычных изложениях предмета в слишком общей форме.



## Поток сознания и язык<sup>1</sup>

1. Современное общее языкознание отличается необычайной широтой и разнообразием проблем. Примером этой широты является изучение элементов языка, которые были несправедливо оттеснены в сторону необычайным развитием структурализма. Одним из видов такого возмещения отстраненных раньше сторон языка является *теория потока сознания*.

2. Спросим себя, что такое поток сознания? Термин этот заимствован из философии (Джемс, Бергсон) и из теории художественной литературы (Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Андрей Белый). Автор статьи о потоке сознания в литературе в КЛЭ приводит весьма интересное суждение Чернышевского, подметившего у Льва Толстого способ изображения совершенно непрерывных переживаний. У Чернышевского читаем: «Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний... Графа Толстого более всего интересует сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души...»<sup>2</sup>. Чернышевский свидетельствует о большой литературно-художественной наблюдательности автора и весьма метко указывает на одну из самых существенных сторон творчества Льва Толстого. Кажалось бы, это свидетельствует о чем-то вполне обыкновенном и само собой разумеющемся. Однако здесь мы имеем дело с литературно-художественным методом, который отнюдь не сам собой разумеется и который вовсе не существует всегда

<sup>1</sup> Читалось на Ленинских чтениях в МГПИ им. В. И. Ленина 5 апреля 1979 г. и 9 апреля 1980 г.

<sup>2</sup> Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1947, с. 423.

и везде, не требуя никакого специального анализа. То, что одно переживание незаметно вливается в другое, а это другое незаметно вливается еще в третье или возвращается к прежнему переживанию, этот метод художественного изображения, собственно говоря, весьма необычен и требует специального анализа.

Таким образом, с точки зрения истории философии и литературы это явление можно проследить еще в XIX и даже в XVIII веках как противовес просветительскому рационализму.

Необходимо отметить прежде всего прерывность и непрерывность, которыми весьма ярко отличается всякий язык. Язык трактуется обычно с точки зрения расчлененной мысли и выражения, по аналогии с членораздельной речью. Вместе с тем, однако, членораздельность языка трудно представлять себе в абсолютном виде не только в области артикуляции, но и в области содержания выражаемой в языке мысли.

Явление непрерывности заметнее всего в речи, которую обычно противопоставляют языку. В речи мы обыкновенно не замечаем не только отдельных звуков, но и отдельных слов, а иной раз и целых предложений. Однако в языке членораздельность и прерывность обычно трактуются тоже чересчур преувеличенно, что особенно видно, например, на категории отношения. Если язык есть отношение или система отношений (де Соссюр, Ельмслев), то спрашивается: а являются ли отношениями также и те элементы языка, между которыми устанавливаются отношения?

Вместо этого необходимо отметить прежде всего неразрывность и слияние прерывности и непрерывности. Это есть та самая диалектика движения, о которой писал Ленин. У него читаем: «Движение есть единство непрерывности... и прерывности... Движение есть противоречие, есть единство противоречий»<sup>3</sup>. Следовательно, по Ленину, нигде не существует одной только прерывности, и всегда существует еще и непрерывность. Правда, непрерывность понимает всякий человек, для которого данный язык является родным. Ее понимает и младенец, и подросток, и взрослый человек. Поэтому неудивительно, что в школе нас обучают по преимуще-

<sup>3</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 231.

ству прерывным элементам языка (отдельные звуки и слова, части речи, члены предложения и т. д.). Тем не менее этих прерывных элементов в языке как таковом вовсе не существует; их изучают только ради учебы и науки. На самом деле существует только полное слияние прерывности и непрерывности в языке, так что язык оказывается сплошным континуумом, в котором прерывные точки тонут до полного слияния.

Игнорирование этого слияния прерывности и непрерывности приводит к полному исключению всякого иррационализма, а язык есть как раз слияние рационального и иррационального.

Итак, поток сознания есть непрерывная текучесть языкового сознания, возможная и необходимая как заполнение непрерывных и строго определенных моментов в движении этого языкового сознания, которые сами по себе вовсе не отменяются, но существуют исключительно только в своей взаимной слиянности. Поэтому с точки зрения потока сознания вообще не существует абсолютной прерывности в языке, но всякий прерывный элемент в языке всегда заряжен той или иной динамикой окружающей его семантики. Всякий прерывный элемент в языке существует не сам по себе, но как принцип семантического становления, как динамическая заряженность для той или иной области окружающего его контекста.

3. Вообще говоря, существует достаточно много оснований для того, чтобы трактовать язык как поток сознания. И к такому пониманию языка исследователи подходили довольно часто, хотя и редко выдвигали его на первый план в своих теориях.

Уже основоположники языкознания в первой половине XIX века установили, что язык есть не «дело» (*ergon*), но «действие», «деятельность» (*energeia*). И это совершенно правильно. Однако ясно, что тут далеко до выдвигания на первый план диалектического единства прерывности и непрерывности.

Философы всегда много говорили о категории становления. У Гегеля становление возникает тотчас же после установки противоположности бытия и небытия. Но сказать просто, что язык есть становление мысли и слова — этого сейчас для нас мало. В категории становления еще нет указания на активность мысли и

слова, нет указания и на динамику их развития. В этом смысле термин «поток сознания» теоретически является весьма выгодным и полезным, поскольку всякий поток всегда мыслится не просто как становление, но именно как стремление, как активная подвижность, как динамика самого перехода от одного момента становления к другому.

Нередко язык трактуется как некоторого рода творческая сфера. Язык как творчество — это любимая тема многих исследователей и прежнего и теперешнего времени. Однако и этот термин «творчество», несмотря на то что язык всегда есть некоторого рода творчество, тоже является сейчас для нас недостаточным, поскольку он слишком богат и не затрагивает той менее богатой, но все же необходимейшей структуры, о которой у нас речь. Мы ведь сказали, что нас интересует момент совпадения прерывных и непрерывных элементов языка. Без этого совпадения, конечно, никакое языковое творчество невозможно. И тем не менее структура континуума не есть ни просто действие, ни просто какое-нибудь становление, ни просто то или иное творчество. Все подобного рода категории либо беднее живого континуума речи, либо богаче его, но не ухватывают сам этот континуум в его существе.

Необходимо обратить внимание также и на то, что эта категория потока и даже сам термин «поток» имели весьма длительную и сложную историю; но вместе с тем нельзя смущаться разнообразием подобных теорий, для нас к тому же давно устаревших. Ведь от всякого большого направления в искусстве или в философии всегда что-нибудь остается и притом остается навсегда, несмотря на уход этих направлений в прошлое. Культурный прогресс потому только и возможен, что при отпадении одних элементов культуры как устаревших остаются другие, уже более или менее устойчивые, если не прямо постоянные. Картину действительности как всеобщего потока мы находим еще у Гераклита. И хотя многие элементы философии Гераклита сейчас звучали бы слишком наивно, по-детски, тем не менее поток действительности, формулированный Гераклитом, много раз видоизменялся и по-разному дополнялся, но остался в истории философии навсегда. Поэтому вовсе не нужно смущаться тем, что многие философские и

художественные теории устаревают и уходят в прошлое, а вот понимание действительности как всеобщего потока все-таки в той или иной форме пребывает незабываемым вплоть до настоящего времени. Поэтому ничто не мешает нам воспользоваться термином «поток сознания» даже и в языкознании.

Итак, мы ставим в качестве одной из очередных задач науки изучение в языке таких его элементов, которые, как бы они ни были изолированы от других его элементов, несут на себе энергию языкового становления и в смысловом отношении как бы заряжены своей непрестанной значимостью для того или иного языкового окружения. Сейчас пока еще трудно классифицировать такие важнейшие элементы и формулировать типы слияния одних элементов языка с другими в общем процессе языкового континуума. Но в настоящую минуту этого и не нужно делать, а довольно будет уловить и представить себе в живом виде сам принцип потока сознания. Это необходимо сделать уже по одному тому, что язык и языковое мышление есть то или иное отражение действительности. Но действительность мы можем представить себе только как всеобщий поток. Следовательно, и язык не может не быть некоего рода всеобщим потоком.

4. Ряд неопровержимых фактов, которые сейчас необходимо было бы привести, можно наблюдать на любых языковых уровнях.

Выше мы уже успели столкнуться с тем универсальным фактом, который можно назвать живой речью. В самом деле, можно ли сказать, что живая человеческая речь состоит из отдельных звуков. Этого никак нельзя сказать. Вот мы произнесли слово *дерево*. Можно ли сказать, что мы сначала и вполне изолированно произнесли звук *д*, и, поскольку он изолирован, тут же его и забыли? И дальше мы произнесли звук *е* и опять тут же перестали его произносить и забыли? И этот вопрос об изоляции мы должны поставить относительно всех звуков, из которых состоит слово *дерево*. Можно ли будет в этом случае сказать, что мы действительно произнесли это слово, что мы действительно вложили в него определенный смысл и что этот вполне определенный смысл понят нашим собеседником именно как таковой? Ни в каком случае. Мы произнесли несколько отдель-

ных звуков, не имеющих никакого смысла, кроме пустого звучания, и не указывающих ровно ни на какое значение «дерево». Следовательно, если употребленные нами звуки указывают именно на «дерево» и наш собеседник так нас и понимает, то это возможно только в результате слияния составляющих данное слово звуков в одно нераздельное целое, в один целостный континуум. Это значит, что когда мы произносим звук *д*, то тут же переживаем и последующий звук *е*, а при звуке *е* — последующий звук *р* и т. д. Конечно, можно здесь и не употреблять термина «поток» звуков или «поток» соответствующего языкового сознания. Дело ведь не в терминологии, а в неоспоримом факте слияния всех звуков, составляющих данное слово, в один фонетический континуум.

Если идти от отдельных звуков и переходить к их более или менее фиксированному объединению, то проблема потока и здесь остается в полной силе. Что такое, например, слог? Это есть вполне определенная структура звукосочетания, которое в первую очередь мыслится, конечно, самостоятельно и изолированно. Однако можно ли здесь остановиться на этой самостоятельности и изоляции? Опять-таки никак нельзя. Неужели слова *ушел, прошел, вышел* произносятся и понимаются нами так, что сначала мы фиксируем тот или иной префикс в изолированном виде, начисто забываем о нем, а потом отдельно произносим и понимаем корень или основу слова, отдельно его суффикс и отдельно флексию? Такая внепоточная, нетекучая взаимная изоляция отдельных неподвижных элементов языка просто никак не представима. Без этой текучести невозможно и само употребление префиксов, суффиксов и т. д. В цельном слове они тоже представляют собой несрасчленимый поток. Принцип изолированной прерывности, понимаемый как единственный принцип оформления языка, просто никуда не годится.

Нам хотелось бы указать еще на один колоссальной важности факт, на который теоретики обычно мало обращают внимания.

Спросим себя: можно ли знание языка свести к знанию его грамматики? На этот вопрос необходимо ответить только резко отрицательно. Можно очень хорошо знать грамматику языка и в то же самое время совер-

шенно не знать самого языка. И это потому, что всякая грамматика языка является сводом именно прерывных элементов языка (части речи, члены предложения, склонения и спряжения). Вот почему, хорошо зная грамматику данного языка, мы все-таки далеко не сразу понимаем свободно выбранный и живой текст из этого языка. Но кроме прерывных элементов языка в нем играют огромную роль еще и непрерывные элементы, которые почти невозможно выразить при помощи прерывных терминов. Для овладения данным языком грамматика, конечно, играет большую роль, но далеко не единственную. На данном языке нужно очень много читать разнообразных текстов, чтобы привыкнуть к языку и уметь улавливать его живую значимость. И это, повторяем, факт колоссальной важности, который сам собой опровергает понимание языка как постоянную сводимость его на одни только прерывные элементы.

Наконец — и это уже никто не посмеет опровергать, — дети научаются говорить на данном языке и понимать его решительно без всякой грамматики. Наоборот, наши дети приступают к изучению грамматики уже после того, как они в совершенстве овладели данным языком. Но как же это они могли овладеть языком, не зная его грамматики? А так, что язык вовсе не есть сознательное оперирование только грамматическими категориями, но есть неосознанный и вполне непрерывный поток сознания. Кто сводит язык только на прерывные элементы, тот должен утверждать ту нелепость, что до изучения грамматики дети не могут ни говорить на данном языке, ни общаться на нем друг с другом. Миллиарды человеческих субъектов в течение всей истории человечества общались между собой на тех или иных языках, не имея никакого представления о том, что такое грамматика. Таким образом, общечеловеческий факт языкового общения без всякого использования грамматики как науки о прерывных элементах языка является неопровержимым и абсолютным доказательством того, что в основе своей всякий язык есть вполне непрерывный поток человеческого сознания в общей стихии разумно-жизненного общения людей.

Мы сейчас укажем на употребление таких слов, которые обычно трактуются как служебные, т. е. как второстепенные по своему значению слова, хотя значи-

мость их не менее важна, чем так называемых знаменательных слов; а в смысле спайки и в смысле получения цельной речи, в смысле заполнения промежутков между отдельными знаменательными словами, т. е. в смысле образования потока речи, значимость этих элементов языка даже бóльшая.

Возьмем древнегреческий предлог *cata*. Он указывает на движение сверху вниз. Это значение данный предлог имеет как с родительным падежом — *cata cacēpōn* («с вершин»), так и с винительным — *cata top rotamon* («вниз по реке»). При этом может фиксироваться не только исходный пункт движения сверху вниз и не только само движение, но и его результат — *cata chthonos* («под землей»). Однако это направление вниз незаметным образом превращается в направление одинаковое, параллельное с чем-нибудь, или в распространение по чему-нибудь — *cata straton* («по войску», например, «идти или двигаться»), так что вертикальное представление превращается здесь в горизонтальное. Но эта горизонтальная направленность тоже ни в каком случае не остается на месте и в зависимости от контекста указывает на движение к какой-нибудь цели — *cata thean* («на зрелище», например, «идти, пойти»), на общую связанность с тем или иным предметом — *legein cata tinos* («говорить о ком-либо») или с его отдельными частями и сторонами, т. е. этот предлог употребляется и в разделительном смысле — *cata phyla* («по племенам») и даже только в приблизительном значении, как, например, в выражениях с числительными — «приблизительно десять лет» и т. д.

Это текучее значение данного предлога доходит в своей текучести до того, что начинает совмещать в себе самые крайние и даже противоположные установки. Но так оно и должно быть, если мы здесь действительно имеем дело с картиной потока. Ведь каждый последующий момент в общем потоке представляет собой нечто иное и отличное от всех предыдущих моментов, хотя в то же самое время все эти отдельные моменты, входящие в состав потока, слиты в единый и нераздельный континуум, без которого невозможен и сам поток.

Действительно, указанный древнегреческий предлог очень часто получает такое значение, как «согласно



чему-нибудь», «в соответствии с чем-либо» — *cata* по-топ («по закону», «согласно закону»). В таких выражениях, как *cata daimona* («с помощью демона») или *cata tychei* («при содействии судьбы»), это значение простого согласия с чем-нибудь делается заметно более напряженным, поскольку речь идет не просто о согласии с предметом, но об активном содействии предмета. С другой стороны, упомянутое выше *legein cata tinou* в зависимости от контекста часто получает не значение «говорить о ком-либо», а «говорить против кого-либо». Это последнее значение особенно часто встречается в тех случаях, когда данный предлог становится приставкой глагола или существительного. Таков, например, глагол в выражении *catagignōscein ti tinou*, означающем, согласно даже учебным словарям, «замечать в ком-либо что-либо дурное», «думать о ком-либо что-либо дурное», «обвинять кого-либо в чем-либо», «приговаривать кого-либо к чему-либо», «осуждать на что-либо» и т. д. Неструдно заметить определенного рода семантическую градацию даже в этом отрицательно-оценочном значении данного предлога, начиная от простого усматривания чего-нибудь плохого и кончая обвинением, осуждением и даже приговором.

Наконец — и это особенно любопытно для теории языкового потока, — взятый нами предлог указывает не только на вертикальное движение сверху вниз, не только на горизонтальное движение и не только на оценку, положительную или отрицательную, но и на возможность слияния всех этих моментов в одно нераздельное целое, как оно и должно быть, если семантика этого предлога действительно представляет собой поток значений. Мы имеем в виду значение этого предлога в выражении клятвы — *cata tou paidou omnynai* («клясться ребенком»). Подобного рода выражения указывают, во-первых, на движение мысли того, кто произносит клятву, вверх, к богам; во-вторых, здесь высказывается мысль также и о движении сверху вниз: если клятва не будет исполнена, то боги низвергнут свой гнев и силу на ребенка, и он погибнет. И, в-третьих, оба эти движения, вверх и вниз, имеют в клятвах еще и огромное оценочное значение. И все это выражается только двумя словами *клянусь ребенком*.

Таким образом, уже на простейшем предлоге древ-

огреческого языка вполне осязательно можно и/нужно ощущать текучую семантику, которая в словарях по необходимости указывается в раздельном виде, но в живом языке дается сплошно и текуче, включая всевозможные противоположности и противоречия и даже всевозможные оценки. В греческом выражении *говорить о чем-либо* невозможно определить ту границу, которая отделяет простое сообщение от той или/иной горизонтальной или вертикальной направленности и даже от какой-нибудь оценки, причем самых разнообразных степеней. При движении сверху вниз и при горизонтальном движении возможна самая разнообразная интенсивность и активность как исходного пункта движения, так и его конечного пункта, не говоря уже о самом движении. И ясно, что подобного рода семантическую текучесть мы без труда могли бы указать и на любом мельчайшем языковом элементе греческого языка.

5. Дальше, ради иллюстрации теории общезыкового потока мы вообще могли бы сослаться на тот огромный языковой феномен, который называется *полисемией*, т. е. многозначностью и отдельных элементов языка, и любых сочетаний этих элементов. То, что почти каждое слово имеет несколько значений, которых иной раз оказывается неисчислимо много, этот факт не требует доказательства ввиду своей очевидности. Однако для теории языка тут «залегает» огромная проблема, которая отнюдь не всегда удовлетворительно решалась в разных языковых теориях. Не всегда удовлетворительно она решалась также и в тех случаях, когда речь заходила не просто о многозначности слова, но и о функционировании его синонимов. Не стоит приводить примеры этих синонимов. Их слишком много, и они слишком известны. Но вот какие три момента в теории синонимов не всегда принимаются во внимание достаточно отчетливо.

Во-первых, каждый синоним должен обладать каким-нибудь ясным оттенком, который нужно уметь формулировать в сравнении с другими синонимами. Во-вторых, каждый синоним должен не только отличаться от всякого другого синонима, но и указывать на существование этого другого синонима, пусть хотя бы этот последний был только один. Без этого смыслового перехода от одного синонима к другому не может возникнуть и

речи о каких-нибудь синонимах. Синоним, будучи чем-то одним, обязательно указывает и на нечто другое, и только при этом условии оба данных слова могут оказаться одно в отношении другого синонимичными. И наконец, в-третьих, каждый синоним данного слова не только указывает на другой синоним этого слова и, следовательно, так или иначе с ним связан, так или иначе в него переходит, но и все синонимы данного слова должны указывать на это общее слово или на то общее понятие, частичными вариантами которого они являются и специфическую, единичную значимость которого они выражают. Как один синоним слова требует другого синонима, на него указывает и в него переходит, так все синонимы данной общности требуют существования этой своей общности, указывают на нее, свидетельствуют о ней, иллюстрируют ее и являются ее смысловым порождением. Общность здесь осмысляет и оформляет свои единичные выражения, являясь их смысловым законом; а каждый единичный вариант в данном случае взывает к своей общности и является ее выражением.

Теория синонимов, как и вообще теория многозначности языковых элементов, только и возможна при соблюдении тех трех условий, о которых мы сейчас сказали. Но эти три условия исключают понимание языка как только одной дискретности изолированных элементов языка и при всей дискретности этих последних требуют перекрытия их общей картиной потока.

6. Ради еще одного и тоже универсального примера того, как функционирует в языке принцип потока сознания, мы привели бы очень яркое, хотя все еще плохо изученное явление *модальности*. В качестве предварительного исследования этого явления можно указать весьма обстоятельную работу В. В. Виноградова «О категории модальности и модальных словах в русском языке» в «Трудах Института русского языка» (т. 2. М.—Л., 1950, с. 38—79). Сам В. В. Виноградов не дает точного определения понятия модальности и в своем разделении модальных явлений в языке часто ссылается на недоработанность этой проблемы в языкознании. Тем не менее уже и тех материалов, которые приводит В. В. Виноградов, вполне достаточно для того, чтобы находить в модальности некоего рода универсальный

факт вообще всей языковой области. Независимо от работы В. В. Виноградова мы сейчас укажем некоторого рода обстоятельства, свидетельствующие об огромной важности модальных явлений в языке именно в связи с пониманием языка как потока сознания.

Уже с самого начала ясно, что модальный языковой элемент, каков бы он ни был по своему происхождению и составу, вовсе не ограничивается только каким-нибудь одним словом, а окрашивает собой целое предложение и всю фразу, а часто и больше того.

В греческом языке оптатив выражает модальность произвольного допущения. Автор такой фразы, которая содержит в себе оптатив, конечно, выражает свое произвольное допущение вовсе не только в пределах данного глагола в оптативе. Произвольным допущением в данном случае является по меньшей мере вся фраза, содержащая глагол в оптативе. Эта фраза может содержать в себе множество разных слов, вполне отличных одно от другого и демонстрирующих собой определенную прерывность речи. Однако произвольное допущение непрерывным образом обнимает собой все прерывные элементы данной фразы, т. е. данная оптативная фраза является потоком сознания именно в нашем смысле слова, представляя собой, таким образом, континуум прерывных элементов, перекрытых непрерывностью выражаемой ими модальности произвольного допущения.

То же самое нужно сказать и о любом наклонении в области глагола. Мы бы только сказали, что индикатив тоже есть определенного рода модальность, а вовсе не ее отсутствие, как некоторые были склонны думать. Это есть модальность фактической действительности, когда подлежащее и сказуемое в предложениях объединяются как таковы, без всякого дополнительного условия, т. е. без всяких вопросов о возможности или невозможности этого соединения, его желательности или нежелательности, его ожидания или отсутствия его ожидания и т. д. Кроме того, такая модальность фактической действительности даже и в индикативе часто является весьма неустойчивой, граничащей с другой модальностью и часто даже переходящей в нее. Стоит только произнести данную фразу вопросительно или восклицательно или в целях побуждения, как эта индикативная модальность уже переходит совсем в другую

модальность. И конечно, здесь дело не в отдельных словах, выражающих вопрос, восклицание или побуждение, но всегда в целой фразе, в которую входит та или иная вопросительная, восклицательная или побудительная частица или вообще речевая форма.

И вообще грамматически слишком односторонне изучают так называемые основные члены предложения и отодвигают на второй план всякого рода вводные слова, мелкие частицы, а иной раз и целые предложения, формально не входящие в состав членов предложения, но семантически окрашивающие данное предложение совершенно неожиданным образом. Возьмем такие частицы, как *ишь ты, вишь ты, авось, небось, еще чего, поди ж ты, еще бы, а как же, ну, да, иди ты, куда уж, куда уж мне, где уж мне, ну, вот*. Большинство паречий уж давно потеряло свой нейтральный смысл или функционирует в языке вполне модально. Такие невинные словечки, как *да* или *нет*, или такие невинные частицы, как *ли* или *то*, тоже являются целыми предложениями или окрашивают эти предложения в неожиданно новый модальный смысл. Модальным характером, семантически окрашивающим собой целую фразу и даже больше, чем одну фразу, является иной раз целое предложение, вроде *видите ли, понимаете ли, вы представляете, вообще говоря, так сказать*. И было бы нелепо рассматривать такого рода элементы языка просто как таковые, просто в их самостоятельности, просто в их изолированном виде. Будучи вставлены в предложение, они определенным образом окрашивают смысл этого предложения и определяют собой известным образом функционирующий поток сознания в тех или иных языковых пределах. То, что междометия являются целыми свернутыми предложениями, это понятно само собой. Все эти *ага, ого, эге, ах, увы* и пр., конечно, суть предложения, в которых при данном контексте весьма нетрудно определить и подлежащее, и сказуемое, и даже другие члены предложения. И неужели нужно считать все это только отдельными изолированными звуками, не окрашивающими собой иной раз весьма обширный поток языкового сознания?

Модальными частицами у нас занимались мало. Но в качестве примера мы привели бы кандидатскую работу, защищенную в МГПИ им. В. И. Ленина в 1970

году, а именно диссертацию М. С. Чертковой «Модальные слова наречного происхождения в их соотношении с другими структурно-семантическими категориями в современном русском языке» (автореф. дис.) В то же время, кажется, не было еще ни одного крупного лингвиста, который бы так или иначе не касался употребления модальных слов. Так, академик Шахматов называл модальные слова наречного происхождения «сопутствующими обстоятельствами». Эту модальность глубоко чувствовал также еще и Буслаев.

Преувеличивать значение частиц и служебных слов, особенно модального значения, ни в каком случае не приходится. Они заполняют собой те пустые промежутки, которые остаются между отдельными словами, если эти слова во фразе брать в изолированном виде. Они воочию и, так сказать, материально превращают совокупность отдельных слов во фразе в единый и цельный континуум фразы, в котором при желании можно, конечно, различать прерывные и непрерывные элементы, но который в общем представляет их неделимую цельность.

Приведем еще некоторые примеры. Люди употребляют такое, например, выражение *бесовское наваждение*, хотя мало кто верит в бесов и наваждение. Это выражение обладает модальным содержанием и вовсе не заключает в себе тот смысл, который в отдельной форме здесь имеется в виду. Слово *конечно*, а также слова *разумеется, действительно, безусловно, несомненно, как будто бы, вряд ли, пускай, пусть, наконец, далее, напротив, нисколько, так сказать, может быть, едва ли, пожалуй, нечего и говорить, само собой разумеется, кстати сказать, едва-едва, чуть-чуть, вот так-так, вы подумайте, подумай еще, черт возьми, какого черта, черрт, да уж конечно, да уж ладно, видал-миндал, на-ко, выкуси* меньше всего являются существительными, прилагательными, глаголами или наречиями. Но что выражается в них прежде всего — это самая разнообразная модальность, которая обнимает сразу несколько слов и является тем или иным континуумом.

Итак, поток сознания, сливающий в нераздельное целое членораздельные звуки, слоги, слова и целые предложения, играет в языке огромную роль, отнюдь не меньшую, чем элементы рациональной раздельности.

Это сливает язык в нечто целое и лишает его рационально-механистических разделений. А что данная непрерывность, или континуум, диалектически сливается с членораздельными элементами языка (каковы звуки, слоги, слова и целые предложения), об этом мы уже говорили.

Это и есть язык как поток сознания.

В этом отношении весьма поучительно то, что происходит в современном языкознании по вопросу об основной направленности того, что обычно называется *этимологией*. Этимология имеет своей целью разыскание так называемых корней слова, т. е. такой его центральной части, которая остается более или менее постоянной при всех изменениях данного слова и при всех переходах из одного языка в другой. Языковеды не очень точно представляют себе, что такое корень. Одни утверждают, что это есть тот звуковой комплекс, который в своем чистом и единообразном виде даже нигде и не сохранился. Многие вообще отказываются искать такой корень и говорят, что их интересует не сам корень слова, но те реальные слова, которые можно находить в реальных языках и можно относить к одному и тому же корню. Другими словами, здесь возникает логическая ошибка *idem per idem*: мы не знаем, что такое корень данного слова; но мы знаем реальные слова в реальных языках, которые образованы от единого корня. Другие языковеды, наоборот, разыскивают именно этот единственный и основной корень слова, так что их вовсе не смущает отсутствие слов буквально именно с таким корнем, и в таких случаях реконструируемый корень обозначается в этимологических словарях со звездочкой. Спрашивается: как же мы должны понимать корень слова, если он везде проявляется по-разному, а в своей единой исходной форме вообще нигде не дан, будучи лишь результатом нашей реконструкции?

Возьмите три таких русских слова, как *бей*, *бой*, *бить*. То, что эти три слова имеют один и тот же корень, это ясно. Но как же его формулировать, если фактически мы имеем дело не с самим корнем, а только с разными его огласовками? Выше мы уже приводили обширный список слов из разных языков тоже с одним и тем же корнем, но с разными огласовками этого

корня — тап, теп, тін, топ, туп, тп. Теперь спросим себя: если перед нами во всех этих словах один и тот же корень, но только функционирующий при помощи разных огласовок, то как же нужно произнести этот единый корень и из каких реальных звуков он состоит? Произнести такой корень совершенно невозможно, хотя наличие его при разных огласовках вполне несомненно.

С нашей точки зрения, произнести такой единый корень невозможно потому, что корень слова, как и все вообще элементы языка, малые или большие, вовсе не является какой-нибудь статической или сплошь только прерывной структурой. Корень слова есть всегда нечто подвижное и скрывает в себе заряд или залог весьма большого количества разных своих проявлений, которые мы и узнаем по его огласовкам. Корень слова есть динамический заряд огромного количества превращений и является как бы законом возникновения какого угодно числа огласовок и методом нашего узнавания под непохожими друг на друга огласовками одного и того же динамически заряженного корня, одного и того же принципа для огромного языкового потока, часто принимающего неузнаваемые формы.

Здесь не место делать сводку всех современных языковедческих наблюдений по данному вопросу. Но на один пример нам все-таки хотелось бы указать. Именно динамическую подвижность корня слова весьма глубоко и весьма тонко чувствует у нас один из крупнейших советских германистов Э. А. Макаев, которому принадлежат многочисленные исследования, весьма полезные для нашей теории языкового потока. Мы приведем лишь одну цитату из одной работы Э. А. Макаева, в которой динамическая подвижность корня слова формулируется в наиболее общем и принципиальном виде. А именно здесь мы читаем, что «в основу описания соответствующего индоевропейского и германского материала должна быть положена *динамическая* теория корня, детерминатива и структурного оформления слова в индоевропейских и германских языках»<sup>4</sup>. Э. А. Макаеву принадлежит также и острая, по-нашему, вполне неопро-

---

<sup>4</sup> Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970, с. 277.



вержимая критика разнообразных статических теорий этимологии.

7. Отметим, далее, принципы *суперсегментного* потока языка и речи. Если под сегментом речи понимать ее линейный отрезок определенных размеров, то под суперсегментным элементом понимается то, что как бы сверху накладывается на линейный отрезок и ярко окрашивает его в том или ином семантическом отношении. Каждый элемент языка отнюдь не представляет собой нечто изолированное и отделенное от его других элементов. Он всегда представляет собой принцип того или иного континуума элементов языка, известного протяжения.

Начнем с *просодического континуума* (или потока) — ударения, основанного на силе выдыхаемого воздуха (экспираторное ударение): *óрган* — *орáн*, *зáмок* — *замóк*. Ударение часто является признаком той или иной общественной или географической группы: *кóмпас* — *компáс* (у моряков), *про́цент*, *до́цент* (у людей малообразованных).

Далее к суперсегментному континууму относится *метрический континуум*, основанный на долготях и краткостях звуков, имеющих значение по преимуществу в древних языках. В истории языков этот континуум постепенно утрачивался.

Упомянем также *интонационный континуум* — основанный на повышении и понижении голоса.

Наконец, необходимо выделить *экспрессивный континуум*, представляющий собой выражение вовне тех или иных внутренних переживаний говорящего. «Уходи» можно произнести равнодушно и безразлично, с просьбой и даже мольбой, с приказанием и даже с гневом.

Было бы нелепо отвергать определенного рода направленность потока сознания во всех такого рода высказываниях. Часто здесь даже и не просто поток сознания, а целая буря сознания, то или иное волнение сознания, те или иные всплески и даже взрывы сознания. И везде тут именно поток, поскольку известное множество звуков объединяется одним ударением, так что это ударение превращает все входящие в данный поток отдельные звуки в одно сплошное и нераздельное становление. В слове *погода* одно ударение объединяет три слога, и в отношении данного ударения

эти три слога уже представляют собой единый фонетический континуум. В слове *работница* одно ударение объединяет уже четыре слога, так что это уже четырехслоговой континуум. В слове *арифметика* одно ударение объединяет пять слогов. В слове *единомышленник* одно ударение объединяет шесть слогов, а в слове *естествоиспытатель* — семь. Слово *гелиоцентрическая* (теория, система) содержит одно ударение на 8 слогов, *естествоиспытательница* — на девять, а *естествоиспытательницами* — на 10. В смысле ударения перед нами здесь везде континуум разной степени сложности и разной степени длительности. Везде здесь перед нами прерывное множество, поскольку имеются в виду в отношении друг друга раздельные числа. Но здесь перед нами, несомненно, самый настоящий сплошной континуум звуков, т. е. их нерасчленимый поток, поскольку все они подчинены только одному принципу, а именно только одному ударению.

Замстим, что единство потока может распространяться на очень большом пространстве, а тем самым и языковой поток может охватывать собой весьма значительные пределы. Так, мы указали бы на целесообразность применения категории интонации к таким сложным построениям, каким является синтаксически выдержанное предложение. Интересная работа в этом направлении уже начата<sup>5</sup>.

Накопец, указанные у нас выше интонационные и экспрессивные оредства можно рассматривать и не только в суперсегментном плане. Экспрессивность речи можно толковать и вполне линейно, т. е. как особенность самой лексики<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Таковы, например, работы: Синтаксис и интонация. Тезисы межвузовской конференции. М., 1962; Николаева Т. М. Интонация сложного предложения в славянских языках. Опыт экспериментального исследования. М., 1969; ср.: Зимняя И. А. Речь как интермодальный процесс.— В кн.: Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку. Ред. А. А. Леонтьев, Т. В. Рябова. М., 1970.

<sup>6</sup> В качестве примеров из работ последнего времени укажем на статьи А. Т. Панасюк «К вопросу об экспрессивности как лингвистической категории» («Вестн. Моск. ун-та», серия филология, 1973, № 6, с. 29—39) и В. М. Пророковой «Стилистические функции союзов» (там же, 1978, № 1, с. 77—81). Из старых работ укажем на работы В. А. Звегинцева «Экспрессивно-эмоциональные элементы

8. *Пропозициональная, или предложенческая, основа языка* вытекает из предыдущих рассуждений сама собой. Действительно, зададим себе вопрос, что такое поток языкового сознания, если выражаться чисто языковыми, например грамматическими, терминами? В предметном смысле термин «поток» очень близко выражает сущность языкового сознания. Но этот термин, как и многие другие, привлечавшиеся для характеристики языкового сознания («энергия», «структура»), сам по себе не является языковым термином, а взят из более общей области и потому имеет у нас, собственно говоря, переносное значение. Нельзя ли, однако, для характеристики потока сознания воспользоваться каким-нибудь термином, имеющим чисто языковое значение, но отнюдь не только переносное? Это сделать можно и нужно.

Язык есть, как это обычно говорится, орудие человеческого общения. Но что значит человечески, т. е. разумно-жизненно, общаться человеку с человеком? Это значит произносить такого рода утверждения или отрицания, которые по крайней мере двум собеседникам понятны или приблизительно понятны. Итак, для разумного общения человека с человеком необходимо пользоваться теми или иными утверждениями или отрицаниями. Но что значит утверждать или отрицать? Утверждать — значит высказывать что-нибудь о чем-нибудь, приписывать что-нибудь чему-нибудь; а отрицать — наоборот, т. е. отвергать приписывание чего-нибудь чему-нибудь и высказываться в смысле этого отрицания. Но высказывание или невысказывание чего-нибудь о чем-нибудь есть то, что обычно называется *предсказыванием*, а для предсказывания необходимо подлежащее, т. е. то, о чем что-либо предсказывается, и сказуемое, т. е. то, что именно о чем-нибудь предсказывается. Другими словами, разумно общаться одному человеку с другим — это значит пользоваться предложением или какими-нибудь его эквивалентами.

Отсюда вытекает фундаментальный вывод для всего языкознания. Дело в том, что в силу механистической и вещевистской привычки все обычно говорят, что язык

---

и значение слова» (там же, 1955. № 1) и Е. М. Галкиной-Федорук «Об экспрессивности и эмоциональности в языке» (Сборник статей по языкознанию. М., 1958).

состоит из слоз. Это совершенно неправильно. Под словом мыслится обычно нечто устойчивое и постоянное, в то время как в языке никаких устойчивых и постоянных элементов вообще не существует. Язык есть движение. Но чтобы этот тезис не оставался на уровне пустого и банального утверждения, необходимо тут же раскрыть и природу этого языкового движения. А природа эта есть сплошное и подвижное предикцирование.

Под влиянием обывательской механистической привычки мы говорим, например, что слово состоит из звуков. Это *состоит* ровно ни о чем не говорит, кроме как только о наличии звуков в словах. Но простого наличия звуков и их простой суммы еще мало для возникновения слова. В слове *дерево* первые два звука *д* и *е* не просто прикладываются один к другому и не просто берутся как некая сумма звуков. Чтобы из этих звуков получилось нечто действительно целое, необходимо, чтобы *д* характеризовало собой *е* и чтобы *е* характеризовало собой *д*. Но и термин «характеризовать» тоже все еще слишком слабый и беспомощный, чтобы объяснить собой возникновение слога *де*. Необходимо, чтобы *д* приписывалось звуку *е*, а звук *е* приписывался звуку *д*. Другими словами, уже на этом низшем уровне языка необходимы акты предикцирования. В каждом слове отдельный его звук предикцируется о каждом другом его звуке; а все звуки, взятые в целом, предикцируются о цельном слове.

Точно так же и в процессах словообразования одни слоги предикцируются о других слогах, в словоизменении одна флексия предикцируется о слове в целом и в словосочетании одно слово необходимым образом так или иначе предикцируется о другом слове. В словосочетании *дом отца* два входящих в него слова вовсе не просто объединяются в одно целое и вовсе не просто суммируются. Здесь происходит очень сложный процесс внесения одного смыслового акта в область другого смыслового акта. Родительный падеж *отца* указывает на определенного смысла родовую область, из которой берется какая-то одна видовая область. Из общей родовой области отцовских предметов берется один ее видовой представитель, а именно дом. И здесь, пусть хотя бы и в неразвернутом виде предикцирование обязательно содержится, а именно здесь принадлежность отцу

предсказывается о доме. Что касается грамматического предложения, о котором трактует синтаксис, то от всех типов языкового предсказания оно отличается только развернутым характером. Здесь определенно говорится и о том предмете, о котором нечто предсказывается, и о тех его свойствах и качествах, которые о нем предсказываются. Но, не говоря уже о том, что даже далеко не во всех предложениях наличествует подлежащее и сказуемое, это выраженное наличие вовсе не обязательно для того, чтобы то или иное языковое выражение функционировало как предложение. Выше мы приводили примеры таких языковых выражений, вроде междометий или мелких модальных частиц, в которых вовсе не выражено подлежащее и сказуемое и в которых подлежащее и сказуемое не только сами собой понимаются, но при желании очень легко раздельно конструируются.

Нам казалось бы поэтому, что лучше говорить о возникновении и составе языка не из слов, но именно из предложений. Все говорят об «элементах» языка или об «основных», «первичных», «исходных» или «далее неразложимых» «элементах» языка. Конечно, искания этих первичных элементов языка можно только похвалить, и без самого понятия «элемент языка», безусловно, обойтись нельзя. Но как ни понимать этот элемент языка, он не может быть чем-нибудь неподвижным и мертвым. Он всегда есть некоторого рода смысловое, а именно коммуникативное движение. Этот атом языка ни в каком случае не является каким-нибудь мельчайшим неподвижным телом. Уже сам факт его существования указывает на языковое движение. Элемент языка всегда есть пусть мельчайший, но обязательно смысловой *сдвиг*, поскольку он всегда на что-нибудь указывает, о чем-нибудь свидетельствует, к чему-нибудь тяготеет.

Если вдуматься в наше обычное употребление отдельных слов, то, по-видимому, каждое отдельное слово в механистическом смысле действительно является отдельным словом. Если мы идем по улице и читаем вывеску *булочная* над каким-нибудь магазином, то это слово, хотя и написано отдельно, вовсе не есть отдельное слово. Это слово, безусловно, означает собой целое предложение, а именно предложение *Здесь продаются*

*булки или хлеб*. И вообще любые надписи, подписи, вывески, плакаты, лозунги, хотя бы они и состояли только из одного слова, конечно, означают собой целое предложение, а иной раз даже и несколько предложений. Когда на улице кричат: *Воры!* или *Тревога!*, *Пожар!*, то каждое из этих слов означает собой целое предложение, а вернее сказать, целые комплексы предложений. Даже и в словарях мы находим перечисление вовсе не просто отдельных слов. Если я не знаю, что такое хандра и разворачиваю словарь, чтобы узнать значение этого слова, то действительно какая-то статья в этом словаре будет носить название *хандра*. Но *хандра* здесь вовсе не будет только отдельным словом. Оно обязательно будет обозначать целое предложение, а именно, предложение такого типа *Слово «хандра» имеет следующие значения*.

Даже простые каталоги, перечни, списки, прейскуранты обязательно понимают слова как целые предложения. Если мы имеем, например, список учеников одного класса школы, то перечисленные здесь фамилии вовсе не являются изолированными словами, но таят в себе предложения типа *Иванов ученик такого-то класса*. Если пьеса имеет название «Лес» или «Вишневый сад», то, читая подобного рода название, мы вовсе не представляем себе лес как таковой или вишневый сад как таковой без изображения жизни, данного в соответствующих драмах Островского или Чехова. Поэтому слово *лес*, которое мы читаем на заглавном листе соответствующей драмы Островского, означает не отдельное слово *лес*, но целое предложение типа *В этой книге напечатана драма Островского, имеющая название «Лес»*.

И вообще, даже без всякого использования данного слова в качестве указания на какой-нибудь предмет, оно все же не есть отдельное и изолированное слово. Оно всегда есть предложение типа *Данное слово берется как таковое вне связи с другими словами*. Тут не будет указания на связь с другими словами, но всякое слово, даже взятое в отдельности, всегда есть определенный акт, акт полагания языкового мышления. Без этого единого и нераздельного акта полагания слово просто рассыпалось бы на свои составные элементы, т. е. перестало бы существовать.

В этом отношении представляет собой большой интерес древнегреческий термин *стойхейон*, который в новых языках обычно и переводится как «элемент». Именно стоит только углубиться в этимологию этого слова, как сразу же подвижной характер этого элемента становится очевидным. В старославянском языке имеется слово одного корня с упомянутым древнегреческим, а именно *стеязя*. Но *стеязя* как раз указывает не на мертвую неподвижность, а на путь, на дорогу, на какую-то тропу — словом, на кратчайшее движение. Когда древние говорили о том, что все происходит из воды, или из воздуха, или из огня и называли эти стихии «стойхейон», они мыслили, что в основе бытия всегда лежит какой-то минимальный сдвиг, пусть то воды, пусть то воздуха или огня. У Аристотеля был целый трактат о так называемых неделимых линиях. С такой позиции вовсе не точка была минимальным неделимым элементом. Ведь точка непредставима вне окружающего ее пустого фона. Представить себе точку — это значит сравнить ее с окружающим пустым пространством, т. е. так или иначе представить себе это пустое пространство, т. е. так или иначе сойти с точки в это пустое пространство, а это значит превратить ее по крайней мере в линию, если не больше того. Поэтому в древности некоторые и говорили, что бытие состоит вовсе не из неделимых точек, а скорее из неделимых линий. Конечно, здесь мы вовсе не занимаемся чисто античной проблемой неделимых линий. Но все-таки этот античный пример свидетельствует о том, как исходный элемент целесообразно трактовать не в виде неподвижной точки, а в виде подвижного и притом именно неделимого сдвига. В философии XX века тоже не раз заговаривали об исходных элементах бытия как о «засечке», как о «зацепке», как о «зарубке». И везде здесь мыслился, конечно, процесс, а потом уже результат процесса.

В итоге необходимо сказать, что если мы пришли к выводу о языке как о всеобщем предцировании, то это значит, что и каждый минимальный элемент языка тоже есть смысловой сдвиг, тоже вызывает о том или ином предцировании, т. е. тоже является минимальным предложением. Это и значит, что общежизненный, а иной раз даже и философский термин «поток» мы перевели на грамматический язык. Язык как поток созна-

ния означает только то, что язык есть всеобщее предцирование, т. е. всеобщее предложение или система предложений, и это касается любого и даже самого малого элемента языка. Если язык есть поток сознания, то это значит, что его основой является *пропозициональная* основа (*propositio* в латинском языке значит «предложение»). Основа языка — предложенческая.

Мы хотели бы только сказать, что термин «предложение» нельзя понимать слишком уж топорно и слишком уж формально, как это делается в элементарных учебниках грамматики. Типов предложений очень много и, вероятно, несколько сот<sup>7</sup>. Правда, для нас в предложении важен только момент предцирования. Но это предцирование может обладать разного рода степенями своей напряженности, не говоря уже о привходящих внешних моментах, способных довести это предцирование до полной неузнаваемости. Богатую и глубокую картину такого насыщенного понимания предложения можно найти в докторских диссертациях по синтаксису сложного предложения, принадлежащих Я. И. Рославцу и Л. Ю. Максиму.

Самый термин «поток сознания» пока не имеет хождения в лингвистике. Однако соответствующая методология не только весьма популярна, но с каждым годом становится все более и более интенсивной. Мы укажем только на некоторые работы, и притом только советские и только за самое последнее время. Вместо потока обычно говорится о совмещении в языке такого рода разнородных элементов, что совмещение это только и делается возможным при помощи слияния разнородного в одну общую текучесть и становление.

Непосредственно нашей теме посвящена работа В. В. Налимова «Непрерывность против дискретности в языке и мышлении» (Тбилиси, 1978).

Под именем аналитической лингвистики континуальная природа языкознания формулирована у нас выше (с. 166), а также в разных теориях понятийных и семантических полей, как, например, у И. Трира, изложение и

---

<sup>7</sup> Больше 200 определений предложения имеется в виду в работе: Lerch E. Vom Wesen des Satzes und von der Bedeutung der Stimmführung für die Satzdefinition.—In: Archiv für die gesamte Psychologie, C (1938), S. 133—197.



критику взглядов которого можно найти в работе А. А. Уфимцевой «Опыт изучения лексики как системы» (М., 1962, с. 29—45). О взаимном пронизывании системных и надсистемных структур, в результате чего выдвигается понятие «открытой динамической системы», читаем в «Общем языкознании» под ред. Б. А. Серебренникова (М., 1972, с. 50, 52). Соответственно этому также и в отделе грамматики говорится о взаимодействии лексических и пропозитивных значений (с. 314). О совмещении методов дистрибуции, оппозиции, функции и репрезентации в лингвистической науке убедительно трактует Ю. С. Степанов (Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975, с. 279—295). Диалектику противоречивых фактов языка сознательно и методически проводит М. М. Маковский (Системность и асистемность в языке. Опыт исследования антиномий в лексике и семантике. М., 1980, с. 185—189).

В противоположность традиционному рассмотрению индоевропейской школы как чего-то застывшего и неизменного Э. А. Макаев в результате тщательного исследования индоевропейских и общегерманских корней приходит к заключительному выводу о динамической подвижности корня слова с постоянным переплетением словообразовательных и словоизменительных элементов, когда основа слова и его флексия переходят одно в другое, образуя единый языковой процесс (Макаев Э. А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970).

Поскольку непрерывность в языке создается смысловым воздействием контекста на данный текст, приходится высоко ценить работы Г. В. Колшанского (Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975; Контекстная семантика. М., 1980). Грамматическое предложение обычно рассматривается в условиях слишком дискретного понимания его членов. В противоположность этому глубокий и нераздельный принцип предложения рассматривается в работе А. М. Мухина «Синтаксемный анализ и проблема уровней языка» (Л., 1980). Д. Н. Шмелев свою книгу «Проблемы семантического анализа лексики» (М., 1973) начинает с теории «семантического тождества слова», что уже с самого начала препятствует всякой рассудочной дробности лексического анализа.

Много ценных мыслей о неделимой цельности текста было высказано еще на конференции 1974 г. «Лингвистика текста». Таковы сообщения Г. В. Степанова о цельности художественного текста (Лингвистика текста. Материалы научной конференции. М., 1974, ч. II, с. 72—76), А. А. Леонтьева о признаках связности и цельности текста (там же, ч. I, с. 168—172) и др.

Большим вкладом в современное языкознание являются труды Р. А. Будагова, который весьма интенсивно переживает язык как сферу жизни, как сферу цельного органического развития. О том, что общественная стихия в языке не только проявляет себя в области отдельных участков языкового развития, но и пронизывает собою весь язык с начала и до конца, этот автор убедительно говорит в своей работе «Что такое общественная природа языка?» («Вопросы языкознания», 1975, № 3, с. 26). Тот же автор изучает «ту гамму непрерывных и постоянных смысловых переходов, ту иерархию значения, которая глубоко характерна для любого живого развитого языка» (Человек и его язык. М., 1976, с. 239). Сам автор так и называет свою теорию «теорией непрерывного развития лексики и семантики» (Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977, с. 58), а также пользуется методами установления «диалектического противоречия самого процесса развития» (там же, с. 113). Ср. также о диалектике стандартных и нестандартных форм развития языка в связи с развитием культуры (Оп. же. Филология и культура. М., 1980, с. 302).

Глубоко чувствуют непрерывное жизненное развитие языка и следующие авторы: Атаян Э. Р. Аспекты организации и функционирования языковой сферы. Ереван, 1976; он же. Коммуникация и раскрытие потенций языкового сознания. Ереван, 1981; Аветян Э. Г. Смысл и значение. Ереван, 1979.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i>	3
Язык как орудие общения в свете ленинской теории отражения . . . . .	5
Аксиоматика знаковой теории языка . . . . .	28
Аксиоматика теории специфического языкового знака (Стихийность знака и ее отражение в сознании) . . . . .	65
Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли . . . . .	92
О бесконечной смысловой валентности языкового знака . . . . .	114
Аксиоматика теории языкового знака в плане его специфики . . . . .	125
О понятии аналитической лингвистики . . . . .	145
Учение о словесной предметности (лектон) в языкознании античных стоиков . . . . .	168
Обзор некоторых главнейших негативных концепций соотношения языкового знака и языкового значения . . . . .	183
Критические замечания по поводу современных знаковых теорий языка . . . . .	201
Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа . . . . .	220
О пропозициональных функциях древнейших лексических структур . . . . .	246
О типах грамматического предложения в связи с историей мышления . . . . .	280
Проблема вариативного функционирования поэтического языка . . . . .	408
Поток сознания и язык . . . . .	453

АЛЕКСЕИ ФЕДОРОВИЧ  
ЛОСЕВ  
ЗНАК. СИМВОЛ. МИФ

Заведующая редакцией  
*М. Д. Потанова*

Редактор *И. И. Лебедева*

Переплет художника  
*Б. С. Вехтера*

Художественный редактор  
*Л. В. Мухина*

Технический редактор  
*З. С. Кондрашова*

Корректоры  
*Л. А. Костылева*  
*С. Ф. Будаева*  
*М. К. Соболева*

Тематический план 1982 г. № 88  
ИБ № 1444

Сдано в набор 24.08.81. Подпи-  
сано к печати 19.01.82. Л-80519.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага  
тип. № 1. Гарнитура Литера-  
турная. Высокая печать.  
Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л.  
26,19. Тираж 10 000 экз. Заказ  
219. Цена 1 р. 90 к. Изд. № 1753.

Ордена «Знак Почета»  
издательство  
Московского университета  
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.  
Типография  
ордена «Знак Почета»  
изд-ва МГУ.  
Москва, Ленинские горы